В·КАВЕРИН

4

В·КАВЕРИН 4



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

В. КАВЕРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

В·КАВЕРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ОТКРЫТАЯ КНИГА

РОМАН

ЧАСТИ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

Р2
К13

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

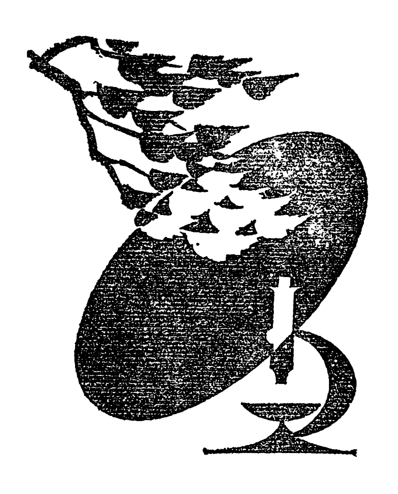
К $\frac{70302-239}{028(01)-81}$ подписное 4702010200

© Оформление. Издательство «Художественная литература», 1981 г.

ОТКРЫТАЯ КНИГА

РОМАН

ЧАСТИ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЮНОСТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ

Таня

Раз-два! Сперва все ножи я воткнула в песок крест-накрест, и получилась прекрасная решетка, совсем как вокруг губернаторского садика на Расстанной. Потом стала по очереди вытаскивать их и снова втыкать — так было веселее работать. В общем, я даже любила чистить ножи, мне нравилось, когда они начинали блестеть. Вытирать посуду — это тоже было ничего, если бы Домна Ефимовна не сердилась, когда нужно было просить у хозяйки чистое полотенце. Сердилась она на хозяйку, а попадало-то мне! Мыть тарелки — это было хуже всего, потому что официанты ставили глубокие тарелки на мелкие селедочные, а селедку у нас жарили на постном масле, и такую посуду было очень трудно отмыть.

Сильный мороз стоял на дворе, и левая рука так замерзла, что даже хотелось постучать ею, как деревяшкой. Но все-таки я вычистила ножи, все до единого, только не стала натирать кирпичом. Трактир Алмазова был в городе, а мы с мамой жили за рекой, в посаде Замостье, и на том берегу начиналась дорожка, по которой ночами я боялась ходить. Черные тени косо пересекали ее, а над головой гулко стучали сухие, замерзшие ветки. Тихонько, чтобы не услышала Домна Ефимовна, я поставила под крыльцо ящик с песком и вернулась на кухню. Лучше было уйти незаметно, тем более что еще несколько грязных тарелок стояло на плите — эти были уже не от гостей, должно быть, сама хозяйка принесла их, пока я чистила ножи на дворе. Осторожно, чтобы не загреметь, я засунула тарелки подальше в стол — вымою утром. Но в эту минуту Домна

Ефимовна вышла из своей каморки и закричала: «Ты что же это делаешь, дрянь этакая!» — хотя прекрасно видела, что я уже помыла лохань. Пришлось засучить рукава и снова приняться за работу.

Теперь я уже не думала о дорожке на том берегу, потому что все равно стемнело, городовые сменились, и газовый фонарь — единственный на всю Застенную — зажегся подле трактира. Теперь я беспокоилась, как бы мама не вздумала пойти мне навстречу, а она нездорова и утром, когда мы пили чай, все охала и жаловалась па сердце. Торопливо вымыла, вытерла я хозяйскую посуду, прибрала кухню и, обвязавшись крест-накрест платком, стала натягивать на себя старенькую жакетку. Но Домна Ефимовна снова вылезла из каморки — тощая, злющая, в очках, с седой крысиной косичкой.

— А керосин? Забыла?

Батюшки, да что ж это я? Керосин кончается, хозяйка велела сбегать к Бобриковым, а я забыла! Да не потеряла ли еще пятиалтынный? Нет, цел, слава богу.

— Сейчас сбегаю, Домна Ефимовна.

— Сбегаешь! Небось закрылись уже!

— Не беда, зайду с черного хода.

Вот когда действительно нужно было спешить! А что, если Бобриковы не отпустят с черного хода? Бутыль стояла в сенях, я схватила ее, опрометью выбежала на улицу — и в двух шагах от меня промчались покрытые богатой медвежьей полстью широкие сани.

— Дорогу!

Сани круто повернули за угол, но я успела заметить, что в них сидят какие-то люди в светлых шинелях,— гимназисты или офицеры?

Бобриковы отпустили с черного хода, я отдала керосин Домне Ефимовне, побежала домой и, спускаясь с Ольгинского моста, снова увидела этих людей в светлых шинелях. Они раздвоились или у меня стало двоиться в глазах, но за первыми двумя поодаль шли еще двое. Потом они замедлили шаги и стали негромко разговаривать; до меня, к сожалению, не доносилось ни слова. Они стояли и разговаривали, как будто был не декабрь месяц, а май, когда молодежь из окрестных деревень приезжала погулять в посаде.

Это было действительно странно! Зачем они приехали сюда так поздно? Зачем свернули с набережной и пошли через поле? Что собираются делать в двух шагах от коже-

венного завода, у которого теперь, во время войны, всегда стояла охрана? Почему двое отошли в сторону, а двое закурили и, постояв, стали крупно шагать по полю, точно собрались измерить его шагами? Снег был глубокий, они проваливались, но все-таки продолжали шагать. Почему двое оставшихся в стороне сняли шинели? Было очень холодно, но они как ни в чем не бывало бросили на снег шинели и медленно, как бы нехотя пошли навстречу друг другу...

Луна была ясная, и, когда они остановились в двадцати шагах друг от друга, я, как на экране, увидела их в гимназических куртках, с ремнями и светлыми бляхами, на которых, казалось, можно было даже различить большие буквы «Л. Г.» — Лопахинская гимназия.

В ту пору я все выбирала — у меня была такая привычка. Среди учениц прогимназии Кржевской, которых я видела лишь издалека в их белых передничках и коричневых платьях, я выбирала подруг. Я выбирала дома, в которых мне хотелось бы жить. Сейчас из двух гимназистов, стоявших друг против друга, я выбрала того, который стоял слева. Он был высокий, прямой, с откинутыми назад плечами. Фуражка у него была надета низко, и нос из-под козырька казался неестественно длинным. Он смотрел мрачно, пристально, исподлобья. Но все-таки я выбрала его, потому что второй был какой-то неприятный — полный, с короткими ногами. Должно быть, ему было холодно, потому что время от времени он начинал трястись, торопливо дыша на дрожащие пальцы.

Мне тоже было холодно, и я бы охотно ушла — мама, должно быть, заждалась! Но это было невозможно, потому что я никак не могла понять, что они собираются делать.

И вдруг мне пришло в голову, что это дуэль.

Правда, я знала, что такое дуэль, и это хождение ночью в поле и разговоры были совершенно на нее не похожи. Я видела в кино, как настоящие мужчины дрались на настоящей дуэли. Они были красивые, в цилиндрах, и когда подоспела полиция, один был уже убит, а другой ранен.

Но и это была дуэль! Меня даже затрясло, так стало вдруг интересно. Очевидно, те, которые отмеривали шаги, уговаривали тех, которые стояли. Они доказывали что-то, убеждали — в чем и зачем? Но эти уговоры не привели ни к чему, потому что, совершенно одинаково махнув рукой, те, которые отмеривали шаги, достали откуда-то два револьвера...

В эту минуту облако нашло на луну, снег перестал искриться, лужок потемнел. По-прежнему молча стояли друг против друга два гимназиста, но точно что-то новое, страшное вдруг отделило их от двух других, которые отошли теперь далеко, как бы отчаявшись что-либо изменить. Мрачно, из-под низко надвинутой фуражки смотрел на своего противника первый гимназист. Крепко прижавшись к плечу щекой, выставив вперед ногу, испуганно-злобно и как бы с отчаянием смотрел второй.

Я хотела крикнуть им, что здесь нельзя стрелять — военный завод! Но было уже поздно. Полный гимназист поднял руку, выстрелил... И ничего не произошло, должно быть, промахнулся.

Теперь стал целиться другой, в надвинутой на лоб фуражке. Без сомнения, он нарочно целился так долго — то в лицо, то в живот. Наконец, сказав: «А, черт с тобой!» — он отвел руку и выстрелил в сторону. Он выстрелил в мою сторону, это я поняла еще прежде, чем услышала выстрел. Он выстрелил в меня и, кажется, попал, потому что я увидела небо — и вовсе не там, где оно было мгновение тому назад. Не там, над гимназистами, над полем, которое, переходя за Степановским лужком в косогор, поднималось к черной громаде завода, а высоко перед собой.

Только что мне было холодно, я не хотела, чтобы они стреляли, и волновалась. А теперь мне было не холодно, и я нисколько не волновалась. Я лежала и смотрела в небо. Я знала, что он попал в меня и убил и что сейчас все кончится навсегда.

Придя в себя, я прежде всего вспомнила эту минуту — когда почувствовала, что сейчас кончится не знаю что, но самое последнее в жизни. Я лежала, не открывая глаз, и думала. Было трудно вздохнуть, но все это происходило уже после той последней минуты. После! Я стала радостно, шумно дышать. И потом несколько раз возвращалась к этому счастливому «после».

Но где я? Что со мной? Что это за маленькая высокая комната с темным кругом на потолке? Какая-то таблица висела на стене, два одинаковых темно-красных комода стояли рядом, покрытые одной довольно грязной накидкой с кистями,— значит, я не в больнице? И не дома?

Я хотела привстать, оглядеться, но в эту минуту где-то очень близко за стеной раздались шаги и что-то тяжелое

стало толкаться о стены. С медленно бьющимся сердцем я долго слушала эти удаляющиеся, тяжело переступающие шаги. Огромный зверь вроде мамонта, которого я видела в «Природоведении» у Лельки Алмазовой, представился мне, и я почти увидела, как он спускается с лестницы, упираясь в стены боками.

Шаги умолкли, и с другой стороны, за стеной, послышались скрип пера и долгое невнятное бормотанье. Я прислушивалась, переставала, снова прислушивалась — все скрипело да скрипело перо, кто-то грустно бормотал за стеной.

Но самое главное заключалось в том, что в этой комнате я была не одна.

Он был совсем другой, чем вчера,— я еще не знала, что меня чуть живую привезли в этот дом не вчера. Тогда под тенью козырька у него было острое, злое лицо. А сейчас — доброе и веселое, как у ангела на картинке, которую мадам Гутман, хозяйка писчебумажного магазина, бесплатно выдавала всем, кто покупал у нее больше чем на пятьдесят копеек.

Подложив под щеку ладонь, скорчившись так, что подбородок упирался в колени, он крепко спал в старом кожаном кресле у моего изголовья. Он спал, хотя было утро или день и яркое солнце смотрело в окно, освещая странные домики с многоэтажными крышами, изображенные на выгоревших обоях.

Мне было трудно дышать, какие-то твердые бинты с палками на груди мешали мне, я не могла даже подняться на локте. Но я все-таки поднялась. Я долго разглядывала его. Он неслышно дышал, и вокруг было так тихо, как будто дом был заколдован и все остановилось в этой солнечной, однообразной тишине, прерываемой лишь скрипом пера да сонным бормотаньем за стеной. К счастью, мамонт больше не спускался с лестницы, хотя теперь мне даже немного хотелось, чтобы он спустился еще раз.

Зато я сама куда-то спускалась, очень медленно — как будто даже нарочно так медленно, чтобы не было страшно...

Когда я очнулась или проснулась снова, был уже вечер, потому что пагоды на стене — я потом узнала, что эти зданьица с многоэтажными крышами называются «пáгоды»,— были красными от заходящего солнца. Два голоса спорили надо мной, и, прежде чем совсем открыть глаза, я несколько раз приоткрывала их и опять закрывала.

— Мало того что ты чуть не утопил мальчика из прекрасной семьи,— сердито говорил женский голос,— теперь еще эта история, о которой говорит весь город! Имей в виду, что больше я не ударю пальцем о палец! Расхлебывай сам эту кашу. Тебя исключат...

Вот тут я в первый раз широко открыла глаза. Я увидела полную даму в пенсне, которая, гордо закинув голову, смотрела куда-то мимо меня. У нее была старомодная твердая прическа с валиком — таких уже давно никто не носил, и мне показалось, что все на ней такое же твердое, как эта прическа,— юбка до земли, шнурок от пенсне. Даже боа (она была почему-то в боа), которому по природе полагается быть мягким, тоже как-то твердо лежало на ее полных плечах. Давешний гимназист, улыбаясь, стоял у меня в изголовье.

— Мамочка, честное слово, не стоит так волноваться! В крайнем случае переведут куда-нибудь... И еще лучше! На пари — золотая медаль!

— Не переведут, а исключат.

— Однако Раевского не исключили.

— У Раевского отец — директор банка.

— Тем более! Неудобно же его оставить, а меня исключить.

Полная дама сняла пенсне, и я увидела, что ее близорукие глаза были полны слез.

— Да что говорить,— сказала она и безнадежно махнула рукой.— Никогда я не думала, сколько будет горя с тобой. И так бьешься как рыба об лед, только и думаешь, как бы вытянуть вас, а ты...

Она хотела уйти, но гимназист обнял ее, даже не обнял, а обхватил сверху, потому что оказалось, что она ему едва по плечо.

— Конечно, плохой, что же делать? — с нежностью сказал он.— Но ведь я же слово дал, вы об этом забыли? Если Таня поправится...

Я смотрела на него через щелки век, но, когда он сказал «Таня», поскорее снова закрыла глаза.

Они еще спорили, но я больше не слушала их. Мне стало так страшно, что я не поправлюсь, что я даже сжала колени и положила ладони на грудь. Нужно было сделать что-нибудь — встать или крикнуть.

— Мамочка!

Полная дама вздрогнула и бросилась ко мне.

— Очнулась? Таня, милая! Очнулась?

— Очнулась? — дрожащим голосом спросил гимназист.

Он выбежал, и из комнаты в комнату стало передаваться: «Очнулась, очнулась!» Сперва переспросил высокий мальчишеский голос, потом старческий — кажется, тот самый, который только что бормотал за стеной. Залаяла собака, захлопали двери, и старик в длинном сюртуке, в измятых штанах, засунутых в огромные боты, вошел и, опираясь на две палки, остановился в дверях.

Я снова закричала:

— Мамочка!

Все стало сдваиваться перед глазами, домики с многоэтажными крышами снялись со стен и рядами стали уходить от меня.

Полная дама взволнованно сказала кому-то: «Полотенце!» — и, называя мою мать по имени-отчеству — это поразило меня,— послала кого-то за ней. Страшный старик, тяжело опираясь на палки, подошел к моей постели и не сел, а свалился в кресло. Он взял меня за руку и стал прислушиваться, глядя прямо в мое лицо грустными глазами. И все на цыпочках вышли.

Возможно, что он поил меня с ложечки какой-то жидкостью, довольно приятной на вкус, которую непременно нужно было выпить — так он сказал, — чтобы пришла моя мама. Я послушалась, и правда — мама пришла, и я, как всегда, немного огорчилась, что у нее такие черные, провалившиеся глаза и такая морщинистая, худая шея.

Я сказала ей:

— Мама, возьми меня домой.

Она поцеловала меня и стала говорить, что теперь — скоро, а прежде нельзя было, доктор не велел. Я уснула, держа ее руку в своей.

О чем рассказал Андрей

Мальчик лет тринадцати в гимназической серой рубашке неторопливо подошел ко мне, когда я очнулась. Он был чем-то похож на давешнего гимназиста, и я подумала, что они, наверное, братья. У того были веселые серые глаза, а у этого тоже серые, но тяжелые, с ленивым выражением.

— Тебе нужно что-нибудь? — спросил он.— Хочешь чаю?

Я покачала головой.

— Ничего не ела целый день,— медленно сказал мальчик.— Ну, хлеба с маслом? Съешь, пожалуйста, а то мне неприятно, что ты голодная.

Я сказала:

— Потом.

— Ладно.— Он подумал.— А теперь вот что: ты имей в виду...

Он смотрел прямо на меня — даже не смотрел, а разглядывал,— и так внимательно, что мне стало неловко.

— Ты имей в виду, что все это вранье.

— Что вранье?

— А вот что мать говорит, что она к тебе привязалась. Она твоей матери сказала, я слышал. Это невозможно хотя бы потому, что ты все время была без сознания. К тебе можно было так же привязаться, как к бревну. Она это утверждает, чтобы твоя мать не подняла шуму. То же самое и насчет прогимназии.

— Какой прогимназии?

— Когда ты поправишься,— задумчиво продолжал мальчик,— она обещала отдать тебя в прогимназию Кржевской.

— Меня? В прогимназию Кржевской?— Я открыла рот, чтобы не задохнуться от счастья, и поскорее положила руку на грудь. Я буду ходить в коричневом платье с черным передником, носить книги на левой руке, учить уроки, получать отметки...

— Твоя мать портниха?

— Да.

— Значит, ты бедная?

Я пробормотала:

— Не знаю.

— Наверно, бедная, если даже не можешь поступить в прогимназию Кржевской. Мы тоже бедные, хотя мать почему-то не хочет в этом сознаться.

Он помолчал.

— Тебе интересно, что происходит в душе?

Я сказала, что интересно.

— Один день я совершенно не врал. Кажется, что это очень мало. А на деле — много, потому что большинству людей приходится врать буквально на каждом шагу. Например, ты утверждаешь, что не хочешь чаю. Это вранье из вежливости. Ты вежливая и поэтому врешь. Бывает вранье от гордости, страха и так далее. Я соста-

вил таблицу — видишь, висит на стене. Я тебе ее потом объясню.

Он вышел и через несколько минут принес мне стакан чаю и два сухаря.

— Да, здорово тебе досталось,— сказал он, поставив чай и сухари на комод (так, что я все равно не могла их достать) и забираясь в кресло с ногами.— Просто чудо, что ты осталась жива. Очевидно, крепкий организм. Он трое суток возле тебя просидел.

— Кто?

— Митька. Сам чуть не умер. Возможно, что он тебя жалел, раскаивался. Но, по-моему, он боялся не того, что ты вообще умрешь, а того, что если ты умрешь, его отправят на каторгу или в арестантские роты. Впрочем, полной уверенности у меня нет, так что пока ты думай что хочешь.

Я помолчала. Мне было приятно, что он так серьезно со мной говорит.

— У меня мать боится городовых,— снова сказал мальчик.— Это странно, потому что она ни в чем не виновата. Но, видя городового, она становится очень любезной, чего не бывает почти никогда. Она их подкупает.

— Зачем?

— Они приходят с протоколами на Митьку, и она каждый раз дает им по рублю. В среднем это выходит по пяти рублей в месяц. Но, конечно, то, что он тебя чуть не убил, обойдется дороже... Это уже бенефис. Ты застрахована?

Я не знала, что такое «застрахована», но на всякий случай сказала, что да.

— Тогда придется еще и твою страховку платить.

Он увидел чай и сухари на комоде, и у него стало расстроенное лицо.

— Ах, так?— сказал он и правой рукой стал закручивать кожу на левой. Он ущипнул себя, изо всех сил закрутив кожу.— Не удивляйся,— добавил он и улыбнулся, хотя я видела, что ему очень больно.— Это я отучаюсь. Понимаешь?

— Нет.

— От рассеянности.

Он взял чай с комода и поставил на стул, у моей постели.

— Пей, пожалуйста. Что тебе еще принести? Ты ведь теперь можешь жевать?

— Могу.

— Вот и хорошо. Я тебе еще принесу хлеба с маслом.

Вот что рассказал мне Андрей — так звали этого мальчика. Оказывается, когда Митя выстрелил в меня, я так закричала, что ему потом чудился этот крик до утра. Они подбежали ко мне, но долго не могли понять, что случилось, пока не заметили, что у меня на груди платок весь мокрый от крови. Раевский предложил отправить меня в больницу, но Митя сказал: «Я это сделал, я и буду отвечать»,— и повез меня к Агнии Петровне, к той полной даме в пенсне, которая была, как я потом узнала, матерью Андрея и Мити.

— Но возможно, что как раз наоборот,— заметил в этом месте Андрей.— Он боялся, что придется отвечать за тебя, и именно поэтому настоял, чтобы тебя не отправляли в больницу.

Так или иначе, но меня привезли в этот дом, когда я уже почти не дышала. Агния Петровна чуть не сошла с ума. Митя тоже был в таком отчаянии, что пришлось отнять у него револьвер, чтобы он не покончил с собой.

Главный врач военного госпиталя, которого он разбудил в два часа ночи и от которого не ушел, пока этот врач-генерал не согласился поехать, сказал, что меня нельзя трогать с места. Он сказал, что я все равно, вероятно, умру, но если меня начнут таскать, то я умру очень скоро. Пуля прошла очень близко от сердца, к счастью навылет, и только слегка задела что-то такое, без чего совсем нельзя жить, даже десять минут.

И вот меня уложили, а Митя уселся подле моей постели и не уходил трое суток, пока наконец сама Агния Петровна не уговорила его отдохнуть.

Несколько раз мне было совсем плохо. Тогда Агния Петровна плакала и говорила, что Мите обеспечены арестантские роты. Мою мать она всячески стремилась подкупить — во-первых, деньгами, а во-вторых, прогимназией Кржевской. Но мать не понимала, чего от нее хотят, и бессмысленно уверяла, что я все равно поправлюсь. «Бессмысленно»,— так сказал Андрей, но я-то поняла, что совсем не бессмысленно, а потому что она гадала на меня и вышло, что я поправлюсь.

Глаша Рыбакова тоже приходила ко мне, но Агния Петровна ее не пустила.

— А кто эта Глаша Рыбакова?

— Да, ведь ты не знаешь,— сказал Андрей.— Это барышня, в которую влюблены Раевский и Митя.

Глаша была гимназисткой восьмого класса. Она была красавица, но Агния Петровна не хотела, чтобы Митя женился на ней, во-первых, потому, что ее родители были какие-то темные люди, а во-вторых, потому, что у нее брат «зачитался» и его отправили в сумасшедший дом. Зачитался — это означало, что он прочел больше книг, чем могла переварить его голова. Но Агния Петровна утверждала, что это только предлог, а на самом деле все Рыбаковы идиоты. Об этом она часто спорила с Митей, и однажды Андрей слышал, как Митя сказал, что он все равно женится на Глашеньке, потому что иначе у него будет «кукольный дом». А Агния Петровна сказала, что для Мити Ибсен важнее, чем мать. Ибсен был писатель, в которого Митя верил как в бога и который, оказывается, написал пьесу «Кукольный дом».

Все это было очень интересно, хотя я и не все поняла. Красавица — вот что меня поразило! Как наяву, я увидела ее с распущенными белокурыми волосами, в бальном платье с белым атласным корсажем. Таких красавиц я видела на новогодних открытках.

— А она знала, что они собираются драться?

Оказывается, знала. Один из секундантов заехал к ней накануне, но она засмеялась и сказала, что она тут вообще ни при чем.

— Это подло, правда?— спросил Андрей, подумав.

Я согласилась, что подло.

Что же произошло после этой дуэли? Ничего особенного! Исправник вызвал Агнию Петровну, и если бы у него не стоял на прокате самый лучший концертный рояль, за который он уже целый год ничего не платил, Митя был бы выслан в уезд. При чем тут концертный рояль — это было не очень-то ясно. Но Андрей не стал объяснять, а я только подумала и не спросила.

«Депо проката роялей и пианино»

«Депо проката роялей и пианино» — вот как назывался этот дом, в котором я лежала и поправлялась, хотя врач-генерал объявил, что я непременно умру. Я и прежде знала, что в нашем городе существует такое депо. Это была первая вывеска, которую мне удалось самостоятельно прочитать, и я на всю жизнь запомнила большие белые буквы

с веселыми хвостиками на ярко-зеленом фоне. Правда, мне казалось, что в этом депо, так же как и в пожарном, должна быть вместо лестницы дырка со столбом, по которому можно мгновенно спуститься вниз в случае тревоги. Но хотя дырки не оказалось, все-таки это был не совсем обыкновенный дом, навсегда оставшийся для меня именно «депо», то есть местом, где все происходит неожиданно и ничего нельзя предсказать. Неожиданно, например, за стеной появлялись мамонты, спускались и поднимались по лестнице — это грузчики таскали вверх и вниз тяжелые инструменты.

Кстати, это стало одним из воспоминаний моего детства: крики на лестнице: «Тащи, заходи!» — и беспомощно плывущий по воздуху рояль, похожий на какое-то животное, у которого только что отрубили ноги.

Я провела у Львовых шесть недель. Но все, что я увидела и услышала в «депо», было так ново для меня, что эти шесть недель еще и теперь кажутся мне чем-то очень долгим, интересным и стоящим как бы отдельно от того, что случилось потом. Конечно, мне запомнилось только самое главное, то, что поразило меня, когда врач позволил мне вставать. Я обошла всю квартиру и в каждой комнате нашла самое главное, а уже за ним, в отдалении, нарисовалось — и рисуется до сих пор — все остальное. Таким самым главным в комнате Андрея, где я лежала, отгороженной двумя комодами и полинялым ковром от столовой, была «таблица вранья», на которой он каждый вечер отмечал, сколько раз ему пришлось соврать и по какой причине.

Посреди таблицы шла зигзагами синяя линия —«кривая», как объяснил мне Андрей. При помощи «кривой» он определял силу и зависимость вранья от различных обстоятельств жизни. Таблица висела над изрезанным столом, который был завален тетрадками — не Андрея, а Мити и вообще старшего поколения, учившегося в той же Лопахинской гимназии. Эти тетрадки тоже поразили меня. Все, что угодно, можно было найти в них: и труднейшие алгебраические и геометрические задачи с решением, и письменные работы по латыни, и русские сочинения на любую тему. Не только Андрей, но весь его 4-й класс «Б» списывал с этих тетрадок. Это называлось «заглянуть к Шнейдерману». Шнейдерман был старший брат одного из Митиных товарищей и учился давно, лет десять назад. У него все было правильно решено, а по домашним сочинениям всегда стояло не меньше «четырех с плюсом».

В столовой самым главным для меня был портрет белокурого молодого человека с бородой и усами, в таком высоком стоячем воротнике, что сразу становилось ясно, почему у молодого человека такой растерянный, полузадушенный вид. Андрей сказал, что это «шарж на отца», то есть что художник нарочно нарисовал отца в смешном виде, чтобы друзья и знакомые подсмеивались над ним. Отец Андрея и Мити был известный адвокат, которого в Киеве черносотенцы убили камнем, когда он ехал из суда в открытой пролетке. После этого Агния Петровна с детьми уехала из Киева и поступила к фабриканту Юлию Генриху Циммерману, который открыл в Лопахине одно из своих «депо». Дом, в котором помещалось «депо», принадлежал Циммерману, и за свою квартиру Агния Петровна тоже платила ему.

В Митиной комнате самым главным была лежавшая на столе запаянная стеклянная трубка, о которой Андрей сказал, что это яд кураре и что одной капли этого яда достаточно, чтобы отравить сто семьдесят шесть человек. А сто семьдесят седьмой уже не умрет, но на всю жизнь останется инвалидом. Тут же он добавил, что, вероятно, это вранье и что в данном случае Митя врет «из желания порисоваться». Я не знала, что такое «желание порисоваться», и решила, что Митя просто хочет, чтобы его нарисовали. Таким образом, от меня надолго ускользнула таинственная связь между ядом кураре и этим невинным желанием.

Кроме яда кураре, у Мити на столе стояли пепельница из черепа и красная голова какого-то старика с острой бородкой и разлетающимися бровями.

Андрей сказал, что это бес Мефистофель и что он выведен в знаменитой опере «Фауст». На лысой голове Мефистофеля, на бородке и даже на носу было множество надписей и изречений — некоторые очень странные и запомнившиеся мне навсегда. На носу было написано: «Гений или безумство!» Я спросила у Андрея, что такое гений, и он ответил, что гений — это, например, Шнейдерман.

В комнате Агнии Петровны самым главным было то, что комната была красная. Обои, гардины, кушетка с двумя низенькими пуфами по бокам, ковер над кушеткой, абажур на толстых шнурах — все было красное или розовое, но розовое лишь потому, что выгорело на солнце. Это было устроено очень давно и не для Агнии Петровны, а для

ее сестры, которая никак не могла выйти замуж. По мнению Андрея, у нее была «отталкивающая внешность». Но на фоне этой красной комнаты ее внешность уже не так отталкивала, так что в конце концов один пожилой ветеринарный врач сделал ей предложение. И сестра уехала, а комната так и осталась красной. Андрей сказал, что если в эту комнату поместить быка, он сначала взбесится, а потом увидит, что абсолютно все красное, и станет смирным, как теленок.

Комнату, которая находилась рядом со мной, занимал родной брат Агнии Петровны, дядя Павел, который так напугал меня, когда я очнулась. Он был больной и очень старый, чуть не на двадцать пять лет старше Агнии Петровны. Это он постоянно скрипел пером и бормотал за стеной. Но когда я присмотрелась к нему, мне показалось, что он не такой уж страшный. Стуча своими двумя палками, согнувшись пополам, он ходил по дому.

Дядя Павел был доктором, но уже давно почти никого не лечил. Зато он писал, и стоило заглянуть к нему в комнату, чтобы убедиться в том, что это у него получалось прекрасно. Вся комната была завалена бумагой, исписанной отчетливым мелким почерком — каждая буква отдельно. Под столом, на окнах, на шкафу — всюду лежали журналы, из которых торчали закладки. Он писал «труд», как сказал мне Андрей.

Все у Павла Петровича было ветхое и старомодное: ковровое кресло с выдвижной скамейкой для ног, столик для курения, висевшая над постелью выцветшая малиновая скатерть, оклеенная голубыми раковинками туфля для часов и очень много фотографий, на которых была одна и та же красивая дама — то в бархатном платье с длинным шлейфом, то в шлеме и латах, то в русском национальном костюме. Сам доктор тоже был снят — еще совсем молодой, с бородой и усами, в цилиндре и в белом жилете.

В комнате было два окна с широкими подоконниками. На одном стоял прибор, о котором Андрей сказал, что это микроскоп, вроде подзорной трубы, но подзорная труба увеличивает в сто раз, а микроскоп — в тысячу. На другом подоконнике было много стеклянных трубочек, заткнутых ватой, и в старом, треснувшем стакане постоянно лежало что-нибудь заплесневелое — кусочек сыру или апельсинная корка. В комнате всегда немного пахло плесенью, и от самого Павла Петровича — тоже.

Такая же ветхая, как и все в этой комнате, фисгармония стояла в углу. Иногда доктор играл на ней, и тогда фисгармония начинала вздыхать, как будто она была живым существом, которому нужно было набрать воздуху, чтобы не задохнуться.

Скоро домой

Мама приходила ко мне каждый день, одетая нарядно, в кашемировой шали, которую она надевала только по праздникам или когда шила у Батовых — был в Лопахине такой богатый купеческий дом.

Мне не нравилось, что, когда входила Агния Петровна, мама начинала говорить о забастовках на кожевенном или о том, что в Германии тоже голод, так что запрещено крахмалить белье, и Вильгельм II лично приказал чистить не сырой, а вареный картофель. Вообще что-то изменилось в маме за те дни, что я лежала у Львовых. Казалось, она была еще чем-то глубоко расстроена — не только тем, что случилось со мной.

Я думала об этом, а потом забывала.

Мне было некогда — просто не запомню, когда еще я была так занята! Андрей дал мне книгу «Любезность за любезность», я читала ее каждый день и каждый день узнавала такие вещи, которые прежде не могли мне даже присниться.

Суп, оказывается, нужно было есть совершенно бесшумно, причем ложку совать в рот не сбоку, а острым концом. Подливку не только нельзя было вылизывать языком, как я это делала постоянно, но даже неприличным считалось подбирать ее с тарелки при помощи хлеба. Пока девушка не замужем, она, по возможности, не должна выходить со двора одна или с двоюродным братом. Нельзя было спросить: «Вам чего?», а «Извините, кузина, я не поняла», или: «Как вы сказали, дедушка?» В спальне молодой девушки все должно, оказывается, дышать «простотой и изяществом». С родителями — вот это было интересно! — следовало обращаться так же вежливо, как и с чужими. Дуть на суп нечего было и думать, но зато разрешалось тихо двигать ложкой туда и назад для его охлаждения.

Но больше всего меня поразило, что при всех обстоятельствах жизни девушка должна быть «добра без слабости, справедлива без суровости, услужлива без унижения, остроумна без едкости, изящно-скромна и гордо-спокойна».

Я представляла себе жизнь по книге «Любезность за любезность»: муж в крахмальном воротничке сидит и читает газету; дети тоже сидят и молчат, потому что за столом, кроме «мерси», дети не должны произносить ни слова; никто не сопит, не зевает, не хлебает громко и не дует на суп. Вдруг приносят телеграмму: неприятное известие — мы разорены. Я читаю и остаюсь изящно-скромной и гордо-спокойной.

Да, это была интересная книга, хотя она надолго отравила мне жизнь: почти полгода я не могла двинуть ни рукой, ни ногой, не вспомнив прежде, что советует по этому поводу «Любезность за любезность».

Но, конечно, не только эта книга заставила меня на время совершенно забыть свою прежнюю жизнь.

Прежняя жизнь — это был трактир Алмазова, в котором однажды я полдня простояла на коленях за пятнышко на столовом ноже. Это были поздние возвращения домой, сперва очень страшные и тоскливые, а потом привычные и все-таки страшные, особенно когда я поднималась на Ольгинский мост и картина бедного посада, раскинувшегося между рекой и полем, издалека открывалась передо мной. По крутой обледеневшей лестнице я спускалась на набережную, и голые, черные тополя встречали меня глухим звоном ветвей.

Прежняя жизнь — это была наша комната в доме «личнопочетного гражданина Валуева» (как было написано на доске у ворот), в деревянном двухэтажном доме с такими тонкими перегородками, что мы с мамой привыкли шептаться, хотя нам нечего было скрывать от соседей. Как я ни была мала, но уже тяготилась знанием всего, что каждый час происходило в доме.

Прежняя жизнь — это была, например, Лелька Алмазова, которая, возвращаясь после уроков, нарочно проходила мимо меня со своей круглой заячьей муфточкой на шнурах, муфточкой, которая так нравилась мне, что один раз мне даже приснилось, что я ее съела. Лелька была дочерью хозяина и училась в прогимназии Кржевской.

Да мало ли чем еще была эта прежняя жизнь!

Так или иначе, она волшебно оборвалась в то мгновение, когда, сказав: «А, черт с тобой!» — высокий гимназист в сдвинутой на лоб фуражке направил на меня револьвер.

Оборвалась, и я нисколько не жалела об этом. Напротив, с тоской думала я о том, что пройдут две или три не-

дели, и все это — трактир Алмазова, тополя, мамин шепот и ее непонятные слезы по ночам — все начнется снова, а то, что я увидела и узнала в «депо», так и останется в «депо» навсегда. И больше всего я жалела, что не будет наших удивительных разговоров с Андреем.

Он приходил ко мне каждый день после гимназии, и я уже ждала его, хотя, конечно, не подавала виду и, когда он входил, всегда оставалась «гордо-спокойной». Книги, стянутые ремешком, летели на пол, он усаживался в кожаное кресло и сразу начинал говорить. Когда я рассмотрела его, он оказался довольно плотным мальчиком с широкими плечами и широкой грудью. Но первое впечатление медлительности, пристального внимания и озабоченности чем-то таким, что для других людей не представляет интереса, сохранилось и даже стало сильнее.

В те дни, когда я поправлялась и уже начинала понемногу вставать, он был озабочен главным образом Митиными делами.

— Возможно, Митя даже не боится, что его исключат,— сказал он мне однажды,— потому что он уверен, что скоро будет революция, а после революции могут стать совершенно другие законы. У них в классе есть один монархист.

Я не знала, кто это монархист. В подобном случае полагалось «учтиво молчать». Я промолчала.

— Все остальные — эсеры, эсдеки и три кадета,— продолжал Андрей.— А монархист — один Катык. Знаешь «Гильзы Катыка»? Но это тоже вранье. Просто он хочет отличаться хоть чем-нибудь от других.

Мне захотелось спросить, зачем Катыку отличаться хоть чем-нибудь от других, но, чтобы не попасть впросак, я промолчала. Впрочем, куда больше меня интересовало другое, и, постаравшись придать своему лицу «изящно-скромное» выражение, я спросила Андрея, как он думает: женится ли Митя на Глашеньке Рыбаковой?

— Женится,— подумав, сказал Андрей.— Но для него это не имеет большого значения. Мама говорит, что это первая любовь, хотя, по-моему, не первая, потому что Митя уже несколько раз собирался жениться.

Насчет первой любви я прочитала, что она «не хочет быть подмеченной посторонним взглядом». Но это, очевидно, не имело отношения к нашему разговору, хотя бы по той причине, что насчет Митиной первой любви, о которой

говорил весь город, нельзя было сказать, что она «не хочет быть подмеченной посторонним взглядом».

— Ему вообще не так легко жениться,— помолчав, продолжал Андрей.— У него ведь компания.

— Какая компания?

— Зернов, Ковалевский, Лазарев, Колышкин из «А» класса и Рубин. Эта компания на него влияет, чтобы он не женился, особенно Рубин. Но если Митя решится — кончено! Увезут.

— Кого?

— Глашеньку. Увезут на тройках в Петров, и ищи ветра в поле.

Петров был соседний городок.

— У них все за одного, один за всех. Знаешь, что у них на выпускном жетоне будет написано? «Счастье — в жизни, а жизнь — в работе». Между прочим, я почти согласен с этим девизом. Хотя что счастье — в жизни, это глупо. Несчастье — тоже в жизни. Но они таким образом выводят, что счастье — в работе. Это, пожалуй, верно. Как ты думаешь?

Я сказала, что смотря какая работа...

Самого Митю я почти не видела. С тех пор как я очнулась и главный врач-генерал объявил, что как это ни странно, но я, очевидно, поправлюсь, Митя исчез и совершенно перестал интересоваться моей судьбой. Только раз, заглянув в мою комнату, он спросил бодрым, равнодушным голосом: «Ну, как дела, Татьяна? Вид прекрасный!» — хотя у меня не мог быть прекрасный вид, потому что я в тот день объелась стручками.

Андрей сказал, что это для него характерно.

— В данном случае ты — это прошлое,— объяснил он.— А для людей типа Мити прошлое вообще не имеет большого значения.

Мама сказала, что на днях возьмет меня домой, и каким же коротким показалось мне это «на днях» в сравнении с теми длинными, однообразными годами, которые я должна была провести в посаде Замостье. Агния Петровна подарила мне книгу — сочинения Пушкина, а маме — свое старое бальное платье из шелка дамасэ, покрытое тюлем, по которому были нашиты блестки. Уже меня пригласили к столу и был подан обед, который никто не называл прощальным, но который все-таки был прощальным, потому

что меня в первый раз пригласили к столу. Между прочим, за этим обедом я поразила весь дом своей вежливостью, ни разу не спросив: «Чего?», а говоря: «Как вы сказали, Агния Петровна?», или: «Извините, дедушка, я не поняла». На суп я, правда, подула, но сразу же спохватилась и стала двигать ложкой туда и назад для его охлаждения.

Уже Андрей спросил меня равнодушно:

— Уезжаешь?

И соврал, потому что он вовсе не был так уж равнодушен к тому, что я уезжаю.

Уже мне представилось, как я буду прощаться с пагодами на обоях, с кожаным креслом, с кругом от керосиновой лампы на потолке, на который я всегда смотрела, засыпая. В последний раз я услышу стук посуды, доносившийся из столовой, вздохи старой фисгармонии, голоса Митиных друзей, каждый вечер споривших о старшем брате Рубина — «политическом», который был арестован в прошлом году. Уже я уложилась, то есть завязала в платок две книги, рукоделие и резинку «Слон», которую подарил мне Андрей. И вдруг обо мне забыли! Весь дом, начиная с Агнии Петровны и кончая прислугой Агашей, оказался так занят, что обо мне забыли, и я осталась у Львовых еще на несколько дней.

Старый доктор

В комнате Андрея были антресоли, большая полка под потолком для хранения вещей. Время от времени Андрей приносил стремянку и доставал с антресолей «Ниву» — иллюстрированный еженедельный журнал, выходивший в СПб. с 1869 года. Эту «Ниву» Андрей решил прочитать всю и, когда я лежала у Львовых, уже дошел до 1904 года.

Но на этот раз со стремянкой явилась Агаша. Пыхтя, она влезла на антресоли — снаружи остались торчать только толстые голые пятки — и спустилась вниз с большим чемоданом.

— Поехали в Петроград,— сказала она и ушла.

Я не очень удивилась, потому что знала от Андрея, что Агния Петровна иногда ездила в Петроград. Там жил Юлий Генрих Циммерман, которому принадлежало лопахинское «Депо проката». На некоторых роялях и пианино его фамилия была написана по-немецки. Кроме того, Агния Петровна ездила в Петроград за артистами. Она занималась

устройством концертов, и в этом отношении у нее, по мнению Андрея, были большие заслуги.

В Петроград она собралась поехать за артистами — так я поняла Агашу.

Ничего подобного! Агаша вернулась, снова полезла на антресоли, на этот раз за ремнями, и, спустившись, объявила, что Агния Петровна едет к министру.

— Едем к графу-министру,— сказала она загадочно.— А там — что бог даст. Так не оставим.

Мы с Агашей подружились за тот месяц, что я лежала у Львовых. Она была толстая, пугливая и все любила представлять в таинственном виде.

Я спросила:

— К графу или министру?

— К графу-министру,— строго повторила Агаша.— Будем жаловаться.

И она опять ушла, погрозив кому-то ремнями. Это было интересно, хотя загадочный граф-министр существовал, разумеется, лишь в воображении Агаши. Я сунулась за ней на кухню, но она выгнала меня. Немного огорченная, я принялась за книгу. Вот кто-то постучал, Агаша открыла, и мужской голос спросил, дома ли Митя. Мити не было дома.

Вот Агния Петровна прошумела платьем по коридору, и я услышала, как она приказала Агаше звать ее, если будут спрашивать Митю, а сама торопливо вернулась к себе и закрыла двери на ключ. Что-то тревожное почудилось мне в этих быстрых шагах, хлопанье дверей, щелканье замка, даже в шуме ее тяжелого платья. Должно быть, на этот раз Митя действительно «устроил бенефис», если нужно было хлопотать за него в Петрограде.

Старый доктор вздохнул за стеной, и я вдруг решила пойти к нему — может быть, он скажет мне, что случилось?

На цыпочках я прошла через все комнаты и заглянула к нему — дверь была приоткрыта.

— Здравствуйте, дядя Павел.

Он кивнул и продолжал писать. Прежде он писал неторопливо, приставляя одну круглую буквочку к другой. А сегодня — я посмотрела — очень быстро, неразборчиво и уже поставил несколько клякс, но не обратил на них никакого внимания.

Я сказала любезно:

— Вы сегодня гуляли, дядя Павел? Мороз семь градусов, но день прекрасный.

Старый доктор поднял левую руку и помахал — очевидно, чтобы я замолчала. Я хотела уйти, но он снова помахал — очевидно, чтобы я оставалась. Я осталась. Он писал молча, с крепко сжатыми губами. Перо сломалось, он пробормотал энергично «черт!» и схватил другое.

Это продолжалось долго — так долго, что мне стало казаться, что это было всегда: старый доктор всегда сидел и писал, а я всегда смотрелась в зеркало над умывальником и строила рожи. Теперь, когда я стала худенькая и бледная после болезни, с этими скулами, большими глазами и косичками, которые в разные стороны торчали над ушами, у меня стали выходить великолепные рожи. Потом я посмотрела на доктора, на его согнутую спину. Что он пишет? О чем думает в эту минуту? Почему не хочет, чтобы я уходила? Как это странно, что я думаю об одном, а он — совершенно о другом! Я пришла, чтобы спросить о Мите, что случилось и зачем Агния Петровна собралась в Петроград. А он и не думает об этом. Он пишет «труд», и ему все равно, чем заняты Агния Петровна, и моя мама, и Агаша, и Митя. Не знаю, как передать это чувство, но в ту минуту я впервые сознательно оценила ход чужой мысли, которая стремится вперед, не обращая внимания на тысячи других маленьких мыслей, окруживших ее со всех сторон.

Наконец доктор оставил свое писание. Он снял очки, и я увидела его круглые грустные глаза с ободком вокруг цветного колечка, как это бывает у очень старых людей.

— Вот слушайте,— сказал он.

Он сказал «слушайте», как будто перед ним был весь мир, а не одна-единственная худенькая девочка с косичками, которая не поняла ни слова из того, что он прочитал. Сперва эта девочка слушала внимательно, потом устала и снова начала коситься в зеркало, с трудом удерживаясь, чтобы не состроить еще одну рожу. Потом выпрямилась, вспомнив, что нужно сидеть, не касаясь спинки стула.

А доктор все читал. Глаза его сияли, красные пятна выступили на щеках, там, где борода переходила в мягкую, симпатичную шерстку под глазами. Он спорил о чем-то и один раз, рассердившись, даже ударил кулаком по столу.

В другом месте он закинул голову и с детским торжеством взглянул на меня из-под очков. Улыбаясь, он два раза с расстановкой повторил какую-то фразу. Он лукаво прищуривался, закусывал бороду, поднимал брови и умолкал, как будто ожидая от меня возражений.

Через много лет среди его рукописей я нашла эту страницу. Я узнала ее по кляксам и еще по тому, что одна из клякс была чем-то похожа на кошку. Вот что старый доктор писал о задачах науки:

«Пытаться объяснить достоверные, но кажущиеся поразительными факты как следствие других, уже давно известных. Подорвать их необычайность. Рассеять видимость чудесного. Познакомить человечество с новыми и действительно чудесными явлениями, перед которыми бледнеют мнимые чудеса...»

Он замолчал и, совершенно забыв обо мне, стал переделывать какую-то фразу. Я посидела еще немного и побежала к себе, потому что кто-то опять спросил Митю и Агния Петровна разговаривала с пришедшим в передней, а из моей комнаты было слышно все, что происходило там.

Это пришел Митин товарищ, Рубин, маленький, удивительно черный и умевший широко открывать один глаз, а другой в то же время закрывать без единой морщинки. Это получалось смешно. Андрей говорил, что Рубин — самый спокойный человек на свете и что он только один раз в жизни потерял равновесие: когда его старшего брата, студента, посадили в тюрьму. Старший Рубин был большевиком — об этой партии мне почти ничего не удалось узнать от Андрея.

— Приятная новость, нечего сказать,— в десятый раз повторила Агния Петровна.— Только этого еще не хватало!

— Агния Петровна,— сказал Рубин,— по-моему, это все подлец Борода.

«Борода» было прозвище латиниста.

— При чем тут Борода? Где Митя?

— Ей-богу, не знаю. Логически он должен быть дома. Но поскольку он находится под влиянием некоего алогического чувства, он может в данный момент оказаться вне дома.

— То есть он у Глашеньки? — с гневом спросила Агния Петровна.

— Возможно.

— Так вот иди к нему и скажи, что если он не явится сию же минуту...

И она сказала то, что говорила всегда: что она никуда не поедет, не ударит пальцем о палец, и так далее.

Рубин ушел, в передней стало тихо, и я бесшумно при-

открыла дверь. Сквозь щелку была видна не вся Агния Петровна, но даже и по ее щеке, по руке с кольцами, которую она держала у виска, можно было заключить, что она глубоко расстроена и не знает, на что решиться. Мне захотелось сказать ей, что все обойдется, но в эту минуту опять постучали. Агния Петровна открыла, и в шинели нараспашку вошел улыбающийся, но взволнованный Митя.

— А, это ты? — странным голосом спросила Агния Петровна.— Что, доигрался?

Он перестал улыбаться, и лицо стало, как во время дуэли, напряженным и мрачным, с пристальным взглядом.

— Пойдем ко мне и поговорим,— повелительно сказала Агния Петровна.— Я сегодня еду.

И они ушли. Это было уже не просто интересно — это была какая-то тайна, и я не могла найти себе места, дожидаясь, когда Андрей вернется из гимназии и расскажет, в чем дело.

Наконец он явился. Я увидела его через кружок, который надышала на замерзшем стекле. Нос и рот у него были запачканы чем-то темным, но мне и в голову ничего не пришло — так неторопливо и важно он шел. Только когда, присев на корточки, он стал прикладывать снег к лицу, я поняла, что это кровь, потому что снег сразу становился красным.

Не знаю, что удержало меня,— я едва не выбежала к нему из дому. Может быть, то, что он в это мгновение оглянулся — наверное, не хотел, чтобы кто-нибудь видел, как он сидит у крыльца и прикладывает снег к разбитому носу.

Но вот он постучался. Агаша открыла, и, отвернувшись от нее, он быстро прошел в комнату Мити. Я сразу побежала за ним, постучалась, позвала. Не тут-то было!

— Кто там?

— Это я! Таня!

— Приходи через час,— сказал Андрей.— Или вот что: приходи завтра.

Загадка

Сани стояли у подъезда, заиндевевшая лошадь была похожа на косматого яка в оглоблях, и, хотя кружок на стекле замерз, я все-таки узнала по крупной, полной фигуре, спускавшейся с крыльца, Агнию Петровну, а в тонкой и высокой — Митю, выскочившего без шинели. Извозчик

отстегнул полсть, Митя подал ему чемодан, и Агния Петровна села, подняв плечи и держась очень прямо, как будто была привязана к невидимой палке. Сани тронулись, и у крыльца все стало как пять минут назад: тишина и снежинки, заметные, лишь когда они пролетали через полосу света...

В «Любезности за любезность» не было ни слова насчет того, как поступить, если мальчику разбили нос и он невежливо сказал знакомой девочке: «Приходи завтра».

Но там был интересный совет: «В затруднительных случаях ставь себя на место того, с кем ты находишься в тех или других отношениях». Я поставила, и получилось, что, если бы мне разбили нос, я бы тоже не вышла из своей комнаты, и не день или два, а может быть, неделю. Поэтому на другой день, подождав для приличия, пока Андрей умоется и позавтракает — было воскресенье, и он встал очень поздно, в десятом часу,— я зашла к нему и поздоровалась, как будто ничего не случилось:

— С добрым утром!

Он поднял глаза от книги и тоже сказал:

— С добрым утром!

Мы помолчали. Потом я спросила, что он читает.

— Ната Пинкертона. «Злой рок шахт Виктория».

— Интересно?

— Очень.

Мы опять помолчали. Нос у него порядочно распух, и я не знала, что вежливее — спросить про нос или сделать вид, что я ничего не замечаю. Но Андрей сам решил эту задачу, и, как всегда, очень просто.

— Очевидно, тебе хочется спросить, отчего у меня распух нос? — спросил он серьезно.

Я сказала, как дура:

— Да.

— Мне его разбил Валька Коржич.

— Ну?

Коржича я немного знала. Это был беленький, хорошенький мальчик, о котором Андрей говорил, что с ним интересно, потому что у него сильная воля. Он приходил списывать «у Шпейдермана» алгебру.

— Из-за Мити,— продолжал Андрей.— Ты знаешь, что его исключили с волчьим билетом?

И он объяснил, что теперь Митя не может поступить ни в одно казенное учебное заведение, а только в частное, и придется давать огромную взятку, потому что в свиде-

тельстве за семь классов будет сказано, что он исключен с волчьим билетом. Мать поехала в Петроград.

— Зачем? Хлопотать?

Андрей кивнул.

— Чтобы отменили волчий билет?

— Да.

Мы опять помолчали. Мне хотелось спросить, при чем тут Коржич и за что он разбил Андрею нос. Но я чувствовала, что не следует торопиться.

— Вообще это неправильно, что его исключили с волчьим билетом. Я говорю не как брат, а как посторонний. Директор сам сказал, что Митя талантливый, но что нельзя всегда отыгрываться на таланте. А по-моему, можно. Например, Юлий Цезарь в детстве был хулиган, а потом всю жизнь отыгрывался на таланте.

Я сказала:

— Безусловно.

Он замолчал и грустно потрогал нос — наверно, ему еще было больно.

— Но главное, понимаешь, заключается в том, что Митя считается неблагонадежным. Например, все знают, что он дружил со старшим Рубиным, которого в прошлом году забрали. Потом Борода один раз нашел у него в парте запрещенную книгу. Словом, здесь политическая подкладка.

И Андрей рассказал, что скоро должна произойти революция, и поэтому, что бы ни случилось, все сразу смотрят — это «за» революцию или «против». Митя написал сочинение о причинах упадка Римского государства, и все поняли, что под Римским государством подразумевалось наше — значит, «за». Директор вызвал Агнию Петровну и швырнул ей это сочинение — «против». На кожевенном заводе рабочие забастовали, и восьмой класс устроил в их пользу сбор — «за». Исправник приказал задерживать «всех лиц, виновных в возбуждении обывателей, стоящих в очереди за съестными продуктами»,— «против». Митю исключили за политическую неблагонадежность — тоже, разумеется, «против».

На заседании педагогического совета победили «правые», вот почему с Митей расправились так беспощадно. А «левые» остались в меньшинстве. Правда, Раевского тоже исключили, но ему наплевать, потому что он едет в Петроград и поступает в Училище правоведения, а это еще выше гимназии.

Все это было очень сложно, но, в общем, понятно. Однако Андрей рассказывал с таким выражением, как будто эта борьба имела отношение к его разбитому носу,— вот это было уже непонятно! Я послушала еще немного, а потом спросила:

— А Коржич?

— Ах да! — сказал Андрей и крепко ущипнул себя за левую руку.— Совсем забыл! Мы подрались из-за его старшего брата.

— Из-за его старшего брата?

— Ну да. У него есть старший брат, который тоже против Мити, потому что Митя чуть не утопил его прошлым летом. Я сказал, что это нечестно, и мы подрались. Но потом я пожалел, что мы дрались, потому что Валька все-таки «левый». А его брат — «правый». В общем, все-таки жалко, что мама уехала,— неожиданно сказал Андрей.— Когда она уезжает, это всегда кончается более или менее плохо.

В самом деле, на другой день после отъезда Агнии Петровны все изменилось в «депо». К Агаше с утра пришли гости — между прочим, жандарм с женой, о котором я еще расскажу. Водки не было, но жандарм принес ханжу и рассказал, что в Петрограде не хватает соли, сахара, мяса, муки, дров и керосина.

Старый доктор забыл, обедал он или нет, и очень удивился, когда я ему сказала, что нет. Но все это были пустяки в сравнении с пакетами, которые принесли Митины товарищи Зернов и Рубин.

Первым принес пакет Ваня Зернов, о котором Андрей говорил, что он безумно богат, потому что у его отца «Мясная, зеленная и курятная». Он долго хохотал и топал в Митиной комнате, а потом, хватаясь за живот, вывалился из дверей как раз в ту минуту, когда я совершенно случайно проходила мимо. Дверь сразу захлопнулась, но я успела заметить, что Митя стоит перед зеркалом в каком-то странном наряде: на нем были широкие короткие штаны, из которых торчали длинные ноги, и пиджак, надетый на голое тело.

Потом пришел Рубин, тоже с пакетом. Раздеваясь, он положил его на стул, а мне нужно было посмотреть, где стоят мои калоши в передней, и я совершенно случайно толкнула этот пакет. Он упал мягко и развернулся. Я вскрикнула вежливо:

— Ах, виновата!

И бросилась поднимать пакет. В нем тоже был пиджак и что-то белое, манишка или рубашка, и ото всего этого сильно пахло нафталином. Рубин оттолкнул меня и сам поднял пакет. На пороге он обернулся и один глаз закрыл без единой морщинки, а другим посмотрел на меня — мне показалось, что с подозрительным выражением.

Это была загадка! Новые взрывы хохота донеслись из Митиной комнаты — заливистого, от всей души. Это смеялся Рубин.

Минут двадцать спустя он унес сверток.

Я слышала, как он ругал «бабье, которому приходят в голову нелепые мысли», и Митя не возражал, только спросил с отчаянием:

— Что же делать?

Я даже вспотела — так напряженно думала о том, что это значит. Конечно, я могла бы спросить у Андрея, но мне смертельно хотелось догадаться самой.

Может быть, в Дворянском собрании бал? Но в Лопахине никогда не бывало больше одного бала в году, и этот единственный бал состоялся на днях.

Может быть, Митя хочет пойти к директору на дом в новом костюме и дать ему в морду? Он ненавидел директора, и я сама слышала, как он кричал Агнии Петровне, что на выпускном акте откажется подать ему руку. Да, это было самое вероятное! Я никогда не видела директора, но мне представился коротенький толстяк с красным лицом вроде нашего посадского пристава, и этот толстяк спрашивает: «Чем могу служить?» А Митя, очень бледный, с мрачным пристальным взглядом, подходит и бьет его сверху.

Эта мысль так взволновала меня, что я не выдержала и побежала к Андрею.

Он уже кончил «Злой рок шахт Виктория» и читал толстую книгу «Новый метод лечения».

— Значит, штаны были короткие? — спросил он, когда я рассказала ему эту загадочную историю.

— Да.

Он подумал.

— Немного ниже колен?

Я была поражена.

— Откуда ты знаешь?

— Я сделал заключение,— сказал Андрей.— В самом деле, откуда Зернов мог взять штатский костюм? Он стащил его у отца. А отец у него маленький, немного больше

двух аршин. Но вообще это нечто такое, что стало возможно, только когда уехала мама. Вчера мама была дома, и никаких костюмов сюда никто не таскал. Следовательно, это подготовка к тому, чего при маме Митя сделать не мог.

Я согласилась.

— Теперь подумаем, зачем Митьке штатский костюм? Может быть, теперь, когда его выгнали из гимназии, он решил выступать?

— Как выступать?

— А разве ты не знаешь, что он семь лет учился играть на скрипке? Но потом бросил, потому что мама повезла его в Петроград и знаменитый скрипач Кубелик сказал, что у него не хватает слуха.

И он стал доказывать, что это вполне возможно; подобным способом Митя мог бы убить двух зайцев: во-первых, показать презрение к «правым», во-вторых, прекрасно заработать. Кстати, за последнее время «депо» почти не приносит дохода, и Юлий Генрих Циммерман уже грозился, что уволит маму, и тогда ей останется только поступить учительницей музыки в прогимназию Кржевской.

Так мы и решили: Митя будет «выступать». Я немного расстроилась, а Андрей ничуть. Впрочем, вскоре выяснилось, что мы понимали под этим словом разные вещи: он думал, что Митя будет давать концерты вроде Мозжухина или Шаляпина в Дворянском собрании. А я решила, что Митя будет ходить по дворам и играть на скрипке, а потом обходить всех с шапкой и дворники будут его гнать, а из открытых окон ему будут бросать пятаки, завернутые в бумагу. Поскольку Кубелик не нашел у него слуха, такое будущее казалось мне вполне вероятным.

Свидание

Все стало ясно для меня после этого разговора: Митя готовится к концерту. И когда я услышала — впервые за время, проведенное у Львовых,— что он играет на скрипке, я совершенно успокоилась и пошла погулять на дворе.

Это было второй или третий раз, что я выходила после выздоровления. Закутанная в три платка, похожая на бабушку — поверх платков Агаша еще накинула на меня большую деревенскую шаль,— я немного постояла у заднего крыльца, а потом тихонько обошла вокруг дома.

Когда впервые после болезни я вышла на двор и увидела крепкий снег, скрипящий под ногами, и высокое зим-

нее холодное небо, мне стало тоскливо, и я сразу же запросилась домой. Теперь я привыкла и гуляла с удовольствием, тем более что у Львовых был интересный двор. У них во дворе стояли ящики от роялей и пианино, так что можно было прятаться, играть в «казаки и разбойники» и придумывать, что ящики — это города. Гимназисты, удрав с большой перемены, отсиживались в этих ящиках, играя в карты, чтобы время не пропало даром.

Сейчас на дворе было пусто, и, побродив среди ящиков, я собралась домой, когда за калиткой показалась барышня в беленьком полушубке. Полушубок был хорошенький, обшитый мехом на рукавах и внизу, и барышня тоже хорошенькая: в этом я убедилась, когда, недолго постояв, она распахнула калитку и нерешительно перешагнула порог. Она была нежно-румяная, с большими глазами и какая-то хрупкая — это я почувствовала, когда, разговаривая со мной, она сняла рукавичку и стала поправлять волосы, которые выбились из-под меховой шапки вроде папахи.

— Девочка, ты здесь живешь?

— Да.

— А как тебя зовут?

— Таня.

Вот тут она сняла рукавичку и поправила волосы. Она волновалась. Вдруг она бросилась ко мне.

— Таня! Ты — Таня! Ну, как ты? Поправилась? Ты выходишь?

Я сказала любезно:

— Благодарю вас. Ничего. Значительно лучше.

— Как я рада!

Мы стояли посредине двора, и я видела, что она чего-то боится. Но, кажется, она еще и стыдилась, что приходится чего-то бояться. Я тоже волновалась, потому что давно поняла, что это Глашенька Рыбакова. Она не была красавицей с распущенными волосами, в белом атласном корсаже, но все-таки она тоже была красавицей, и я влюбилась в нее с первого взгляда.

Я сказала:

— Может быть, мы зайдем за ящики? Здесь что-то дует.

Она улыбнулась, и лицо стало еще нежнее. У нее были белые, удивительно ровные зубы и на верхней губке заметный, тоже беленький, заиндевевший пушок. Но в глазах было что-то мрачное — я заметила это, когда она улыбнулась.

— Нет, ведь я на минуту. Я хотела...

Она опять сняла рукавичку, теперь с левой руки, и стала вытряхивать из нее записку. Записка выпала, и она подала ее мне.

— Ты не можешь... Митя дома?

— Дома.

— Ты не можешь передать ему эту записку?

Я сказала вежливо:

— Сию минуту. Подождите, пожалуйста.

И не торопясь отправилась домой.

На всю жизнь запомнилось мне чувство ожидания чего-то необычайного — чувство, с которым я шла к Мите, крепко держа записку в руке. Честное слово, я бы не удивилась, если бы двери дома в эту минуту распахнулись сами собой!

Митя еще играл на скрипке, не зная, что его ожидает. Продолжая играть, он обернулся и недовольно вскинул брови, когда я вошла. Я осторожно отдала записку, точно это было что-то живое.

С этой минуты к чувству ожидания чуда присоединилось еще одно чувство, не оставлявшее меня весь этот день и потом еще много дней, когда я уже давно жила у себя в посаде. Это было чувство всматривания в то неизвестное, что заставило Митю мгновенно побледнеть, покраснеть, выбежать со скрипкой в руках на крыльцо, окинуть двор нетерпеливым, нежным и вместе с тем властным взглядом и побежать наперерез по нетронутому снегу прямо к ящикам, за которыми стояла она. То неизвестное, что заставило его через несколько секунд выйти вместе с Глашенькой и почтительно предложить ей руку, которую она приняла свободно и гордо. То неизвестное, которым были полны их движения, их лица, и то, что он вел ее, ничего не боясь, а она шла с прелестной улыбкой, немного несмелой, но совершенно доверяясь ему. То неизвестное, которое вдруг преобразило (не только для них, но и для меня — я смутно догадалась об этом) весь этот заваленный снегом двор, ящики и суровое зимнее небо.

Замирая от восторга, от счастья, я смотрела на них.

Я отпрянула, когда они поднялись на крыльцо, точно это были не люди, а какие-то волшебные существа, которые могли исчезнуть, если бы им этого очень захотелось. Они не затворили за собой дверь, и я очнулась, лишь когда Агаша закричала на меня из кухни таким обыкновенным, грубым голосом, как будто до того, что произошло, ей не было никакого дела.

Вовсе не концерт занимал Митю и не в Дворянском собрании собирался он выступать. Он хочет жениться на Глашеньке — вот зачем ему штатский костюм.

Очевидно, у меня был торжественный вид, когда я пришла со своей догадкой к Андрею, потому что он долго рассматривал меня, а потом сказал с интересом:

— Ты делаешь носом, как кролик.

Мне захотелось подразнить его, что я что-то знаю, а он не знает. Но я не успела. Вдруг приехала на извозчике мама и увезла меня домой.

Замостье

Ничего как будто не переменилось в нашей комнате за то время, что я провела у Львовых: так же стояли на своих местах темно-красный комод под вышитой скатертью, обеденный стол и другой, маленький стол в углу со швейной машиной. Так же везде лежали и висели коврики и половики из цветных тряпок — мама шила их на продажу, но в последнее время их не стали брать, потому что во время войны жилось тяжело, а такая вещь, как коврик, была все-таки роскошь. На своем месте висела афиша, объявлявшая о спектакле «Бедность не порок», и точно так же среди действующих лиц и их исполнителей можно было найти П. Н. Власенкова— так звали моего отца. Все постарому! Только котенок, которого еще осенью я подобрала на Плоской, стал большим пушистым котом да кенар перестал петь и сидел нахохлившись, сердитый и грустный.

Но вскоре я поняла, что изменилось многое.

Еще когда я лежала у Львовых и мама приходила ко мне каждый день, я чувствовала, что она держится со мной как-то иначе, чем прежде. С Агнией Петровной она разговаривала гордо, как будто для того, чтобы показать, что между ними нет никакой разницы, а со мной — торопливо-жалко, точно она была в чем-то передо мной виновата. Теперь мне все время казалось, что она что-то скрывает от меня — скрывает и боится, что я догадаюсь. Но и без всяких догадок я знала, что, если мама плачет по ночам и сидит на постели с остановившимся взглядом, значит, снова что-то случилось с отцом.

Это очень странно, но хотя мне минуло семь лет, когда отец уехал на Камчатку, я как-то сбивалась в своих представлениях о нем — он казался мне то одним, то совершенно другим. Только что я привыкала к тому, что папа слу-

жит в духовной консистории, как он являлся домой в форме Вольного пожарного общества, в блестящей медной каске, с какими-то черными звенящими веревками на груди. Он часто «менял должности», как говорила мама, и в каждой новой должности чувствовал себя совершенно другим. Каждый раз он был очень доволен, клялся маме и мне, что бросит пить, и много говорил о значении своей профессии для государства, так что мне, например, начинало казаться, что, если бы папа не поступил в Вольное пожарное общество на платную должность, Россия могла бы погибнуть от неосторожного обращения с огнем.

Я помню, как однажды мама взяла меня на дневной спектакль «80 тысяч лье под водой». Это была феерия, очень интересная и поразившая меня тем, что все действительно происходило под водой и даже была видна большая зеленая акула с неподвижно разинутой пастью. В этом спектакле участвовал папа. Я не узнала его, потому что он прошел по сцене только один раз в каком-то халате и сказал глухим голосом: «Нет, это судно!»

Но мама объяснила, что это был папа и что его так плохо слышно, потому что он под водой. Во втором акте он уже не был занят и вместе с другими свободными артистами дул на кисею, изображавшую море.

Это хорошее время скоро кончилось, потому что пошли дожди, антрепренер разорился, и папа получил за весь сезон одиннадцать рублей пятьдесят копеек.

Потом были другие должности: он являлся домой то в виде носильщика, то почтальона, так что это превратилось в какой-то номер с переодеваниями, который я однажды видела в цирке. Но это был не номер. Это был папа, который каждое утро со стоном расчесывал перед зеркалом редкие пушистые волосики и крепко брал в кулак маленький красный нос.

С тех пор прошло несколько лет, он давно уехал на Камчатку и в 1917 году должен был вернуться с капиталом в 3548 рублей, не считая драгоценных шкур, которые ему ничего не стоили, потому что он служил приказчиком и камчадалы, по его словам, так уважали его, что почти каждую неделю дарили по одному соболю и одной чернобурой лисице. Таким образом, к тому времени, когда, согласно договору, он мог уехать с Камчатки, у него должно было, по моему подсчету, накопиться 215 соболей и столько же черно-бурых лисиц. Мы с мамой так часто говорили об этих соболях и лисицах, что в конце концов отец стал

представляться мне каким-то Робинзоном Крузо: в остроконечной меховой шапке, меховой куртке, меховых штанах и сапогах — все из соболей и черно-бурых лисиц. Он сидит на скале, а перед ним стоит голый черный Пятница с перышками на лбу — в «Ниве» я видела такую картинку.

Постепенно этот образ, который очень нравился мне, заслонил все другие...

Мама умела шить не только коврики и половики, а вообще была превосходной портнихой, получившей швейное образование в Петербурге, но заказов во время войны становилось все меньше, и ей все чаще приходилось гадать, хотя прежде она гадала только для друзей и знакомых. А потом и с гаданьем стали плохи дела, потому что в нашем посаде поселился звездочет, который гадал совершенно иначе, чем мама, и к нему стали приезжать даже из уезда, а у мамы гадали теперь только старухи, платившие иногда по две копейки. С разрешения полиции у звездочета на заборе были нарисованы звезды, он одевался под индуса, давал советы молодым и «объяснял призвание», то есть в какое высшее учебное заведение идти после окончания гимназии. А мама ничего этого не умела, и мне пришлось поступить сперва к Валуеву разбирать тряпки, а потом в трактир Алмазова судомойкой. И вот чем хуже шли наши дела, тем более могущественным рисовался мне папа.

Он был маленького роста, а теперь стал казаться большим. Он привезет огромный капитал и меха, и мне не нужно будет чистить ножи и вилки толченым кирпичом, а маме не придется сидеть за шитьем по ночам и будить меня, чтобы я вдела нитку в иголку: под утро мама почти переставала видеть.

В 1915 году папа прислал письмо, в котором не было ни одного слова о войне, и это еще больше уверило меня в его необычайном могуществе и силе. У нас тут гимназисты учатся в две смены, потому что новое здание отдано под лазарет, в посаде каждую ночь ловят дезертиров, почти всех извозчиков взяли на войну, и даже на тройках возят мальчики или бабы, а его там, на Камчатке, все это совершенно не интересует.

По-прежнему камчадалы таскают ему драгоценные шкуры, и он, задрав кверху свой уже не маленький, а большой красный нос, меняет соболей на табак и водку.

Была ли мама такого же высокого мнения о его камчатских делах? Не знаю. Она не жаловалась, но я видела, что ей тяжело. Все время у нее как будто что-то кипело на сердце. По ночам она теперь стонала, и когда, проснувшись, я кричала испуганно:

— Что с тобой, мама?

Она отвечала с глухим стоном:

— Не спрашивай.

Но не только с мамой произошло что-то непонятное за те шесть недель, что я провела у Львовых. Дома стояли на своих местах. К Валуеву по-прежнему везли на возах грязные разноцветные тряпки. Звездочет, одетый как индус, в чалме и белом халате, по-прежнему сидел у окна, раскладывая свои знаки и звезды. Но все как бы сдвинулось в глубине, и я в особенности чувствовала это, когда забегала в «Чайную лавку и двор для извозчиков», находившуюся напротив нашего дома.

От Лопахина пятнадцать верст до железной дороги, но извозчиков брали не только к вокзалу, а и в соседний городок Петров.

В Петров почему-то любили ездить гулять купцы, хотя это был грязный городишко, куда меньше Лопахина и стоявший не на реке, а в скучном еловом лесу. Среди извозчиков были «одиночки» и «троечники», ездившие на тройках и носившие синие кафтаны и низенькие бархатные шапки с павлиньими перьями. Троечники были богатые и к одиночкам относились с презрением.

Когда началась война, почти всех извозчиков взяли в армию, но некоторые троечники вернулись — «откупились», как говорили в посаде. Под утро, поставив лошадей во дворе, они заходили в чайную и молча садились за стол в шелковых рубашках, подпоясанных кушаками, на которых болтались гребенки.

Мне всегда казалось немного странным, что все уже было, когда я появилась на свет: дома, люди, земля, солнце, которое точно так же всходило и заходило. Но в том, что существовали эти троечники, у меня никогда не возникало ни малейших сомнений. Меня не было, а они точно так же сидели в шелковых рубашках, потные, бородатые, с расстегнутыми воротниками, и долго пили чай, а потом перевертывали стаканы и говорили «аминь».

И вот теперь, когда я вернулась домой, что-то переменилось в этом извечном чаепитии.

Во-первых, новые люди появились на постоялом дво-

ре — худые, беспокойные, в папахах и солдатских шинелях. Я слышала, как посадский пристав спросил одного такого солдата:

— Какого полка?

Тот ответил:

— Битого, мятого, сорок девятого.

И засмеялся, когда пристав от неожиданности смешно шлепнул губами.

Во-вторых, в чайной появился Синица. Синица был троечник, который еще в мирное время славился тем, что у него были лошади по пятьсот рублей и он возил только «купечество и дворянство». На второй год войны он пропал, а теперь вернулся и завел тройку с сеткой и фонариками. Сетка была синяя, с кисточками и накидывалась на выезд, а фонарики Синица для шику зажигал на оглоблях. Он был маленький, страшный и носил черную бороду и усы, под которыми неприятно открывались красные губы. Он сверкал глазами, когда говорил, и вдруг становились видны желтые белки. В такие минуты я всегда вспоминала, как мама говорила о нем, что еще в мирное время он завез в лес и убил офицера.

Этот Синица теперь мало возил. Прекрасно одетый, в синей расстегнутой поддевке, под которой была видна алая шелковая рубашка, в лакированных сапогах, он сидел в чайной и читал вслух «Газету-копейку».

— С точки зрения национально-прогрессивного блока, университеты до конца войны надо закрыть,— сказал он однажды,— а студенчество отправить в окопы. А там на выбор, господа,— столбняк или пуля!

Я долго думала, «правый» он или «левый», но после этих слов решила, что «правый».

Вообще троечники были «правые», а рабочие с кожевенного, которые иногда заходили в чайную, были, конечно, «левые», а Синица нарочно громко читал «Газету-копейку», когда они торопливо — совсем не так, как извозчики,— ели ситничек с чаем. На Синицу они поглядывали кто сумрачно, кто равнодушно.

Все это была, конечно, политика. У Львовых мне казалось, что политика существует только для того, чтобы объяснить, почему Митю исключили с волчьим билетом. Как бы не так!

В Лопахине пропало мясо и масло — это была политика. Какого-то Протопопова назначили министром внутренних дел — тоже. Когда на кожевенном заводе бастовали, дирек-

тор сказал рабочим: «Да я вас из снега накатаю сколько угодно»,— тоже. Но однажды я видела, как по Лопахину провели большую партию «политических», закованных в кандалы, и какая-то старая женщина бросилась к арестантам (потом говорили, что она узнала сына), и конный городовой ударил ее по лицу нагайкой. Вот когда я поняла, что политика — это не только очереди за мясом, Митин волчий билет, Протопопов, а что-то гораздо более серьезное, что-то ссорившее и разъединявшее людей и в то же время объединявшее их, связывая между собой необыкновенно далекие события и предметы.

Письмо. Мамино детство.
Снова у Львовых

Мне больше не нужно было ходить в трактир, потому что, пока я болела, Алмазов нанял другую судомойку. Мама дала мне работу — переписать «Новый полный чародей-оракул». Это была редкая книга, которую она брала у одного букиниста, и только за чтение платила двугривенный в день. Я принялась, и так усердно, что мама даже забеспокоилась — она считала, что от чтения и писания «надрывается грудь».

Жандарм, которого я однажды видела у Агаши, в этот вечер явился к нам, хотя мама была с ним почти не знакома. Он пришел с женой — он повсюду ходил с женой — и сперва не заводил разговора насчет гаданья, а все рассказывал о том, что в полиции теперь стало почти невозможно служить. Настроение — как в пятом году, а содержание и обмундирование значительно хуже. Жена тоже сказала, что хуже и что у Николая Николаевича — так звали жандарма — миокардит. Я запомнила эту болезнь, потому что у Агнии Петровны тоже был миокардит и она часто о нем говорила.

Мама поддакивала, хотя ей было неприятно, что они так долго тянут: я видела, как несколько раз она сердито поджимала губы. Но жандарм вдруг вытащил из кармана шинели бутылку вина, и мама оживилась.

Не буду рассказывать о том, как они пили,— это неинтересно. Жандарм все хотел рассказать о своем начальстве.

— Наш полковник — интересная личность,— начинал он, но жена перебивала его, и он умолкал. Он был грубый,

но робкий и, как видно, очень боялся жены. Потом мама принялась за гаданье, и вот тут стало ясно, зачем они пришли. Начальство предложило жандарму идти в шпики: перевестись в армию и там подслушивать разговоры, а потом доносить, кто и при каких обстоятельствах высказывался за революцию и, следовательно, против царя.

— Слушать и брать на карандаш,— объяснил жандарм.— Вот тебе и нечаянной радости царица небесная!

Он сомневался, стоит ли идти в шпики, тем более что в армии настроение не лучше, чем дома. Один знакомый жандарм пошел и «хватил шилом патоки». Короче говоря, он решил погадать и теперь надеялся лишь на то, что Наталья Тихоновна поможет выйти из этого затруднительного положения.

Я сидела за столиком и переписывала, но одним ухом прислушивалась к гаданью: что мама скажет жандарму? Конечно, ничего хорошего. Она жандармов ненавидела и называла их «охломоны». Сквозь прореху в тряпичном ковре, которым была разделена комната, мне было видно ее худое доброе лицо со впалыми щеками, седеющие рыжеватые волосы, цыганские серьги-кольца. Она подделывалась под цыганку и время от времени говорила: «ча одарик, ча север» — «иди сюда, иди скорей» или «хохавеса» — «обманываешь». Это было все, что мама знала по-цыгански.

Жандарма я не видела, только нос и усы, но и по этим толстым стоячим усам легко было представить себе тупое внимание, с которым он слушал маму. Жена подлезала под эти усы и верещала так, что маме приходилось время от времени сурово взглядывать на нее, ожидая, когда она кончит.

Несколько раз я засыпала над «Чародеем-оракулом» и просыпалась, а жандарм все не мог решить, идти ему в шпики или нет. Самые простые выражения, вроде «казенный дом», «пиковый интерес» или «пустая мечта», пугали его. Он спрашивал:

— Что значит?

И мама наконец сердито сказала ему:

— Жандарм ты — так и оставайся жандармом! По крайней мере шпоры хлопают, люди слышат...

Мне почудилось, что где-то плачет мама, и так вдруг не захотелось переходить от чего-то хорошего, что я видела во сне, к этим слезам и непонятным мученьям! Я выглянула из-под коврика — да, мама! Жандарма уже не было,

на его месте сидела с папиросой в зубах наша соседка Пелагея Васильевна, а мама расхаживала, держа в руке какую-то бумагу, и читала.

— «У нас забрали в армию двух артельщиков,— прочитала она,— из коих один подал жалобу на решение воинского присутствия, но оставлена без последствий. Так что в лавке я теперь один и дела идут отлично. У нас теперь два кинематографа. Черная мука — две копейки фунт».

Я сидела, обхватив руками колени, и мне хотелось, чтобы она скорее прочитала то самое страшное, из-за чего она время от времени останавливалась и, стиснув зубы, смотрела на Пелагею Васильевну.

— «Ты меня зовешь домой,— продолжала она,— но я знаю эту проклятую жизнь, и лучше мне пойти на поле брани, чем жить, как у Пушкина: «...старик со своей старухой тридцать лет и три года». Старуха я для него! — незнакомым, грубым голосом крикнула мама.

Пелагея Васильевна слушала, покашливая. У нее была чахотка, и в доме все говорили, что весной она непременно умрет. Потухшая папироса торчала у нее в зубах, и она перекатывала ее из одного угла рта в другой с задумчивым, озлобленным выражением.

— «Тридцать лет и три года»! — злобно повторила мама.— «Вот почему я решил остаться здесь навсегда. Суди меня, мне нет возврата, судьба решается моя, и если ждет меня расплата, пускай за все отвечу я. Или по крайней мере до 1921 года, когда кончится новый договор — пять лет без вычета процентов натурой...» Хорош? А я тут живи — подыхай!

Больше я не слушала ее. Неужели отец не вернется к нам никогда? Вот отчего мама не спит по ночам. Она не говорила со мной об этом письме, потому что стеснялась, что отец отказался от нее. Он бросил нас оттого, что с нами ему тяжело, а на Камчатке ему будут платить жалованье без вычета каких-то процентов натурой.

Я не плакала. Но если бы в эту минуту он явился ко мне в том прекрасном наряде, который я придумала для него и который он, наверно, никогда не носил, я бы сделала вид, что даже не знаю его. Я бы не сердилась, как мама. Я бы равнодушно спросила: «Кто вы такой?» И если бы он бросился передо мной на колени, я бы скорее умерла, чем простила его.

Прежде я не очень-то прислушивалась к маминым рассказам — все казалось, что мама говорит не о себе, а о ком-то другом. А теперь каждый вечер я просила ее рассказывать и слушала, слушала без конца.

— Отец решил отдать меня в город к портнихе учиться. И что же я увидела в этом ученье? Мы были две девочки, и хозяйка нас клала в прихожей вместе с собакой. Мы радовались этой собаке — она была мохнатая, теплая, а из-под двери ужасно, Танечка, дуло... Но пришел отец и взял меня от этой портнихи. У нас была семья шесть человек, и он получал в день семьдесят пять копеек, как рабочий, но он был гордый человек и сказал, что не потерпит, чтобы его дочь спала рядом с собакой. В это время приезжает к матери двоюродный брат портной и помогает устроить меня в придворную мастерскую.

Много раз я слышала историю о том, как мама работала на Малой Конюшенной, в придворной мастерской, но никогда прежде мне не приходило в голову поставить себя на место маленькой девочки, двенадцати лет, которая каждое утро выходила из каких-то загадочных Нарвских ворот и два с половиной часа шла па работу. Два с половиной часа! За это время наш Лопахин можно было обойти по меньшей мере три раза.

— Почему я не ездила? Потому, что конка — это был расход: шесть копеек внизу, четыре наверху, а мой отец оставался на Путиловском молотобойцем и все время стоял на семидесяти пяти копейках. Вот я и шла с Чугунного к Нарвской заставе, потом по Старо-Петергофскому, Екатерингофскому, мимо Мариинского театра, а там уж было недалеко совсем — по Казанской. Зато ночью, когда возвращалась домой,— это было, Танечка, жутко! Подходишь к Нарвским — кабак, потом мостик, река Таракановка. Потом поле, развалины и снова кабак — положительно на каждом шагу. Я по тротуару не шла — он был гнилой, дощатый,— а по мостовой, и то приходилось все время перебегать с одной стороны на другую. Пьяные, страшно, темно, того и гляди отволтузят... И вот работаю я года три, научилась не хуже других, сижу на сарафанах — это была такая парадная форма, из бархата лилового, голубого и желтого цвета. Сижу я па сарафанах, а нужно так шить, чтобы примерка была без булавок — как надела платье, так и сняла. А жалованья мне платят восемь с полтиной. Я прошу: «Мадам Бризак,— наша начальница была мадам Бризак,—я работаю третий год и на княгиню Юсупову шью

полгода». А она мне говорит: «Девочка, ты прибавки от меня не дождешься. Не годится быть такой гордой, ты очень бедная и очень серая». Я прихожу к мастерицам, а они спрашивают: «Ты ей руку поцеловала?» — «За что? За мою работу?» А старшая услышала и говорит: «Ты молоденькая, живешь на заводе, у вас волнения, и я тебе советую держать язык за зубами».

До сих пор мама рассказывала громким голосом, очевидно с целью показать всему дому, что она не такой человек, чтобы целовать у какой-то мадам Бризак руку. Но после слова «волнения» она начинала говорить шепотом, и я догадывалась, что сейчас речь пойдет о Василии Алексеевиче Быстрове. Василий Алексеевич был тоже рабочий, как мамин отец, но его часто сажали в тюрьму, так что в конце концов он стал «нелегальный». Однако в тюрьме он нисколько не исправлялся и, едва его выпускали, опять начинал работать в какой-то «организации» — это слово мама произносила так тихо, что его можно было угадать только по движению губ. Он был «большевиком», как старший Рубин.

Почему у мамы становилось нежное лицо, когда она рассказывала об этом человеке? Почему она задумывалась и вдруг со смехом вспоминала, как Василий Алексеевич однажды пригласил ее в Екатерингоф на гулянье и вздумал пройти по вертящемуся столбу и свалился? Почему от Василия Алексеевича она неизменно переходила к истории о том, как однажды она ехала на конке и какой-то приличный господин с пушистыми усами подсел к ней и спросил, что она читает.

— А я читала «Воскресение» Толстого и только поняла, что ради Катюши Масловой Нехлюдов бросил свое богатство. Господин говорит: «Вы правы. Позвольте вас проводить». А я отвечаю: «Нет. Я из рабочей семьи и вам не пара».

Этот господин с усами был мой отец — и тут кончался мамин рассказ, начинались слезы...

Должно быть, письмо отца и то, что он отказался от нас, заставило меня надолго забыть о Львовых. Шесть недель, проведенных мною в «депо», теперь стали казаться мне каким-то мгновением, подобным тому мгновению, когда падает звезда и нужно успеть пожелать самое заветное до того, как она упадет. Она сверкнула и исчезла, а я не успе-

ла ничего пожелать — вот чувство, с которым я вспоминала о Львовых.

Несколько раз я проходила мимо «депо» — толстая крыша из снега висела над вывеской, все так же весело задирали вверх свои хвостики большие белые буквы. Что случилось в этом доме после того, как я ушла из него? Вернулась ли Агния Петровна? Женился ли Митя на Глашеньке? Едва ли, потому что весть о подобном событии донеслась бы и до посада. Вывел ли Андрей заключение из своей «таблицы вранья»? Разумеется, я могла просто зайти к нему — ведь теперь мы были прекрасно знакомы. Но это было нелегко — зайти, когда тебя никто не зовет. Кроме того, Львовы могли подумать, что я пришла, чтобы напомнить Агнии Петровне ее обещание отдать меня в прогимназию Кржевской.

Но вот наступил день, когда я пришла в этот дом и подняла в нем целую бурю.

День этот начался прекрасно. С утра запел кенар — это было, оказывается, хорошим предзнаменованием. Ситный теперь редко удавалось достать, а я достала свежий, да еще с изюмом. Веселые, мы сели завтракать, и мама, как всегда, когда у нее становилось легче на душе, рассказала о екатерингофском гулянье и об особой «копорской дорожке», по которой всегда гуляли девушки из Старорусского уезда, приезжавшие к лету на огороды. Эта дорожка виднелась издалека, потому что девушки были в розовых, желтых, зеленых платьях, юбки до земли, с воланами... И мама принялась подробно описывать «копорские» платья.

На зимнее пальто (для меня) и ботинки (для мамы) давно были отложены пятнадцать рублей, и после завтрака мы пошли на базар. Правда, все время получалось, что если купить пальто получше — не останется на ботинки, а если ботинки получше — не останется на пальто, так что мы бродили целый день и до того измучились, что пришлось посидеть у менялы и съесть расстегай с луком. Но в конце концов мы все-таки купили отличное пальто с бобриковым воротником и ботинки на шнурках, совершенно целые и почти до колена.

Было уже темно, когда мы вернулись домой. Мама стала разогревать обед, а я забралась на постель с ногами — замерзла. И вдруг я услышала, что мама свистит. Она чу́дно умела свистеть и, когда я была еще совсем маленькая, всегда не пела, а насвистывала мне колыбельные песни. Но это было давно, а за последние годы я и думать забыла,

что мама умеет свистеть. Должно быть, старое и очень хорошее вспомнилось ей. Я вскочила и крепко поцеловала ее.

Потом мы пообедали, и я уселась за «Новый полный чародей-оракул».

Глаза слипались после утомительного морозного дня на базаре, но я время от времени крепко зажмуривала их, чтобы прогнать сон, и продолжала писать. В нашем доме редко случалась тишина, а тут вдруг настала, только из «Чайной лавки» доносился как бы сдержанный гул голосов да где-то далеко позвякивала упряжь, скрипели полозья, ямщик окликал лошадей...

Далеко, далеко! А вот и поближе. Еще поближе. Еще — и все оборвалось, но не у «Чайной лавки», где обычно останавливались тройки, а подле нашего крыльца. Что за чудо?

Кто-то быстро взбежал по лестнице и распахнул дверь не стучась. Это был Синица.

— Наталья Тихоновна, дома ты? — спросил он нетерпеливо.— Звездочета нет, а я баришню привез, гадать хочет. В Петров едем... Ну? Быстро надо.

Он говорил, как цыган,— «баришня».

Почему я подумала в эту минуту, что Синица привез Глашеньку и что они с Митей едут в Петров венчаться,— не знаю! Это мелькнуло мгновенно и даже как будто еще прежде, чем тройка остановилась у нашего дома. Еще прежде, чем Синица сбежал вниз и другие, легкие шаги послышались на лестнице, я знала, я была твердо убеждена, что это Глашенька. И не ошиблась.

Она была в том же беленьком полушубке, в котором я впервые увидела ее у Львовых, но шапочку держала в руке, и волосы, небрежно заколотые, вот-вот готовы были рассыпаться по плечам. Она была совсем другая, чем тогда, хотя такая же хрупкая и с таким же нежным румянцем на тонком лице. Но в этой хрупкости теперь было что-то отчаянное, как будто она решилась или была готова решиться на опасный, рискованный шаг.

Мама сделала движение, чтобы встретить ее, и Глашенька вдруг бросилась к ней. Это было так, как будто мама, которую она видела впервые в жизни, могла еще спасти ее — от кого?

— Что, барышня, милая, голубчик мой?

Глашенька так же порывисто отшатнулась.

Прошло немало времени, прежде чем сквозь туман детского обожания я разглядела Глашеньку Рыбакову. Но то-

гда... Кого не поразили бы эти глаза, полные мрачного света, как бы изнутри озарившего Глашенькино лицо, когда она склонилась над картами, которые неторопливо раскладывала мама?

Глашенька сидела, опершись локтями о стол, обхватив голову руками. Распустившиеся волосы упали на руки, но она не поправляла их. Мама переставила лампу со стола на комод, чтобы было просторней гадать, свет падал Глашеньке прямо в лицо, и она не отстранялась, не заслонялась, как будто нарочно для того, чтобы я запомнила ее навсегда.

— ...И будут тебе от этого короля хлопоты,— медленно говорила мама.— И через хлопоты получишь богатство. А еще предстоит тебе дорога дальняя. Поздняя,— прибавила она, и хотя уже давно стемнело и было ясно, что Глашеньке предстоит поздняя дорога — как будто не эта, а другая, страшная дорога открылась в картах на гадальном столе.— Но этот король фальшивый, и ждет тебя с ним одна пустая мечта.

Тысячу раз я слышала, как гадает мама, и всегда так знакомо звучали для меня эти привычные слова, которые она складывала то так, то эдак, стараясь угадать «судьбу». И еще привычнее было взволнованное выражение доверия, надежды, которые я видела на лицах приходивших к ней женщин, перед которыми она испытывала — так мне казалось — полусознательный стыд. Но в этот вечер я слушала ее, как будто она была какая-то чародейка, которая действительно знала то, что, кроме нее, не знал ни один человек на земле.

Червонная дама легла между семеркой и восьмеркой бубен — это означало измену; потом пошли пики и пики: восьмерка — слезы, десятка — разлука. И мама все назвала — и разлуку и слезы.

Понимала ли она то, чего не понимала я, сколько ни глядела на эти тонкие руки, сжимавшие голову, на волосы, рассыпавшиеся по рукам, на мрачное лицо с широко открытыми глазами? Разумеется, понимала. Недаром же, оторвавшись от карт, она вдруг грустно сказала не «гадальным», а своим обыкновенным голосом:

— Эх, барышня! Себя обманываешь, кого винить будешь?

И Глашенька вздрогнула и взглянула ей прямо в лицо.

Это была минута, когда я вдруг испугалась, что вовсе не с Митей едет Глашенька венчаться в Петров. Почему он

остался внизу? Что он делает у крыльца, на морозе? Я слышала, как Синица что-то спросил у него — он не ответил.

Наконец, разговаривая, они стали подниматься по лестнице, и первым вошел и остановился у порога ямщик, а Митя остался в коридоре, точно скрывался от нас. Почему?

— Пора, барышня, пора,— сказал Синица.

От него пахло холодом, он похлопывал по валенкам кнутом, а за ним в глубине стоял и молчал Митя. Молчал и все не заходил. Почему?

Я тихонько вышла в коридор. Это был не Митя. Это был Раевский. Я сразу поняла, что это он, хотя он был в штатском, в огромной шубе с поднятым воротником и стоял в стороне, точно прячась. Под бобровой шапкой было видно его полное, взволнованное лицо. Я негромко ахнула и побежала назад.

Мне были известны такие истории. В кино «Модерн» я видела драму, в которой барышня была влюблена в своего жениха, а убежала с другим, но для этого у нее были серьезные причины! Ее жених был старик, и ему не нравилось, что она играет на сцене. Но тут было совсем другое. Как живая, стояла передо мной Глашенька — не эта, мрачная, с распущенными волосами, а веселая, обрадовавшаяся, когда Митя выбежал к ней из дому, застенчивая, когда он предложил ей руку, гордая, когда она приняла ее свободно, как королева. Она любила его! Почему же вдруг разлюбила? Как она могла променять Митю на этого полного, неприятного человека с короткими ногами, который, как медведь, ворочался в коридоре, а потом зашел и, не здороваясь, положил на стул кучу смятых трехрублевых бумажек?

Какое-то странное оцепенение нашло на меня. Кажется, я видела, а может быть, и нет, как мама, кончая гаданье, наудачу вытащила последнюю карту, и этой картой оказалась десятка пик — удар или больная постель, как Глашенька каким-то несмелым движением смахнула карты со стола, встала, качнулась и упала бы, если бы Синица не подхватил ее. Он понес ее по лестнице на руках, но чуть не выронил, и Глашенька спустилась сама. Я выбежала вслед за мамой.

...Путаясь в шубе, Раевский сел подле Глашеньки и стал застегивать полсть. У него пальцы не слушались. Синица крикнул:

— Эй вы, распрекрасные, дети любимые!

И снова забренчала упряжь, заскрипели полозья — только что близко, а вот уже дальше и дальше. Мы верну-

лись домой, и все время, пока мама, вздыхая, жалела Глашеньку, ругала Раевского, мне казалось, что я слышу далекий скрип и бренчанье убегающей тройки. И потом, вернувшись к себе, я еще долго прислушивалась к этим звукам, точно было невозможно допустить, что Глашенька уехала, а мы ничего не сделали, чтобы помочь ей, остановить ее...

Ах, какое у нее было лицо, когда она встала и смахнула карты со стола! Мне было жаль ее. Но еще больше я жалела Митю. Быть может, я должна сразу же бежать к нему? И мне представилось, как я бегу по набережной, глухо, грустно звенят тополя, Ольгинский мост открывается под ясной луной. Вот и «депо», Митя не спит, а играет на скрипке. Запаянная трубка с ядом кураре лежит у него на столе. Дрожа, я говорю ему, что Глашенька убежала с Раевским. Он отвечает: «Я презираю ее».

И снова берется за скрипку, как будто ничего не случилось.

А может быть, действительно ничего не случилось? Может быть, он поссорился с Глашенькой? Может быть, у него уже прошла любовь? Ведь недаром же Андрей говорил, что «для людей типа Мити прошлое вообще не имеет значения». Может быть, компания в конце концов повлияла на него и он раздумал жениться?

Я все лежала, и думала, и прислушивалась — и все чудилось далеко-далеко позвякиванье упряжи, скрипенье полозьев, глухой стук копыт по наезженной, крепкой дороге.

Еще когда я уезжала от Львовых, Андрей дал мне книгу «Мысли мудрых людей», так что у меня был прекрасный повод, чтобы отправиться к нему и спросить, знает ли Митя, что Глашенька убежала с Раевским. Прежде мне казалось неудобным возвратить книгу, пока я ее не прочла. А теперь я решилась, тем более что это была довольно скучная книга.

Оказалось, что это трудновато: подойти к «депо» и позвонить не с кухни, а в парадную дверь. Но я все-таки позвонила и, когда Агаша открыла, сказала ей вежливо:

— Доброе утро.

Она стала ахать, что у меня хорошенькое пальто и что я сама стала хорошенькая. Я поблагодарила:

— Спасибо. Андрюша дома?

В эту минуту он сам вылез из своей комнаты, какой-то бледный, с завязанным горлом, и сказал:

— Здравствуй. Ты молодец, что пришла. Иди-ка сюда, я тебе покажу одну штуку.

У него ничего не переменилось в комнате, только сильно пахло валерьяновыми каплями и на полу стояла большая стеклянная банка. Я сразу заметила, что в ней тараканы, но не обыкновенные, рыжие, а черные, которых, говорят, нарочно разводят, чтобы они приносили счастье.

Андрей внимательно посмотрел на меня. Кажется, ему понравилось, что я не удивилась.

— Я их усыпляю,— сказал он.— Понимаешь? А потом буду вскрывать. Хочешь мне помочь? Нужно сесть на банку.

На банку, оказывается, нужно было сесть потому, что, если просто закрыть ее картонкой или фанерой, тараканы не уснут или уснут в ужасных мучениях. Когда я пришла, Андрей как раз ломал себе голову над этим вопросом. Он уже влил в банку эфирно-валерьяновых капель, и эфир испарится, если кто-нибудь не сядет на банку. Он бы сам сел, но ему нужно готовить какие-то препараты.

Я сказала:

— Ну, пожалуйста.

И хотела снять пальто. Но Андрей сказал, что так даже лучше. И вот в новом зимнем пальто я уселась на банку.

Это было довольно глупое положение, в котором я не могла, разумеется, завести разговор о Мите, раздумал ли он жениться на Глашеньке и знает ли, что она убежала. Я только спросила:

— А они будут долго?

— Что долго?

— Засыпать.

Андрей сказал, что черных тараканов ему не приходилось усыплять, но они похожи на жуков, а жуки от эфира в конце концов засыпают.

— Тебе неудобно сидеть? — заботливо спросил он.— Хочешь, я принесу тебе что-нибудь почитать?

Я поблагодарила и отказалась.

Интересно, что, сидя на этой банке, неудобно было разговаривать не только о Мите. Я спросила:

— Ну, что нового?

И даже этот вежливый, обыкновенный вопрос показался мне каким-то неловким. Но Андрей, кажется, не заметил, что я смущена. Озабоченный, он сидел на корточках и дол-

го смотрел на тараканов. Потом вышел, вернулся с доской, на которой рубили мясо, и начал вкалывать в нее булавки. Я спросила беззаботно:

— А зачем тебе их вскрывать?

Он посмотрел на меня, не видя и думая о чем-то своем,— я знала это выражение с раздвинутыми от внимания бровями.

— Видишь ли, я хочу выяснить, есть ли у них сердце. Я мог бы просто спросить у дяди, он знает наверняка, потому что даже сказал, как называется черный таракан по-латыни. Но мне хочется самому. Я поспорил с Валькой, что есть, а он говорит, что поверит только в том случае, если увидит собственными глазами. Это его девиз: «Верю тому, что вижу». В бога он не верит тоже потому, что не видит.

Валька — это был Коржич. Значит, Андрей с ним помирился.

— Но это вообще интересно, верно?

Я согласилась, что интересно. Тараканы налезали друг на друга и издалека трогали стенки усами. Смотреть на них можно было только сбоку и то, если поднять пальто. По-моему, они и не думали засыпать, хотя я сидела очень плотно и могла поручиться, что ни одна частица эфирно-валерьянового газа не пропала напрасно. Но Андрей сказал, что они засыпают.

— Это у них возбуждение,— объяснил он.— Кошки бесятся от валерьянки, а тараканы, вероятно, сперва возбуждаются, а потом засыпают.

Мы помолчали. Потом я спросила:

— Ну, как Агния Петровна? Вернулась из Петрограда?

— Вернулась.

— Отменили волчий билет?

— Отменили. Митя едет в Ивановск.

Я твердо решила спросить насчет Глашеньки, когда тараканы заснут. Но не выдержала:

— Что же он? Как видно, раздумал жениться?

— Нет, не раздумал.

Не раздумал! Я чуть не вскочила, но вовремя опомнилась и только немного повертелась на банке.

— Интересно. А помнишь, ты говорил, что они, возможно, убегут венчаться в Петров?

— Помню. И что же?

— Ничего.

Я помолчала. Тараканы все шевелили усами, и я опять не выдержала:

— А вот и не убегут.

Наверно, у меня в голосе было что-то трагическое, потому что Андрей бросил свою доску и с удивлением обернулся ко мне:

— Почему ты думаешь?

— Потому, что Глашенька уже убежала.

Прежде я не замечала, чтобы у него так быстро менялось выражение лица. Только что было видно, что он глубоко занят тараканами, как будто на лице было написано: «Тараканы». А теперь кто-то мгновенно написал: «Глашенька убежала».

— Этого не может быть,— медленно сказал он.— Как убежала?

— Вчера вечером она заезжала к маме погадать, и с ней был этот Раевский. Мама сказала, чтобы я не говорила, что они были, но раз Митя не знает, я считаю, что было бы подло скрывать.

Я подобрала пальто и посмотрела на тараканов с такой ненавистью, что если у них было сердце, как предполагал Андрей, оно бы сжалось от этого взгляда.

— Она не хотела.

— Кто?

— Глашенька. Не то что не хотела, а расстраивалась. Она была в отчаянии,— сказала я торжественно,— потому что любит Митю, а убежала с другим!

Тут надо было бы рассказать, как Глашенька, войдя, бросилась к маме, как, сжимая виски, смотрела на карты, точно ждала спасенья от этих растрепанных карт. Но, сидя на тараканах, я не могла рассказывать об этом.

— Вот что,— сказал Андрей,— ты останься, а я сейчас же пойду.

— Куда?

— К нему.

Теперь у него стало решительное лицо. Он сжал губы и вышел.

Вероятно, это было подло с моей стороны, но, подождав немного, я осторожно встала и на цыпочках пошла за Андреем. Это было свыше моих сил — в такую минуту усыплять тараканов! Кроме того, я надеялась, что они прекрасно подохнут под доской, которую я положила на банку.

Митя был в столовой, зубрил, обложившись книгами,— наверно, твердо решил получить в Ивановске золотую медаль. Дверь в коридор была открыта. Когда я на цыпочках подошла к ней, Андрей стоял у буфета — очевидно, только

что начал говорить, потому что я еще видела, как Митя поднял к нему недовольное лицо — сердился, что ему помешали.

У меня сильно билось сердце, и я была убеждена, что Андрей сейчас прямо скажет ему: «Убежала с Раевским», как он однажды прямо спросил у меня: «Тебе хочется знать, отчего у меня распух нос?»

Ничего подобного. Он мялся, и я видела, что ему очень трудно.

— Ты не беспокойся,— наконец мягко сказал он,— тем более что это может оказаться неправдой. Но, видишь ли, дело в том... ко мне пришла Таня, и она говорит, что вчера Глашенька гадала у Таниной мамы.

— Гадала?

— Да. И Таня говорит, что она была не одна.— Андрей говорил совершенно как взрослый.— Она была с Раевским.

Он замолчал. Он не смотрел на Митю.

— В общем, они уехали. Таня говорит, что в Петров.

Митя встал. Я никогда не думала, что можно так побледнеть. Он коротко крикнул — не знаю что, просто так — и взялся руками за стол. Мне показалось, что он взялся, чтобы не упасть, а он вдруг двинул стол и с грохотом повалил его, так что тетради и книги посыпались на пол и, между прочим, разбилась прекрасная белая лампа, которой Агния Петровна гордилась и говорила, что какой-то артист привез ей эту лампу из Вены.

Потом все произошло очень быстро. Митя выскочил в переднюю, сорвал с вешалки шинель. Стук палок раздался в коридоре — это старый доктор, услышав крик, вышел из своей комнаты и спросил тревожно:

— Что случилось?

Андрей сказал ему странным голосом:

— Дядя, идите сюда, скорее, скорее!

И я увидела, что Митя, полузакрыв глаза, стоит у стены и, шатаясь, трогает стену руками. Но вот он шагнул, распахнул двери, и, когда мы с Андреем выбежали за ним, только шинель, которую он перекинул через плечо, мелькнула в калитке.

Павел Петрович

С этого дня я стала снова бывать у Львовых — во-первых, потому, что понравилась старому доктору, а во-вторых, потому, что все-таки интересно было узнать, есть ли у тараканов сердце.

Но сперва я расскажу о Мите.

Агнии Петровны не было дома, когда мы сказали ему, что Глашенька убежала с Раевским, и Андрей решил, что нужно «немедленно найти маму, потому что Митя может покончить с собой». Он привел меня в Митину комнату и взял со стола трубку с ядом кураре.

— Возможно, что это и не кураре,— сказал он.— Но на всякий случай нужно убрать его подальше. Дай-ка платок.

Он завернул трубку и сказал, чтобы я держала ее в левой руке.

— Ты можешь упасть,— объяснил он.— А падая, человек инстинктивно опирается на правую руку. А теперь отправляйся домой, а я пойду искать маму.

Это было глупо, что я согласилась: пока я дойду до дому и вернусь обратно, у Львовых могли произойти важные события. Я подумала об этом, но поздно — уже когда шла через Ольгинский мост. Теперь оставалось только снести яд и поскорее вернуться.

В кухне у Львовых — на этот раз я позвонила с кухни — было большое общество и сидели даже какие-то важные люди — например, горбатый чиновник, о котором гимназисты говорили, что он страшный силач. Агаша стояла у плиты и рассказывала о Мите. Оказывается, она служила у Львовых с 1904 года, и с Митей еще тогда было мученье: как увидит даже на той стороне улицы мальчика или девочку, сразу перебежит и побьет. Потом она рассказала, что Митю ищут по всему городу и нигде не могут найти, хотя прошло уже пять часов с тех пор, как он, выйдя от Рыбаковых, бросился вниз по Сергиевской, к Тесьме,— и пропал.

В этом месте она собралась зареветь, но удержалась, потому что горбатый чиновник придвинулся к ней и спросил:

— А яд-то?

И Агаша ответила загадочно:

— Так и не можем найти.

Я еще слушала, не понимая.

— Очевидно, отравился — и в прорубь,— заметил чиновник.

Агаша заревела. Все задумчиво смотрели на нее. Я — тоже. И вдруг я поняла: яд! Они думают, что Митя отравился ядом кураре! До сих пор я тихонько стояла в углу и даже немного боялась, как бы меня не прогнали, а теперь вышла и встала подле Агаши.

— Агашенька, Агния Петровна думает, что Митя отравился тем ядом, который лежал у него на столе?

Она сказала, что да и что Агния Петровна чуть не упала в обморок, а теперь ходит с жандармом и ищет Митин труп. И что Андрей тоже как ушел с утра, так и нету.

— Хорошо. Тогда я пойду к дяде,— сказала я твердо.— Мне нужно сказать ему несколько слов.

Без сомнения, старый доктор тоже беспокоился насчет Мити. Он привстал с кресла, как только я появилась в дверях, и спросил тревожно:

— Нашли?

Я сказала:

— Здравствуйте, дядя Павел. Как ваше здоровье? Дело в том, что Агния Петровна напрасно беспокоится: яд у меня. Это трубка с чем-то красным. Андрей дал ее мне. Она в комоде. Если хотите, я принесу.

Он внимательно посмотрел на меня и улыбнулся, хотя, кажется, я не сказала ничего смешного.

— Да, да,— сказал он.— Мы взволновались, хотя я говорил Ане (так он называл Агнию Петровну), что это не может быть кураре и вообще, вероятно, не яд. Но все-таки где же Митя?

— Видите ли, дядя Павел,— сказала я оживленно,— интересно еще, где Андрей. Понимаете, Андрей ведь тоже пропал. Это меня утешает.

Доктор был без очков, когда я пришла, а теперь надел и снова посмотрел на меня, как будто увидел впервые.

— Так, так,— серьезно сказал он.— Почему же это тебя утешает?

— Потому, что он тоже беспокоится и пришел бы домой. А он не пришел. Значит, у него есть причина.

— Почему ты думаешь?

Я сказала, как Андрей:

— Потому, что сделала заключение. В самом деле, дядя Павел. Куда Андрей мог пропасть на весь день? Он не вернулся домой из-за Мити. Вы читали «Злой рок шахт Виктория»? Он следит за Митей, как Нат Пинкертон. Следовательно, они придут оба в одно время, один за другим.

Я была в таком вдохновении, что прослушала звонок и в первую минуту не поняла, почему Агаша сказала: «Ай, батюшки!» Она выбежала в коридор, я за ней, но сразу вернулась, потому что старый доктор потянулся к

палке, лежавшей на полу, и чуть не упал. Я подала ему палку.

Агашины гости высунулись из кухни, чтобы посмотреть, кто пришел. Это был Митя. Он снял шинель в передней. Проходя мимо Агашиных гостей, он двинулся на них и сказал грозно, совершенно как Агния Петровна:

— Это еще что такое?

Потом прошел к себе и закрыл дверь на ключ.

А через несколько минут снова раздался звонок, и пришел Андрей. Он пришел страшно замерзший и долго отмалчивался, шмыгая носом и мрачно глядя на свои посиневшие пальцы. Я сказала, чтобы он приложил их к животу — верное средство. Он приложил.

Оказалось, что он все время сидел во дворе у Рубиных и ждал Митю. Он не хотел показываться, чтобы Митя его не прогнал. Но в общем, сказал он, это была ерунда, потому что он играл с ребятами в снежки и стал замерзать, только когда этих ребят позвали обедать.

Агния Петровна тоже пришла — откуда-то она уже знала, что Митя нашелся. Она сняла пальто и, сердито протирая запотевшее пенсне, долго стояла в передней. Все от нее удрали. Она постучалась к Мите, и я слышала, как он сказал:

— Мамочка, если можно, потом.

Я ушла. Старый доктор почему-то поцеловал меня, когда я заглянула к нему, чтобы проститься.

Павел Петрович предложил заниматься со мной по всем предметам прогимназии Кржевской, и я стала ходить в «депо», как в прогимназию, с тетрадками и книжками, которые дал мне Андрей. Это были книжки по арифметике и географии, а по природоведению и по русскому доктор сказал, что не нужно, потому что он и без книг знает эти предметы. Я приходила и садилась у его ног на скамеечке. Он спрашивал — между прочим, строго, а я отвечала. Теперь я нисколько не боялась, а, напротив, привыкла к старому доктору и полюбила его. Входя к нему, я всегда чувствовала, что для того, чтобы заговорить со мной, ему нужно вернуться откуда-то издалека. Я чувствовала, что он одинок. Например, он любил прочитать газету и поговорить о политике, а кроме меня, никто не хотел его слушать. Я расстраивалась, когда его обижали. Он очень обрадовался, когда Митя решил пойти на медицинский фа-

культтет, и хотел по этому поводу прочитать ему свою статью, которая называлась «Защитные силы», но Митя сказал: «Ох, дядюшка, ради бога!» — и это было так грубо, что Агния Петровна сделала ему замечание.

Старому доктору было скучно постоянно находиться в своей комнате, иногда он выходил посидеть на крыльце, и Агния Петровна сразу же начинала ворчать, как будто это было трудно — подать ему шубу и шапку и немного поддержать под локоть в дверях.

Словом, непонятно почему, но в «депо» были как бы две партии: одну составляли Агния Петровна и Митя, а другую — этот старый человек, очень вежливый, который ничего не требовал, ни на что не жаловался и только сидел в своей комнате и писал. Мне казалось, что очень трудно быть вежливым, когда приходится ходить, опираясь на палку и тряся головой, висящей как-то отдельно от тела.

Я давно хотела поговорить с Андреем об этих странных отношениях, тем более что он жалел Павла Петровича и часто заходил к нему. Наконец решилась, и Андрей ответил, что мог бы объяснить, но не стоит, потому что я все равно ничего не пойму.

— Ты знаешь, что такое принцип? — спросил он.

— Нет.

— А что такое микроб?

— Тоже.

— Вот видишь.

Но я стала приставать, и тогда он сказал, что Агния Петровна рассердилась на доктора за то, что он из принципа отказался лечить за деньги. К другим врачам бедняки не ходят, а к нему ходят, потому что он с них ничего не берет или самое большее двадцать копеек. Между тем он мог бы зарабатывать десять рублей в день — Андрей сам слышал, как Агния Петровна сказала об этом Агаше.

Но немного он все-таки зарабатывает, главным образом на медицинские журналы, которые ежегодно выписывает из Петрограда и Москвы. Он интересуется микробами, но из этого тоже ничего не выходит, потому что тут главное — опыты, а для опытов нужны аппараты. Впрочем, может быть, старому доктору они не очень и нужны, потому что он занимается плесенью. Как это ни странно, он считает, что плесень не только совершенно безвредна, но действует лучше многих лекарств.

Когда-то он жил в Петербурге, но потом его выслали, потому что он выступил против царя на каком-то съезде. В Лопахин он попал не сразу, а сперва три года провел где-то в Сибири.

— Между прочим, ко времени моего рождения он уже ходил с палкой,— добавил Андрей.— А потом, когда мне стало года четыре,— с двумя.

Я спросила, чем болен Павел Петрович, и Андрей объяснил, что это тяжелый ревматизм, которым он заболел, когда его отправляли в Сибирь по этапу. Но он не лечился, потому что большинство лекарств, по его мнению,— сплошное жульничество, за исключением двух-трех, которые были известны еще Гиппократу.

— Знаешь, кто такой Гиппократ?

Мне хотелось учтиво промолчать, чтобы вышло, как будто я знаю, но Андрей понял и сказал:

— Эх ты, Гиппократа не знаешь!

И он объяснил, что в древности был такой врач, который мог даже не осматривать больного, а только посмотрит ему в глаза — и готово! Уже известно, выздоровеет больной или нет.

Стало быть, Агния Петровна сердилась на брата из-за какого-то принципа? Или из-за Гиппократа?

Я долго думала над этим вопросом и решила, что Андрей ошибается. Просто доктор был стар и болен, а на старых и больных всегда сердятся. Это я заметила еще, когда у меня была бабушка, которая умерла в 1913 году. Особенно если нечего надеяться, что они когда-нибудь смогут заплатить за еду и квартиру.

На другой день после истории с Митей я принесла в «депо» трубку с ядом кураре, и старый доктор приветливо закивал, увидев меня:

— А, злой рок шахт Виктория!

Это было у крыльца, он сидел закутанный, только длинные брови торчали из-под нахлобученной шапки.

— Ну как, сделала заключение?

Я сказала:

— Здравствуйте, дядя Павел. Как ваше здоровье? Насчет чего заключение?

— Насчет яда кураре,— сказал доктор и засмеялся.

Разумеется, он шутил, я и не собиралась делать заключение насчет яда кураре.

Я сказала:

— Между прочим, Андрей думает, что это не яд. Вот посмотрите, дядя Павел. Хотя он красный, но прозрачный. А яд — например, жидкость для клопов — он мутный.

Доктор взял у меня трубку и положил ее на перила. Потом расстегнул шубу и достал из кармана перочинный нож. Он вывернул карман и вытряхнул из него комочки ваты и крошки. Он нисколько не торопился, так что мне и в голову не могло прийти, что он собирается делать. Я только ахнула, когда он взял в правую руку нож и сильно ударил им по стеклянной трубке.

— Дядя Павел!

Кончик отлетел, и доктор налил немного яду кураре на ладонь и понюхал его, потом тронул языком и энергично сплюнул.

Я заорала:

— А-а-а!

Он сказал сердито:

— Молчи, болван!

Потом засмеялся, бросил трубку в снег и сказал, что это вода, подкрашенная кармином.

Андрей потом говорил, что здесь сыграла роль быстрота плевания и что он берется таким образом попробовать даже какую-то царскую водку. Но водка, даже и царская, было одно, а яд — совершенно другое. Кто еще в Лопахине решился бы попробовать яд?

Митя уехал в конце января, и в «депо» стало пусто без него — так много говорили о нем и столько он всем доставлял беспокойства. Перед отъездом он зашел к Глашенькиным родителям и просидел у них страшно долго; Андрей потом рассказывал, что Агния Петровна уже принялась было искать в его комнате записку: «Прошу в моей смерти никого не винить». Когда он надолго пропадал, она прежде всего искала эту записку.

Я спросила у Андрея, как он думает, почему все-таки Глашенька любила Митю, а убежала с Раевским, и Андрей объяснил, что это сложный вопрос, в котором может разобраться только наука. Но в литературе ему известны подобные факты. Например, в пьесе Островского «Бесприданница» одна девушка чуть не убежала с богатым купцом, и когда жених стал упрекать ее, она отвечала: «Поздно! Теперь у меня перед глазами заблестело золото, засверкали бриллианты». Возможно, что то же самое произошло и с Глашенькой, тем более что отец Раевского — директор бан-

ка и в Лопахинском уезде ему принадлежит большое имение «Павы». Но они убежали не в имение, а в Петроград, потому что Раевский все равно собирался перевестись в Петроград. Он хочет кончить Училище правоведения и стать дипломатом.

Мне запомнился вечер, когда уехал Митя. Компания устроила ему проводы, и Агния Петровна стояла у ворот и смотрела, нет ли поблизости городовых, потому что гимназисты пели запрещенные песни.

Мы с Андреем вышли во двор, и она нас тоже заставила сторожить, хотя пение едва доносилось из-за двойных рам, был десятый час и городовые спали. Потом извозчики подали к крыльцу, и оказалось, что товарищи едут провожать Митю за пятнадцать верст на вокзал, хотя и непонятно было, как они поместятся в двух маленьких санках. Они вышли, обнявшись, в расстегнутых шинелях, с фуражками на затылках, и Агния Петровна снова стала бояться — уже не полиции, а гимназического начальства. Наконец все расселись, уехали, и наступила та пустота, о которой я уже рассказала.

Теперь я бывала в «депо» почти каждый день и оставалась, даже когда Андрея не было дома. Случалось, что Агаша просила меня помочь: я убирала комнаты или топила печи. Но чаще я сидела у старого доктора и читала что-нибудь или смотрела, как он пишет. Мы подружились. Я рассказала ему, как мы с мамой живем в посаде и как коврики и половики совсем перестали брать, а гадать ходят теперь к звездочету, хотя он только обманывает публику своими фокусами да звездами на заборе. Доктор попросил меня объяснить значение карт, и я объяснила, что бывают разные способы гаданья — цыганский и французский «Ленорман-Етейла». Самый трудный — французский, а самый верный — цыганский, потому что только одни цыгане еще верят в судьбу. Но это было уже из «Оракула», которого, кстати, пришлось вернуть, потому что букинист набавил за день четыре копейки. Потом доктор наудачу вытащил семерку, десятку, короля и валета бубен и спросил:

— Ну-ка, что это значит?

И я, не задумываясь, ответила:

— Это значит, что после прогулки вы свидитесь дома с вашим предметом и вступите в брак, к досаде и огорчению старого родственника.

Доктор слушал с интересом.

— Значит, «Ленорман-Етейла»,— сказал он задумчиво.— Так... А сколько семью девять, ты знаешь?

Я сказала, что знаю только до «шестью шесть», и он задал мне до «семью девять».

В другой раз я рассказала ему, как к маме приходил жандарм с женой, и Павел Петрович сказал загадочно:

— Крысы бегут с тонущего корабля.

Я видела, что ему хочется поговорить о политике, и нарочно спросила:

— Дядя Павел, а при чем же здесь крысы?

И он объяснил, что в данном случае монархия, то есть самодержавие,— это корабль, а крысы — это те, кто догадывается, что он непременно потонет. Но догадываются далеко не все, тем более что самодержавие устраивает заговор, чтобы победить народ, который стремится к свободе.

— Дядя Павел, а вы стремитесь к свободе?

Он засмеялся и сказал:

— О да!

В свою очередь, помещики и буржуазия тоже устраивают заговор, чтобы устранить царя, потому что они боятся, что у царя не хватит сил справиться с народом. Но из всех этих заговоров все равно ничего не выйдет, потому что народ просыпается или уже проснулся, и низвержение самодержавия, безусловно, произойдет — возможно даже, что через три или четыре года.

Это было очень трудно выговорить — «низвержение самодержавия». Но потом получилось, и заодно я рассказала Павлу Петровичу все, что знала о политике, то есть что есть разные партии и что Синица, по-моему, «правый», потому что хочет отправить всех студентов на фронт.

Доктор выслушал и, к моему изумлению, сказал, что все эти партии почти ничем не отличаются друг от друга.

— Два мира борются между собой,— сказал он,— мир богачей и мир тружеников, которые всю жизнь работают на этих богачей и тем не менее остаются бедняками.

Мне захотелось спросить, кто же я — богатая или бедная, тем более что в посаде мы с мамой считались не особенно бедными. Но он задумался, уставившись в одну точку, широко открыв свои грустные, потускневшие глаза. И я не спросила.

В другой раз он заговорил о болезнях. Он думал, оказывается, что мы заболеваем не потому, что у нас что-нибудь болит, а потому, что нас точат микробы.

Я не поняла, но кивнула. И вдруг старый доктор рассказал мне сказку о ночном стороже, который любил смотреть через увеличительные стекла. Это было давно, лет двести тому назад, и не у нас в России. Сторож был чудак, и ему было интересно, что, например, делается в голове у мухи или как устроен глаз у быка. Увеличительные стекла, которые мальчишки покупали, чтобы выжигать разные слова на заборах, он делал сам, причем такие сильные, что обыкновенные волосы выглядели под этими стеклами как толстые, мохнатые бревна.

И вот однажды он набрал в стеклянную трубочку немного воды и посмотрел на нее через стекла, хотя всем было ясно, что как бы воду ни увеличивать, она все равно остается водой. Но оказалось, что в воде плавают какие-то маленькие животные — такие маленькие, что он просто не поверил глазам, причем это были не рыбы.

Я сказала:

— Дядя Павел, ну какие маленькие? Как соринка?

— Меньше.

— Как пылинка?

— Еще меньше.

Меньше пылинки был, по-моему, только глаз у какой-нибудь букашки вроде комара. Но мне показалось неудобным сравнивать маленьких животных, о которых так серьезно рассказывал старый доктор, с глазами каких-то букашек.

И вот ночной сторож стал повсюду искать маленьких животных — он почему-то решил, что они должны водиться не только в воде. И действительно, оказалось, что их сколько угодно, например, в перце, если его размочить. Сторож стал даже разводить их — кажется, в соусе или в компоте.

По вечерам он зажигал фонари, по ночам ходил с ружьем и кричал: «Спите спокойно!» А днем сидел над своими маленькими животными и рассматривал их через увеличительные стекла.

В общем, это была довольно интересная история, хотя я так и не поняла, каким образом нас точат микробы.

Мне понравилось, что сторож ходил по улицам и кричал: «Спите спокойно!» Вот если бы у нас был такой ночной сторож в посаде! Насчет маленьких животных я хотела сказать, что зачем же их разводить, если от них нет ни малейшей пользы? Но у доктора было такое печальное, доброе лицо, когда он рассказывал эту историю, что я только подумала — и не сказала.

Зимним вечером снег падает на затерянный в глуши городок, толстая белая крыша над вывеской «депо» становится все толще и, наконец, обрушивается с бесшумным вздохом. Время идет — минута за минутой. Необыкновенные события происходят в мире, и так как они действительно необыкновенны, другие, еще более необыкновенные, вообразить невозможно. Люди верят, надеются, ждут...

Все медленнее летят тяжелые, крупные хлопья — воздух полон ими от земли до небес. Они сходятся и расходятся, точно пляшут какой-то неторопливый старомодный танец. Поднимается ветер — и они поднимаются вверх. Ветер падает — и они покорно ложатся на землю.

Держа на коленях раскрытую книгу, девочка сидит у ног старого человека. Снизу она видит его бороду и очки, которые едва держатся на кончике толстого носа. Она читает, он слушает. Иногда он строго поправляет ее.

Такими ушли от меня детские годы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

СТАРЫЙ ДОКТОР

Для кого!

Это было вечером, в десятом часу. Маме, засидевшейся за шитьем, захотелось чаю, и она послала меня на постоялый двор. Размахивая пустым чайником, я перебежала дорогу — и остановилась: навстречу мне шел Рубин, изменившийся, постаревший, в измятом, изорванном пальто, с черными руками. Он взглянул на меня и сказал тихим голосом:

— Не найдется ли водички, девица?

Это было невероятно, чтобы Рубин, который, встречаясь со мной, всегда закрывал один глаз и делал серьезное, смешное лицо, ни с того ни с сего назвал меня «девицей» и притворился, что мы не знакомы.

Я ответила растерянно:

— Сейчас принесу,— и со всех ног побежала в «Чайную лавку».

Уж не помню, когда меня осенила догадка, что это вовсе не Рубин, которого я превосходно знала, а его брат, большевик. Помню только, что все время, пока старший

Рубин пил, мне хотелось спросить, не попал ли он под лошадь,— месяц назад у нас в посаде был такой случай.

— У вас пальто разорвалось. Зайдите к нам, мама зашьет.

— Некогда, девица.

Он хотел погладить меня по голове, но взглянул на свою черную, запачканную руку и передумал.

— Тебе сколько лет?

— Одиннадцать.

— Ну и счастливая же ты, девица! Хорошая у тебя будет жизнь.

Я спросила:

— Почему вы так думаете?

— Я не думаю. Я знаю.

Пошатываясь от усталости, он двинулся дальше, а я стояла и долго смотрела вслед — до тех пор, пока он наконец не скрылся за поворотом.

На другой день мы с мамой узнали, откуда он шел и почему у него были черные руки. Сибирский казачий полк, вызванный Временным правительством в Петроград, должен был проехать через станцию Лопахин, и рабочие кожевенного завода под руководством Рубина разобрали пути и уговорили казаков вернуться.

Ни годы войны, ни Февральская революция почти ничего не изменили в Лопахине. Зато теперь, когда под разными предлогами я каждый день бегала из посада в город, можно было подумать, что от одного до другого раза проходили не часы, а годы.

Перемены были огромные, необыкновенные, и касались они решительно всех — это в особенности меня поражало.

В садике перед домом уездной управы, где помещался совдеп, появились солдаты, которые раздавали листовки, и я сама видела, как директор мужской гимназии взял такую листовку и сейчас же с негодованием швырнул на землю. На заборах, на стенах домов появилось воззвание, подписанное «Военно-революционный комитет», и трудно передать, какую бурю произвел в Лопахине этот маленький листок бумаги! Я была у Львовых, когда к Андрею пришел его одноклассник фон дер Боль, сын уездного предводителя дворянства. Сперва они говорили о гимназических делах — правда ли, что в Петрограде латынь уже отменили? А потом фон дер Боль стал ругать Военно-революционный комитет. Андрей возражал спокойно, только один раз спросил сквозь зубы:

— Ты этого не понимаешь? Значит, у тебя иначе устроен головной мозг.

Но фон дер Боль не унимался, и тогда Андрей подошел к нему так близко, что они едва не стукнулись лбами, и сказал ровным голосом:

— Еще одно слово — и я тебя арестую.

Вчера это показалось бы просто смешным — то, что один ученик пятого класса собирается арестовать другого. А сегодня... сегодня фон дер Боль побледнел и торопливо вышел.

На тряпичной фабрике Валуева был устроен митинг, и представитель Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов сказал, что посадские получат квартиры в городе, а буржуи — в посаде.

Прогимназию Кржевской слили с городским училищем, мальчики и девочки стали учиться вместе, и у подъезда, на котором с замирающим сердцем я видела однажды самое мадам Кржевскую, полную, величественную, в хвостатой накидке из соболей, появилась надпись: «Первая единая трудовая школа».

Зимним вечером извозчичьи санки останавливаются перед бывшим «депо». На санках — узлы, среди них два живых — я и мама. Агния Петровна упросила маму съездить в деревню, чтобы обменять на муку и крупу вещи из комнаты тети. Мы сидим под узлами и молчим — замерзли. Извозчик, с которого снег падает большими кусками, слезает с козел и кричит:

— Ай живы?

Андрей, веселый, довольный, выходит на крыльцо и говорит нам:

— Здравствуйте. Как ваше здоровье?

И вот дом, в котором все происходило неожиданно и ничего нельзя было предсказать, в котором я узнала так много нового, в котором никто не удивлялся яду кураре, «таблице вранья», «Любезности за любезность», становится обыкновенным домом. С незнакомым, странным ощущением полного равенства между мамой, Агашей и Агнией Петровной, между Андреем и мной я брожу по «депо» — вот новое открытие, от которого веселый холод так и ходит в душе. Впрочем, скоро это чувство проходит, и начинает казаться, что так было всегда. Все вместе, за одним столом, мы едим оладьи в жарко натопленной кухне. Потом мы все вместе ложимся спать на полу, а Андрей будит меня, потому что ему приходит в голову ин-

тересный логический вывод: на крупу и муку удалось обменять красные вещи из комнаты тети. Тетя была дурна собой. Следовательно, она спасла нас от голода, потому что, если бы она была хороша собой, Агнии Петровне не пришлось бы с помощью красной комнаты устраивать ее семейную жизнь.

Проходит зима, и мы получаем прекрасную комнату на Малой Михайловской, в квартире бывшего прокурора судебной палаты, убежавшего за границу во время гражданской войны. Больше не надо говорить шепотом — за стеной уже не живут такие же несчастные, говорящие шепотом люди, как мы. Теперь за стеной направо живет маленькая, тоненькая женщина — Мария Петровна, а за стеной налево — высокая, полная — Надежда Петровна. Вместе с мамой они работают в швейной мастерской Церабкоопа.

Новая комната — просторная, светлая, и, просыпаясь, я думаю о том, что прежде мы с мамой как будто прятались, а теперь вышли на волю, и после темноты стало даже больно глазам — так сияет по утрам во всех трех окнах солнечный свет. Мебель у нас теперь тоже новая — два мягких кресла, белый шкаф и ковровый диван. Из посада мы перевезли только комод, мамину кровать и афишу, объявлявшую о спектакле «Бедность не порок» с участием П. Н. Власенкова, о котором, кстати сказать, мы с мамой уже давно ничего не слыхали.

Карта военных действий висит на Революционной площади (бывшей Церковной), нитка фронта, поддерживаемая красными флажками, описывает круг, и с каждой неделей этот круг становится больше и больше.

События, величие которых переоценить невозможно, происходят в границах этого круга,— что значат в сравнении с этим маленькие события, волнующие маленький город? Но без первых не было бы вторых,— я делаю и это открытие! В «Красном набате» появляется сообщение о наборе служащих для Дома культуры, и горсовет предлагает Агнии Петровне заведовать этим Домом, как превосходнсму знатоку артистического и музыкального мира. Уполитпросвет организует издательство, и среди первых книг выходит брошюра Павла Петровича под названием «Мировоззрение и медицина» — тоненькая, в розовой обложке, с обращением к читателям, в котором автор объясняет, почему он не ссылается на источники и не «угощает читателей мудростью энциклопедических словарей».

«Времени мало,— пишет он,— а хочется сказать так много». Смутно упоминает он о большом труде, посвященном изучению целебных сил организма. На обороте обложки, под ценой, он указывает свой адрес, и по этому адресу вдруг начинают приходить письма. Они приходят из Москвы и Петрограда, из Киева, Севастополя и Одессы. Старому доктору пишут студенты и рабочие, профессора и врачи — те, кто согласен, что «силы натуры» излечивают болезни, и те, кто не согласен.

Наконец — торжественный день! — почтальон приносит письмо от знаменитого Т., и старый доктор, которого я спрашиваю, чем прославился этот человек, придя в ужас от моего невежества, целую неделю рассказывает мне о заслугах Т. перед русской и мировой наукой.

Что же написал Павлу Петровичу великий ученый? Кто знает! Должно быть, нечто необычайное, потому что после его письма «труд» откладывается, и старый доктор, помолодев лет на двадцать, принимается за краткую статью, в которой, как он объясняет мне и Андрею, будет изложена лишь самая сущность теории...

Снова зимний пасмурный вечер, но с каждым часом яснеет, загораются звезды, и луна неторопливо устраивает по-своему все, что ни окинешь взглядом: в маленьком, тесном городке становится просторнее, и дома начинают казаться стройнее и выше.

Девушка семнадцати лет сидит на скамеечке у ног старого доктора, но больше он не спрашивает у нее, сколько шестью семь или семью девять. Он диктует ей, она записывает — краткая статья постепенно превращается в книгу.

— И вот человечество вновь остановилось перед вопросом, которому гениальные умы прошлого отдавали все свои силы,— диктует старый доктор.— Кто уносит миллионы жизней, погибающих от сыпного тифа, оспы, испанки, бешенства и других болезней, возбудителей которых еще никому не удалось обнаружить? По мере того как эти болезни внимательно изучались...

У Львовых гости

Это был вечер, когда я вспомнила, что давно не была у старого доктора, и, забежав после школы к маме на работу, решила пойти не домой, а к Львовым. Я шла по улице Карла Маркса и думала о себе в третьем лице, но

не просто думала, а как бы писала: «Ей семнадцать лет, неужели уже семнадцать?» Это выходило смешно. «Кто знает, что ждет ее впереди? Еще два года — нет, полтора! — и, окончив школу, она поедет в Москву».

Радостный, поющий дом, летящий вперед и освещенный, как пароходы по вечерам на Тесьме, почему-то представился мне, когда я шепотом произнесла это слово: «Москва!» Я увижу Москву. Я стану врачом. Старый доктор говорит, что в Москве собрались самые лучшие медицинские силы.

Я пробежала вечевую площадь, поднялась по Ивановской — и замерла: у Львовых все окна были освещены, тени мелькали за ними, и снег крутился в столбах света, падающих из окон во двор, совершенно так же, как перед домом, который только что представился мне.

Я влезла на мусорный ящик и, прижавшись к стеклу, увидела старого доктора, который, сгорбившись, сидел за столом. Агния Петровна стояла за его спиной, держа в руках чашку, в которой горел — что за чудо! — круглый синеватый огонь. Окно было все в крестиках и звездочках и как-то преломляло свет, так что вдруг передо мной мелькнули и пропали не один, а два старых доктора. Но вот я нашла Андрея, сидевшего как-то по-своему, спокойно и прямо. Вот кто-то очень высокий встал и, смеясь, стал зачерпывать синеватый, колеблющийся огонь разливательной ложкой. Что все это значит?

Я подошла к черному ходу, постучала, и Агаша, которая по-прежнему жила у Львовых, открыла мне как ни в чем не бывало.

Приехал Митя — вот что это значит! Он приехал из Ростова-на-Дону, где еще служил в Красной Армии, хотя многие врачи были уже демобилизованы и разъехались по домам.

Агаша сделала загадочное лицо.

— Выпьем, а потом на станцию,— сказала она.— Решенный вопрос.

— Зачем?

— Гулять. Интересные такие приехали и вино привезли.

В том, что гости привезли вино, не могло быть сомнений хотя бы потому, что Агаша ежеминутно делала большие глаза без всякой причины. Я спросила, где Митя, и она сказал таинственным шепотом, как будто, кроме меня, никто на свете не должен был этого знать:

— Там.

Потом она взяла меня под руку, и мы пошли на кухню, в которой было полутемно, потому что горела слабая угольная лампочка. Я спросила почему, и Агаша объяснила, что в столовой Мите показалось мало света и он вывернул лампочки у подъезда, в кладовой и на кухне.

— Дивный сон,— сказала она и ушла.

Я стояла и волновалась. Митя! Мне тоже захотелось сразу пойти в столовую. Но я решила, что это неудобно и лучше зайти завтра, а сейчас вернуться домой.

В эту минуту высокий человек — тот самый, которого я видела через окно,— вбежал в кухню и энергично, сердито крикнул:

— Агаша!

Он недовольно поднял брови, как Митя, и шумно вздохнул. Это и был Митя, и еще прежде чем он увидел меня, я успела огорчиться, что он стал такой большой, просто огромного роста.

— Здравствуйте, Митя.

Он шагнул ко мне и сказал с изумлением:

— Неужели Танечка? А почему на кухне?

Я сказала:

— Случай, который объяснить очень просто. Условились, что зайду к доктору, а он, без сомнения, занят в связи с вашим приездом. Пожелаю вам доброго вечера, вот и все.

Это вышло слишком гладко, но я, когда смущалась, всегда говорила гладко.

Митя засмеялся. От него немного пахло вином, и теперь это был уже почти прежний Митя.

— Э, нет! — сказал он.— Отпустить старую знакомую, которую я однажды чуть не убил? Которая так чудно говорит: «Пожелаю доброго вечера, вот и все»? Это не в моих интересах.

Он взял меня за руку, но я твердо сказала:

— Нет, к сожалению.

И отняла руку.

Я не ломалась, а просто раздумала, потому что на мне было старенькое ситцевое платье, а бежать домой переодеваться было неловко.

Все-таки он притащил меня в столовую и как раз когда все говорили шепотом: «Тише, тише!» — потому что старый доктор поднялся и объявил, что хочет сказать несколько слов. Митя пробормотал: «Ох, дядюшка!» — но на

него зашикали, и тогда он знаками комически представил меня своим друзьям — высокому человеку в военной форме, с большим, лениво-добродушным лицом и маленькому черному штатскому, который при виде меня широко открыл один глаз, а другой закрыл без единой морщинки. Первый был незнакомый, а второй — наш, лопахинский, я сразу вспомнила — Рубин.

В столовой было натоплено, накурено. Голубоватый огонь горел в чашке посреди стола, согнувшийся старый доктор говорил что-то сильным, помолодевшим голосом.

...Я только что успела немного привыкнуть к тому, что Агния Петровна, в бальном платье, гордо распоряжается за столом, к тому, что Андрей, вдруг оказавшийся маленьким рядом с высоким братом, смотрит на него с обожанием, которое напрасно старается скрыть,— словом, ко всему, что в этот вечер прямо с неба свалилось в «депо», как Митя подсел ко мне и взволнованно спросил:

— Ты знаешь, что Глашенька Рыбакова вернулась в Лопахин?

Это было неожиданно, и я не сразу ответила, тем более что в кухне он называл меня на «вы» и мне это понравилось, а теперь вдруг на «ты». Кроме того, он спросил так, как будто Глашенька только вчера вернулась, в то время как она уже больше года жила в Лопахине. Она приехала совершенно другая, робкая, в некрасивом пальто, сшитом из клетчатой шали, и когда я ее встречала, мне всегда казалось, что она старается идти поближе к забору, чтобы занять поменьше места на улице и вообще на земле.

Я сказала:

— Давным-давно.

— Ты знаешь, где она живет?

— Знаю.

— Я хочу попросить тебя проводить меня к ней.

Я сказала вежливо:

— Пожалуйста.

Но мне почему-то ужасно не захотелось его провожать, и все время, пока Павел Петрович говорил свою речь, я думала о том, как это неприятно, что я согласилась.

В сущности говоря, какое мне было дело до того, что Глашенька обещала выйти за Митю, а потом убежала с другим?

В свое время мы с Андреем решили, что она совершила страшную подлость, тем более что Митя любил ее и был

в отчаянии, когда она убежала. Андрей утверждал, что это клятвопреступление, за которое во времена Петра Первого отрубили бы правую руку. Но, с другой стороны, мало ли какие причины могли заставить ее отказаться от Мити?

Теперь мне было не одиннадцать лет, я понимала, что любовь — это сложное чувство. Но все-таки было досадно, что у него не хватает чувства достоинства и он бежит к Глашеньке в первый же день приезда.

Доктор кончил свою речь. Оказалось, что в лице Мити и Курочкина — так звали высокого военного — он приветствует молодое поколение врачей, которому был бы счастлив передать свой многолетний опыт.

— Итак, открыт путь, о котором мы не могли и мечтать в прежние годы. Науке предстоит осветить целую область неведомого. В эту область неизбежно должны прийти новые, молодые силы!

Все стали аплодировать, а Митя с Курочкиным подхватили Павла Петровича и хотели качать. Но Агния Петровна не дала и сказала, что ему «вообще на сегодня хватит».

Все говорили о гимназии, когда, проводив Павла Петровича, я вернулась в столовую, и Рубин, который снял куртку (оказалось, что у него на ремне висит маленькая плотная кобура с револьвером), утверждал, что гимназия была хороша своей дисциплиной.

— А «Премудрость» еще висит в рекреационном зале? — спросил он. — «В войнах и тишине храня премудры средства, копьем врагов разит, своих хранит от бедства».

И он объяснил, что «Премудрость» — это была картина, изображавшая богиню Минерву, поражающую копьем дракона. А под картиной были стихи, которые он прочитал. Я все смотрела на Рубина и думала, что он удивительно изменился. Как странно он говорит: с небрежным выражением, как будто над всем Лопахином и даже немного над нами у него была какая-то тайная власть. Впрочем, это только мелькнуло среди других мыслей, из которых самая главная была: «Не хочу я провожать Митю к Глашеньке. Что я за провожатая! Попросил бы Андрея. Не пойду, вот и все!»

Но это было уже невозможно.

Ничего не объясняя, Митя посмотрел на меня и вышел. Он посмотрел повелительно и вместе с тем умоля-

юще, как будто это было важнее всего на свете — бежать со всех ног к Глашеньке, которая, может быть, давным-давно и думать забыла о нем. Я шепнула Агаше, что скоро вернусь, и тоже вышла. Андрей с удивлением взглянул на меня.

Встреча

Ветер упал, чистая луна высоко стояла в морозном небе. Митя говорил без умолку. Я молчала, сердилась. Но иногда мне становилось смешно, потому что он то начинал неловко шутить со мной, как с маленькой (и тогда становилось видно, что он вообще не умеет обращаться с детьми), то переходил на неопределенно-взрослый тон, особенно когда я ему холодно отвечала. Например, он спросил, понравился ли мне Курочкин, и я удачно ответила, что нужно быть гением в психологии, чтобы судить о человеке с первого взгляда. Но Митя пропустил это замечание мимо ушей и стал рассказывать, что Курочкин — один из ближайших учеников известного профессора Красовского, но что когда-нибудь его загубит лень, потому что по духу — это «гений и беспутство».

Он шел быстро — шинель развевалась, большие уши шлема откидывались — и нисколько не замечал, что я едва поспеваю за ним.

— Где она служит? — вдруг спросил он.— Ах да, ты сказала, в школе для взрослых. А старики?

— Родители? Они убежали.

— Как убежали? Уехали?

— Да, уехали.

— Куда же?

— Не знаю, кажется, на Дальний Восток.

В Лопахине говорили, что Глашенькины родители уехали к белым, но я не стала передавать Мите эти слухи.

Ему могло показаться странным, что я так хорошо знала все, что касалось Глашеньки Рыбаковой. Можно было подумать, что ее судьба интересует меня.

Глашенька жила в последнем доме на Развяжской, а дальше начиналось Поле жертв революции, бывшее Стрелецкое, на котором стоял памятник лопахинцам, погибшим во время гражданской войны. Поле было снежное, голубое. Какой-то закутанный человек медленно шел через поле — должно быть, по целине. Тропинки были занесены давешней вьюгой.

— Танечка, лучше, если зайдете первая вы. Я подожду, да?

Было так светло, что я видела у Мити на щеке дрожащую жилку, как у Агнии Петровны, когда она волновалась. Я тоже волновалась.

— Митя, очевидно, вы думаете, что мы хорошо знакомы? Между тем я не уверена даже, узнаем ли мы друг друга.

Я хотела сказать, что Глашенька едва ли узнает меня, но это показалось мне обидным, и я повернула таким образом, что я тоже могу ее не узнать.

— Тонечка!

— Простите, Митя, но мне пора домой.

— Подождите же хоть пять минут! Окна темные, наверно, ее нет дома.

Как будто в моих руках было счастье его жизни — так горячо он стал убеждать меня, чтобы я подождала! Зачем я была ему нужна? Не понимаю. Если бы уж так была нужна, он мог бы, кажется, запомнить, как меня зовут, а не называть «Тонечка». Наконец я согласилась подождать пять минут,— ровно! — и он мигом повернулся и, как буря, ворвался во двор.

В Лопахине всегда ложились рано, а уж в те годы — особенно рано, и Глашенькины хозяева видели, должно быть, второй сон, когда Митя взбежал по заскрипевшим ступеням, оглушительно загремел чем-то в сенях, наверно ведрами, а потом чуть слышно постучал в двери.

Очевидно, его спросили: «Кто там?» — потому что он ответил:

— Извините. Могу я видеть Глафиру Сергеевну?

Тогда спросили: «Вы кто?» или что-нибудь в этом роде, и он ответил:

— Старый знакомый Глафиры Сергеевны.

Желтый огонек вспыхнул и погас за мутным, замерзшим стеклом. Снова вспыхнул — зажгли свечу. Я волновалась. Дома ли Глашенька? Да мне-то что за дело?

Глашеньки не было дома, и Мите наконец сообщили об этом, так и не открыв дверей, хотя свеча ходила туда и сюда,— должно быть, хозяева колебались, открыть или нет. Митя с громом скатился с крыльца, хлопнул калиткой и мрачно сказал мне:

— Пошли.

Еще прежде я заметила, что человек, который давеча шел через поле — женщина, и эта женщина направляется

прямо ко мне или к дому, подле которого я тогда стояла одна. Потом я забыла о ней, а теперь снова вспомнила, потому что Митя, выбежав из калитки, вдруг остановился и стал смотреть на эту женщину, которая была еще довольно далеко от нас. Не знаю, кто прежде догадался, что это Глашенька,— кажется, я, потому что сразу же взглянула на Митю, а у него еще было мрачное лицо с недовольно поднятыми бровями — еще сердился, что не застал Глашеньку дома. Но вот узнал и он! Боже мой! Он сделал шаг и замер. Мне показалось, что я слышу, как бьется его сердце. Он стоял в распахнутой шинели, стремительный, бледный, вдруг растерявшийся, вдруг похудевший.

А Глашенька-то! Она и думать не думала, кто ждет ее! Она шла медленно и думала, без сомнения, о чем-нибудь самом обыкновенном. Заметив нас, она пошла еще медленнее: должно быть, незнакомые люди подле дома испугали ее.

Это было так долго — она шла, а мы стояли и ждали,— что мне стало казаться, что не только мы, а весь город, притаившийся под снегом, в котором бесшумно пропадали шаги, ждет ее и волнуется: как они встретятся, что сейчас будет?

— Глашенька!

Она остановилась, вздрогнула, и первое движение, первое чувство было — бежать! Но она еще не верила и, кажется, только поэтому не трогалась с места.

— Глашенька, ты не узнала меня?

Таким полным, сильным голосом она крикнула: «Митя!», так рванулась к нему, с такой тоской, с таким трепетом протянула руки, что я сама, чтобы не заплакать, поскорее крепко закрыла глаза... Почудилось ли мне, что она хочет стать перед ним на колени? Не знаю. Митя подхватил ее.

Ух, как я пустилась бежать! Со всех ног, даже сердце зашлось и закололо в боку, и пришлось немного постоять на углу Карла Либкнехта и Развяжской. Пусто было в городе, пусто и светло от луны; низенькие дома стояли под крышами из толстого снега, и все было так, как будто ничего не случилось. Люди спали в домах, не зная, как загадочна, необыкновенна любовь! Я пролетела улицу Карла Либкнехта, потом Вечевую площадь и свернула на Ольгинский мост. Часовой в огромной бараньей шубе с удивлением посмотрел на меня.

Слушайте, все люди, мужчины и женщины, те, которые узнали, что на свете бывает любовь, и те, кто поверил этому и кто не поверил, и те, кто в эту ночь, в этот час не знают, что делать со своей душой: никогда, никого я не буду любить! Слушайте, те, которые в семнадцать лет идут по городу ночью и видят свет луны, волшебно изменяющий мир: никогда, никого я не буду любить!

Я шла очень быстро и разговаривала с собой, горько каялась, что вчера кокетничала с Володей Лукашевичем из выпускного класса, и клялась, что этого больше не будет, и, лишь перейдя Ольгинский мост, вспомнила, что уже скоро два года, как мы переехали из посада в город. Мне стало смешно — так забыться из-за какой-то любви!

Очень медленно, чтобы успокоиться, я сказала вслух:

— Любовь есть ничтожный эпизод в истории органической жизни земли.

И побежала домой.

Друзья

Что-то изменилось с приездом Мити, как изменялось всегда — и в прежние, далекие времена. Но теперь это была другая перемена — без сомнения, потому, что он сам стал совершенно другим. Теперь это был взрослый человек, военный врач, вернувшийся на родину, в прекрасном кожаном костюме, который подарил ему командующий дивизией за посадку раненых под жестоким обстрелом.

Митя приехал не один, а с Рубиным, который служил в Реввоенсовете Первой Конной, а теперь был назначен директором лопахинского кожевенного завода, с Курочкиным, о котором Андрей сказал, что этот доктор командовал полком и участвовал в штурме Перекопа. Узкая горная дорога почему-то представлялась мне, когда я слышала эти слова — «Реввоенсовет», «Перекоп». Чуть позвякивая шпорами, оружием, молчаливые конники едут по этой дороге — едут, переговариваются не спеша,— и ни слова о том, что поперек дороги легли, скрещиваясь, черные, грозящие гибелью тени...

Разумеется, это можно объяснить простым совпадением, но никогда еще в нашей школе не было так много принципиальных объяснений, разговоров, неожиданных ссор — словом, всего, что нарушает равномерное течение жизни, как в эти дни, после приезда Мити. Мы уговорили его выступить в «Клубе старой и молодой гвардии» с док-

ладом о нэпе, и он прекрасно объяснил, что такое нэп и почему он необходим на данном этапе. Правда, иногда Митя немного хвастал, без всякого повода упоминая о своем участии в гражданской войне, но все-таки его рассказами можно было заслушаться, и все заслушивались, особенно я.

После его лекции мы долго спорили о том, как нужно вести себя в условиях нэпа.

Мы — это были Андрей, Гурий Попов, Володя Лукашевич, Нина Башмакова и я.

Случалось ли вам видеть групповые портреты, на которых художник стремится изобразить несколько человек, объединенных общей профессией или общим стремлением к цели? Вот такой портрет нашей компании я вижу удивительно ясно, и не только фигуры и лица, с их разнообразным выражением молодой мысли и молодых, искренних чувств, но и фон — высокий берег Пустыньки, с которого далеко открывалась наша Тесьма, освещенная первыми лучами солнца, только что скользнувшими где-то высоко, а теперь опустившимися прямо на нас. Та ночная прогулка и раннее утро на Пустыньке навсегда запомнились мне. Но я забегаю вперед...

Андрей — вот кто был главным в нашей компании. Он стал теперь плотным, крепкого сложения молодым человеком, неповоротливым, но сильным, и к этой силе забавно примешивалась доброта, которую он как бы скрывал и сердился, когда она открывалась.

Мы очень интересовались в те годы «познанием природы вещей». Андрей первый объявил, что в основе всех вопросов должно лежать революционное мировоззрение, и, выступив в школе с докладом «Происхождение жизни на Земле», объяснил, почему в данном вопросе правы материалисты.

Революционное мировоззрение в теории и на практике волновало нас больше всего. Соответствует ли мировоззрению то, что я живу с мамой, которая заведует пошивочной мастерской Церабкоопа, а не зарабатываю сама, хотя и могла бы, поскольку мне уже шел восемнадцатый год? На практике, в жизни, я обходила этот вопрос. Но в глубине души он все-таки беспокоил меня, между прочим, еще и потому, что отчасти перекликался с вопросом о том, как должен вести себя активист в условиях нэпа.

Нина Башмакова — это была моя лучшая подруга — считала, что нэп даже полезен для мировоззрения, по-

скольку он является испытанием — и, возможно, самым легким из тех, которые нам еще предстоят. Вообще Нина была принципиальнее, чем я. Меня она ругала за гордость, за сдержанность, за скрытое кокетство и главным образом за «розовые очки», то есть необоснованный оптимизм. Таким образом, у меня было много поводов для угрызений совести, а у нее только один: ее мучило, что она никак не могла понять, есть ли уже у нее мировоззрение или еще нет, и когда наступает минута, после которой человек может определенно сказать, что у него «сложились самостоятельные взгляды на мир».

Андрей велел ей прочитать книгу «Мировые загадки», но только я одна знала, что это чтение остановилось на словах: «Итак, приступая к предмету...»

Гурий Попов — вот о нем можно было без всякой иронии сказать, что у него сложились самостоятельные взгляды на мир.

Это был черный вспыльчивый, похожий на негра юноша, без которого в Лопахине не обходилось ни одно общественное дело. Он был в ЧОНе (часть особого назначения), когда белые подходили к Лопахину, несмотря на то что ему тогда едва исполнилось четырнадцать лет.

Замечали ли вы, что в каждом групповом портрете кто-нибудь стоит в стороне, как бы прислушиваясь к тому, чем глубоко заняты другие? Его смутную фигуру лишь с трудом можно отличить от фона, на котором написан портрет. Таков был Володя Лукашевич, о котором Гурий как-то с досадой сказал, что если Володю посадить в землю, то через неделю пробьются зеленые веточки, а еще через две — на веточках появятся почки. Но это вовсе не значило, что Володя был деревянный, как бывают люди с какой-то деревянной душой. Он действительно был близок к природе — быть может, тем, что в нем никогда не чувствовалось ни малейшего напряжения, и он почему-то был нужен всем, а сам неизменно оставался в тени. Володя был русый, высокий, с ровным румянцем, вечно гудевший басовые партии. Он играл в школьном оркестре па геликоне — так называется очень большая труба.

В журнале «Юный пролетарий» он больше всего любил читать отдел «Комсомол — шеф Красного флота». С детских лет Володя решил стать моряком.

И вот эта чу́дная компания, эти друзья, которые то и дело строили планы, каким образом мне перешагнуть через класс, чтобы вместе с ними поступить в институт, объявили, что они больше не желают знать меня и встречаться со мной.

Голосую «против»

Эта история началась с того, что в нашей школе освободилось место преподавателя географии и Глашенька Рыбакова подала заявление о том, что из школы для взрослых она хочет перейти в нашу школу.

Это было еще до приезда Мити, и тогда ее желание не встретило ни малейших возражений, тем более что педагоги получали сравнительно небольшой паек. Вот почему мы были поражены, когда Нина Башмакова, которая жила в одной квартире с француженкой, очень взволнованная, прибежала ко мне и объявила, что на школьном совете Глашеньку решено провалить. В нашей компании никто до сих пор не интересовался Глашенькой. Но провалить ее — это было несправедливо! И Гурий предложил выступить в ее защиту на школьном совете.

Прежде всего он предложил «изготовить мандаты». Володя Лукашевич, Гурий и я были представителями учкома в совете, и до тех пор никому не приходило в голову проверять наши мандаты. Но Гурий сказал, и Ниночка помчалась и достала четыре листа великолепной бумаги: три для нас, а четвертый для председателя домового комитета.

Была и вторая задача: привести на школьный совет председателя домового комитета. По какому-то закону, о котором мы впервые узнали от Гурия, право решающего голоса имел еще председатель домового комитета. Наша школа помещалась в бывшей прогимназии Кржевской, но во время революции Отнаробраз несколько классов отдал под квартиры, и в школьном здании образовался домовый комитет.

Председателем его был тот самый горбатый чиновник, который некогда приходил в гости к Агаше. Теперь он служил в продовольственном отделе. С моей точки зрения, его не следовало приглашать, потому что он был неприятный тип, ко всему на свете относившийся с необъяснимым злорадством. Но Гурий возразил, что вопрос принципиальный и что математик Шахунянц, например, тоже

является неприятной личностью, однако это обстоятельство, к сожалению, не лишает его права подать свой голос против Глашеньки на школьном совете. И Гурий быстро сбегал к бывшему чиновнику и, вернувшись, сказал, что тот согласился прийти.

Это очень трудно — хотя бы в самых общих чертах нарисовать заседание совета Лопахинской единой трудовой школы II ступени. Еще труднее поверить, например, тому, что школьные занятия казались нам каким-то придатком ко всякого рода кампаниям, заседаниям, вечерам, к работе комсомольской ячейки — словом, ко всему, что составляло главное содержание нашей жизни.

Заседание совета, на котором решалась судьба Глашеньки Рыбаковой, происходило в швейцарской — самое теплое место в школе,— и, помнится, перед Глашенькиным вопросом было два других — «дрова» и «танцульки».

Дрова — это был важный вопрос. У Лопахина с осени стояли баржи с дровами, и Гортоп предлагал за выгрузку одной сажени четыре фунта хлеба, фунт рыбы и сто миллионов дензнаками 1921 года. Француженка взяла слово и объявила, что она, с ее больным сердцем, не в силах выгрузить даже один грамм. В ответ выступил Гурий и разъяснил, что выгрузка дров является общепролетарским делом и, следовательно, единая трудовая школа не имеет права от него уклоняться.

У нас был почтенный, седовласый зав с большой бородой, умевший все объяснить и всех примирить. В прошлом он был латинист, а потом, когда латынь отменили, стал преподавать историю материальной культуры, которую тоже отменили, так что ему больше ничего не оставалось, как сделаться завом. Он сказал, что Гурий и француженка одинаково правы. Итак, tertium non datur — третьего не дано. Но школа потребует деньги и рыбу вперед, и тогда третье появится, ибо на полученное вознаграждение можно будет нанять людей, которые исполнят работу.

Следующим вопросом были «танцульки» — так назывались танцевальные вечера, которые устраивались у нас по меньшей мере три раза в неделю. Что делать? Математик Шахунянц — сердитый старик с запавшими, горящими глазами — взял слово и сказал, что он знает, «что делать»: после занятий нужно немедленно запирать школу на ключ. На днях он спросил ученика выпускного класса, сколько $a + b$ в квадрате, и тот ответил $2ab$. В школу нужно хо-

дить, чтобы учиться, а для танцев есть общественные места.

Я молчала, потому что на этих «танцульках» мы с Ниной всегда были первые. Но Гурий возразил, что запирать школу на ключ нельзя, потому что единая трудовая школа должна быть открыта для учащихся днем и ночью. Что касается «танцулек», то с ними, по его мнению, нужно бороться с помощью больших кинофильмов, не меньше чем в двух сериях, причем обе должны идти непременно в один сеанс! Тогда на «танцульки» не останется времени, и ребята, как правило, должны будут отправляться спать.

В заключение он сказал, что «призраки прошлого еще реют над школой», и мне представился старый, небритый Шахунянц, который, сморкаясь, летит над школой в распахнутой шубе.

Словом, это была блестящая речь, но, к изумлению оратора, она не произвела особенно сильного впечатления на школьный совет, и «танцульки» решено было ограничить одним воскресным вечером в неделю.

Бывший чиновник пришел, когда прения по поводу Глашеньки были в полном разгаре. Он приоделся и выглядел очень прилично в высокой котиковой шапке и пальто с бобриковым воротником.

Зав посмотрел на него вопросительно, очевидно подумав, что чиновник пришел по ошибке. Но тот сел как ни в чем не бывало, злорадно откашлялся и зачем-то положил на стол свой мандат.

Это была неприятная минута; педагоги взяли мандат и стали его рассматривать, передавая из рук в руки. Француженка иронически-злобно засмеялась. Нужно было спасать положение, и Гурий опять сказал речь — на этот раз неудачную, но не по содержанию, а потому, что почувствовалось, что он стремится исправить неловкость этого неприятного типа, которого — я была права — незачем было приглашать на совет.

— Я считаю, что подобное заявление, поступившее от Глафиры Сергеевны Рыбаковой, знающей два языка,— сказал Гурий,— является честью для нашей школы.

Я видела, что француженка просто кипит,— мне даже казалось, что от нее идет пар и слышно бульканье и шипенье. Гурий кончил. Француженка взяла слово. Она поблагодарила Глашеньку за «неслыханную честь». Относительно двух языков она сказала, что от души рада за товарища Рыбакову, хотя и не видит прямой связи между

знанием иностранных языков и географией родной страны. Тут она сделала подлый намек на Глашеньку, назвав ее «особой», и хотя вообще в этом слове не было ничего особенного, но в данном случае оно прозвучало подло.

Мне кажется, именно в эту минуту у меня наступило то странное состояние духа, которое я даже не знаю, как объяснить, и которое еще и теперь иногда бывает у меня, но с каждым годом все реже: как будто время останавливается и все вокруг себя я начинаю видеть в новом, неожиданном свете. Барышня в беленьком полушубке явилась предо мной как наяву, румяная, нежно-хрупкая, с большими глазами. Она стояла на дворе у Львовых и вытряхивала из рукавички записку. Митя выбежал к ней, взволнованный, без шинели. Он гордо вел ее, она шла улыбаясь, и они были полны той любви, перед которой у меня занялось дыхание.

И другая Глашенька вспомнилась мне — та, которая зимним вечером явилась к нам вместе с холодом и звонким побрякиванием упряжи на разлетевшейся тройке. Забившись в мамину постель, я смотрела, смотрела на тонкие руки, сжимавшие голову, на волосы, рассыпавшиеся по рукам, на мрачное лицо с широко открытыми глазами. «Поздно,— вот что говорило это лицо.— Теперь у меня перед глазами заблестело золото, засверкали бриллианты»...

— Удовлетворим ли мы просьбу Глафиры Сергеевны Рыбаковой? — услышала я, как во сне.— Кто «за» — поднимите руки.

«За» был Гурий, один из учителей, бывший чиновник и Володя. У француженки стало торжествующее выражение лица, и все уставились на меня, потому что я не подняла руку. Это было ужасно. Рука висела и была очень тяжелая и, наверно, я сошла с ума, потому что мне одновременно и хотелось поднять ее и не хотелось.

Гурий посмотрел на меня долгим презрительно-укоряющим взглядом, и через минуту все кончилось. Глашенька провалилась.

Зав, который, между прочим, воздержался, объявил об этом с сожалением.

— Сомневаясь, приходим к истине,— сказал он.— Ходатайство отклонено.

Когда мы выходили из школы, Гурий догнал меня:

— Одну минуту.

Я обернулась. От волнения у меня задрожало лицо, но я сразу же справилась и даже гордо откинула голову, как

будто мне было глубоко безразлично то, что я услышу сейчас. Если бы безразлично!

— Вот что,— холодным голосом сказал Гурий,— ты поступила подло, и мы объявляем тебе бойкот.

Думаю

Из школы я забежала в Дом культуры: мне нужно было спешно посмотреть слово «бойкот» в энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Сидя на полу в библиотеке, я читала статью об этом слове, когда Агния Петровна налетела на меня, пощупала лоб и руки, сказала, что жар, и прогнала домой.

Это было очень странно, но ничего не переменилось в нашей комнате, несмотря на то что я совершила подлость, причем общественную, а не личную, поскольку я была обязана предупредить ребят, что голосую «против». Кошка сладко спала в кресле — ей было все равно, что Гурий объявил мне бойкот. Часы за стеной у Марии Петровны захрипели, долго собирались пробить и не пробили, успокоились — так было вчера и третьего дня. Уходя, мама оставила на столе картошку и нож, чтобы я почистила — она не любила картошку в мундире. Все как было! Что же случилось со мной?

В энциклопедии было сказано, что такое бойкот. Так звали, оказывается, какого-то капитана, который заявил, что не будет платить арендных денег за землю, и тогда «земельная лига» приказала местным жителям — это было в Ирландии — «забыть о его существовании». Почтальоны не носили ему писем, ни один человек не здоровался с ним, от него ушли рабочие и домашняя прислуга, и в конце концов сам господь бог послал убийственный град на его поля,— стало быть, даже бог интересовался, внес ли капитан арендные деньги. Но ведь это были деньги, из-за которых — даже странно было подумать — некогда объявляли бойкот! А в данном случае это было неправильно, хотя бы потому, что Гурий должен был прежде выяснить мотивы, по которым я голосовала «против», а уже потом объявлять бойкот. Но хорошо, что он не стал выяснять эти мотивы! Все равно я не могла бы выразить их теми обыкновенными словами, которыми мы всегда говорим.

Я шагала по комнате и думала, думала... Итак, я подлец, и мне объявили бойкот. По каким же мотивам голосовала я против Глашеньки? Я не люблю ее? Не знаю.

Правда, встречая ее, я всегда переходила на другую сторону улицы, хотя Глашенька все равно не узнавала меня. Но мне просто неприятно видеть ее такой нерешительной, робкой, в этом странном пальто из клетчатой шали. Мне было жалко ее, пока не приехал Митя.

Пока не приехал Митя? Эта мысль поразила меня.

«Да,— продолжала я думать, как будто распутывая в душе какой-то клубочек, в котором была спрятана тайна.— Мне не понравилось, что он побежал к ней в первый же вечер, оставив даже гостей, что было вообще неприлично. Но мало ли что еще не понравилось мне. Он должен был, например, спросить меня, как я живу, как учусь. Он не должен был называть меня Тонечкой, как будто я ребенок, о котором можно не думать — обидится он или нет.

Когда мы сломя голову бежали на Развяжскую, он мог бы не рассказывать о Курочкине — просто так, чтобы о чем-нибудь говорить, а хотя бы вспомнить то время, восемнадцатый и почти весь девятнадцатый год, когда Львовы голодали и мы с мамой ездили по деревням, меняя на продукты мебель и разные вещи. Юлий Генрих Циммерман уехал в Париж, и Агния Петровна отдала Музотделу все его инструменты, но одно пианино осталось, и мы с мамой очень выгодно обменяли его на крупу. Нам пришлось взять в свои руки все хозяйство в «депо» — об этом-то Митя мог бы сказать хоть слово!

Но при чем же здесь Глашенька, боже ты мой?»

Мама пришла сердитая и сказала, что у станции Ашево бандиты напали на почтовый поезд. Мы ужинали, и она все говорила об этой истории, хотя ничего особенного не произошло: почтовые служащие отстрелялись.

...День прошел, и даже Андрей не заглянул ко мне, а он-то, без сомнения, давно уже знает все от Гурия или от Нинки! День прошел — вот и мама ложится. Сейчас она погасит свет и уснет, и я снова останусь одна и снова буду думать — о чем? Я уткнулась в подушку и немного поплакала — тихонько, чтобы не слышала мама.

Где я читала, что усилием воли можно заставить себя уснуть? Я постаралась в душе сделать это усилие. Не знаю, помогло ли оно, но я стала засыпать — уже смутно услышала скрежет ключа в замочной скважине и грузные шаги Надежды Петровны по коридору. «Как хорошо, что кончился этот день!» — подумала я, а почему хорошо, уже не могла вспомнить, забыла.

И вдруг сон пропал. Поджав ноги, я села на постели и прислушалась. Но все было тихо вокруг, я снова легла, и тогда кто-то точно взял меня за руку и привел к домику, где жила Глашенька на Развяжской. Темные окна отсвечивали под луной. По снежному голубому полю медленно шла Глашенька, и мы с Митей ждали ее. Как это было страшно, как стыдно, что она хотела встать перед ним на колени! Как томительно отозвался во мне этот крик, полный тоски и счастья и еще какого-то непонятного чувства, от которого мне захотелось убежать куда глаза глядят, чтобы ни один человек на свете в ту минуту не увидел меня...

Всю ночь я ворочалась, читала, старалась уснуть, ела холодную картошку, долго стояла в одной рубашке у окна, за которым была ночь, и ночной снег, и ночное зимнее небо. Потом пришел день, очень грустный, потому что заболела мама.

С утра она еще храбрилась, даже задумала перетопить прогорклое масло и чуть не устроила пожар, пытаясь вопреки законам физики смешать масло с соленой водой. Но часам к двенадцати села на кровать, очень бледная, и сказала, чтобы я сбегала в швейную мастерскую предупредить, что сегодня она не придет. Я побежала, но сперва к доктору Беленькому, который всегда лечил маму, а потом в мастерскую.

Был прекрасный воскресный полдень, солнце сияло так, что на снег было больно смотреть, и уже весна чувствовалась в этом теплом сиянии, а я шла несчастная-пренесчастная и думала о том, что у меня странная душа, в которой не помещаются огорчения. Из моей души они всегда почему-то торчат, и все видят их хвостики и видят, как мне хочется, чтобы огорчения кончились поскорее. И я мысленно спрятала хвостики и сделала непроницаемое лицо — очень кстати, потому что в эту минуту из-за угла выскочила и вприпрыжку побежала ко мне навстречу Леночка Бутакова.

Я училась тогда во втором классе второй ступени, а вся наша компания в третьем. Леночка тоже училась в третьем, но она была еще такая маленькая, что играла в куклы и читала «Голубую цаплю», о которой сказала мне однажды, что это самая хорошая книга на земле и она не понимает, как можно написать еще лучше. И вот эта Леночка, на ко-

торую мы смотрели, как на ребенка, подойдя ко мне, закинула голову и, не здороваясь, прошла мимо как ни в чем не бывало.

Все ясно! Не только Гурий, весь третий класс презирает меня. Скоро я не смогу показаться не только в школе, но просто на улице, если от меня осмелилась публично отвернуться даже эта маленькая Леночка Бутакова.

От волнения я пробежала мимо Власьевской, на которой жил доктор Беленький, и вернулась, стараясь издалека рассмотреть, не идет ли еще кто-нибудь из третьего или нашего класса. У доктора был маленький сын, и когда он открыл мне дверь, я стояла несколько мгновений молча, как дура, точно этот мальчик лет десяти, весь в чернилах, тоже мог показать, что он презирает меня. Но мальчик только втянул носом воздух и сказал, что папы нет дома.

Одним духом пролетела я Власьевскую — на этой улице была городская библиотека. Не глядя ни на кого, пробралась я через толпу мальчишек и девчонок, стоявших в очереди у кино. Расстроенная, взволнованная, забежала в швейную мастерскую, сказала, что мама больна, и вышла черным ходом, чтобы попасть не на улицу Карла Либкнехта, а на Овражки.

Солнце зашло, деревья на Овражках стояли некрасивые, черно-голые, снег потускнел и лежал не блестя. Вот такая же потускневшая, скучная я вернулась домой и на лестнице догнала Андрея.

Он принес новый номер «Юного пролетария», в котором была интересная статья, и не менее получаса мы говорили об этой статье, как будто ничего не случилось. Потом Андрей осторожно сказал, что вчера Гурий просидел у него целый день. Они спорили. Я спросила: «О чем?» — он ответил:

— Об антропоцентризме.

Я тогда не знала, что это идеалистическая теория, согласно которой человек считает себя центром вселенной, и не поняла, какое отношение имеет антропоцентризм ко мне. Но на всякий случай я сказала иронически:

— Вот как!

Мама охала и кряхтела за ширмой, и Андрей сказал, что он попросит Митю зайти, чтобы посмотреть ее. Я поблагодарила.

Потом спросила небрежно:

— Итак, что ты думаешь об этой истории?

— Я думаю,— серьезно сказал Андрей,— что это трагедия.

Мне захотелось спросить: для кого трагедия, для меня или Глашеньки? Но я не спросила.

— Вот как? Почему же?

— Потому, что Митя может бросить ее,— продолжал Андрей. (Значит, для Глашеньки.) — И тогда будет лучше, если она останется в нашей школе, а не в школе для взрослых.

Почему лучше, это было неясно. Но другое поразило меня.

— Как бросить?

— Очень просто. Кончится отпуск, и Митя уедет — возможно, даже в Москву. Ты уверена, что он возьмет ее с собой? У него там, между прочим, нет квартиры. И вообще, мне кажется, для нее было бы лучше, если бы она не любила его.

— Почему?

— Потому, что тогда она казалась бы ему загадкой. Он давно разлюбил бы ее, если бы она не убежала с Раевским.

— Какая ерунда!

— Нет, не ерунда,— медленно возразил Андрей,— я бы тоже давным-давно ее разлюбил.

— Ты?

— Да, я. Ведь это только кажется, что мы с Митькой не похожи.

Я закричала:

— Ого-го!

— Так могла бы ответить и лошадь,— сказал Андрей.— У нас семейное сходство. Я прежде не думал об этом, а теперь часто думаю, особенно с тех пор, как он приехал. Насчет бойкота я тоже буду думать — вот только еще не знаю когда.

— Ах, вот как? Еще не знаешь когда. Это прекрасно.

Андрей помолчал.

— Бойкот — это вообще устаревшая форма. Так что я считаю, что Гурий принципиально не прав,— сказал он.— Другое дело, если бы он согласовал свою точку зрения с ячейкой. Послушай, а ведь я понял, почему ты голосовала «против».

Мама опять закряхтела — как раз в ту минуту, когда я собралась сказать Андрею, что он понял то, чего я не понимала сама.

— Из-за Америго Веспуччи,— сказал Андрей,— и я считаю, что с этой точки зрения ты была совершенно права. Преподавательница географии обязана знать подобные вещи.

Америго Веспуччи? Я едва успела сделать значительное выражение лица.

— Но остается неясным, почему ты не предупредила ребят. Я объяснил это так: ты забыла об этом и на заседании вспомнила. Спохватилась, но поздно, а пойти против совести не могла.

«Забыла об этом»? Я чуть не спросила: о чем?

— А ты в данном случае пошел бы против совести, вот скажи?

— Нет.

— Ну вот. Тогда за что же,— сказала я с горечью,— Гурий объявил мне бойкот?

Уставясь на меня, Андрей замолчал, и я увидела по его глазам, что он мысленно удаляется от меня, от этой комнаты, от нашего разговора.

— Что такое бойкот? — наконец спросил он.— Вынужденное одиночество, верно? Однако Робинзон Крузо тоже находился в вынужденном одиночестве — и что же? Это только обострило его способности, кстати сказать, очень средние, поскольку он, вообще говоря, был человеком средним...

В конце концов мне удалось выудить у него историю с Америго Веспуччи. Оказалось, что в школе для взрослых один из слушателей спросил Глашеньку, кто открыл Америку, и она сказала, что Америго Веспуччи, а то, что это была именно Америка, а не Индия, доказал Колумб. Конечно, это было просто смешно, что с подобными знаниями Глашенька хотела преподавать географию в семилетке, которая дает право на поступление в вуз! Если бы я раньше знала об этом факте — да кто же может сомневаться, что я голосовала бы «против»? Все возвращалось на свое место, и когда мы с Андреем прощались, мне уже казалось, что нет на свете девушки честнее и благороднее, чем я...

Разговор с Глашенькой

Мы вышли вместе, потому что мама просила меня зайти в кооператив и в аптеку, и, возвращаясь, я все думала о том, насколько серьезнее Андрей относится к жиз-

ни — безусловно, искреннее и серьезнее, чем я! Он правдивый и внутренне отвечает перед собой, а я, очевидно, не отвечаю, иначе не схватилась бы за этого Америго, в то время как в глубине души...

Но я не успела на этот раз заглянуть в глубину души, потому что, войдя в переднюю, услышала голоса и мигом поняла, что у нас Глашенька и Митя.

Это было странно, что он пришел с Глашенькой, и я только потом догадалась, что просто он повсюду ходил с ней — вот так же явился и к нам. Они только что сняли пальто и здоровались с мамой — оба молодые, красивые, румяные, точно умывшиеся снегом,— кажется, в целом мире невозможно было подобрать лучшую пару.

Я не помню, чтобы прежде Митя был так весел, так разговорчив, так любезен,— можно было подумать, что ему немедленно нужно завоевать уважение и даже восхищение мамы.

Он сделал вид — это было особенно мило,— что пришел не для того, чтобы посмотреть маму, а просто в гости. Каждую минуту он называл ее по имени-отчеству, а меня — Танечка, причем не ошибся ни разу. Мама спросила его, надолго ли он в Лопахин, и он отвечал, что пробудет еще недели две, а потом поедет в Москву, потому что на фронте сделал одну работу по сыпному тифу и его пригласили в научно-исследовательский институт. На этот раз он нисколько не хвастался. Очень весело он рассказал, как на какой-то станции попал в плен и ему удалось не только самому убежать — это было нетрудно,— но и перегнать на нашу сторону белый санпоезд.

— Правда, пришлось по-дружески поговорить с начальником поезда,— сказал он и живо обернулся ко мне.— Танечка, вы не играете в шахматы? Так вот — он оказался в цейтноте. Я показал ему револьвер, он немного подумал и согласился, что проиграл...

Но не для нас с мамой была эта вежливость, и стремление очаровать, и веселая энергия, с которой он рассказывал о своих приключениях, а для той, которая молча сидела за столом и, как кукла, поворачивала большие глаза то к маме, то к Мите. Точно что-то хрупкое, построенное, похожее на карточный домик было у нее в душе, и она старалась не очень шевелиться, боясь, как бы не упал этот домик. Я смотрела на Глашеньку и сердилась, но не на нее, а на себя: за то, что мне было не все равно, какая она

и почему не смеется, а лишь едва улыбается в ответ на Митины шутки.

Между тем Митя очень ловко перевел разговор на медицину, рассказал о том, как, занимаясь сыпным тифом, он сам захворал и чуть не умер, и, когда мама стала жаловаться на свои болезни, вдруг сказал весело:

— Да, кажется, у меня стетоскоп с собой!

И вытащил из кармана пальто стетоскоп.

Вот тут я пожалела, что Андрей не предупредил, когда Митя зайдет, чтобы послушать маму! У нее действительно часто болело сердце, но я была уверена, что это нервная болезнь, связанная с ее увлечениями, о которых я, разумеется, не могла говорить при маме. Например, в 20-м году, когда мы только что переехали на Михайловскую и в доме не было ничего, кроме сушеных овощей (так что мне приходилось каждый день класть в кастрюлю одинаковое количество палочек моркови, свеклы и репы), мама вдруг увлеклась кино.

Сперва все было хорошо, может быть потому, что шли картины из иностранной жизни и мама оставалась равнодушной к страданиям чуждых ей «королев полусвета». Но потом содержатель кино нашел где-то в самом Лопахине много русских картин с участием Мозжухина и Веры Холодной, и мама так увлеклась, что ни о чем больше не могла ни думать, ни говорить. Каждый вечер, возвращаясь из кино, она приглашала Марию Петровну и Надежду Петровну и, помолодевшая, повеселевшая, с воодушевлением рассказывала очередную фильму — тогда говорили не фильм, а фильма. Особенно сильные сцены она изображала в лицах и однажды чуть не выбросилась через окно, играя Лисенко в «Не подходите к ней с расспросами...» — это была знаменитая фильма.

Это повторилось совсем недавно, когда мама вдруг затосковала по Петрограду, по Нарвской заставе, вообще по тем годам, когда она работала у мадам Бризак за восемь с полтиной в месяц. Я стала доказывать, что это политическая незрелость, но она ответила: «Ах, Танечка, ты не понимаешь, я была тогда молода!» Давным-давно она не вспоминала о Василии Алексеевиче Быстрове, а тут вдруг села писать ему на Путиловский завод и рассердилась, когда я стала подшучивать, что этот загадочный Василий Алексеевич, наверно, был в нее когда-то влюблен. Две недели только и было разговоров о том, что летом мама возьмет отпуск, поедет со мной в Петроград и найдет Василия

Алексеевича, который теперь, после революции, по маминому мнению, должен был стать по меньшей мере председателем горсовета.

Но вот кончилось и это увлечение, и в несколько дней мама так изменилась, что ее стало трудно узнать. Скучная, усталая, она бродила по комнате и жаловалась на сердце. Какой-то врач велел ей прикладывать к сердцу блин из белой глины, и каждый день она прикладывала этот блин, но сердце не проходило.

Вот о чем мне непременно нужно было рассказать Мите!

Но было уже поздно, потому что он сказал весело:

— А теперь я послушаю Наталью Тихоновну, а этих девушек мы попросим исчезнуть, как дым.

Он ласково взглянул на Глашеньку и прибавил извиняющимся голосом:

— На десять минут.

Десять минут! Еще из передней услышав Глашенькин голос, я решила, что даже если мне придется умереть, все равно я попрошу у нее прощения и расскажу обо всем. Но я не знала, что она будет сидеть молча и лишь едва-едва снисходительно улыбаться в ответ на Митины, такие остроумные, шутки. Я не знала, что у меня каждую минуту будет останавливаться от волнения сердце — от волнения и непонятного чувства, казавшегося мне ненавистью к Глашеньке — к Глашеньке, которая была не виновата ни в чем!

Словом, в ту минуту, когда мы вышли в переднюю и, небрежно оглянувшись, уселись на сундук, еще недавно принадлежавший прокурору судебной палаты, я почувствовала, что мне гораздо легче проглотить язык, чем произнести хоть слово.

— Глафира Сергеевна,— помолчав, пробормотала я сдавленным голосом,— я хотела сказать, что это я провалила вас на школьном совете. Я голосовала против вас, и как раз одного голоса не хватило.

Мне было бы легче, если бы она удивилась. Если бы хоть спросила меня — почему? Но она молчала, и только в глазах мелькнуло и скрылось осторожное мрачное чувство.

— Возможно, что это было подлостью,— продолжала я с отчаянием.— Но мне сказали, что в школе для взрослых вас спросили, кто открыл Америку, и вы ответили — Америго Веспуччи.

Глашенька засмеялась.

— И правда, я что-то напутала,— сказала она,— но это было давно, в прошлом году. А что? Разве мое заявление обсуждалось на школьном совете?

Боже мой! Она ничего не знала! Перед собственной совестью я призналась, что лучшие друзья были правы, считая меня подлецом. Я не могла понять, что со мной, и наконец решила, что большего несчастья у меня не было в жизни. А та, из-за которой началась эта мука, поднялась эта буря, даже не знала, что ее заявление обсуждалось на школьном совете! Это было просто смешно, и я бы от души рассмеялась, если бы мне не захотелось заплакать.

— Вот хорошо,— сказала я очень спокойно.— А мы-то волнуемся! Значит, для вас это все не имеет никакого значения?

Глашенька закинула руки, зажмурилась, потянулась.

— На той неделе уезжаем в Москву,— сказала она.— Ох, как я рада, передать не могу! Надоел этот Лопахин противный, повернуться нельзя, сплетни на каждом шагу...

Я немного проводила Глашеньку и Митю и по дороге рассказала им о маминых увлечениях. Митя сказал, что это не беда, пускай увлекается, но сердце все-таки очень больное. Не ясно, отчего эти припадки, вроде сегодняшнего,— может быть, от повышенного кровяного давления? Нужно пойти в больницу и прежде всего измерить кровяное давление.

Я вернулась и стала пугать маму. Но она возразила, что у нее вообще нет и никогда не было кровяного давления и что когда придет Мария Петровна, она попросит ее поставить банки.

Дебют

В «Юном пролетарии» появилась статья «Член РКСМ не имеет права съесть кусок хлеба, если часть его не отдал голодающим». Мы обсудили ее, и Гурий предложил поставить спектакль в пользу Помгола. До сих пор мы устраивали только сборы, которые давали немного.

В Лопахине не было театра, и приезжие актеры выступали в бывшем клубе Дворянского собрания, где теперь помещался Дом культуры. Но в двадцатом году к нам пришел пароход-театр «Красный волгарь». Тесьма была мелка для него, приходилось далеко идти по місткам над водой,

и мне запомнились эти дрожащие, прогибающиеся мостки, которые вели — трудно поверить! — в самый настоящий московский театр.

Шла трагедия «Коварство и любовь», но с переделанным концом, потому что заключительные слова президента: «Он простил меня» — противоречили идеологическому направлению спектакля. Вообще «коварство» было показано в более сильных красках, чем «любовь», очевидно чтобы доказать, что самая высокая любовь гибнет, когда страной руководят подобные президенты. Спектакль был поставлен странно: занавеса не было, на полу лежало хорошее, почти новое сукно, и мне было жалко, что по нему ходили. Но все равно! В каком-то оцепенении смотрела я на сцену. Нина толкала меня, Гурий шепотом восторгался, уверяя, что такой постановки не увидишь даже в Москве, а я сидела неподвижная, похолодевшая...

Грузчики — большинство зрителей были грузчики — заволновались, стали шуметь и стучать ногами, когда президент приказал арестовать Луизу. Лишь тогда я очнулась от этого заколдованного сна.

Разумеется, мы не смогли рассчитывать на подобную постановку — со сложной бутафорией и тонкой психологической игрой. Театральный кружок, который мы с Ниной организовали в школе, никак не налаживался по разным причинам, самой важной из них была, по-моему, та, что все хотели играть главные роли. Но на этот раз мы дали слово беспрекословно слушаться Гурия как режиссера — это был выход из положения если не для нас, то для него, потому что он предложил нам поставить свою пьесу.

В пьесе главную роль должна была играть я, и, мне кажется, именно это незаметное на первый взгляд обстоятельство повлияло на оценку моего поведения на школьном совете. Впрочем, когда в городе узнали, что Глашенька едет с Митей в Москву, наша ссора стала какой-то бесцветной, хотя оказалось, что вообще это даже интересно — выяснять отношения и объявлять друг другу бойкот.

Я сказала, что Гурий предложил поставить пьесу. Но фактически это была не пьеса, а киносценарий — вот в чем заключалась главная оригинальность его предложения!

Мы должны были играть молча, как в настоящем кино, а ведущий тем временем объяснял бы зрителям, что происходит на сцене. Ведущего играл, разумеется, Гурий. Это была самая большая роль, потому что объяснять прихо-

дилось много: на сцене происходили важные военные и политические события, которые очень трудно было изобразить при помощи одних только движений.

Но и у меня была интересная роль — женщины-героини Анны, которая остается в городе, занятом белыми, и выведывает их тайные планы, появляясь то в главном штабе, то у секретного телеграфа.

Конечно, мы не могли достать фанфар и другого реквизита; кроме того, многое в сценарии происходило при помощи каких-то театральных машин, о которых сам автор не имел никакого понятия. Но это не имело большого значения, поскольку Гурий доказал, что даже Шекспир, когда у него не было денег на декорации, выходил на сцену и говорил: «Лес» — если нужно было, чтобы зрители увидели лес, или: «Буря» — если по ходу пьесы происходила буря.

Весь апрель я разучивала свою чудную роль. Тогда у меня еще не было книги «Великие актеры и актрисы», и мне приходилось самой догадываться, какими движениями выражаются гордость, готовность к борьбе, надежда, угроза. Каждое утро, не произнося ни слова, я перед зеркалом «репетировала лицо», принимая разные выражения, соответствующие тем или другим местам моей роли. По мнению Гурия, это был лучший способ придать лицу артистическую «эластичность». Не знаю, удавалась ли мне эластичность, но мама всякий раз с ужасом смотрела на меня и говорила: «Свят, свят!»

Накануне премьеры Гурий объявил, что нужно «бросить все и уйти в себя с целью сосредоточиться на внутренней проверке своей готовности к роли». Для некоторых актеров, например для Нины, это оказалось нелегко, потому что она никак не могла определить, ушла ли она в себя или еще нет.

А для меня — легко. Бледная, похудевшая, я бродила по городу, и мне становилось то холодно, то жарко, то как-то торжественно — особенно когда я представляла себе почти бездыханную Анну, лежащую на холме среди дыма курящейся земли, в то время как в глубине сцены проходят радостные войска в парадных мундирах. Она погибает, свершая свой долг. Перед смертью она обращается к врагам со следующей речью: «Злодеи! Напрасно вы поднимаете руки к небу, которое отказалось от вас. Вы первые бросили нам вызов! Но знайте же, что, когда вы расстреливали невинных, я была среди них».

Увы! Лишь в моем воображении Анна произносила эту пылкую речь. По ходу действия она должна была молча лежать на холме, в то время как ведущий объяснял зрителям, о чем она думает, умирая.

В общем это был интересный опыт, который, безусловно, удался, поскольку в публике он имел шумный успех. Правда, это был несколько другой успех, чем мы ожидали, потому что спектакль был задуман как трагический, а зрители почти все время смеялись. Но их нельзя за это винить, потому что автор сознательно пошел на искажение жизненной правды. Например, ведущий не должен был говорить: «Появляется верхом на лошади молодая женщина, черты лица которой нам знакомы», в то время как молодая женщина (это была я) появлялась пешком. Понятно, что публика начинала кричать: «Где лошадь?» и т. д. Потом Гурий упрекал ребят в бедности воображения. Но, по-моему, он был не прав. Мы живем не во времена Шекспира, и слова ведущего должны были хотя бы до некоторой степени совпадать с тем, что происходило на сцене.

Еще хуже вышло с занавесом. У нас не было занавеса, и Гурий утверждал, что это очень хорошо, потому что занавес давно устарел и на сцене его должна заменить абсолютная темнота. Но абсолютной темноты не получилось, и всякий раз, когда гасили свет, становились видны ребята из младших классов, сидевшие между кулисами на полу и кричавшие то громко, то тихо, чтобы получилось впечатление, что они то наступают, то отступают.

Но все это были мелочи, а главное — то, что мы играли, впервые в жизни играли на сцене!

Я выходила, и таинственный, темный зал начинал следить за каждым моим движением. Я была уже не я в этом новом, страшном мире освещенной сцены. Все дрожало во мне, и ни до чего нельзя было дотронуться, потому что все вокруг было такое же горячее и дрожащее, как я.

Наконец кончилось это счастье, это мученье! В зале захлопали, взволнованный, потный Гурий нашел меня за матами и вытащил на сцену. Я поклонилась. Нинка говорила, что кланяться нужно, не выходя из роли; я вспомнила об этом и поклонилась снова, но уже в духе моей героини. В зале засмеялись, и когда я вышла второй раз, это был уже наш привычный школьный зал, в котором я стала даже различать отдельные лица.

Как всегда после волнения, у меня немного болела голова и хотелось, чтобы вокруг было тихо. Что-то осталось в душе после нашего спектакля, и я чувствовала, что разговариваю и смеюсь, а сама невольно берегу это чудесное «что-то». Короче говоря, когда Гурий предложил вместо танцев отправиться на Пустыньку — так назывался заброшенный монастырь на берегу Тесьмы,— я охотно согласилась и уговорила Нину. Одна девочка, жившая рядом со мной, обещала зайти к маме и сказать, что я вернусь очень поздно.

Почему с такой силой запомнилась мне эта ночь, о которой я даже не знаю, что и как рассказать? Так хороши, как никогда еще, были Овражки с первой сквозящей зеленью вязов, с лежащими на земле тенями маленьких листиков и тоненьких веток, с этими неясными купами на берегу Тесьмы, в которых трудно было узнать старые ивы, слившиеся со своими тенями!

Мальчики спорили о спектакле, причем Гурий все время говорил «теамастерство» или «теастихия» и защищал «новые формы, властно зовущие театр из душных коробочек на вольные просторы площадей». Потом перешли на статью Луначарского, который писал, что в консерваторию нужно принимать не по социальному признаку, а по таланту. Андрей вдруг сказал:

— А вы знаете, что Ленин был в Лопахине?

Все закричали: «Как был, когда?» — и Андрей рассказал, что Ленин на лето приезжал из Симбирска, еще когда был гимназистом.

— Но возможно, что Митя напутал... Мне Митя сказал, а в биографии — я нарочно еще раз прочел — об этом ни слова.

Но я все-таки решила, что был, и мигом вообразила Ленина-гимназиста в мундире с блестящими пуговицами, в открытом крахмальном воротничке, с выпуклым лбом и зачесанными назад светлыми волосами. Вот в садике перед гимназией он узнает о казни старшего брата. «Мы пойдем другим путем». Вот он выходит на Овражки задумчивый, стараясь не наступать на тоненькие тени веток...

— Чьи это слова? — спросил Володя.

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво...

— Вот загадка! Пушкина,— ответил Андрей.

И мальчики заспорили о том, что такое «прекрасное» и знает ли гений о том, что он совершает прекрасное, или не знает. Гурий утверждал, что не знает и что, по мнению Пушкина, прекрасное, то есть великое, может совершить лишь тот, кто «психологически одинок», то есть свободен от чувств — все равно, плохих или хороших.

Он прочел:

...Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

— Между тем человек никогда не бывает психологически одинок,— сказал он.— В самом деле, только что родился, как у него появляется мать.

— Ты хочешь сказать: он появляется у матери...

— Не вижу разницы. Он подрастает, поступает или не поступает в школу, кончает или не кончает вуз и совершает тому подобные поступки, свойственные человеческому индивиду. Так?

— Допустим.

— С первой минуты жизни он находится в условиях, исключающих одиночество. И эти условия отнюдь не мешают ему участвовать в создании величайших творений. Ты согласен со мной?

— Согласен.

— Ага! — с торжеством закричал Гурий.— Следовательно, ты считаешь, что Пушкин не прав?

Мы расхохотались, и Ниночка объявила, что в такую ночь грешно заниматься философией. Но Андрей даже не улыбнулся, и я почувствовала, что этот спор глубоко волнует его.

— Что значит «великое»? — возразил он.— Египетским фараонам казалось, что они совершают великое, воздвигая пирамиды. Мы убеждены, что великое — это то, что совершается во имя и для счастья народа. В основе одиночества лежит разочарование, ненависть, злоба. Чтобы совершить великое, надо любить.

Он сказал это, когда мы стояли на старом плавучем мосту и смотрели, как одна баржа стала отходить, чтобы пропустить расшиву — так у нас на Тесьме назывались парусные грузовые суда. Расшива была видна издалека, еще когда мы шли по Овражкам, а теперь приблизилась, и можно было различить, как под большим надувшимся парусом двигаются и что-то делают люди.

Мне почудилось, что руки Андрея, лежавшие на перилах рядом с моими, немного дрожат. Я взглянула на него — и поразилась. У него были полузакрыты глаза, и лицо с крепко сжатыми губами было торжественным и сумрачно-важным. Трудно поверить, но я поняла в этот миг, что в его душе еще звучат слова: «Чтобы совершить великое, надо любить»,— и что они сливаются с этой картиной ночной реки, расшивы, которая под белым трепещущим парусом гордо прошла, точно разрезала мост пополам. Лоцман стоял на корме в полушубке и закуривал — выбивал искры из кремня,— и искры гасли и гасли...

Вот и Пустынька! Она была незнакомая ночью, ручьи шумели на дне оврага, лунный свет был не такой, как в городе,— таинственнее, мягче. Пустынька стояла на четырех оврагах, и прежде через них вели мосты. Но мосты давно прогнили, сломались, и теперь нужно было знать тропинку, чтобы подойти к монастырскому зданию.

Мы спустились этой тропинкой в овраг, и стало так темно и так шумно, что мальчики, которые спорили теперь о том, что такое любовь, должны были почти кричать, чтобы услышать друг друга. Володя подхватил меня и перенес через ручей так бережно, как будто я была стеклянная и, если бы он уронил меня, разлетелась бы на кусочки. Он был очень милый, я чувствовала, что он волновался, и в этот вечер мне было все равно, что он немного туповат и однажды признался мне, что никак не может одолеть «Мертвые души».

На дне оврага был свой, шумный, пахнущий сыростью мир, и когда из этого мира мы поднялись наверх, я даже ахнула — таким необычайным показалось мне здание старого монастыря с его чистыми строгими стенами, глухими окнами и высокой башенкой, в которой виднелись колокола.

Мы зашли во двор — как все пустынно, печально! Каменная панель вела к разрушенному зданию ризницы. Толстая железная дуга была подвешена на цепи посреди двора. Гурий постучал по дуге палкой, и сдержанный суровый звон отозвался и замер.

До утра мы бродили по Пустыньке, ломали черемуху, пели.

Потом Андрей куда-то пропал; я нашла его на развалинах монастырской стены, над обрывом, с которого далеко виднелась Тесьма, и мы долго сидели и молчали...

— Да, совершить великое, но не вообще, а конкретно,— наконец сказал он.— Например, открыть тайну белка. Ведь это было бы подвигом в науке?

— О да!

Я чуть не спросила его, можно ли совершить подвиг, посвятив свою будущность театру, но такой вопрос показался мне легкомысленным в сравнении с тайной белка.

— Как ты думаешь, чтобы решить такую задачу, нужно быть гениальным?

— Я думаю, да.

Андрей замолчал. Потом переспросил упавшим голосом:

— Да?

Очевидно, он не считал себя гениальным.

— Да, но мы можем стремиться к великому,— вдруг живо сказал он.— Представь себе, насколько все становится яснее, когда в жизни появляется главная цель. К ней можно прислушиваться и проверять себя. Ее можно хранить в тайне или доверить только близким друзьям. Ты знаешь, я убежден, что очень скоро в нашей стране великое будет совершаться почти ежедневно.

Я спросила:

— А несчастья?

Он не понял, и я объяснила, что борьба с эгоизмом — внутренняя, а есть еще внешняя — против несчастий и огорчений, которые тоже очень часто встречаются в жизни. Андрей подумал и ответил, что в подобных случаях должна помочь воля, а воля и стремление к цели — это две стороны одного и того же явления.

Звезды стали бледнеть, первые лучи солнца скользнули по башенке, по куполам, потом спустились прямо на нас. Большой красный шар стал подниматься на той стороне Тесьмы, над полями. Похожая на флаг сосна стояла на обрыве шагах в двадцати от нас. До сих пор она была незаметная, ночная, а теперь под утренним солнцем стала красная, стройная, точно ее преобразило какое-то чудо.

Стрижи взвились с колокольни прямо к солнцу, крылышки блеснули, как будто кто-то рассыпал в воздухе осколки стекла. Все вокруг — на небе и на земле — было теперь красным и золотым от солнца, и уже не прежние угрюмые купы стояли на берегу, а серебристые ивы с молодыми листьями, поворачивающимися под утренним ветром своей нежной, беленькой стороной. Как все было прекрасно! Как великолепно было, что наступило утро, и что

я вижу солнце и небо, и что никто не знает, как я счастлива, и только я знаю, что буду еще счастливее — счастливее всех людей на земле!

Почему-то много народу было у нас в передней,— так рано? — когда я вернулась домой. Какие-то женщины громко говорили, ахали и вдруг замолчали, расступились, увидев меня. Мария Петровна в пальто, в туфлях на босу ногу, непричесанная вышла из нашей комнаты и, поджав губы, уставилась на меня.

— Что случилось?

— Ничего, ничего!

Кто-то белый был в нашей комнате; я вошла и увидела Митю в халате. Разобранный шприц лежал перед ним на столе, он укладывал его в коробочку и, когда я вошла, зачем-то рассматривал одну иголку перед лампой. У него было усталое, напряженное лицо, энергично-хмурое, со сдвинутыми бровями.

— Что случилось?

Он поспешно бросил иголку, подошел ко мне и взял мои руки в свои. Я бросилась к маме. Она лежала ровно, неподвижно, с неподвижным лицом. Она была такая же, как всегда, только глаза закрыты и руки крест-накрест сложены на груди...

Несколько дней

Митя ушел, еще раз крепко пожав мне руки, какие-то женщины заглядывали в нашу комнату и долго разговаривали в передней, я слушала и не слышала их и, помнится, удивилась, когда Мария Петровна рассказала, что мама очень ждала меня и, когда ей становилось полегче, все говорила: «У Тани будет успех, оттого что она по натуре артистка».

С маминой службы прислали фельдшера, он поставил ей банки, но маме не стало легче, и она попросила Марию Петровну сходить за Митей. Митя пришел и остался у нас на всю ночь. Бледный, нахмуренный, он сидел на постели и каждый час впрыскивал камфору. Под утро он послал Марию Петровну в аптеку за каким-то редким лекарством и, когда лекарства не оказалось, так набросился на нее, что мама даже стала смеяться. Она не знала, что умирает. А Митя уже снова колол ее и делал еще что-то. Потом

закричал: «Чашку!» — и вскрыл маме вену, но кровь не пошла.

Вдруг он наклонился над мамой и громко назвал ее по имени: «Наталья Тихоновна!» И Мария Петровна ясно видела, как у нее в последний раз вздрогнули и закатились глаза...

Меня увели из нашей комнаты, потому что маму нужно было «готовить», и я долго сидела у Марии Петровны.

Андрей приходил несколько раз, но как-то незаметно, так, что я даже забывала о нем. Потом я вернулась к маме; она лежала причесанная, чистая, и рукава белого платья были наспех крупными стежками приметаны друг к другу, так что нитки порвались бы, если бы мама подняла руки. На глазах у нее лежали медяки. Эти медяки и сшитые рукава — это было то, что никогда не делают с живыми. Она умерла, ее нет, ветки цветущей черемухи лежат у нее в ногах, потому что она умерла!

В Лопахине кладбище расположено на Павской горе, поросшей сосновым лесом, и мальчики с Ниной без меня выбрали высокое, чистое место. Не знаю, откуда они взяли цветы — садоводство было только в Петрове, но когда мы уходили, между цветами был едва виден некрасивый песчаный холмик, под которым лежала мама.

Какой холодной, слишком просторной показалась мне наша комната, едва я переступила порог! Во всем, что я видела вокруг, была мамина жизнь, ее заботы, ее прошлое, ее увлечения, а моя в этой комнате была только полочка с книгами, да и эти книги мама прочитала прежде меня.

Без мысли, без чувства стояла я у окна, глядя на улицу и слушая, как за стеной у Марии Петровны маятник ходит туда и назад, равнодушно отбивая секунды. Еще одной больше, с тех пор как она умерла!

Еще одной!

Мы почти не расставались — как же вышло, что она даже не простилась со мной? Часы захрипели, собрались бить, но раздумали, и маятник — тик-так — снова стал отбивать секунды. Почти не расставались, вот в чем дело! Все было обыкновенным, незаметным, привычным,— вот почему я не замечала, не ценила, как нежно мама любила меня...

Андрей пришел, когда я колола дрова под лестницей (нужно было затопить «буржуйку», вымыть пол, постирать — прежде все это делала мама), и, не сказав ни слова, отнял у меня топор. Он наколол и натаскал так много маленьких аккуратных поленьев, что их некуда было девать и пришлось сложить под кроватью. Каждый раз, когда он приносил вязанку, мы недолго разговаривали — и он опять уходил. В первый раз он сказал:

— Неприятный шум из-за этой женитьбы. Ты знаешь, о ком я говорю?

— О Глафире Сергеевне и Мите.

— Да. Причем я совершенно согласен с тобой. Она только кажется сложной.

Он подумал и сказал, что был бы очень рад, если бы они уехали поскорее.

— В конце концов доказано, что любовь — это состояние, зависящее от прилива крови к продолговатому мозгу,— серьезно объяснил он.— И мне, например, не ясно, почему из-за этого факта, имеющего место в организме моего старшего брата, весь дом должен переворачиваться вверх ногами.

«Вверх ногами», по его мнению, перевернулась Агния Петровна, которая плачет и жалуется, что еще не слышала от Глашеньки ни одного умного слова. Тем не менее она продала серьги, чтобы купить молодым шесть простынь из ярославского полотна и кружевную накидку. Но Глашенька только сделала вид, что она довольна, а Митя откровенно сказал, что «это мещанство».

Андрей нарочно рассказывал о «молодых»,— наверно, хотел, чтобы я хоть ненадолго забыла о маме.

— Между прочим, это ерунда, что Глашенька не знала о заседании педсовета, на котором ее провалили,— продолжал он.— Прекрасно знала. Сама говорила Митьке, я слышал...

Он искоса посмотрел на меня,— должно быть, думал, что я буду поражена. А мне стало горько и смешно, что еще так недавно эта глупая история волновала меня. «Да, она сложная и страшная,— подумалось мне о Глашеньке.— И я была жалкой девчонкой, когда, дрожа, разговаривала с ней в передней. Какое счастье, что они уезжают и я навеки забуду о них».

Второй раз он спросил, думала ли я о нашем последнем разговоре.

— Я хочу сказать,— он немного покраснел,— что тебе

стало бы легче, если бы ты иногда вспоминала, что согласилась со мной. Помнишь, я говорил о стремлении к великому, и ты спросила: «А несчастья?» Ведь ты согласилась, что воля и стремление к цели очень тесно связаны между собой?

В другой раз он вернулся с каким-то тощим гражданином в измятом пальто и полотняной шляпе. Я сразу узнала его: это был звездочет из посада. Без чалмы у него был довольно жалкий вид, в особенности когда он снял шляпу и оказалось, что у него большая плешь, которая смешно сморщивалась, когда он говорил.

— Имею честь видеть перед собой дочь покойной Натальи Тихоновны?

Впервые маму назвали покойной. Я ответила:

— Да.

— Очень приятно. Ваша мамаша была выдающаяся женщина, и я, могу сказать, всегда был счастлив, что состоял, если можно так выразиться, ее коллегой.

Он высоко поднял брови, и плешь сморщилась. Он был вежливый, но неприятный.

— Теперь, так-с... Мне известно, что от вашей мамаши остались книги, как-то: «Гадание девицы Ленорман», «Магический круг царя Соломона», «Оракулы» и другие, которые она брала у меня. Теперь я прошу вас вернуть, поскольку вам, осмелюсь полагать, не особенно нужны эти книги.

С тех пор как мама стала работать в швейной мастерской, она не прикасалась к картам. У звездочета она никогда не брала книг, так что он мог бы не приходить за ними на другой день после ее похорон.

Должно быть, я побледнела, потому что Андрей подвинул стул и сказал мне повелительпо:

— Сядь.

— Значит, как-с? — спросил звездочет.— Вернете добровольно или прикажете через суд?

Андрей осторожно обошел меня и, странно улыбаясь, взял звездочета за шиворот. Никогда прежде я не видела, чтобы Андрей так улыбался. Звездочет крикнул: «Ай!» Пальто стало сниматься с него, и Андрею пришлось остановиться, чтобы свободной рукой всунуть звездочета в пальто. Они исчезли в передней, но через открытую дверь я видела, как Андрей, приладившись, поставил звездочета на верхнюю ступеньку лестницы и толкнул ногой в поясницу. Звездочет все повторял жалобно: «Ай, ай!»

Потом наступило молчание, и его голос донесся уже снизу:

— Ай! Шляпу!

Андрей вернулся и бросил в пролет лестницы шляпу.

Несколько раз мне казалось той ночью, что я засыпаю, но как будто кто-то толкал меня: «умерла!», и, вздрогнув, я открывала глаза. То чудилось мне, что мама бродит по темному, незнакомому дому и входит в комнату, где я одна сижу за столом. И с отчаянием, с ужасом я догадываюсь, что она не видит меня. То мне слышался ласковый голос: «Доченька, спишь?» Так она по утрам окликала меня. То мы мчались куда-то в пролетке — она молодая, как я, с золотыми кольцами-серьгами в ушах, в развевающейся шали, а у театра уже стоял актер Максимов, в которого она была влюблена, и, сияя, старомодно кланяясь, она представляла меня: «Подруга». То, сверкая черными глазами, мама страстно защищала кого-то... То стояла у окна, а на Михайловской происходило что-то из древней истории: всадники — половцы или скифы,— громко разговаривая, слезали с коней...

Я очнулась. Я спала с открытыми глазами, а этот шум, смятенье, разговоры всё продолжались, как будто всадники, приснившиеся мне, ожили, раскинув лагерь подле нашего дома. Я встала и не поверила глазам: в слабом предутреннем свете я увидела множество коней и телег, перепутавшихся и тесно надвинувшихся друг на друга. Какие-то тонкие, желтые люди в армяках, в полушубках сидели и лежали среди этой тесноты на мостовой, на телегах. Среди них ходили, распоряжаясь, наши лопахинские — старший Рубин и другие. Митя в шинели и шлеме вышел из-за угла и громко сказал председателю горсовета:

— Прежде всего нужно мобилизовать людей на прожаривание тряпья — и в баню.

Мария Петровна зашла ко мне испуганная, в одной рубашке, и я впервые заметила, какие у нее острые, худенькие плечи.

— Таня, ты не спишь? — сказала она.— Привезли голодающих с Поволжья...

Каждый день я читала в «Красном набате» о голодающих Поволжья. У бывшей аптеки Принца висел плакат: растрепанная седая женщина с обезумевшими глазами держала на руках мертвого ребенка — и внизу было написа-

но: «Помни о голодающих». «Юный пролетарий» обратился с воззванием к молодежи. В «Синем журнале» я читала о том, что известный путешественник Нансен «опровергает клевету буржуазных газет о том, что его снимки поддельные». Он сделал несколько тысяч снимков, и один из них был напечатан в «Синем журнале» — бесконечная белая равнина, по которой, держась друг за друга, шатаясь, бредут люди, а в стороне лежат две мертвые женщины, полузанесенные снегом... В Лопахине открылся магазин Помгола. Весь сбор с нашего спектакля пошел в Помгол, и, помнится, мы выручили около ста миллионов — по тому времени это была довольно крупная сумма. Но все это — спектакль, магазин, плакат — было так бесконечно далеко от скрипа телег, ржания коней, тесноты, смятенья — всего, что вдруг появилось на Малой Михайловской под окнами нашего дома.

Я оделась и обошла весь город. Окрестные крестьяне привезли голодающих на телегах, и на всех улицах — на Овражках, вдоль набережной до самой Пустыньки, вокруг маленьких костров, над которыми висели закопченные чайники,— сидели тонкие, желтые, исхудалые люди. Многие были в высоких войлочных шляпах, в онучах и лаптях. Некоторые неподвижно сидели на мостовой, другие ходили, шатаясь, в распахнутых полушубках, и было очень много детей, разговаривающих между собой серьезно и тихо. У бани висело объявление: «Требуются рабочие за повышенную плату»,— и Гурий сидел за столом и скучал: записывалось мало — боялись сыпного тифа. Он сказал мне, что комсомольцы мобилизованы, и я тоже хотела бежать в райком, но в эту минуту Гурий вскочил и закричал:

— Вот он!

Я обернулась: Митина кавалерийская шинель мелькнула и скрылась в переулке.

— Какой организатор, а?

— Кто?

— Доктор Львов,— сказал Гурий с восторгом, и я не сразу поняла, что он говорит о Мите.

Это были дни, запомнившиеся мне на всю жизнь, и не только потому, что я впервые встретилась с настоящим бедствием, поразившим меня до глубины души, но и потому, что я впервые почувствовала себя участницей борьбы с несчастьем многих.

...Можно было подумать, что Митя приказал всем лопахинцам от мала до велика стать добрыми и храбрыми,

а кто не захотел подчиниться приказу, на тех он кричал, топал ногами, и они волей-неволей поступали так же, как другие, на которых не приходилось кричать. Я сама видела, как он выбежал из кино «Модерн», где развертывался госпиталь, и схватил за шиворот сторожа с мельницы бывшей Лассен, который отказывался куда-то идти и делать то, что приказывал Митя. Сторож вывернулся, и Митя в бешенстве схватился за кобуру, которая, к счастью, оказалась пустой.

Он распределил детей по квартирам, и мы с Марией Петровной тоже взяли ребеночка, еще совсем маленького и такого худенького, что невозможно было без подступающих слез смотреть на его тонкие темные ножки.

На заседании горсовета Митя предложил открыть сорок банных пунктов — у него был широкий размах. Рабочие кожзавода взялись доставить на эти пункты дрова, и это дело — сложное, потому что в Лопахине не было транспорта,— организовал тот же Митя. Он был везде — казалось, что за каждым углом мелькают его длинная шинель и шлем с развевающимися ушами. Он привел из соседнего городка военную часть, красноармейцы раскинули лагерь, и голодающие поселились в палатках. Забежав на минуту домой, он накричал на Андрея за то, что до сих пор мы, учащиеся, активно не включились в работу, и уже через час Андрей докладывал в райкоме план помощи голодающим. Мы организовали горячее питание из походных кухонь, разливали суп, раздавали хлеб. Сбор вещей мы провели не только в городе, но и в районе. Мы устраивали по частным домам детей, нуждавшихся в особом уходе. Митя назначил Гурия «главным дезинсектором», и мы с Ниной круглые сутки «жарили» в бане над плитой армяки и рубашки.

Это была неприятная работа главным образом потому, что я боялась вшей, именно вшей, а не сыпного тифа. Гурий говорил, что это «идиосинкразия» и что то же самое было у Петра Великого, который боялся черных тараканов. Но даже это лестное сравнение не помогло мне избавиться от страха.

Острое положение, когда был мобилизован весь город, продолжалось только несколько дней.

Со странным чувством вернулась я в свою опустевшую комнату — вошла и с удивлением остановилась на пороге, точно попала в незнакомый дом. Знакомые вещи стояли на своих привычных местах. Но в другом свете я увидела эту комнату и себя, стоящую на пороге и внимательно всмат-

ривающуюся во что-то новое — я сама еще не знала, во что. Как будто не в комнате, а в душе я ничего не нашла на старом месте. И горе, которое было прежде болезненно-резким и настолько «моим», что я невольно отстранялась, когда в это «мое» заглядывали даже близкие люди, немного отошло, отодвинулось — так, что теперь я могла смотреть на него издалека.

«Синема — чудо XX века»

Когда я вошла, Павел Петрович спал в кресле так тихо, что казалось, его большая, склонившаяся на грудь голова больше никогда не поднимется и старые глаза с ободком вокруг цветного колечка никогда не взглянут на меня с добродушно-грустным выражением. Я сидела подле него, думала, прислушивалась, и, как в детстве, когда я лежала у Львовых, звуки дома — из кухни, из столовой, из комнаты Агнии Петровны — стали собираться ко мне. Вот Агаша выбросила из кухни кота и с шумом захлопнула двери. Вот легкие шаги послышались в коридоре, Митя засмеялся, и мне представилось, что Глашенька, крадучись, подходит, чтобы сзади закрыть его глаза руками, но он обернулся, она легко вскрикнула и убежала. Вот Митя с грохотом помчался за ней и в передней наткнулся на Рубина, которого я тоже узнала по голосу и который иронически сказал, раздеваясь:

— Импульсивная энергия молодых собак.

И, разговаривая и смеясь, они прошли в столовую.

Я сидела, слушала и нисколько не раскаивалась, что пришла. Сейчас доктор проснется и придет Агния Петровна, которая была на маминых похоронах и вообще очень сердечно относилась ко мне.

— Ну, Таня?

Доктор уже не спал.

— Дай твою руку.

Он взял меня за руку.

— Митя сказал, что ничего нельзя было сделать.

— Я знаю, Павел Петрович. Он и так сделал все, что мог.

Мы помолчали.

— Я в этих случаях ставил горчичник на сердце. Не знаю, теперь лечат иначе.

Он погладил меня и задумался.

— Вот что, Таня. У меня есть вещи, лично мои. Золо-

той портсигар с монограммами и другие. Ты возьми и продай.

— Спасибо, Павел Петрович. Мне ничего не нужно.

Я уселась подле него на скамеечке, как бывало, и немного поплакала. Он не утешал, только крепко обнял меня за плечи.

До позднего вечера я просидела у Львовых. Митя уезжал — весь дом был полон его делами. Портной принес ему штатский костюм; Митя кричал, что в новых брюках у него ноги кривые, и я, между прочим, вспомнила, как Андрей однажды сказал мне: «Для Мити внешняя сторона играет огромную роль». Слесарь явился с «микротомом» — так называется прибор для гистологических срезов. Микротом тоже не вышел — срез, по мнению Мити, получался недостаточно тонким. Агния Петровна пришла из Дома культуры какая-то растерянная — несмотря на свой гордый вид,— долго рассказывала мне, как после смерти мужа осталась одна с маленькими детьми, но не потеряла присутствия духа и какой-то настройщик с абсолютным слухом устроил ее к Юлию Генриху Циммерману. Вдруг она забыла обо мне и стала жаловаться, что еще не слышала от Глашеньки ни одного умного слова.

— То сидит, как дикарка! А то «мамочка, мамочка!». Что я для нее за «мамочка»?

Уже двигали стулья в столовой, готовились к ужину. Ни с кем не прощаясь, я тихонько убежала домой.

Когда мама умерла, я поступила на службу библиотекарем-хранителем книжного склада Уполитпросвета. Это была легкая служба: на моей обязанности было снабжать городские библиотеки литературой. Но, во-первых, в городе была только одна библиотека, во-вторых, хотя склад был завален книгами, привезенными из помещичьих усадеб, на эти книги, в огромном большинстве иностранные, в лопахинской библиотеке почти не было спроса.

Я бы не стала рассказывать об этом «полусне-полуслужбе», как называл мое сидение на складе Андрей, если бы среди множества книг, сваленных в беспорядке на пол, мне не попалась серия «Синема — чудо XX века». Это были биографии знаменитых киноактрис, о которых, между прочим, в афишах всегда писали «красавица»: например, «с участием красавицы Франчески Бертини».

Одна биография показалась мне особенно интересной: оказывается, киноактриса Жанна Николь в детстве была

так неуклюжа, что учитель танцев не в силах был разучить с нею самое незамысловатое па. Но она дала себе слово, что придет время, и она станет «великой». И вот она начала работать над своим голосом, движениями, выражением лица. Если ей было грустно, она старалась принять беззаботный и даже радостный вид. Она нарочно причиняла себе боль и одновременно заставляла свое лицо изображать безмятежность. Она научилась управлять своим взглядом. Так она приобрела полную власть над собой. Дальше было неинтересно, потому что все биографии великих киноактрис в общем были похожи.

Итак, она чувствовала одно, а заставляла себя изображать совершенно другое! Значит, актеру совсем не нужно «перевоплощаться», как утверждал, например, Гурий, когда мы репетировали его пьесу-сценарий. Наоборот! Чем глубже спрятаны личные чувства, тем с большей свободой актер может изобразить другого, абсолютно непохожего на него человека. Эта мысль поразила меня.

Закутавшись в мамину шаль — склад помещался в подвале, и даже летом в нем было прохладно,— я читала, читала. Я сидела на книгах, и везде, надо мной и вокруг меня, были книги; чтобы прочесть их, наверное, не хватило бы человеческой жизни. Читая, я время от времени поглядывала на светлый квадрат солнца, падавший на лестницу и казавшийся мне ослепительным из глубины темноватого склада, и у меня было странное чувство, что все в мире остановилось и ждет, пока я переверну страницу. Я переворачивала ее, и что-то переставлялось в мире, как, постепенно уходя, менял свое место в течение дня солнечный квадрат у входа.

Теперь, через много лет, мне кажется странным, что эта дешевая серия «Синема — чудо XX века» так увлекла меня, что я сперва незаметно, а потом все более сознательно начала думать о театре. Но, может быть, эта мысль забрела в мою голову значительно раньше — в тот день, когда, играя героиню Анну, я выходила на сцену и таинственный, темный зал начинал следить за каждым моим движением? Так или иначе, но она явилась, эта чудесная мысль, и что ни день, то все с большей уверенностью принялась распоряжаться моей душой. Сперва она как будто не коснулась моего давнишнего решения пойти на медицинский факультет,— решения, о котором мы часто говорили с Павлом Петровичем и которое давным-давно стало для меня таким же привычным, как сам Павел Пет-

рович. Потом я подумала, что можно учиться одновременно в двух вузах — в медицинском и в театральном,— это был выход! Правда, подозрительный по своей легкости, но все-таки выход!

...Кино «Модерн» представлялось мне: очень холодно, девушки снимают туфли и сидят то на правой, то на левой ноге, лектор в валенках появляется перед экраном. «В главной роли,— говорит он,— выступает молодая артистка, пожелавшая остаться неизвестной».

И вот гаснет свет, аппарат начинает трещать за спиной, пар от дыхания становится виден в расширяющейся полосе света, падающего из окошечка будки... Она!

А молодая артистка, одетая очень скромно, сидит в последнем ряду и плачет и смеется от счастья...

В конце июня, получив выпускные свидетельства, Нина и мальчики пришли «снимать меня с работы», как сказал Андрей. Не знаю, что переменилось в них, но между нами уже как будто легла та новая, студенческая жизнь, о которой они так весело говорили, в то время как я с грустью думала, что пройдет еще месяц, и я останусь одна.

Нина собиралась в консерваторию. Вопрос о мировоззрении теперь меньше беспокоил ее, поскольку из статьи Луначарского она сделала неожиданный вывод, что для таланта не только социальный признак, но и мировоззрение не играет существенной роли. В феврале был объявлен добровольный набор двух тысяч комсомольцев в школы учебных отрядов флота. Володя Лукашевич послал бумаги и вскоре должен был ехать в Кронштадт. Гурий решил поступить на петроградские курсы техники речи. По его словам, это были единственные в мире курсы, на которых существовало специальное ораторское отделение. Люди, не умеющие связать двух слов, поступали на это отделение и через каких-нибудь два-три года превращались в первоклассных ораторов.

Андрей собирался в Москву, на медицинский факультет университета. Я спросила: «К Мите?», но он ответил, что у Мити и без него довольно хлопот. Это было сказано как-то неопределенно, небрежно, хотя я прекрасно знала — от Андрея же,— что именно Митя горячо убеждал его подать на медицинский. Но для Андрея было почему-то важно, чтобы никто не сомневался в его полной самостоятельности в этом вопросе.

— Кстати, ты знаешь мою идею? — сказал он.— Я уговорил дядю прочесть нам курс.

На дворе у Львовых уже не стояли ящики от роялей и пианино: ящики сожгли во время гражданской войны. Двор зарос и стал похож на сад. В Лопахине каштаны — редкость, а тут откуда-то взялся и вырос большой каштан. Накинув на плечи старую шаль, Павел Петрович сидел под каштаном в своем кресле; вот почему, когда я впоследствии вспоминала лекции старого доктора, в моем воображении прежде всего появлялся каштан в полном цвету, с прямыми, нарядными свечками, розовыми от заходящего солнца.

Очевидно, слова «прочесть курс» произвели на меня глубокое впечатление, иначе, собираясь на первую лекцию, я не надела бы свое единственное нарядное платье — маркизетовое с воланами. Кажется, это было ошибкой. Маркизетовое платье я всегда надевала на танцы, и теперь у меня тоже сразу стало скорее танцевальное, чем научное настроение. Должно быть, поэтому я больше смотрела на мальчиков, чем слушала Павла Петровича. Потом я стала смотреть на них «психологически» — иногда это получалось забавно. «Вот Гурий,— думалось мне,— какой он? Почему все девочки влюбились в него, и даже мне — хотя я не влюбилась — хочется, чтобы он ухаживал за мной, а, например, не за Ниной?»

Неизвестно, что это значит, но вот Володя Лукашевич с его добрым румяным лицом — неинтересный, и мне все равно, что он краснеет и старается не смотреть на меня, а Гурий с его толстыми, как у негра, губами — интересный, и девочки от него без ума.

Но я все-таки подумала: «Нет»,— как будто Гурий объяснился мне в любви и с волнением ждал ответа. Мне не нравилось, что он с равной легкостью рассуждал обо всем и слишком любил выступать — он чувствовал себя хорошо, только находясь в центре внимания. Вот и сейчас, сидя на траве, как турок, он быстро записал что-то в тетрадку и с недоумением пожал плечами, как будто был не согласен с Павлом Петровичем. «Нет, нет»,— снова подумалось мне. И я стала «психологически» смотреть на Андрея.

У него был рассеянный взгляд, но в глубине скрывалась какая-то неподвижность, и по этой неподвижности было видно, что он слушает с напряженным вниманием. Он слушал и думал — хотелось бы мне догадаться о чем?

Да, он был совсем не похож ни на Гурия, ни на Володю, и неизвестно, что я ответила бы ему, если он вдруг взял да и объяснился мне в любви. Впрочем, это было невозможно. Он сам однажды сказал, что никогда не влюбится, потому что «любовь — это власть одного человека над другим, причем обычно женщины над мужчиной».

Между тем доктор все читал, и, должно быть, лекция была интересная, потому что я заметила, что Нина загибает пальцы, чтобы потом по счету вспомнить самое главное и дома повторить,— у нее был такой мнемонический способ. Я посмотрела на ее сосредоточенное хорошенькое лицо, подумала, что она правильно делает, что идет в консерваторию, где нужен только талант, вздохнула и стала слушать.

В этот день Павел Петрович рассказывал о вирусах, о невидимых микробах, но начал он с истории ночного сторожа, любившего рассматривать «маленьких животных» через увеличительные стекла. Разумеется, давным-давно я знала, что это вовсе не сказка, что имя ночного сторожа Антоний Левенгук и что он был первым человеком, заглянувшим в мир мельчайших живых существ, мириады которых живут в воде, в воздухе, на земле, под землей, в телах людей, животных, насекомых и птиц. Но все-таки это был видимый мир, и заслуга Антония Левенгука заключалась именно в том, что он его увидел.

— Представьте же себе,— говорил Павел Петрович,— что, кроме этого мира видимых микробов, жизнь которого открывается нам под линзами микроскопа, есть еще и другой, абсолютно невидимый мир. То мир настолько неизмеримо малых микробов, что нет ни малейшей возможности увидеть его даже через самые сильные микроскопы. Как бы вы ни напрягали зрение, сколько бы ни смотрели на два тончайших стеклышка, между которыми заключена частица этого мира, вы не увидите ничего.

И старый доктор объяснил, что этот невидимый мир был открыт еще в 1892 году русским ботаником Ивановским.

Доктор читал нам весь июль, и ребята не пропустили ни одной лекции — даже Нина, которая откровенно признавалась, что когда Павел Петрович рассказывал о вражде микробов, она с удивительным постоянством вспоминала сказку «Война мышей и лягушек», которую в детстве читал ей отец. А когда Павел Петрович доказывал, что лекарства нужны лишь для того, чтобы «пробудить при-

роду от сна», ей неизменно представлялась старая дама в пенсне, вроде Агнии Петровны, которая клюет носом на скамейке в саду и которую нужно поскорее разбудить, а то она упадет со скамейки.

В этот день с утра шел дождь, и мы собрались не на дворе, а в комнате старого доктора. Те же старинные фото в перламутровых рамках стояли на фисгармонии; вот дама в длинном платье идет по аллее, подбирая волочащийся шлейф. Вот высокий широкоплечий господин в свободном летнем костюме стоит на мосту, легко опершись на перила, а внизу под мостом незнакомая иностранная река в плавных, как будто шелковых складках волн. Неужели это доктор — с такими ясными, веселыми глазами навыкате, с такой странной, немного раздвоенной верхней губой, которая теперь была не видна под усами? Да, это он в 1871 году. Как давно! И я вспомнила рассказ Андрея о том, что Павел Петрович жил в Париже во время Коммуны.

Он обещал нам рассказать на этот раз о своей работе над зеленой плесенью, в которой находил лечебные свойства, но начал издалека — с вопроса об опыте и наблюдении.

— Увлекшись опытом,— сказал он,— медицина со времен Пастера почти оставила наблюдение, которое некогда лежало в основе науки о природе вообще и о человеке в частности. Именно это обстоятельство повлекло за собой пренебрежение к защитным силам, которые организм выработал внутри себя в течение тысячелетий.

Это была главная мысль Павла Петровича, и он несколько раз возвращался к ней, как будто боясь, что вот он замолчит — и эта мысль, которая так дорога ему, смешается с другими и станет просто шумом, таким же, как шум дождя за окном.

Согнувшись, положив на колени маленькие, энергично сжатые кулаки, доктор говорил и все всматривался, переводя глаза с одного лица на другое. Мне стало даже немного страшно, когда его умные глаза, смотревшие из глубины темных впадин, остановились на мне. Он как будто ждал чего-то от нас, надеялся, верил. И я стала думать, что теория старого доктора давно превратилась в чувство, вроде чувства безнадежной любви.

Агаша вошла, когда Павел Петрович, вернувшись к зеленой плесени, рассказывал о том, как этот пример заставил его задуматься над процессами, происходящими в организмах микробов. У Агаши был торжественно-загадочный вид. Она постояла на пороге, подумала и впервые в жизни назвала меня на «вы»:

— Танечка, к вам!

Отец

Последнее время я часто думала об отце — между прочим, задолго до маминой смерти. Однажды, тайком от мамы, я написала ему на Камчатку и получила ответ, что такой-то уже не работает в Петропавловске, а переехал на станцию Алексеевск Амурской железной дороги. Это было странно — по карте от Петропавловска до Алексеевска было три тысячи верст. Я подумала — и не стала больше писать. Но когда мама умерла, я снова послала отцу письмо и с тех пор стала думать о нем очень часто. Прежний, давно забытый образ сильного, влиятельного человека, которым за эти годы должен был стать мой отец, вернулся ко мне, хотя теперь, разумеется, я не представляла его в виде Робинзона Крузо, одетого с ног до головы в шкуры из соболей и черно-бурых лисиц. Почему-то мне казалось, что я получу от него телеграмму: «Глубоко скорблю выезжаю встречай»,— и зимним утром поеду на станцию рано-рано, когда две длинные, поблескивающие, убегающие от саней полосы будут смутно видны в темноте. Вот на пустой, заиндевевшей платформе я стою и волнуюсь — мне страшно, что он не сразу узнает меня. Вот, гремя и выпуская из-под колес облако пара, приближается поезд, и высокий, полный военный в небрежно распахнутой шинели выходит из вагона. У отца свободные, уверенные движения; он говорит, и я слышу сильный, повелительный голос. Остановившись, он обводит глазами платформу и находит меня:

«Таня!»

И, плача от радости, я бросаюсь к нему...

Выйдя на кухню, я с недоумением уставилась на маленького гражданина, который сидел у стола, держа на коленях картуз, а теперь встал и неопределенно улыбнулся, увидев меня.

Я спросила:

— Вы ко мне?

— Да-с.

На нем была русская рубашка, некрасиво торчавшая из-под измятого пиджака. Я ничего не чувствовала, только смотрела на его редкие пушистые волосики, на белокурые седеющие усы, слишком большие для такого маленького лица, и старалась вспомнить: «Где я видела этого человека?»

— Не узнаете?

— Знакомое лицо,— сказала я неуверенно.

Он засмеялся.

— Вот так инцидент,— сказал он добродушно,— родная дочь — и не узнает. Получается драма.

Он сказал: «родная дочь», и Агаша, например, поняла это выражение в буквальном смысле, то есть что я родная дочь этого человека. Она стала толкать меня к нему, сердиться. Я отстранила ее. Я не поняла: почему родная дочь? Что это значит: «получается драма»?

В эту минуту маленькое усатое лицо дрогнуло, глаза запрыгали, носик покраснел... Странное чувство, что мы вдруг перестали быть далекими, чужими, передалось от него ко мне, мгновенно смешавшись с разочарованием, жалостью, изумлением. Я спросила дрожащим голосом:

— Отец?

Он всхлипнул и обнял меня...

Помнится, я зачем-то вернулась в комнату старого доктора и сказала Андрею шепотом:

— Вернулся отец.

И Андрей с изумлением посмотрел на меня.

Потом мы пошли домой, и я заметила, что отец очень лихо попрощался с Агашей — закрутил усы и щелкнул каблуками. Он еще не спросил меня о маме... Я ждала с нетерпением — сейчас! Но он все толковал, что купил для меня у китайских купцов бархат на платье, но они обманули его.

— Ведь у нас как,— сказал он с гордостью,— попавши в Петропавловск — продажа, баня, покупка вещей, рубашка шелковая, шаровары плисовые, сапоги лакированные, часы серебряные с двухаршинной цепочкой.

На улице Карла Либкнехта он остановился и стал двумя пальцами похлопывать себя по губам; потом я узнала, что он всегда делал это движение, когда что-нибудь затрудняло или смущало его.

— Значит, теперь такая картина...— сказал он.— Адская вещь, а? Я ведь с женой приехал.

Должно быть, я растерялась, потому что тетрадки, в которых были записаны лекции, вдруг посыпались из моих рук на панель.

Отец бросился подбирать тетрадки.

— Воображение работало, нет ли, черт знает,— сказал он,— но я фактически не в состоянии был без жены обойтись. Вообще отчубучил шутку, а? Сам не рад. Гражданский брак — будем так называть.

Я молча повернула назад. Куда я шла — не знаю. Отец постоял немного и пошел за мной. Он бил себя пальцем по губам и все говорил: «Тут всесторонне надо». На Овражках он стал совать мне тетрадки, я взяла и сказала ему:

— Не ходите за мной.

Он остался на набережной, а я спустилась к Тесьме и все шла и думала, пока ноги не подкосились и я не села на зашумевшую гальку у самой воды.

Когда я вернулась домой, отец и его жена обедали. Стол был накрыт, стояли консервы, большими кусками нарезан был хлеб, и отец разливал по стаканам водку.

Интересно, что они встретили меня как ни в чем не бывало: жена отца, худенькая, небольшая, с белыми ресницами и закрученным на затылке маленьким пучком волос, сказала мне: «Милости просим», как будто я была гостья, а она хозяйка.

Отец засуетился, захлопотал, но скоро сел и стал рассказывать об амурских спиртоносах — в стаканах был, оказывается, спирт.

— Золото и спирт,— загадочно сказал он.— Ето наши боги.

Он говорил «ето».

В общем, у них было хорошее настроение, и они не очень расстраивались, что я сижу за столом и не говорю ни слова. Мария Петровна заглянула в комнату, должно быть, беспокоилась, что я долго не возвращаюсь домой, и Авдотья Никоновна — так звали мою мачеху — сейчас же пригласила ее к столу. Мария Петровна сперва стеснялась, не пила, я чувствовала, что ей неудобно передо мной, а потом все-таки выпила и развеселилась. Потом пришла торговка, с которой Авдотья Никоновна познакомилась на базаре, и ее тоже пригласили к столу.

С безнадежным чувством прислушивалась я к неумолчной трескотне Авдотьи Никоновны, которая ела, пила, ре-

зала хлеб, открывала консервы, мыла посуду — и все это быстро, ловко. С тем же чувством присматривалась к дрожащим рукам отца, когда он подносил стакан к губам и, опрокинув, сейчас же запивал спирт холодной водой. С отвращением следила за торговкой, которая стала приставать к Марии Петровне и вдруг захохотала неестественно тонким голосом, очень странным для такой грузной женщины, с толстыми, как у борца, плечами.

Было уже поздно, гости ушли, а новые хозяева все не ложились. Авдотья Никоновна убрала лишнюю посуду, но два стакана и бутылка остались. Я поняла: на утро. Они были пьяны, но обращались со мной очень любезно. Авдотья Никоновна даже назвала меня сироткой и хотела погладить — я так посмотрела на нее, что она пролепетала что-то и отвернулась. Мне трудно было лечь, но я все-таки легла, закрывшись с головой одеялом. И вдруг я услышала, что они поют. Облокотясь на стол, пригорюнившись, оба бледные, грустные, но довольные, они сидели друг против друга и пели:

Славное море — священный Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал...

Первые дни я боялась, что Авдотья Никоновна станет все переделывать на свой лад,— у меня заранее кружилась голова от чувства ревности и обиды за маму. Ничуть не бывало! Все осталось на месте. Авдотья Никоновна даже не прибирала в комнате, а только мыла посуду, а все остальное по-прежнему делала я. Она была занята: в первую же неделю после приезда познакомилась со всем Лопахином и теперь постоянно ходила куда-нибудь в гости.

Базар отнимал у нее полдня и еще полдня — подробнейший рассказ о том, что она видела на базаре.

У отца тоже не было ни одной свободной минуты. Он заявил, что не станет служить, поскольку «настало время — заря возрождения российского пролетариата мирового труда» и такие люди, как он, «должны на покое подождать назначения». В ожидании назначения отец писал рассказы. Однажды он с самодовольной улыбкой сказал мне, что в литературе он «доброволец-фанатик». Каждый день он писал по пяти рассказов, даже больше; таким образом, за год, что мы прожили вместе, накопилось в общей сложности несколько сотен. Для примера приведу

только один — в подлиннике, потому что невозможно передать его своими словами:

«Бабкин эпизод материной матери из крепостного права.

Материна мать осталась вдовой. Ее стали выселять из деревни на край, она с сестрой взяли котомки и отправились к великой княгине. Приходят, дежурный генерал вынимает ассигнацию, кладет на стол, берет их за косы и лбами как щелканет! Вот тебе и у парадного подъезда!»

Другие рассказы были в таком же роде.

Ему очень нравилось, что в моей комнате до сих пор висела афиша «Бедность не порок», и он рассказал мне, что это был его бенефис и что в роли Любима Торцова он имел шумный успех. Цветов было столько, что он стоял по горло в цветах и потом утром продал их одному купцу за двести двадцать четыре рубля пятьдесят копеек. На афише значилось, что П. Н. Власенков исполнял роль слуги, но отец сказал, что это было в другой раз, а на бенефисе он играл Любима Торцова.

Но больше всего он любил рассказывать о спиртоносах. На Амуре были какие-то спиртоносы — русские и китайцы, и отец гордился, что те и другие в равной мере доверяли ему, потому что он никогда не выдавал китайцам русских секретов, а русским — китайских. Это были довольно страшные истории: то спиртоносы охотились на «косачей» — так они называли китайцев-золотоискателей. То спиртоносы убивали кладовщиков; причем один неизменно хватал лошадь под уздцы, а другой говорил: «Ну, друг любезный, выходи. Ты нас обвешивал, обманывал, а теперь рассчитаемся». Другие истории были политические — в них отец всегда играл главную роль. На станции Михайло Чесноков он разоружал жандармов, и сам вахмистр подарил ему свои золотые медали. 15 августа 1918 года он устроил первый субботник Дорпрофсожа. Он обманул японского офицера, сказав ему: «Ваша солдата стреляй, стреляй, а ты пиши, пиши»,— и офицер выдал ему пропуск на склад, в котором под мешками с мукой лежали берданки, и отец вывез берданки и передал их партизанам.

Я просыпалась раньше всех и долго смотрела на него: он спал на спине, упершись головой в подушку, точно боялся, что ночью может взлететь. Авдотья Никоновна лежала подле него, но до нее мне было мало дела. Отец! Мне было легче думать о нем, когда он спал,— быть мо-

жет, потому, что во сне у него печально повисали усы, носик бледнел, и становилось ясно, что он сам не знает, что ему делать со всей чепухой, которой была набита его голова. Отец! Мама всю жизнь не могла примириться с тем, что он бросил ее, а он, вернувшись через восемь лет, не спросил даже, отчего она умерла. Что же делать с этим отцом, у которого даже во сне вдруг становилось жалкохвастливое выражение лица? Который проснется, выпьет, не умываясь, слабо взмахнет ручкой и начнет рассказывать — о чем? Не все ли равно?

Прощание

Володя Лукашевич перед отъездом зашел ко мне и просидел ровно три часа, так что я стала бояться, что он снова, как в прошлом году, скажет что-нибудь неожиданное и мне снова придется провести довольно сложную разъяснительную работу. В прошлом году он вдруг объяснился мне в любви, и пришлось долго растолковывать ему, что он не только не имеет права говорить подобные вещи, но вообще не имеет понятия, что такое любовь.

Потом уехала Ниночка в консерваторию, нужно было держать испытания. А Гурий и Андрей могли явиться незадолго до начала занятий, потому что для университета и курсов техники речи достаточно было лишь свидетельства об окончании школы. Теперь мы втроем слушали курс — с каждой лекцией он становился все интересней. Потом Гурий, одновременно с курсами техники речи, решил поступить в Стумазит — это была какая-то «Студия массовых зрелищ и торжеств», в которой должны были учиться около десяти тысяч человек. Он уехал, и мы остались вдвоем. Но лекции продолжались.

Наконец в конце августа уехал Андрей, и все же старый доктор продолжал читать, хотя теперь у него осталась только одна слушательница — я.

Давно была окончена и отправлена Т. статья, в которой Павел Петрович изложил сущность своей теории, но ответа не было, и у старого доктора становилось сумрачное лицо, когда я вспоминала об этом.

Мне запомнился день, когда уезжал Андрей, день, еще совсем летний, хотя в конце августа у нас бывает уже довольно холодно и идут дожди. Накануне мы условились в семь часов утра встретиться на Овражках. Почему

именно в семь? Не знаю. Должно быть, потому, что никто не назначал свиданий так рано.

На Тесьме стояли плоты — очень много, так что можно было, не замочив ног, перейти с одного берега на другой. Плотовщики переговаривались, и голоса их были отчетливо слышны, как будто нарочно, чтобы участвовать в этой картине свежего, ясного утра, сложившейся из крупных, ровных бревен, за которыми кое-где поднималось белое облачко пара, из солнечных лучей, проходящих через это облачко и вдруг вспыхивающих разными цветами, из полета чаек над Тесьмой, из чувства бодрости и еще из какого-то деятельно-живого чувства, без которого вся эта жизнь вдруг застыла бы и остановилась, как в заколдованном сне.

Андрей ждал меня. Он был в серой курточке с блестящими пуговицами — бывшей Митиной, в глаженых брюках и туго перетянут ремнем. У него был парадный вид, и я с огорчением подумала, что он уже за тридевять земель от меня, от всего лопахинского... Я не подозревала, что он больше чем когда-либо был полон всем лопахинским в эти минуты.

— Ты сегодня придешь? Дядя будет читать,— сказал он для того, как мне показалось, чтобы сказать что-нибудь.

Я ответила, что непременно приду.

— Ну, как у тебя?

— Точно так же.

— Каждый день?

Это значило, что отец и мачеха пьют каждый день. Я кивнула.

— От этого можно вылечиться,— сказал Андрей,— но они, разумеется, не захотят, потому что им нравится напиваться. Между прочим, это интересный вопрос — роль водки в жизни. Ты не можешь переехать от них?

— Куда?

— К нам. Хотя да! — Он поморщился.— Мама стала какая-то странная последнее время.

После Митиного отъезда Агния Петровна немного помешалась на том, что у нее выходит слишком много продуктов. Прежде мы с Андреем не говорили об этом.

— Ладно, ничего,— сказала я,— последний год. А там...

— В Москву?

— Нет, в Петроград.

— У тебя есть кто-нибудь в Петрограде?

Я сказала «нет», потому что нельзя же было рассчитывать на неведомого Василия Алексеевича, которому мама написала большое письмо и не получила ответа.

Зато в Петрограде находился Институт экранного искусства. Но Андрей еще не знал, что я решила стать киноартисткой.

Он помолчал.

— В декабре я приеду на каникулы,— возразил он серьезно,— и уговорю тебя послать бумаги в Москву. Ты выбираешь Петроград под влиянием литературы. А на деле медицинская жизнь гораздо богаче в Москве.

Мы дошли до пристани и, не сговариваясь, повернули назад. Как обычно в дни сплава, базар с Торговой площади переехал к Тесьме, и на пристани было грязно и шумно.

— Андрей,— начала я с трудом,— мне давно хотелось сказать тебе... Конечно, это покажется тебе неожиданным, хотя на самом деле я решилась давно и просто скрывала, потому что боялась, что ребята станут смеяться. И действительно... Возможно, что у меня нет таланта... Я имею в виду театральный талант. Но ты понимаешь...

Андрей слушал спокойно, но, когда я сказала о театральном таланте, у него удивленно дрогнуло лицо. Он расстроился, я заметила это сразу.

— Я знаю, ты будешь упрекать меня за то, что я не боролась с этим увлечением. Но мне было стыдно, потому что я столько лет говорила, что пойду на медицинский, а тут вдруг задумала стать артисткой, да еще артисткой кино.

У Андрея снова дрогнуло лицо — и на этот раз с еще большей тревогой.

— Постой-ка,— медленно сказал он.— Но ведь для этого... Ну что получилось бы, если бы я вдруг задумал учиться петь — ты знаешь, что у меня за голос! Нина поступает в консерваторию — так ведь нет сомнений в том, что у нее есть дарование. И то неизвестно, артистическое ли это дарование, потому что превосходные певцы иногда совершенно не умеют играть.

— Разумеется! Но ведь если все-таки человек обладает хоть маленьким, хоть самым ничтожным талантом, можно развить его, если упорно работать. Я читала, например, как одна артистка научилась, чувствуя одно, изображать совершенно другое.

Андрей с огорчением пожал плечами.

— Мне кажется, это происходит как-то иначе,— мягко сказал он.— В общем, мне кажется, что ты еще передумаешь, Таня.

Я сказала:

— Может быть.

И подумала: «Ни за что!»

Мы снова дошли до пристани и повернули назад.

— Да, это трудно решить,— продолжал Андрей, нисколько не сомневаясь, что мы думаем об одном, то есть о роли склонности в выборе профессии.— Например, Гурий утверждает, что я хочу заниматься медициной потому, что у меня пантеистическое отношение к природе. Это ерунда, поскольку пантеизм — обожествление природы, а я намерен ее изучать.

Мы были теперь на «утюге» — так называлось самое высокое место набережной, здесь Тесьма огибала ее под углом. С «утюга» была видна Пустынька, и я засмотрелась на купол монастырской церкви, то сверкавший, то темневший, когда облака останавливались между ним и солнцем. Непонятно, почему мне вдруг захотелось плакать. Но я подумала, что, напротив, понятно: уезжает мой лучший друг, с которым я всегда советовалась в сомнительных случаях жизни, который любил повторять: «Только простое может бросить свет на сложное»,— и был совершенно прав. И вот теперь это «простое», бросавшее свет на все мое «сложное», покидает меня, а сомнений с каждым днем становится все больше и больше...

— Что с тобой? Ты плачешь? — Он осторожно взял мои руки в свои.— Тебе грустно, что я уезжаю?

Я посмотрела на него. Андрей был совсем другой, побледневший, с сияющим взглядом. Он был какой-то летящий, точно ему ничего не стоило подняться в воздух и полететь над Тесьмой.

— Таня... Ты не знаешь...

И он быстро приложил мои руки к щекам. Это было так странно, что на мгновение я перестала реветь, хотя слезы время от времени продолжали капать. Я отняла руки, и Андрей мгновенно стал прежним Андреем, как будто кто-то сильно дунул и погасил свет в его широко открытых глазах.

Это и было самое главное, что произошло во время нашей встречи. Мы гуляли еще довольно долго, и, между прочим, когда возвращались домой, я сама взяла Андрея под руку, но ничего не случилось, кроме того, что он стал

смотреть перед собой совершенно прямо, а я шла некоторое время, чувствуя, что моя рука лежит на чем-то деревянном, согнутом под прямым углом.

К десяти часам я была на складе, и дальше день прошел как всегда: я читала, составляла библиотечку для рабфака, готовилась к зачету по тригонометрии, который был отложен по моей просьбе на осень. Но ко всему, что я ни делала, кстати и некстати присоединялась мысль об этой странной минуте — как под музыку, когда слушаешь, а сама думаешь о чем-то своем. Сама не знаю, почему я вспомнила, как в прошлом году Володя Лукашевич сказал, что он любит меня, и мне пришлось долго объяснять ему, что он не имеет права говорить подобные вещи, потому что вообще не знает, что такое любовь.

Это было чудное, благородное объяснение, и я держалась прекрасно, потому что все было ясно: что говорить Володе, а что — мне. А тут ничего не было ясно! Ведь Андрей не сказал, что любит меня.

Из рабфака пришли за библиотечкой, я выдала и продолжала думать... Да, не сказал! Так почему же, вспоминая об этой минуте, я чувствовала себя странно, неловко?

Я думала об этом весь день и, замучившись, решила в конце концов, что было бы гораздо лучше, если бы Андрей остался тем самым Андреем, с которым мы знакомы с детских лет и который некогда с моей помощью усыплял тараканов...

Кажется, я не очень внимательно слушала старого доктора, хотя лекция была интересная. Андрей, по-моему, тоже не слушал. Мы простились в передней. Он сказал, что напишет мне, как только приедет в Москву. Я вышла и подумала: «Вот и все».

Было уже поздно, стемнело, я шла домой, и ласточки, которые скоро тоже должны были улететь из Лопахина, вились низко над старой часовней. Вот и все! Отец и мачеха, должно быть, уже сидят и пьют. Можно подумать, что как они в день приезда уселись за стол, на котором стояла бутылка, консервы, тарелка с крупно нарезанным хлебом, так и не вставали. Я прошла прямо к Марии Петровне — последнее время мне часто приходилось ночевать у нее — и легла на диван, не зажигая огня. Вот и все! Транзитный поезд Архангельск — Москва пройдет через станцию Лопахин в два часа ночи, а сейчас у «депо» стоит извозчик и Агния Петровна, которая сердится, когда чужие видят, как ей трудно расставаться с детьми, гордо закинув голо-

ву, стоит у подъезда. Андрей неловко целует ее. Он садится, извозчик дергает вожжами, и вот медленно начинают двигаться по правую и левую руку старые-престарые, знакомые-презнакомые дома, сады и заборы. Развяжская, Большая Михайловская, Спуск проходят и исчезают. Кто знает — может быть, навсегда?

У меня глаза были полны слез, и я не обратила внимания на стук, доносившийся с лестницы, точно кто-то тяжело застучал сапогами. Входная дверь у нас не запиралась, и, хотя этот тяжелый стук не был похож на шаги Марии Петровны, я все-таки решила, что это вернулась она. Но это была не она. Кто-то постучал в дверь моей комнаты, и отец сказал громко: «Тани нет дома». Я вскочила и распахнула двери. Это был Андрей. Он стоял на верхней ступеньке лестницы в пальто, в высоких сапогах, без фуражки, и у него был нерешительный, растерянный вид.

Не помню, что я сказала,— кажется, просто «Андрей!», а он «Таня!». Потом он бросился ко мне и обнял — так крепко, что даже немного приподнял над полом. Мы поцеловались и стали что-то быстро, бессвязно говорить друг другу. Вдруг он сказал прерывающимся голосом: «Не забывай!»

И побежал по лестнице. Я бросилась к себе, хотела подарить ему что-нибудь на память, не нашла, торопливо спустилась вниз. Пролетка уже заворачивала на Спуск, и извозчик высоко поднимал вожжи, готовясь придержать коня.

Заботы

Это была трудная зима. Вокруг Лопахина в лесах появились банды, остатки «зеленых», и против них приходилось вести настоящую войну, с облавами и засадами. Комсомольцы не были мобилизованы, но многие пошли добровольно, потому что воинская часть, стоявшая в Петрове, к тому времени была переброшена и милиции не хватало. Я тоже хотела записаться, но девушек не принимали. В общем, банды были ликвидированы в несколько дней, и наши ребята вернулись благополучно, а из заводских погиб Шура Власов, тот самый петроградский комсомолец, который был членом заводского управления.

В середине года был назначен новый директор, поразивший нас, между прочим, тем, что с первого слова предложил комсомольской ячейке, прежде чем решать между-

народные вопросы, навести порядок в собственном доме, а именно: вымыть полы и стены, починить и покрасить парты. Потом он объявил, что главная задача школьника заключается в том, что он должен учиться, и хотя на собрании всего коллектива раздались голоса, что таким образом можно скатиться к старой, дореволюционной школе, в которую тоже ходили, чтобы учиться, точка зрения нового директора победила, и начались регулярные занятия в две смены согласно расписанию, вывешенному в раздевалке.

Разумеется, школьные занятия, которые в конце концов стали отнимать почти все мое время, очень заботили меня в ту памятную зиму. Но были и другие волнения, другие заботы.

Была, например, забота, просыпавшаяся прежде меня. Отец! На ощупь, с закрытыми глазами начинал он шарить на столе, ища приготовленную с ночи бутылку. Весь день он бродил по комнате, по дому, по городу, а вечером, помолодев, повеселев, с лихо закрученными усами, с красным, сияющим носиком садился за стол. Он приходил ко мне на склад и долго, с туманным выражением гордости следил, как я читаю, составляю конспекты, решаю задачи. Вдруг он начинал хвастать мной перед своими гостями, среди которых самым почтенным были нэпман-кондитер, открывший в Лопахине булочную «Симон».

Первое время мне казалось, что отец очень доволен своей судьбой,— почему-то это больше всего раздражало меня. В самом деле, ему нравилось все, что он делал: от своих рассказов он был, например, в восторге. Он гордился своим политическим прошлым и был, кажется, искренне уверен, что если бы не он, партизанское движение на Амуре было бы подорвано в самом начале и Дальний Восток навсегда остался бы в руках интервентов и белых. Все, что ни происходило в мире, имело прямое отношение к нему — будь то переезд патриарха Тихона в Донской монастырь или бегство из Константинополя султанской фамилии. В особенности волновался он по поводу «живой церкви»; однажды даже проснулся ночью и сказал торжественно:

— Ну, теперь царству князей церкви конец!

Два-три раза в неделю, принарядившись, побрившись, лихо закрутив усы, под руку с Авдотьей Никоновной, он отправлялся в городской суд. Это было главное развлечение. Из суда они возвращались оживленные, довольные и

весь вечер, перебивая друг друга, горячо обсуждали приговор; причем Авдотья Никоновна, особенно если судили женщину, неизменно требовала более сурового наказания.

Словом, это были счастливые люди. Деньги, которые они привезли с Амура, подходили к концу, но и это мало беспокоило их. Авдотья Никоновна была суеверна и первое время боялась, что мама может явиться ночью и сделать с ней что-нибудь — задушить или выгнать. Но потом она, очевидно, справилась со своими опасениями, потому что из комнаты стали постепенно исчезать мамины вещи. Я сказала об этом Марии Петровне, и она взяла к себе на хранение кашемировую шаль, серьги и книги. Между прочим, это произошло в присутствии отца, и он ничуть не смутился, а только зажмурил один глаз и спросил:

— Во избежание цапе?

Но вот однажды, ложась спать, я нашла под подушкой следующее письмо:

«Ненаглядная дочь! На свою жизнь гляжу с отвращением. Хоть пулю в лоб, не боюсь, да, видно, смерть боится меня. Одиноко с женщиной, которая всю жизнь была крупной кухаркой — и только. Я просто высох, как скелет, страдая очень тяжко, мне стыдно, что я, твой отец, гублю тебя, бедняжка.

Твой отец».

Я не ответила на это письмо и через несколько дней получила второе, потом третье. Конечно, это были смешные письма — хотя бы потому, что почти в каждом письме он сообщал, что ему «живется все хуже и хуже», как будто мы были за тридевять земель друг от друга. Но было в них и что-то очень грустное, так что теперь, глядя на отца, я начинала смутно догадываться, что он не так уж счастлив, как могло показаться с первого взгляда.

Однажды мы остались одни, Авдотья Никоновна отправилась в гости. У меня немного болело горло, весь день я занималась дома, а к ночи прилегла с книгой и задремала, прислушиваясь к монотонному шуму дождя. Ветер то утихал, то с силой бросал дождь на крышу, и, открывая в полусне глаза, я видела отца, который, опустив голову, ходил из угла в угол, время от времени оглядываясь на меня с робким и беспокойным выражением. Наконец, похлопывая себя двумя пальцами по губам, он остановился подле моей

постели. Казалось, он хотел заговорить со мной, но в это мгновенье, сама не знаю почему, я крепко зажмурила глаза и притворилась спящей. Ветер снова налетел, дождь пронесся по крыше, затих, и, когда я открыла глаза, отец на коленях стоял подле меня и плакал. Я сказала дрожащим голосом:

— Встань, папа.

Не помню, что он стал говорить, наверно, что-нибудь глупое или смешное. Все равно это была минута, когда я поняла: пьет он или не пьет и как бы ни был жалок — это мой отец, о котором я не могу не заботиться и который любит меня.

Трудно даже сказать, в чем изменились после этого вечера наши отношения. Но они изменились. Я почувствовала это, когда на другой день он впервые заговорил со мной о маме...

Новогодняя ночь

По-прежнему я бывала у старого доктора по воскресеньям и четвергам. Курс кончился, но как-то, заметив, что ему трудно писать — у него стали получаться длинные, дрожащие буквы, похожие на славянскую вязь,— я предложила писать под его диктовку, и с тех пор два вечера в неделю мы проводили за работой: он диктовал, а я записывала и потом читала вслух каждую страницу.

Теперь многое стало для меня гораздо яснее, и «теория защитных сил организма» стала представляться менее туманной, чем прежде. Но чем больше я понимала старого доктора, тем меньше могла справиться с недоверием, неизменно охватывавшим меня, когда начинался разговор о зеленой плесени, которой он с каждым днем придавал все больше значения.

Все-таки это было очень похоже на «навязчивую идею» — есть такая психическая болезнь, от которой очень трудно вылечиться на старости лет. Но, словно догадавшись о моем недоверии, он продиктовал мне однажды целую главу о чудесах науки. Суть ее заключалась в том, что почти все величайшие открытия сперва казались современникам чудесами. Но прошли годы, и оказалось, что это были мнимые чудеса, которые объяснялись в общем довольно просто. «И необычайное имеет право на признание» — этой фразой, тоже очень простой, заканчивалась глава о чудесах науки...

Новый директор школы однажды зашел к старому доктору и просидел целый вечер. Между прочим, он оказался учеником одного товарища Павла Петровича по университету, так что это был интересный разговор о той истории, из-за которой Павел Петрович когда-то был выслан из Петербурга. Директор познакомил Павла Петровича с председателем Лопахинского горсовета, очень живым и оригинальным человеком, и председатель заинтересовался «трудом» Павла Петровича и предложил выпустить его в издательстве Уполитпросвета, хотя подобная книга по своему объему должна была составить почти три четверти годового плана. Но Павел Петрович поблагодарил и отказался.

— Работа еще не закончена. Самое главное — впереди,— сказал он.— Кроме того, я еще не потерял надежды получить ответ от Т., которому послан краткий очерк работы.

Словом, бывали вечера, когда старый доктор даже отменял наши «диктовки», потому что у него собирались эти уважаемые люди. Но вот пришел день, когда я встретила у него человека, которого едва ли можно было назвать уважаемым.

Это было в канун нового, 1923 года, и я забежала к Павлу Петровичу днем, потому что вечером в Доме культуры был костюмированный бал. Без сомнения, я была глубоко занята обдумыванием этого важного дела, иначе с первого взгляда узнала бы полного человека в прекрасном сером костюме, который вышел из комнаты старого доктора и остановился в передней, чтобы снять с вешалки шляпу.

Агаша тоже стояла в передней, и, обернувшись, я заметила, что он сунул ей в руку смятую бумажку — кажется, деньги,— нечто знакомое почудилось мне в этом движении. Потом, надев шляпу и взяв трость, он в распахнутом пальто двинулся к двери, и я вдруг поняла, что это Раевский.

Я не видела его с тех пор, как сани, в которых лежала полумертвая Глашенька, стояли у нашего дома в посаде, и он, пугливо оглядываясь, застегивал полсть — застегивал, и что-то подлое было в этих путающихся, дрожащих движениях. С тех пор из неуклюжего гимназиста он превратился в солидного мужчину, прекрасно одетого, в пальто с меховым воротником шалью, в шляпе, небрежно откинутой на затылок. Но что-то подлое осталось, и я невольно

подумала об этом, хотя он только мелькнул и исчез за распахнутой дверью.

— Павел Петрович, вы знаете, кто был у вас? — закричала я, вбежав в комнату старого доктора.

— Да, Таня.

У него был очень расстроенный вид.

— Раевский!

— Да, да.

— Зачем он приходил? Кто он теперь? Так одет прекрасно. Он будет жить в Лопахине? Вы разве были знакомы?

— Нет,— сказал Павел Петрович.— Он, по-видимому, издатель... То есть владелец издательства.

И он показал мне сложенный пополам кусочек картона, на котором были напечатаны названия книг и наверху большими буквами: «Издательство «Время».

— Он хочет издать ваш труд?

— О нет! — отвечал Павел Петрович.

Всегда я смело спрашивала его, чем он расстроен, и он отвечал, потому что огорчения были связаны с его теперешней жизнью, проходившей перед моими глазами. Но с детства я знала, что у него были еще и другие, особенные огорчения, о которых он никогда не упоминал,— огорчения, касавшиеся того далекого, забытого мира, в котором некогда жили высокий, широкоплечий господин, стоявший на мосту над рекой, и дама с темными глазами, любившая сниматься в таких необычайных нарядах. Мне показалось, что сейчас Павел Петрович расстроен чем-то, пришедшим оттуда, и хотя было очень интересно узнать, при чем здесь Раевский, лучше было ничего не спрашивать. И я не спросила.

Мы поздравили друг друга с наступающим Новым годом, и, с трудом разобравшись в своих записках, Павел Петрович стал диктовать.

Это было в три часа ночи. Мы возвращались из Дома культуры, и у всех девочек так болели ноги от танцев, что хоть снимай туфли и иди в чулках по сияющему голубому, в искорках, снегу. Леночка Бутакова заговорила о гадании, и оказалось, что никто не знает, когда полагается спрашивать у прохожего имя: одни говорили, что под Новый год, а другие — в сочельник. Мы шли по Овражкам, спорили, громко смеялись — и невольно присмирели, когда

какой-то человек показался вдали, на пустынной набережной, пересеченной косыми тенями деревьев.

— Ну что, девочки, слабо́ спросить? — сказала Леночка.

Единственный фонарь горел на Овражках, и когда скрывалась луна, его свет казался большой воронкой, в которой, крутясь и падая, мелькали снежинки. Мы приближались с противоположных сторон — мы и этот человек, у которого был какой-то нелопахинский вид.

— Эх вы, трусихи!

И когда между нами оставался только свет фонаря, Леночка выступила вперед и спросила звонким голосом:

— Как ваше имя?

Это было мгновение, когда все произошло одновременно: я негромко вскрикнула, узнав Раевского, девочки засмеялись и стали прятаться друг за друга, и луна вышла из-за облаков,— как будто нарочно для того, чтобы осветить это полное лицо, на котором появилось ироническое выражение.

— Позвольте осведомиться, с какой целью вам угодно узнать мое имя? — неторопливо спросил он.— Не думаете ли вы, что, если бы даже меня звали Лоренцо Великолепный, вы избежали бы печальной участи стать женой какого-нибудь Федьки или Васьки?

Он коротко засмеялся и двинулся дальше, а мы остались стоять. Нельзя даже сказать, что мы обиделись,— это было что-то совсем другое. Как будто пропасть открылась между этим человеком и нами и на том краю он стоял и грозился — кому, за что? Девочкам, которые шли домой после бала и просто расшалились, потому что никто, разумеется, не верил в это смешное гаданье!

Давно исчезла вдали угловато шагающая фигура, давно мы говорили о другом, а в душе все оставалось неприятное чувство, точно в темноте новогодней ночи мы наткнулись на что-то скользкое, упругое, мимоходом ужалившее нас и проскользнувшее мимо.

Старая история

Я не торопилась проснуться, потому что день Нового года всегда был какой-то нескладный. Но мне почудилось, что надо мной говорят о Лоренцо Великолепном, и хотя я знала, что еще можно спать и спать, глаза открылись сами собой. Да, говорят! Правда, не о Лоренцо Великолепном,

но все равно это был голос Раевского — вот что меня поразило.

Еще минуту я лежала прислушиваясь, потом вскочила и между створками ширмы увидела отца, который стоял перед кем-то, склонив голову набок и потирая руки.

— Таня, а ведь тебя ждут,— сказал он, услышав, что я проснулась.

— Меня?

— Да... Виноват, как имя-отечество?

— Сергей Владимирович.

— Вставай, вставай, ленивица,— фальшивым голосом сказал отец.— Сергей Владимирович, может быть, угодно чаю?

У меня дрожали руки, когда я одевалась, и в голове вдруг начало шуметь от волнения. Раевский пришел ко мне? Это еще что за новости? И с какой стати отец говорит таким фальшивым голосом и так противно потирает руки?

Очевидно, я вышла из-за ширмы с очень гордым видом, потому что Раевский усмехнулся. Мне захотелось убить его, когда я увидела эту усмешку. Но он вежливо встал и поклонился.

— Здравствуйте, Таня,— сказал он.— Мы разбудили вас?

Я ответила холодно:

— Ничего, пожалуйста.

Раевский внимательно посмотрел на меня. Не знаю, угадывал ли он, что я его ненавижу, но на его полном лице с моргающими глазами появилось озабоченное выражение.

— Я слышал,— начал он,— что вы хорошо знакомы с Павлом Петровичем Лебедевым, которому в Лопахине я прежде всего засвидетельствовал свое глубокое уважение. Теперь вам представляется возможность оказать ему большую услугу.

Он помолчал.

— Эта история началась давно, в восьмидесятых годах прошлого столетия, когда не только вас, но и меня, разумеется, не было на свете. В эти далекие времена жила-была знаменитая актриса, которую знал и уважал каждый образованный человек в России. Звали ее Ольга Петровна Кречетова — без сомнения, вы слышали это имя?

— Да, слышала.

Я не только слышала о Кречетовой, но много читала. Например, в книге «Знаменитые актеры и актрисы» ей

была посвящена целая статья, причем автор утверждал, что Кречетова играла так хорошо, что драматурги писали для нее специальные роли.

— Мне случалось видеть ее, когда она была уже пожилой женщиной,— продолжал Раевский,— и могу сказать, что ее игра оставила незабываемое впечатление. Более тридцати лет она играла на сцене Александринского театра...

Отец слушал его, открыв рот — не в переносном, а в буквальном смысле этого слова. Видно было, что Раевский не просто нравился ему, но поразил в самое сердце. Я не выдержала наконец и, подойдя к нему сзади, сказала шепотом:

— Папа, подожди меня, пожалуйста, у Марии Петровны.

Он испуганно оглянулся, кивнул и вышел.

Это произошло как бы между прочим, и Раевский не слышал, что я сказала отцу. Но, должно быть, он вообразил, что я нарочно выпроводила его, чтобы дать ему, Раевскому, возможность говорить со мной откровенно, потому что из любезного солидного человека он вдруг превратился в того угловатого, мрачно-иронического субъекта, которого мы встретили ночью и в котором мелькнуло сейчас даже что-то страшное, точно он не мог справиться с бушевавшим в нем отвращеньем.

— Ну, вот что,— отрывисто сказал он,— я здесь не для того, чтобы тратить время на воспоминания. Дело обстоит значительно проще. Во оны времена старик переписывался с Кречетовой, и у него сохранилась пачка ее писем. Мне нужны эти письма. Они должны быть у меня самое позднее завтра. Условие — пятерка за письмо. Задаток — сегодня.

Это было ужасно, что я так растерялась! Но я растерялась не только потому, что он ошеломил меня своей наглостью, но и потому, что тысячи догадок мгновенно мелькнули передо мной. Так вот кто эта красивая дама с темными глазами, любившая сниматься в таких необычайных нарядах! Вот почему старый доктор никогда не говорил о своей любви — это было горькое воспоминание!

— Ну-с? — нахально моргая, спросил Раевский.

Я закричала:

— Пошли вон!

Нужно было сказать: «Пошел вон!» Это было глупо, что я гнала его и в то же время обращалась на «вы». Но мне

было не до грамматики. У меня все дрожало в душе, и очень хотелось ударить Раевского лежащим на окне медным пестиком, которым Авдотья Никоновна всегда колола орехи...

— Павел Петрович, вы только подумайте, он был у меня!

Доктор дремал, когда я вбежала к нему не раздеваясь, и не сразу очнулся — прежде сделал рукой козырек над глазами и посмотрел на меня.

— Кто был?

— Да Раевский же! Он подговаривал меня, чтобы я у вас письма стащила! Ему зачем-то нужны письма Кречетовой, он меня уверял, что она вам писала. И кто мог его направить ко мне? Я видела, как он Агаше деньги совал! Какой негодяй! Я его выгнала, а он не ушел, то есть ушел, но к Марии Петровне, и они там с отцом еще целый час говорили. Тьфу, толстая, противная рожа! Павел Петрович, это правда, что она вам писала?

— Да, Таня,— сказал старый доктор.— Мы когда-то были друзьями.

Он не очень расстроился, только удивился, когда я сказала, что Раевский был у меня.

— Но зачем, зачем ему эти письма?

— Он хочет издать их.

— Как издать? Напечатать?

— Ну да.

— Как же он смеет издавать личные письма?

— Видишь ли, это была знаменитая актриса. И теперь, когда она умерла (мне показалось, что он с трудом выговорил последнее слово), разные ничтожные люди пытаются... ну, хоть заработать на ее имени, что ли... Об этих письмах никто не знает, потому что... это действительно личные письма. И вот разные темные дельцы вроде этого Раевского...

Он задумался, потом окончил печально:

— Когда я умру, Таня, ты сожги эти письма.

— Полно, Павел Петрович,— я поцеловала его,— не будем больше говорить об этом. А если Раевский еще раз придет, все равно — ко мне или к вам, мы скажем Иванову (это была фамилия председателя горсовета), и пускай он распорядится, чтобы Раевского посадили в тюрьму. Ведь это преступление — то, что он мне предлагал! Вы бы слы-

шали, как он со мной разговаривал! Это человек двухличный.

— Двуличный.

— Ну все равно, двуличный. Черт с ним! Помнится, вы меня учили, что когда в жизни случается неприятность, нужно только объяснить себе ее причину — и на душе сразу станет легче. Я объяснила?

— Да.

— Ну вот, а теперь давайте работать...

Но от Раевского не так-то легко было отделаться, и я потом пожалела, что действительно не сказала о нем председателю горсовета. Ко мне, правда, он больше не приходил, но у доктора был еще два раза, и в конце концов Агния Петровна при мне строго-настрого сказала Агаше, чтобы она больше на порог не пускала этого «проходимца».

Решение

Теперь, сидя у Павла Петровича, я уже с другим чувством смотрела на фотографии дамы с темными, грустными глазами. Что помешало ей выйти замуж за Павла Петровича в те времена, когда он был молод и хорош собой? Очень хотелось спросить об этом у старого доктора, но я не решалась и только перечитывала без конца статью о Кречетовой в книге «Знаменитые актеры и актрисы».

Потом я нашла еще несколько книг, в которых рассказывалось о ней, и постепенно ее жизнь открылась передо мной. Оказывается, с восьми лет она участвовала в спектаклях; причем один автор рассказывал, как, изображая в трагедии «Уголино» умирающего от голода мальчика, она заметила, что ее подруга, вместо того чтобы «мучиться от голода», спокойно уписывает кусок пирога. Это так не понравилось маленькой артистке, что, не долго думая, она вырвала пирог и бросила за кулисы. Подруга стала плакать, и режиссеру пришлось потихоньку убрать ее со сцены.

Другой автор написал, что Кречетова была натурой «чисто женственной» и что в каждой роли она не только находила симпатичные черты, но выдвигала их на первый план, «стараясь вызвать сострадание даже к такой грешнице, как леди Макбет». Всего она сыграла около трехсот ролей. Трехсот! Это было почти невозможно представить себе. Сколько душевных сил нужно, чтобы сыграть триста ролей, если мне для единственной — правда, немой, но все-

таки хорошей роли — пришлось буквально потерять равновесие духа!

Да, теперь я не сомневалась, что должна посвятить свою жизнь театру. Недавно в газете «Искусство Коммуны» я прочитала, что самым важным искусством Ленин считал кино, и мне стало казаться, что отсвет этого имени лежит на моей тайне, о которой я до сих пор никому, кроме Андрея, не сказала ни слова.

Давно уже распределила я свой день, а теперь и ночь, потому что дня не хватало. Утро, когда приходилось комплектовать и выдавать книги, было отдано школьным предметам. После обеда я отправлялась в школу, а вечером... о, вечером начиналось самое главное! Крадучись, чтобы никто не видел, я возвращалась в подвал, запирала тяжелую железную дверь, заслоняла большой гравюрой окно, чтобы с улицы не увидели света, и принималась за подготовку в Институт экранного искусства.

Это было очень трудно, главным образом потому, что из книг по кино у меня была только серия «Синема — чудо XX века», а все другие — по драматическому театру. Для подготовки в Институт экранного искусства важнее всего была мимика, а в этих книгах о ней не говорилось ни слова. Наконец я нашла то, что нужно: «Хрестоматию для упражнений в словесном и мимическом выражении чувств», и с этого дня моя жизнь таинственно раздвоилась, потому что я стала выдумывать и исполнять «этюды».

Что же такое были «этюды» и почему для будущей артистки кино они имели такое большое значение? Этюды, или монопьесы, были, как утверждала хрестоматия, самым верным средством, чтобы сознательно усвоить законы, управляющие языком телодвижений.

Большинство этюдов начиналось со слов: «Представьте себе, что...» И я представляла. Чего я только не представляла! То мой подвал превращался в дом Ростовых из «Войны и мира», а я — в Наташу, с трепетом ожидавшую Анатоля Курагина, который должен похитить ее. То подвал оставался подвалом, но зато я становилась Скупым рыцарем, который дрожащими руками зажигал свечи и открывал свои сундуки один за другим. Это были этюды из литературы, а из жизни, тоже хорошие, я придумывала сама.

В складе было холодно, время от времени приходилось бегать, хлопая спереди и за спиной руками, как это делают извозчики, чтобы согреться. Кроме того, той зимой мне

ежеминутно хотелось есть, так что я даже пугалась иногда, что заболела какой-то неизвестной болезнью. Но что значили эти мелочи в сравнении с фантастическими переходами из одного существования в другое, с переходами, от которых все больше и больше разгоралось в душе счастливое чувство полета!

Настало то переходное время, когда утро начиналось с метели, а в полдень была уже оттепель, и хрупкий, потемневший снег оседал на глазах — так у нас в Лопахине начиналась весна.

У доктора было холодно, и когда я вошла, он сказал, что лучше мне остаться в пальто. Он тоже накрылся пальто, даже забрался в него с головой, и диванная подушка лежала на его коленях, укутанных шалью. Но у него был хитрый вид — это меня удивило,— и глаза из глубины пальто блестели по-детски лукаво.

Мы не стали писать в этот день: я опоздала, и доктор, должно быть, успел уже изложить свои мысли, потому что исписанный лист бумаги лежал перед ним на столе.

— Сегодня думал о своей жизни,— поглядывая с довольным видом на этот лист, сказал он,— занятие, которому, между прочим, не предаюсь почти никогда. А ты, Таня?

— Наоборот, очень часто.

Я устроилась на скамеечке, и мне захотелось спать.

— Это преимущество молодости,— продолжал Павел Петрович,— а старики, уверяю тебя, заняты в большей степени настоящим, чем прошлым. Так вот мне пришло в голову, Таня, что я прожил не одну, а несколько жизней, выключавших друг друга. Моя молодость — это была молодость одного человека, зрелость — другого, а старость — третьего... Подай, мне, пожалуйста, лупу.

Я подала ему лупу, и он все с тем же веселым выражением стал рассматривать лежавшую перед ним страницу. Меня заинтересовала эта страница, но я поленилась встать — уж очень удобно было дремать на скамеечке, поджав под себя ноги и укрывшись пальто.

— Не помню, где я читал,— продолжал Павел Петрович,— что известный поэт Рембо впоследствии стал спекулятором, даже, кажется, работорговцем, и больше уже ничего не писал. Значит, у него было две жизни, причем вторая исключила первую и полностью заняла ее место. А у меня целых три,— с детским удовольствием сказал док-

тор,— и за третью, черт побери, я, не задумываясь, отдаю и первую и вторую!

Я подумала, что к первой жизни, очевидно, относится фото, на котором высокий, широкоплечий господин, легко опершись на перила, стоит над рекой; и другие фото — красивая дама, любившая сниматься в таких разнообразных костюмах; и то, о чем Павел Петрович редко рассказывал,— Петербургский университет, работа над научными переводами, столкновение с каким-то профессором Ционом и участие в политической демонстрации, когда его лишили права преподавания и выслали в маленький городок. Вторая жизнь — это был Лопахин, когда, стуча палками, он бродил по дому в измятых штанах, засунутых в огромные боты, когда, согнувшись, он писал свой «труд» — в пустоте, в одиночестве, как на дне глубокой реки. А третья?

Я спросила:

— Третья — это то, что происходит теперь?

— Да,— серьезно ответил Павел Петрович.— Это надежда, без которой очень трудно не только работать, но и жить.

Шум подкатившей пролетки послышался у подъезда, и чей-то женский негромкий, уверенный голос, от которого мое сердце пугливо забилось, сказал извозчику:

— Подай чемодан.

— Кажется, кто-то приехал? — тревожно спросил Павел Петрович.

— Глафира Сергеевна приехала.

Ничуть не торопясь, я взглянула в окно и пошла открывать двери — кроме нас с доктором, никого не было дома.

Сон

Очевидно, все это было обдумано заранее, хотя мне показалось странным, что Агния Петровна, с которой я встречалась почти каждый день, даже не заикнулась ни разу о своем переезде в Москву. Впрочем, последнее время у нее был расстроенный вид, она жаловалась на бессонницу, похудела. Прежде ее гордое лицо сразу менялось, едва она снимала пенсне и открывались светлые добрые глаза с немного испуганным выражением. Теперь и в пенсне она стала казаться испуганной, оскорбленной. Без сомнения, Митя давно предлагал матери переехать к нему в Москву,

но она колебалась, взвешивала, не решалась — по многим причинам, одна из которых теперь явилась передо мной в виде молодой женщины в прекрасном синем пальто с беличьим воротником, в небрежно сдвинутой назад шапке с ушами...

Каждый раз, когда я видела Глафиру Сергеевну, она казалась мне непохожей на ту, которую я видела прежде. Но никогда еще это несходство так не поражало меня — едва войдя в дом, она объявила, улыбаясь, что приехала за мамочкой — так она называла Агнию Петровну. Я видела ее хрупкой девушкой, нерешительной, с несмелыми движениями, которые были полны прелестью молодости и чистоты. Я видела ее потрясенной, стремящейся вырвать у судьбы свое печальное, страшное счастье. Я видела ее молчаливой, разбитой, идущей поближе к стенам домов, чтобы никто не заметил ее, не подумал о ней. Теперь в Лопахин приехала уверенная, властная женщина, вежливо, но нехотя улыбавшаяся, в то время как большие глаза оставались неподвижно мрачными на красивом, бледном лице.

Она много говорила о Мите, но почему-то получалось, что она все время говорит о себе. Не кто другой, как она, убедила его поступить в частную лечебницу — это хорошо оплачивалось,— в то время как Митя собирался работать в научно-исследовательском институте. Словом, если судить по этим рассказам, Митя пропал бы в суматохе столичной жизни, если бы она не поддержала и не вразумила его.

— Но что касается ваших, мамочка, дел,— твердо сказала она Агнии Петровне,— я выполняю его пожелание, и только.

Это значит, что Митя просит, чтобы Агния Петровна немедленно переехала в Москву, предоставив Глафире Сергеевне распорядиться лопахинской квартирой по своему усмотрению. «Митя сказал», «Митя думает», «Митя пишет»,— слышалось почти в каждой фразе. И Агния Петровна, к моему изумлению, покорно подчинялась всему, что требовала от нее Глафира Сергеевна.

С чувством горечи наблюдала я, как эта женщина, еще недавно такая деятельная, решительная, гордая, умевшая так спокойно держаться, поддалась чужому влиянию. Должно быть, она устала очень давно, много лет назад, и долго не признавалась себе, что устала, и теперь в глубине души была даже благодарна «молодым», которые с такой

готовностью взяли на себя все домашние дела и заботы. Я думаю, что за эти несколько дней она сделала больше ошибок, чем за всю свою жизнь. И самой большой, самой непоправимой из них была та, что она уехала, поверив Глафире Сергеевне, что Павел Петрович останется у себя, в своей комнате, и будет жить, как и прежде, под присмотром Агаши.

— Можете совершенно не волноваться, мамочка,— это было сказано при мне.— Митя говорил, что дядю нужно устроить. И я устрою его наилучшим образом, хотя бы для этого пришлось остаться еще на несколько дней.

И Агния Петровна уехала утром шестого февраля, а вечером, когда я, как всегда, зашла к старому доктору, Агаша, расстроенная, заплаканная, позвала меня и сказала, что Глафира Сергеевна собирается отправить его в Дом инвалидов.

На первый взгляд это было разумно — почему бы старому человеку не провести последние годы жизни в Инвалидном доме? В бывшем особняке купца-миллионера Батова был недавно открыт хороший Дом инвалидов. И все-таки отправлять туда Павла Петровича было жестоко. Ведь последние годы, или, может быть, месяцы своей жизни он должен провести один, лишенный всего, к чему так привык.

Очевидно, это не приходило в голову Глафире Сергеевне, потому что она отправилась в Дом инвалидов и, вернувшись, сказала, что «все устроено» и что «там очень прилично».

Она почти не замечала меня — как личность, не имеющую отношения к ее делам и, следовательно, не заслуживающую внимания. Агашу, которая прослужила у Львовых чуть ли не двадцать лет, она предупредила о расчете и сама хозяйничала в доме, из которого каждый день что-нибудь выносили — мебель она решила продать, а в Москву увезти только пианино, посуду и книги. Засучив рукава, озабоченно-жадно поглядывая по сторонам, она снимала с антресолей разную рухлядь и внимательно рассматривала — выбросить, взять с собой, продать? Два огромных ящика стояли посреди столовой, в один Глафира Сергеевна укладывала книги, в другой — посуду, и я почему-то сердилась, что все у нее получается так умело и ловко.

— Ну-ка, подсоби,— однажды сказала она мне на «ты» и, без сомнения, забыв мое имя.

Я взглянула на нее — и прошла мимо...

Теперь я знала, откуда взялось то детски-высокое состояние души, в котором я нашла Павла Петровича в день приезда Глафиры Сергеевны, и почему оно не покидало его. Надежда сияла в его старых глазах, когда он принимался читать мне письмо, начинавшееся словами: «Дорогой Владимир Ильич».

Оно делилось на две половины: теоретическую, в которой Павел Петрович кратко излагал свою теорию, и практическую, в которой он предлагал создать первый в мире «Институт защитных сил природы», указывая, что «создание подобного учреждения не только принесет бесспорную пользу советскому здравоохранению, но снова поставит впереди всех русскую научную мысль».

«В минуты, когда, оглянувшись вокруг, с душевным трепетом замечаешь, что один стоишь перед судом потомства,— так оканчивалось письмо,— невыразимо отрадно было бы убедиться в том, что это потомство заживо отпускает твои грехи, одобряет твое стремление к истине и с уважением смотрит на твой путь бескорыстного служения народу».

Это был один из многих вариантов, понравившийся мне своей простотой. Но Павел Петрович продолжал править и переписывать письмо, хотя от этих бесконечных поправок оно, по-моему, не становилось лучше. Каждый вечер он читал мне письмо, так что в конце концов мне приснилось, что я вхожу к Ленину в кабинет и говорю ему: «Здравствуйте, Владимир Ильич», и все становится так просто, как бывает только во сне.

Но вот — это было через несколько дней — я нашла Павла Петровича в каком-то болезненном забытьи. Казалось, невозможно было выглядеть старее, чем он, а оказалось — возможно. Он был не причесан, борода торчала, ворот рубашки не застегнут, хотя в комнате было холодно, дуло от окна.

— Павел Петрович!

Он не сразу узнал меня. Опущенная на грудь голова медленно поднялась, но взгляд еще был неопределенно-далекий.

Мне показалось, что я поняла, чем он так глубоко расстроен.

— Павел Петрович, я вчера была в этом доме. Я буду приходить к вам с утра. Это очень близко от склада. Мы будем читать вслух и, как прежде, писать под диктовку.

Я села на скамеечку, и он молча положил на мое плечо дрожащую руку.

— Не правда ли, ведь остаться здесь одному было бы еще тяжелее?

Какое-то усилие прошло по лицу Павла Петровича, точно комната еще кружилась перед его глазами и нужно было остановить комнату, чтобы услышать, о чем я говорю.

— Сегодня ночью я не спал, все думал,— сказал он наконец.— Ведь это очень странная вещь — сознание, что ты не можешь освободиться от вызванных тобою духов.

Он вовсе не бредил — напротив, с каждой минутой голова становилась яснее.

— Болезненное чувство, что пройдет год или два после выхода труда и твоя идея начнет жить самостоятельно и — кто знает! — пойдет такими путями, которые ты не предвидел.— Он помолчал.— И не одобряешь...

Я поняла, что речь идет о его теории, то есть, что, если он умрет, теорию не поймут или станут развивать в ложном направлении. У меня сердце томилось от невозможности помочь ему, утешить, а он и не думал о себе! Я едва справилась со слезами.

Только теперь я заметила на столе распечатанный конверт, лежавший отдельно, в стороне от журналов и книг, точно в нем заключалось что-то холодное, опасное — то, над чем еще нужно было подумать. Взгляд Павла Петровича, усталый, но спокойный, остановился на нем, и я вдруг поняла, что это ответ от Т.— желанный ответ, на который старый доктор так надеялся и от которого ждал так много!

— Павел Петрович... вы сегодня получили это письмо?

Он кивнул.

— Это пишет вам Т.?

— Нет,— отвечал старый доктор.

Он опустил голову, вздохнул и замолчал — так надолго, что мне стало страшно, и я тихонько коснулась его руки.

— Ты разве не знаешь, Таня? — очнувшись, спросил он.— Т. умер.

— Да полно, что вы говорите! Как умер?

— Да, да. Вчера было в газетах.

И дрожащей рукой он протянул мне конверт.

Это был отзыв о рукописи, которую Павел Петрович диктовал мне последнее время,— холодный, грубо-иронический, уничтожающий отзыв. Какой-то Коровин находил, что, хотя автор посвятил всю свою жизнь изучению пле-

сени, он, очевидно, не знаком с работами Рейнгардта и других видных представителей западноевропейской науки. Что касается самой теории, то она в этом отзыве признавалась детски-вздорной и лишенной какого бы то ни было научного смысла.

— Это ничего не значит...— У меня был неуверенный голос.— И вообще... Нужно было послать вашу рукопись Мите. Он отнес бы ее в научный журнал, и тогда все могли бы судить о ней. Вы рассказывали о своей теории Мите?

Павел Петрович ответил не сразу — я успела пожалеть, что спросила. Тень прошла по его лицу, но вскоре оно стало еще светлее, чем прежде.

— Да,— просто сказал он.— Пытался.

Старый доктор задумался, и мы долго молчали. Потом он опять заговорил о Мите, и то, что я услышала, глубоко поразило меня.

— Это человек сложный,— сказал он.— Честолюбие и прямота, которая может так же повредить ему, как некогда мне. Блеск ума и слепота эгоизма. Воля и странная способность легко поддаваться влиянию. Чувствительность, холод и над всем этим огромная, все ломающая жажда жизни.

Тишина

Глафира Сергеевна уехала девятого марта, а накануне старый доктор был отвезен в Дом инвалидов. Это произошло без меня, и когда вечером восьмого марта, сразу после собрания по поводу Женского дня, усталая, но веселая, я зашла в «депо», незнакомая женщина в подоткнутой юбке уже мыла полы, окна были распахнуты, обои сорваны, и в квартире было так пусто, как будто сюда сто лет не заглядывала ни одна живая душа. Я зашла в комнату старого доктора — и там все пусто, разорено. Только фисгармония, которая, без сомнения, была так плоха, что никто не захотел ее купить, стояла в углу, да моя скамеечка валялась подле нее вверх ногами. Мне захотелось стащить скамеечку, и я бы стащила, если бы женщина в подоткнутой юбке не зашла вслед за мной, чтобы спросить, что мне нужно. Мне ничего не было нужно, решительно ничего, и, разумеется, ей показалось очень странным, что какая-то девушка, войдя в опустевшую комнату, никак не может заставить себя уйти и долго бесцельно

стоит подле дряхлого, покрытого пылью инструмента. Очевидно, эта девушка так и не научилась, подобно знаменитой киноактрисе, «испытывая боль, изображать безмятежность».

В этот день мне не удалось навестить Павла Петровича: было поздно, и меня не пустили. Зато девятого я пришла с утра. И увы! Оправдалось все, что заранее огорчало меня. Его поместили в просторную, светлую комнату, но сосед — бывший артист — был недоволен и заявил заведующему, что он не станет жить со стариком, который может умереть в любую минуту. Не знаю, дошло ли это до Павла Петровича, но он был в тоске, ничего не ел и лежал, повернувшись к стенке. Некоторые вещи были перевезены — кресло, курительный столик и другие,— но какими странными казались они в этой непривычной комнате, как жались в углы, как робко извинялись за старость!

Доктор беспокоился о своем чемодане: при переезде чемодан с его бумагами куда-то пропал. Я пошла выяснить, и оказалось, что чемодан проходит дезинсекцию — будет окуриваться серой. Насилу удалось мне убедить заведующего, что научный труд не нужно подвергать дезинсекции. Чемодан был принесен, поставлен под кровать, и, немного успокоившись, Павел Петрович поговорил со мной. Но у него были тусклые глаза, и я с трудом убедила его выпить стакан чаю.

Прямо из Дома инвалидов я побежала в горсовет. Председатель, который знал Павла Петровича, был в отъезде, и я дождалась приема у его заместителя, хотя пришлось просидеть очень долго, и почти весь день Павел Петрович провел без меня. Я была расстроена и поэтому удивительно бестолково рассказала о том, что произошло. Но насчет Глафиры Сергеевны я рассказала толково. Она у меня получилась, как живехонькая, так что заместитель председателя горсовета несколько раз изумленно крякал, а потом сказал, что начинает разбираться в некоторых загадочных действиях своего жилотдела.

— Родители этой гражданки (он имел в виду Глафиру Сергеевну) намерены вернуться в Лопахин. И она в жилотделе хлопотала комнату, это мне известно. Ну-с, а тут имеется налицо прекрасная комната, насчет которой нетрудно сговориться при наличии доброго желания с обеих сторон, то есть со стороны данной гражданки и жилотдела. Так-с. Посмотрим! А насчет Павла Петровича ты не бес-

покойся. Нет худа без добра! Сделаем, что на новом месте ему будет лучше, чем дома. Завтра сам зайду и все устрою...

Но назавтра Павлу Петровичу стало хуже. Я видела, что хуже, хотя он ни на что не жаловался и даже сказал мне, что совершенно здоров. Ночью у него был припадок, а теперь все прошло и он чувствует себя превосходно. Он останавливался надолго после каждого слова. «Но это,— сказал он,— просто от усталости после бессонной ночи». Доктор Беленький знал Павла Петровича и охотно согласился прийти. Он осмотрел его и сказал, что «непосредственной опасности нет». Но Павел Петрович от души рассмеялся и, когда я принесла ему микстуру, вылил ее в плевательницу дрожащей, но аккуратной рукой.

— Некогда, Таня,— неторопливо сказал он.

Я спросила, куда он торопится, и он ответил спокойно:

— Пора отдохнуть.

К вечеру ему стало так плохо, что он мог уже только показать рукой, чтобы я повыше взбила подушку. Мучительное нетерпение овладело им — можно было подумать, что он терзается невозможностью умереть сию же минуту. То он просил пить; то, едва я подносила стакан к губам, отводил мою руку; то метался, раскидывая все вокруг, ухватившись за простыню зубами; то манил кого-то слабой рукой, но не меня, потому что сердито закрывал глаза, когда я наклонялась.

— Пора отдохнуть,— снова со вздохом повторил он,— пора отдохнуть...

Я не знала, что он просил похоронить его без церковных обрядов. У нас в эту пору не бывает цветов, но я наломала много кедровых веток, и большие венки — от горсовета, от уездной больницы и мой — выглядели очень красиво среди длинных темно-зеленых игл. На похороны пришли очень многие. Павла Петровича знали и любили в Лопахине. Именно с этого начал свою речь председатель горсовета, который рассказал краткую биографию старого доктора и особенно остановился на том факте, что он как «политический» был некогда выслан в Сибирь. Потом выступил один пожилой рабочий с кожзавода, которого я, между прочим, никогда не видела у Павла Петровича — наверное, это было очень старое знакомство, задолго до того, как я попала в «депо».

— Теперь легко,— сказал он,— когда Советская власть утвердила бесплатную помощь. А кто в царские времена всегда безвозмездно лечил бедного человека? Павел Петрович!

Доктор Беленький произнес сердечную речь о старом докторе как деятеле науки. Несколько минут все стояли молча после этой речи, потом разошлись, и я осталась одна — хотела еще зайти на могилу к маме, и, кроме того, нужно было условиться насчет дощечки на могилу Павла Петровича с датами рождения и смерти.

Не знаю, откуда инвалиды взяли, что я его внучка, но даже у заведующего по этому поводу не было ни малейших сомнений, потому что, когда я зашла, чтобы поблагодарить, он сказал, что я, как единственная находящаяся в городе родственница Павла Петровича, могу, если мне угодно, взять его вещи. И я взяла — фото, чемодан с бумагами и курительный столик. В этот же день я принялась разбирать бумаги — мне хотелось найти письмо к товарищу Ленину, письмо, которому старый доктор придавал такое значение! Однако я нашла лишь все те же черновые варианты, перечеркнутые тысячу раз, с фразами, оборванными на полуслове. Можно было попробовать как-нибудь соединить их и составить письмо. «Но зачем? — грустно подумалось мне.— Ведь Павел Петрович уже никогда не отправит его».

И, сложив все черновики в отдельную папку, я решила посоветоваться об этом с Андреем.

Но было еще одно дело, о котором мне не с кем было посоветоваться и которое лежало передо мной в виде узких, старомодных конвертов. Письма Кречетовой! Мне очень хотелось прочесть их, и, наверное, я не удержалась бы, если бы Павел Петрович не сказал: «Сожги их, Таня». Но это было сказано в тот день, когда Раевский непременно хотел получить и издать эти письма, и сказано именно для того, чтобы этого не случилось. Больше Павел Петрович не повторял своей просьбы — вот почему в тяжком раздумье сидела я над письмами Кречетовой, не зная, на что решиться. Сжечь их? Сохранить у себя? Передать Агнии Петровне, Андрею? Одно письмо выпало, и я невольно прочитала несколько фраз: «...Не люблю писать тебе наскоро, в повседневной обстановке. Но когда ты предстаешь передо мной, как живой, когда нарастающая потребность видеть тебя становится неотступной...»

Точно что-то трепещущее было в моих руках, и вот я должна бросить в огонь это трепещущее, живое! Нет! Да и не все ли равно? Ведь теперь о любви старого доктора знаю только я, и больше никто на свете.

И, продумав целую ночь, я наутро аккуратно перевязала письма Кречетовой и вместе с другими бумагами Павла Петровича положила обратно в его чемодан.

Всю зиму Андрей писал мне интересные, длинные письма. В одном из них он спрашивал, читала ли я Сеченова «Рефлексы головного мозга», и приводил цитату, над которой думал несколько дней и которая в конце концов убедила его, что нужно жить на собственный счет, переехав от Мити в общежитие. Дальше шли рассуждения о том, что можно ли существовать на $4^1/_2$ копейки золотом по курсу Госбанка. Андрей доказывал, что можно. Очевидно, почтовые марки входили в этот бюджет, потому что следующее письмо пришло почти через месяц.

Он любил описывать Москву и, между прочим, в одном письме перечислял звуки одной из главных улиц — Арбата.

«Представь себе, что ты одновременно слышишь скрежет и звонки трамвая, громыханье ломовиков, жужжание авто, щелканье лошадиных подков и шум экипажей, крики мальчишек, возгласы газетчиков, далекий, но отчетливый (по праздникам) колокольный звон,— и ты мысленно увидишь Москву в ее звуковом выражении»,— писал он.

В другом письме он подробно рассказывал о Мите, который ушел из частной больницы и стал работать в научно-исследовательском институте. Очевидно, это досталось ему не очень легко, потому что Андрей был свидетелем скандала, когда Митя решительно объявил жене, что он отказался бы от этой «медицинской Сухаревки», даже если бы ему пришлось голодать. Но голодать не пришлось. На конференции в Наркомздраве он доложил о своей работе по сыпному тифу, и ему предложили еще какое-то место, так что «бюджет семейства Львовых», как иронически сообщал Андрей, увеличился вдвое.

В третьем письме Андрей доказывал, что мне непременно нужно учиться в Москве, потому что это город, в котором «стремление к великому принимает самые разнообразные формы».

Словом, это были письма человека, который в пролетке с откинутым верхом отправился в будущее, а я осталась у подъезда и все еще с надеждой и грустью смотрю ему вслед.

Но вот я получила от него письмо, в котором он много и с любовью писал о Павле Петровиче и горько упрекал себя и меня в том, что мы не ценили и не понимали его. «Я помню, как девочкой ты сидела у его ног и он спрашивал у тебя таблицу умножения. Когда умерла твоя мать, он сам хотел идти к тебе и пошел бы, если бы на него не прикрикнула мама». И дальше шли какие-то непонятные намеки на мою неблагодарность по отношению к старому доктору — неблагодарность, о которой Андрей лишь недавно узнал.

Едва справляясь с поднявшимся в душе вихрем горечи, разочарования, обиды, прочитала я это письмо. Это было проще всего — написать Андрею о том, как Глафира Сергеевна надеялась получить комнату Павла Петровича для своих родителей и поэтому отправила его в Дом инвалидов. Но я не стала. Наше прощанье на Тесьме вспомнилось мне. «Не забывай!» Стоило ли просить меня об этом?

Зато однажды, вернувшись из школы, я нашла под дверью письмо, которое обрадовало и изумило меня.

«Наталье Тихоновне Власенковой» — было крупно написано на конверте, и я разорвала его с горьким чувством. Письмо было от Василия Алексеевича Быстрова, того самого друга маминой молодости, о котором она всегда рассказывала с немного преувеличенной пылкостью, точно боялась, что я могу не поверить в самый факт существования такого безукоризненного человека. Василий Алексеевич сообщал, что теперь он работает не на Путиловском, а на «Электросиле» и что будет от души рад увидеть старую знакомую, да еще с дочкой, «тем более что и у меня есть дочка семнадцати лет, ровесница вашей Тани». «Да приезжайте-ка поскорей,— писал он,— а то и не узнаете нашу заставу. На месте домика, где было собрание Гапона, теперь общественный сад, и мы думаем обнести его решеткой от Зимнего дворца».

Значит, в Петрограде, который, как я ни храбрилась, казался мне величественно-равнодушным, будет все-таки дом, в котором меня приветливо встретят, хотя бы из уважения к памяти мамы. Правда, Ниночка звала меня к

себе, и Гурий клялся, что ребята из Стумазита не дадут мне погибнуть от голода и холода на улицах Петрограда, но от письма Василия Алексеевича повеяло чем-то «маминым», прочным, верным, и у меня стало веселее на душе...

С трудом вспоминаю я два или три месяца, пролетевших после смерти Павла Петровича до моего отъезда. Должно быть, от его старого сердца начиналась дорожка ко многому, чем я дорожила в Лопахине, потому что теперь, когда эта дорожка потерялась в снегу, завалившем Павскую гору, все стало скучно, и с одной мыслью — скорее, скорее! — я начала готовиться к отъезду.

Так проходят выпускные экзамены — скорее, скорее!

В райкоме комсомола мне выдают документ, который можно назвать как угодно: характеристикой, рекомендацией, путевкой, но который больше всего похож на ультиматум с требованием немедленно принять меня в Институт экранного искусства.

У меня нет туфель, и в Уполитпросвете — странное совпадение! — вдруг устраивается лотерея на прекрасные туфли «Скороход» с модными острыми носками. Я беру всего два билета и, к своему изумлению, выигрываю туфли, без которых ума не могла приложить, как уехать. Загадочно улыбаясь, меня поздравляют: «Судьба!» С подступившими к горлу слезами я беру этот «подарок судьбы».

Мария Петровна и Надежда Петровна сообща шьют мне платье — на каждый день, но чтобы не стыдно было надеть его в театр, в гости, причем Мария Петровна берет на себя теоретическую, а Надежда Петровна — практическую сторону дела. Сообща они пекут мне в дорогу пирожки с луком — вкуснее лопахинских пирожков с луком я ничего и никогда не ела. Сообща стремятся дать мне в дорогу банку с грибками, и насилу удается мне убедить их, что эти грибки мы съедим будущим летом по случаю моего возвращения. Скорее, скорее!

Каждый вечер отец приходит ко мне — я ночую у Марии Петровны — и робко садится на краешек кресла. Я вижу, что ему хочется поговорить со мной,— о чем? В сотый раз я прошу его поберечь чемодан с бумагами старого доктора, и отец обещает, что в случае любого бедствия — пожара, землетрясения, войны — прежде всего будут спасены эти бумаги. Но вот что, оказывается, беспокоит его больше всего: клад. Какой-то амурский спиртонос перед смертью сказал отцу, где находится клад: «на

острове против станицы Иннокентьевка». Так вот, если отец найдет клад, по какому адресу мне выслать половину?

Июньским прохладным утром, таким ранним, что проснувшиеся скворцы еще только начинали лопотать свой беспорядочный вздор, я сижу в пролетке, и новенький чемодан — подарок школьных товарищей — стоит у меня в ногах. Соседи и друзья — у ворот. Отец плачет. Скорее, скорее!

Пролетка трогается. Так вот она, эта минута, которую я ждала с таким нетерпением! Почему же мне грустно? Почему, стараясь удержать дрожащие губы, я смотрю по сторонам — на старые-престарые, знакомые-презнакомые дома на Малой Михайловской, по улице Карла Либкнехта, по Развяжской? Неужели завтра я их уже не увижу?

Лошадь тащится, извозчик попался старый и лишь невнятно бормочет в ответ на мои уговоры. Скорее, скорее!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

Испытание

Не буду подробно рассказывать о том, как одна девушка, которой в поезде исполнилось восемнадцать лет, приехала в Петроград,— боюсь, что мне не поверят.

В самом деле, как поверить тому, что, сойдя с поезда, она долго сидела на тумбе у пивной «Райпепо», недоумевая, почему трамвай за трамваем равнодушно проходят мимо, несмотря на то, что, отчаянно крича, она каждый раз устремлялась к ним со всеми своими вещами? Вскоре она научилась садиться в трамваи на остановках. Но долго еще она не умела различать маршруты по разноцветным огням, долго завидовала другим девушкам, спокойно и, как ей казалось, гордо ходившим по улицам этого громадного города, не боясь заблудиться.

Как поверить тому, что, уйдя в первый день приезда из гостиницы, она забыла свой адрес и, растерявшись, побежала по Лиговке, спрашивая во всех «номерах», не здесь ли остановилась некая Власенкова Т. П. из Лопахина, невысокого роста, в туфлях без калош и в кожаной шапочке-пилотке?

Как поверить тому, что в тот же вечер по меньшей мере десять юношей из Студии массовых зрелищ и торжеств, во главе с Гурием, устроили массовое торжественное зрелище моего переезда к Нине? Картинно драпируясь в генеральскую шинель-накидку, купленную на Обводном за два рубля сорок копеек, во главе процессии шел Гурий с палкой в руке.

Как поверить тому, что в Нининой комнате не было печки, и тем не менее мы аккуратно платили хозяйке за услуги и отопление? Услуги выражались в том, что хозяйка — здоровая, румяная женщина — с утра до вечера рассказывала нам о своих болезнях; а отопление — в том, что время от времени она приносила нам паровой утюг. Зато мы всегда ходили в аккуратно выглаженных платьях.

В Институте экранного искусства на улице Чайковского я получила программу приемных испытаний и была очень довольна, узнав в канцелярии, что для поступления не нужно ничего, кроме таланта. Мои этюды очень понравились Нине. Но она нашла, что у меня слишком обыкновенная походка для кино, и посоветовала взять несколько уроков ритмики, чтобы ноги стали двигаться более плавно. Это был превосходный совет, тем более что известная ритмичка жила на проспекте Либкнехта, недалеко от Нины. Пришлось кое-что отнести в ломбард, чтобы взять у нее три урока, но зато я научилась плавно ходить, то есть «неся ногу низко над полом, опираться сперва на носок, а потом на пятку». Это выходило немного похоже на цаплю, но ритмичка сказала, что ее вполне устраивает это сходство, поскольку цапля в тысячу раз ритмичнее человека.

Давно уже и по нескольку раз были просмотрены с практическими учебными целями знаменитые фильмы «Индийская гробница», «Доктор Мабузо», причем, к своему изумлению, я обнаружила, что в Петрограде, как и в Лопахине, перед каждым сеансом появляется лектор и, не обращая внимания на свист мальчишек, читает об авиации, если герой летит на аэроплане, или об орошении полей, если действие происходит в деревне.

Я размышляла о своих чувствах и приходила в отчаяние: мне казалось, что для будущей киноактрисы у меня слишком ничтожные чувства.

Я возилась с воображаемыми душевными муками. Это было очень трудно, потому что муки не помещались в моей

душе и мне всегда невольно представлялось, что все должно окончиться благополучно.

Наружность — вот что беспокоило меня больше всего! Но решительно все — и Ниночка, и Гурий, и Володя Лукашевич — находили, что у меня «фотогеничная наружность».

— Впрочем, при одном условии,— глубокомысленно сказал Гурий,— если твой контраст — светлые волосы и темные глаза — получится на экране...

Это было накануне экзамена, когда Ниночка объявила, что мне необходимо отдохнуть, и я поехала на завод «Электросила» разыскивать маминого друга Василия Алексеевича Быстрова. Впрочем, разыскивать не пришлось, потому что первый же прохожий, которого я остановила, сойдя с трамвая у завода, сказал, что Василий Алексеевич сейчас, очевидно, в модельном цехе или — тут он взглянул на часы — уже в районном Совете. Когда через несколько минут на заводском дворе я задала тот же вопрос одному из рабочих, он, прежде чем ответить, тоже посмотрел на часы. Право, можно было подумать, что весь район знает, чем Василий Алексеевич занимается в три часа и чем — в четыре! Почему-то это не понравилось мне, и с внезапно возникнувшим чувством предубеждения я направилась к техническому зданию, которое указал мне рабочий. Здание было обыкновенное, старомодное, но, пройдя через его темноватый вестибюль, я наугад толкнула тяжелую дверь — и остолбенела: громадная мастерская с черным полом, в которой люди в замасленной одежде что-то делали у машин, открылась передо мной. Мне случалось бывать на лопахинском кожзаводе, но разве можно было сравнить его с этим высоким, мрачноватым залом, над которым ходили туда и сюда стальные краны. На другом конце люди казались маленькими, как в перевернутом бинокле!

Я нашла Василия Алексеевича в толпе озабоченных людей, молча стоявших у края довольно глубокой ямы, в которой вертелся, тускло поблескивая, какой-то круглый предмет, похожий на гигантский волчок. Василий Алексеевич был пожилой узкоплечий человек, в кепке, в очках, с седеющей бородкой — ничего общего с тем Василием Алексеевичем, который рисовался передо мной в маминых рассказах!

— Василий Алексеевич, я — Таня Власенкова,— начала я не очень уверенно. Он обернулся.— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Я приехала из Лопахина. Мама писала вам, и я...

Он слушал, не отрывая взгляда от ямы, в которой, с моей точки зрения, не происходило ничего интересного, и, когда я кончила, сказал рассеянно:

— Да, да. Очень рад... Но вам нужно познакомиться с Леной.

Только что я собралась рассказать ему, как часто мама вспоминала о нем, как мечтала теперь, после революции, побывать в Петрограде, а он отсылал меня знакомиться с какой-то Леной.

— Кто эта Лена?

— Моя дочка,— ответил Василий Алексеевич.— Вы наш адрес знаете?

— Нет.

— Международный, двадцать один, квартира четыре. Зайдите к ней. Она сейчас дома.

Потом он спросил, где я остановилась, и, ответив, я постояла подле него еще две-три минуты, особенно тягостных, потому что он, кажется, только и ждал, чтобы я поскорее ушла. Наконец я пробормотала:

— До свиданья.

Он ответил: «До свиданья», и, расстроенная, обиженная, я вернулась домой.

Нина стала приставать с расспросами. Но я холодно ответила, что мама, без сомнения, просто ошиблась, потому что никакого Быстрова нет и никогда не было на заводе «Электросила».

Разумеется, мне и в голову не пришло, что гигантский волчок, от которого, разговаривая со мной, Василий Алексеевич не мог оторвать взгляда, был первым ротором турбины Волховстроя.

Кажется, нельзя назвать уверенность в себе моей характерной чертой, но, отправляясь на другой день в Институт экранного искусства, я была твердо убеждена, что экзамен пройдет прекрасно. Эта уверенность превратилась в дивное, величественное спокойствие, когда маленькая женщина с пушистой седой головкой попросила меня сыграть этюд, очень похожий на тот, который я нашла в «Хрестоматии» и часто разыгрывала дома.

— Представьте себе, что вы входите в комнату...— сказала она.

Согласно хрестоматии, полагалось разбить этюд на «побуждения». У меня было мало времени, но я разбила и даже наскоро сыграла каждое «побуждение» в уме.

— Ну-с, прошу,— сказала женщина с пушистой головкой.

Ее я ничуть не боялась. Но рядом сидел высокий, здоровый мужчина с зачесанной назад шевелюрой, с толстым носом, чем-то похожий на лихача. Потом я узнала, что это известный кинорежиссер. Его я боялась.

В общем, этюд был сыгран прекрасно, хотя в одном месте я забыла улыбнуться с горечью, а в другом — неудачно вздохнула. Но кинорежиссер почему-то засмеялся, едва я появилась перед экзаменационным столом, а женщина с пушистой головкой странно поджала губы, несмотря на то что я двигалась согласно правилам ритмики, ступая сперва на носок, а потом на пятку.

— Можно отпустить?

— Пожалуйста,— сказал режиссер.

С радостным чувством, что лучше сдать испытание было почти невозможно, я побежала в консерваторию к Нине, потом обедать, потом по каким-то делам...

Вечером, с Гурием и Володей Лукашевичем, мы пошли в театр, и, возвращаясь домой белой ночью, я впервые почувствовала, как хорош Петроград! До сих пор мне было некогда думать об этом. Но теперь, когда можно было не сомневаться, что я буду принята в институт, когда кончились эти волнения, и уроки ритмики, и воображаемые муки,— теперь я по-новому поняла, что я в Петрограде! Неужели это я стою с мальчиками на великолепной набережной и разговариваю и смеюсь, как будто так и должно быть, что я не в Лопахине, а в Петрограде? Неужели это все правда — огромный, выгнутый мост шириной с нашу Развяжскую, Нева, в сравнении с которой наша Тесьма выглядит настоящей тесьмой? Мост был поднят, проходили суда, и мы долго сидели на парапете. Потом мост опустили, но уже не хотелось уходить, и мы смотрели и смотрели на Неву, любуясь серо-голубыми переливами красок.

На другой день мне нужно было явиться на экзамен по общему образованию, и я явилась, но почему-то не нашла своего имени в списке сдавших спецпредмет, то есть этюды. Это была ошибка, и девушки, державшие со мной, тоже сказали, что, безусловно, ошибка. Я пошла справиться, но канцелярия была пуста, только вчерашний режиссер стоял у стола, лениво перелистывая какую-то

книгу. Я поздоровалась и спросила, не знает ли он, почему меня нет в списке сдавших этюды. Он оставил книгу и посмотрел на меня.

— Ах да,— сказал он, вспоминая.— Это, кажется, вы на экзамене так странно ходили?

Я пролепетала:

— Почему странно?

— Вот этого я вам не скажу,— добродушно возразил режиссер.— Вас нет в списке, потому что вы не сдали этюда.

Должно быть, я побледнела, даже пошатнулась,— он сделал шаг, чтобы поддержать меня. Потом я оправилась, и мы поговорили — недолго, минут десять.

Он сказал, что работает в театре много лет и часто встречал людей, далеких от призвания актера, но такую далекую, как я, встречает впервые.

— Поверьте, что я говорю это для вашей же пользы,— сказал он.— Вы можете стать инженером, математиком, педагогом — кем угодно. Но актрисой — даже очень плохой — вы не будете никогда!

Я поблагодарила его и ушла.

Повернувшись лицом к стене, я пролежала весь день, не слушая Нину, которая уверяла меня, что ничего особенного не произошло, тем более что Гурий берется устроить меня на курсы техники речи, а техника речи все равно пригодится мне, потому что уже начинают писать о говорящем кино. Я попросила ее съездить в институт за документами и, по правде говоря, немного всплакнула, оставшись одна.

Как это вышло, что с детства я решила быть врачом и вдруг вообразила, что у меня есть театральный талант? Никто из знатоков театра не видел меня на сцене. Никто, кроме наших ребят, не говорил, что я хорошо сыграла свою роль,— роль, в которой не было произнесено ни единого слова!

Должно быть, эти грустные мысли наконец утомили меня, потому что я заснула, а проснувшись, увидела рядом с Ниной незнакомую девушку, бледную, с широко расставленными глазами, некрасивую, но с приятным лицом.

— Я — Лена Быстрова,— сказала она, заметив, что я проснулась.— Я тебя целый день ищу. Меня отец за тобой послал.

Она помолчала, потом села подле меня на постель.

— Ну, чего молчишь? Подумаешь, провалилась! Милая моя, да это прекрасно, что ты провалилась! Вот тоже выдумала: Институт экранного искусства! Нужно получить настоящее высшее образование — вот что! А если у тебя талант, неужели он свое не возьмет? Чехов был кто по образованию? Врач! И что же — медицина ему помешала? Один композитор — фамилию забыла — был химик, а Сеченов — знаешь, знаменитый — был сперва кто? Обыкновенный сапер! Ты не думай, я тоже долго сомневалась, тем более что у меня все подруги были против, а за меня только отец, и то потому, что я к нему подлизалась. В общем, я выбрала медицинский. И знаешь, что я тебе скажу,— поступай в медицинский. Ты в школе чем интересовалась — природой или историей? Я обобщаю, конечно, но ты меня понимаешь. Если природой — двигай на медицинский! Не проиграешь.

Я слушала ее и молчала.

И вдруг, точно наяву, я увидела старого доктора, сидящего под цветущим каштаном, положив на колени энергично сжатые руки.

Первые годы

Это было нелегко — отложить исполнение заветного желания и перейти на другую дорогу, по которой я побрела, оглядываясь и спотыкаясь. Горькое чувство неуверенности — чувство, в котором так не хотелось признаваться,— преследовало меня очень долго. Оно усилилось, когда я вошла в жизнь медицинского института и множество дел, забот, впечатлений со всех сторон обступило меня. Это была жизнь, полная сложных отношений, общественных и личных, скрещивающихся влияний, нерешенных вопросов, в сравнении с которыми вопросы, волновавшие лопахинских школьников, казались наивными и даже немного смешными. Словом, это была жизнь, нисколько не считавшаяся с тем прискорбным обстоятельством, что одна из тысяч студенток мечтала стать актрисой и провалилась на испытаниях в Институт экранного искусства.

Почти все студенты работали, и нельзя сказать, что это было легко: занимаясь с девяти до пяти в институте, по вечерам, иногда на всю ночь, отправляться в порт, на дровяные базы, в «Скорую помощь». Но на стипендию, очень маленькую, трудно было прожить, а наша студен-

ческая артель, делавшая шнурки и чернила, почему-то не превратилась в «мощное производственное предприятие» — так подсмеивалась над ней «Risus sardonicus», наша газета.

Это были люди разных возрастов и даже поколений — медики, ушедшие на гражданскую войну и вернувшиеся в институт после перерыва (у некоторых были дети, игравшие на дворе, пока училась мама), и молодые люди, только что окончившие среднюю школу. Это были фельдшеры — пожилые люди, всю жизнь мечтавшие о высшем образовании и теперь сменившие свое прочное положение в украинских, сибирских, уральских деревнях и селах на шаткую, необеспеченную студенческую жизнь. Это были дети интеллигенции, главным образом, молодежь из крестьянских и рабочих семей — словом, люди настолько разные, что иногда казалось даже странным: какое чудо могло объединить их в одной аудитории, лаборатории, в одной комнате студенческого общежития?

Весь первый курс я прожила у Нины, и, кажется, только потому, что у нас не было ни одной свободной минуты, мы не замерзали в этой комнате, отапливаемой паровым утюгом.

Нина училась в консерватории и служила там же, в пожарной охране, так что ей часто приходилось оставаться на ночные дежурства. А я — чем я только не занималась! Гурий достал мне работу в издательстве «Маяк»: для нового календаря нужно было найти подходящие антирелигиозные произведения в стихах и в прозе на каждый праздничный день, придумать имена и т. д.

К сожалению, мне достался не весь календарь, а только конец февраля и половина апреля. Антирелигиозных произведений было мало, и я предложила заменить их естественнонаучными, объясняющими некоторые явления природы — гром, молнию и тому подобное. Эти «произведения» я написала сама, легко разобравшись, к своему изумлению, в книгах, которые еще совсем недавно казались мне очень трудными. Очевидно, лекции старого доктора не пропали даром.

Но вот календарь был сдан, и я устроилась на выставку знаменитого в те годы художника Т. В пустом зале Академии художеств висело на стене его полотно — огромная спираль, в которую были вписаны три геометрические фигуры: шар, куб и призма. По идее художника, который тут же давал объяснения, все три фигуры должны были

беспрерывно вращаться, причем в шаре помещалась вселенная, в кубе — солнечная система, а в призме — Земля. Я так хорошо запомнила эти объяснения потому, что каждый день от двенадцати до шести сидела в этом большом, пустом, холодном зале. Было трудно предположить, что подобное произведение кто-нибудь захочет украсть, но, к счастью, эта мысль не приходила в голову устроителям выставки,— к счастью, потому что за шесть часов дежурства мне платили десять миллионов, или один рубль золотом по курсу Госбанка.

Так прошла вся зима, и я не только успевала служить, не только занималась в институте, но бывала в театрах, и довольно часто. Мы с Ниной ходили в маленький театр на Невском, «Гиньоль», где ставились только очень страшные пьесы, так что весь вечер приходилось дрожать, а потом Нина не могла заснуть и лезла ко мне в постель, и мы обе тряслись, ругая друг друга.

Почему первые годы моей студенческой жизни представляются мне чем-то вроде кинокартины? Отдельные, бессвязные кадры проносятся передо мной, но это кажущаяся бессвязность: в глубине, до которой я сама добиралась с трудом, они пронизаны одной и той же мыслью — мыслью, которая смутно представилась мне, когда, прислушиваясь к уговорам Лены Быстровой, я вдруг увидела перед собой старого доктора под цветущим каштаном, озаренным лучами заходящего солнца.

Вот я вхожу в зал, где на каменных столах лежат мертвые — мужчины и женщины, старики и дети. А вокруг разговаривают, занимаются, шутят. И я, как другие, разговариваю, смеюсь, ем, едва справляясь с тошнотой, подступающей к горлу. Как другие, я курю, чтобы избавиться от запаха формалина, преследующего меня в столовке, на улице, дома. Страшно, но я провожу скальпелем по восковому, кукольно-послушному женскому телу — «не проснется, мертвая!». Кто она, откуда? Как ее зовут? Отчего она умерла? Есть ли у нее родные?

Это первый день в анатомическом театре.

Вот на собрании я рассказываю свою биографию, и стипендия в двадцать пять рублей присуждается мне подавляющим большинством голосов.

На первом курсе я увлекаюсь вечеринками — теми самыми, о которых с изумлением вспоминаешь на пятом! Неужели это я тащу через весь город из одного дома патефон, из другого — пластинки, огорчаюсь, что в маленькой

комнате нельзя танцевать, сержусь на Лелю Сопикову, у которой прекрасная квартира на Загородном?

Вот я слушаю лекции, составляю конспекты, зубрю по ночам, волнуюсь перед сессией, а из сердца все не уходит горькое сознание неудачи. «Вы можете стать кем угодно. Но актрисой — даже очень плохой — вы не будете никогда!» Я слышу эти слова на лекциях, читаю на страницах учебника, среди бесчисленных латинских названий...

А жизнь идет, день за днем, за месяцем месяц. Очень жаль, но выясняется, что я ничего не знаю по физике, даром что выпускной экзамен сдала на «вуд». На свете есть, оказывается, химия — предмет, которого почему-то не было в нашей школьной программе.

Анатом утверждает, что нет ничего вреднее зубрежки, что главное в его науке — система. Удачно соединяя эти понятия, я систематически зубрю анатомию — в трамваях, на заседаниях, на выставке художника Т.— и зазубриваюсь наконец до того, что о каждом движении, своем или чужом, невольно начинаю думать с анатомической точки зрения. Вот передо мной идет человек — и я думаю, какие у него сокращаются мышцы. Вот Леша Дмитриев, наш секретарь профкома, произносит речь на свою любимую тему — о вреде ухода в академработу,— а я думаю: «Какая великолепная работа musculi orbicularis ori!»

Жизнь идет, день за днем, за месяцем месяц. И вдруг все останавливается, уходит из глаз, замирает...

Зимним январским днем 1924 года миллионы людей под траурными знаменами направляются на Марсово поле. Глухой, взволнованный говор. Похудевшие лица с твердой складкой у рта, с провалившимися глазами: «Товарищи, умер Ленин».

Гудки заводов — траурный салют. Маленькое красное солнце, неподвижно стоящее в туманном морозном небе, и слезы, и молодые клятвы верности тому, кто доказал, что в нашей власти — и в моей — изменить жизнь и сделать ее счастливой и прекрасной...

Я сказала, «что моментальные снимки» первых студенческих лет лишь кажутся бессвязными, а на самом деле далеко не случайно, что в памяти сохранились именно они, а не десятки и сотни других. Да, может быть! И все-таки главная причина этой неполноты и бессвязности за-

ключается в том, что, после моего провала в Институте экранного искусства, я долго жила, не чувствуя в душе того горения, которое озаряет все вокруг и делает каждую подробность жизни запоминающейся и отчетливо яркой. Этот период кончился, когда на втором курсе я услышала лекции профессора Заозерского.

Он читал микробиологию, и первая лекция была как бы введением, но как не подходило к ней это слово! Это были живые картины из истории науки, которые он рисовал перед нами, как волшебник, одной фразой, одним энергичным движением маленькой пухлой руки. Так появился перед нами охваченный чумой Лондон 1605 года, полчища крыс, поселившихся в опустевших домах, белые кресты у входов, костры на перекрестках, ночные бесконечные вереницы телег, перевозивших трупы, толпы безмолвных жителей у королевского дворца — считалось, что прикосновение короля изгоняет болезнь. Он прочитал сообщение, появившееся в газете «Интеллидженс»: «Сим объявляется, что его величество изъявило непоколебимое решение никого более не исцелять до дня Михаила Архангела. Да примут сие к сведению лондонцы и да не потерпят разочарования в своих надеждах».

Тысячу раз я видела деревянные диски на канатах, которыми закрепляют у пристаней пароходы, и только теперь, из лекции Заозерского, узнала, что эти диски мешают чумным крысам спускаться на берег.

Он рассказал, что, когда Дженнер открыл прививку против оспы, его противники основали специальный журнал, в котором, искажая факты, порочили оспопрививание. Борьба была перенесена в парламент, где почтенные джентльмены доводами из Библии доказывали, что вакцинация — это преступное и позорное дело. Прививка коровьей оспы, утверждали они, может превратить человека в корову.

— Это было сто двадцать лет назад. Но борьба продолжается. В Англии до сих пор нет закона об обязательном оспопрививании. Таким образом, нельзя сказать, что усилия противников Дженнера остались безуспешными,— с иронией добавил Заозерский.— В Британии Библия победила.

Не помню, как он перешел к Мечникову, помню только движение интереса, пробежавшее по аудитории, когда он сказал, что прекрасно знал Мечникова и работал у него на бактериологической станции в Одессе в 80-х годах.

Веселое выражение заиграло на его лице, едва он упомянул это имя, и обширные, как бы написанные маслом исторические картины сменились маленькими, выпуклоточными, которые он стал быстро показывать нам одну за другой.

Вот девятилетний мальчик читает своим братьям лекцию и платит каждому по две копейки, чтобы они дослушали ее до конца. Но братья великодушно отказываются от гонорара. Вот шестнадцатилетний гимназист печатает первую рецензию, а восемнадцатилетний студент — первый научный труд. Вот Мечников решает пройти четырехлетний университетский курс в течение двух лет и проходит еще скорей — в полтора года. Вот двадцатилетний юноша докладывает о своих исследованиях на съезде зоологов в Германии, а двадцатидвухлетний, вернувшись в Россию, получает первую премию имени Бэра.

Проходит еще три года, и профессор читает свою первую лекцию в переполненной аудитории Одесского университета.

— Прибавим к этим знаменательным цифрам еще одну,— смеясь, сказал Заозерский.— Ему не было и тридцати лет, когда его труды получили мировую известность. Что же это были за труды? Он был зоологом — почему же в русской и мировой микробиологии его имя занимает первое место? Было бы непосильной задачей рассказать обо всем, что сделал этот человек, занимавшийся вопросами происхождения и развития низших животных, механизмов защиты организма от микробов, естественной историей, причинами преждевременной старости человека. Я остановлюсь лишь на одной блестящей странице его биографии. Я расскажу о гениальном открытии фагоцитоза...

Оля Тропинина, моя подруга по институту, о которой я еще расскажу, как-то сказала, что лекции Николая Васильевича Заозерского так же похожи на его печатный курс, как гениальное исполнение какой-нибудь симфонии — на ее нотную запись. В самом деле, какими холодными кажутся слова: «1882 год. Италия, чудная природа мессинского побережья. Мечников один, семья уехала в цирк. Усталые глаза не отрываются от микроскопа. Он наблюдает жизнь подвижных клеток в личинке морской звезды...» И какую глубину, какую живописность придавал им Заозерский, заставлявший слушателей почувствовать за этими словами рождение гениальной мысли!

У меня защипало в горле, и по спине, поднимаясь все выше, побежали звездочки восторга и счастья. Шепот раздался за моей спиной, я обернулась. Незнакомый студент, пыхтя и гримасничая, писал записку Маше Коломейцевой, моей соседке по комнате. Маша сидела, вся красная, с трудом удерживаясь от смеха. Она не слушала Заозерского — вот что меня поразило! Впрочем, эта сцена лишь скользнула передо мной и мгновенно ушла из сознания.

Полный, немного сгорбленный пожилой человек с седой бородкой, с быстрыми, легкими движениями маленьких рук расхаживал по аудитории и говорил о неоткрытых тайнах природы.

— Уходящий в бесконечность путь научного труда лежит перед мыслящим человеком. Это путь сомнений, исканий. Но зато какие светлые минуты достаются на долю того, кто в результате этих мучительных трудов и исканий находит хоть крупицу общей истины, объясняющей еще неведомую тайну природы! Сегодня мы говорили о великих умах прошлого, шедших вперед, в то время как миллионы спотыкались в непроглядном мраке. Судите же сами, какая гордая задача ждет тех, кто захочет повернуть науку лицом к этим миллионам...

Случалось ли вам когда-нибудь испытывать чувство возвращения времени, когда начинает казаться, что все происходящее с вами уже было когда-то прежде, в детстве, или, может быть, даже во сне? Врачи называют это явлением «ложной памяти». Именно это чувство я с удивительной силой испытала на лекциях профессора Заозерского. Разумеется, это было возвращением к тем долгим зимним вечерам, которые я некогда провела на скамеечке, подле ног старого доктора, обутых в рваные боты, когда полудетское воображение впервые с изумлением остановилось перед сложностью и красотой *живого*. Но наука старого доктора представлялась мне в отвлеченно-поэтическом виде, а теперь, когда я слушала Заозерского, поэзия на моих глазах становилась живой, увлекательной правдой.

Скоро начались практические занятия по микробиологии, ассистенты стали учить нас, как обращаться с микроскопом, как окрашивать микробы, — и у меня было ощущение, что я зашла в таинственный мир Павла Петровича с черного хода — зашла и стою на «кухне», с любопытством оглядываясь кругом. Но вот предмет был сдан, а я все еще чувствовала, что не сделала из «кухни» ни шагу.

Я только догадывалась, что именно эта, внезапно вспыхнувшая уверенность, что интереснее микробиологии нет ничего на земле, ведет меня вперед, помогая найти дорогу среди множества противоречивых впечатлений.

Ранняя зима. Утро после бессонной ночи, когда было обдумано каждое слово. Кафедра микробиологии. Ассистентка Николая Васильевича, к которой решено обратиться именно потому, что она ассистентка. Женщина женщине не откажет.

— Я интересуюсь микробиологией. Позвольте мне у вас заниматься.

Высокая, красивая женщина, иронически улыбаясь, смотрит на меня сверху вниз.

— Какой же раздел этой науки занимает вас больше других?

Ответ давно выучен наизусть и минувшей ночью тысячу раз повторен под одеялом.

— Меня занимает открытие ультрамикроскопического мира, которое нельзя рассматривать иначе, как появление нового, широкого поля действия для эволюционной теории.

Долгая пауза.

— Хорошо, я поговорю с профессором. Впрочем, едва ли он разрешит: у нас нет ни одного свободного места.

Снова пауза. Ассистентка молчит, и я ухожу из лаборатории. В непонятном, беспечном настроении я брожу по коридорам, заглядывая то в один кабинет, то в другой. В состоянии отчаянной решимости, переходящей в полное отсутствие мысли, я спускаюсь в вестибюль и, спросив у сторожа, когда придет профессор, степенными, но легкими шагами направляюсь прямо в его кабинет.

Ни души! Но, должно быть, служитель, принесший графин с водой, только что вышел — еще качается в графине вода и зайчики бесшумно, послушно перебегают со стены на ковер, на портьеру, за которой я стою не дыша.

Профессор является — его легко узнать по шуму дыхания, шороху шагов и вообще по какому-то ему одному присущему добродушному шуму. Сотрудники входят и выходят, красивая нарядная ассистентка проплывает так близко, что я чувствую движение воздуха от ее качнувшегося платья. Зайчики еще перебегают, но все короче размах, еще минута — они остановятся, и тогда... Я слушаю, как профессор встает и неторопливо запирает двери на

ключ. Насвистывая, он направляется прямо ко мне. Он хватает меня за руку и вытаскивает из-за портьеры.

— Ну-с, сударыня?

Я знаю, что нужно сказать: «Профессор, я интересуюсь микробиологией с детства. Позвольте мне работать на вашей кафедре».

Но вместо этих убедительных, давно заученных слов я говорю: «...Ав-ва-ва».

— Что такое?

В первый, но далеко не в последний раз я слышу, как Заозерский смеется. И что это за добродушный, оглушительный смех!..

На всю жизнь запоминается мне разговор, в котором на самые важные в моей жизни вопросы я отвечаю только «да» или «нет».

— Ясно ли вы представляете, что вас ожидает в дальнейшем? Вы, может быть, думаете, что наука — это легкое дело? Это, сударыня, годы труда, самоотверженного и незаметного! Да что там годы — вся жизнь! Это отчаянье, когда вдруг убеждаешься, что десятки опытов пропали напрасно. Когда из этих опытов другой ученый делает вывод, который прошел мимо тебя. Вам, например, кажется, что вы умеете думать?

— Да.

— Сомневаюсь.

Он смотрит внимательно, добродушно, лукаво.

— Думать — это упорно исследовать предмет, подходить к нему с той и с другой стороны, собрать все доводы в пользу того или другого мнения о нем, устранить возражения, признать пробелы там, где они есть, и доказать, что их нет там, где находят другие. Вот это вы умеете?

— Нет.

— А хотите заниматься наукой! А замуж пойдете? Вам сколько лет — двадцать? Пройдет еще два или, самое большее, три года, и все науки в мире покажутся вам просто вздором в сравнении с привязанностью любимого человека.

— Нет, нет!

Он улыбается, теребит бородку — доволен.

— Ну что ж? Тогда по рукам?

— Да, да.

Не помню, где и когда я узнала, что до Николая Васильевича в России не было ни одной кафедры бактериологии, что сначала она помещалась в одной комнате, а весь

штат состоял из профессора и служителя. Профессор своими руками приготовлял для практических занятий материал и посуду.

Теперь это было большое двухэтажное здание, по которому ходил, улыбаясь и насвистывая «Реве тай стогне Днипр широкий», полный человек с седой бородкой и лукавыми молодыми глазами.

В течение двадцати пяти лет — юбилей был отпразднован, когда я перешла на второй курс,— он вел кафедру, и это не помешало ему руководить крупнейшими экспедициями против чумы и холеры. Он был в Аравии, Маньчжурии, Персии, Индии, Монголии и Китае. В «Ниве» 1895 года напечатано много фотографий, изображающих противочумную экспедицию Заозерского в Китай. Среди них одна очень странная: мандарин торжественно вручает русскому доктору китайчонка. Этого китайчонка Николай Васильевич нашел в деревне, вымершей от чумы, привез в Петербург, усыновил, и теперь на кафедре время от времени можно было видеть добродушного молодого китайца, который, к огорчению Николая Васильевича, не проявлял ни малейшего интереса к микробиологии, но зато делал великолепные вещи на токарном станке.

Что еще рассказать о Николае Васильевиче? Что у этого известного ученого никогда не было ни копейки — не потому, что он мало зарабатывал, а потому, что с необычайной легкостью тратил, ссужал или просто дарил свои деньги. О том, что он был украинец из бедной крестьянской семьи и всю жизнь переписывался с односельчанами; недаром академик Омелянский писал впоследствии, что «имя Заозерского так же хорошо известно любому китайскому врачу, как и любому крестьянину села Чеботарки». О том, что в молодости он проглотил холерные вибрионы, причем свидетелей поразило хладнокровие, с которым был поставлен этот рискованный опыт.

Словом, это была жизнь удивительная и поучительная, полная необыкновенных событий.

Три дома

С тех пор как я увлеклась микробиологией, мне стало гораздо интереснее жить, потому что в душе опять появилось «главное», к которому я все время прислушиваюсь, как музыкант, настраивая свой инструмент, прислушивается к камертону. Но это вовсе не значит, что я жила

иначе, чем другие студенты. Так же как другие, я слушала лекции, ходила на практические занятия, а потом кафедра, общественная работа и еще тысячи каких-то дел, с такой быстротой погонявших неделю за неделей, что я прекрасно помню удивление, с которым каждый раз встречала новое время года: как, уже весна? Ведь только что была осень! Зимой, по выходным дням, мы ездили в Юкки. И так хороши были эти катанья с гор среди белых мохнатых деревьев, это чудное ощущение усталости, молодости и здоровья, когда, вернувшись домой, ляжешь, закроешь глаза, и сейчас же перед тобой с поразительной яркостью возникает белый, сверкающий снег и синее небо!

Перейдя на второй курс, я получила место в общежитии на улице Льва Толстого. Соседки — комната была на четверых — менялись, я оставалась, и, таким образом, перед глазами прошли по меньшей мере десять девушек, умных и не очень умных, беспорядочных и аккуратных, шумных и тихих. Среди них была Вера Климова, настоящая медичка по призванию, в которой с первого же дня клинических занятий почувствовалось умение подойти к больному. А были и мечтавшие лишь о счастливом замужестве, у которых, как у Маши Коломейцевой, всегда хотелось спросить, почему для этой цели был избран медицинский, а не какой-нибудь другой институт.

Еще на первом курсе я подружилась с Олей Тропининой; мы были едва знакомы, когда на заседании предметной комиссии она прислала мне записку: «По мнению оратора, между интеллигенцией и комсомолом — стена. Докажем обратное».

Сдержанность, которая очень нравилась мне, была в наших отношениях с Олей: мы, например, почти никогда не говорили о личных делах. Впрочем, однажды она сказала, что не выйдет замуж, и, когда я спросила с удивлением: «Почему?» — ответила, что у нее недавно умерла мать и она дала себе слово никогда не расставаться с отцом.

У Оли было красивое лицо с черными влажными глазами, густая черная коса, которая два раза обвивала изящную небольшую головку. И, глядя на нее, я часто думала о том, как трудно будет ей сдержать свое слово...

В общем, самыми близкими моими подругами по институту были Оля и Лена Быстрова. Кстати сказать, они прекрасно относились друг к другу, но только когда мы бывали втроем. Без меня они ссорились, иногда по самому

ничтожному поводу, а потом жаловались мне друг на друга.

Еще об одном человеке хочется мне рассказать, хотя я и не была так близка с ним, как с Олей и Леной,— Леше Дмитриеве, секретаре нашей комсомольской ячейки. Это был высокий, худощавый юноша, застенчивый, легко красневший и поражавший всех, кто его знал, своей убежденностью и чистотой. Он слегка заикался, но этот недостаток не только не мешал ему выступать, но, наоборот, придавал его речам впечатление энергии и силы.

Мне хорошо жилось в общежитии, между прочим, еще и потому, что с третьего курса я вступила в студенческую коммуну. Коммуна была большая, человек двести, со своей хозяйственной и столовой комиссией и со своим казначеем, которому каждый месяц мы отдавали свои стипендии, оставляя себе полтора рубля — не на трамвай: мы ездили зайцами — а на «чайное довольствие», или, как шутили студенты, «отчаянное удовольствие», состоявшее из ванильных палочек, покупавшихся в булочной на Большом проспекте.

Но, конечно, самое интересное, что происходило в общежитии, это были диспуты на современные темы. Один из них запомнился мне навсегда, потому что в тот вечер к нам приехал знаменитый поэт Маяковский.

Диспут назывался «Искусство и утилитаризм» или что-то в этом роде — в общем, нужно было решить, совместимо ли искусство с утилитаризмом или несовместимо. Первую точку зрения — совместимо! — защищал критик — не помню фамилии, кажется, Корочкин, красивый, полный молодой человек в очках, говоривший круглыми, законченными фразами, как бы таявшими в ушах, так что в результате от них решительно ничего не оставалось. Вторую точку зрения — несовместимо! — защищал черный, тоже красивый, с горящими черными глазами критик Лурье, говоривший необыкновенно быстро и употреблявший множество иностранных слов. Критики сидели на эстраде за двумя маленькими столиками друг против друга и говорили по очереди. Сперва этот спор показался мне довольно забавным, главным образом потому, что почти каждую фразу они начинали одинаково: «Считаю своим долгом заметить, что уважаемый коллега...» — и мы держали пари, сколько еще раз будет сказана эта фраза. Но потом мы соскучились, и столовая, в которой происходил диспут, стала быстро пустеть. В это время пришел Маяковский.

Он остановился в дверях, такой большой, широкоплечий, что при первом взгляде на него показалось естественным, что именно он написал «Левый марш». Опустив голову, он послушал сперва одного критика, потом другого — и улыбнулся: должно быть, ему стало смешно, что они сидят за двумя столиками и так длинно, вежливо называют друг друга. Он пришел с какой-то женщиной, на которую мы все посматривали,— было очень интересно, кто это: его жена? сестра? Женщина сразу же стала что-то говорить ему шепотом, и он должен был наклоняться, чтобы услышать ее с высоты своего огромного роста.

Потом открылись прения, Маяковский выступил, и я впервые услышала этот низкий голос, похожий то на приближавшийся, то на удалявшийся гром. Гурий — он был на диспуте — хорошо заметил, что это голос человека, писавшего стихи, которые невозможно читать шепотом.

Нельзя сказать, что Маяковский высоко оценил значение диспута. Он приблизительно подсчитал, сколько времени потеряно даром, и получилось что-то вроде тысячи восьмисот человеко-часов.

— Что можно сделать за тысячу восемьсот человеко-часов? — спросил он, глядя на нас исподлобья.

И предложил убирать с трамвайных путей снег в другой раз, когда нам захочется устроить подобный диспут.

— Вот этот Корочкин,— сказал он и кивнул на красивого полного критика в очках, сидевшего слева,— утверждает, что...

И своими словами, очень кратко, он рассказал, что, по его мнению, утверждает Корочкин.

— А вот этот Корочкин,— продолжал он и показал на критика, сидевшего справа,— утверждает, что...

Это было так неожиданно после всей той вежливости, с которой противники долго опровергали друг друга, и так обидно и смешно, что критики еще немного посидели и вышли — сперва Корочкин, сидевший слева, потом Корочкин, сидевший справа. А на эстраде, сняв пиджак и повесив его на стул, стал расхаживать Маяковский.

— Владимир Владимирович, «150 000 000»! — кричали студенты.

Он остановился, объяснил, что недавно вернулся из Америки, и хотел бы сперва рассказать о ней в прозе...

В этот вечер передо мной вновь с беспощадной силой явилась та простая мысль, что мир расколот и борьба между новым и старым неизбежна и неотвратима. Когда

Маяковский сказал, что Пушкина и теперь не пустили бы ни в одну «порядочную» гостиницу или гостиную Нью-Йорка, «потому что у него были курчавые волосы и негритянская синева под ногтями», или когда он привел надпись на могиле повешенных чикагских революционеров: «Придет день, когда наше молчание будет иметь больше силы, чем наши голоса, которые вы сейчас заглушили»,— мне стало холодно от волнения, и я обернулась.

Я обернулась, приложив похолодевшие руки к щекам, и увидела множество молодых, серьезных, внимательных лиц — привычных, знакомых лиц моих товарищей по коммуне, по институту, по курсу. Это были «мы», то есть поколение, которое должно было сделать очень многое. Кто знает, как объяснить возникшее во мне чувство? Это было все сразу — и мысль, что у нас будет трудная жизнь, и гордость, что эта трудная, интересная жизнь достанется именно нам, и какая-то лихость, отвага, точно дыхание бури коснулось меня, и я смело взглянула в глаза этой буре. А большой человек крупно, но мягко шагал по эстраде и все говорил, говорил... Он и не думал скрывать трудностей, горестей, страданий, которые нас ожидали. Он сурово требовал от нас ежедневного подвига, «ежедневного и чернорабочего, если это будет нужно народу».

И только однажды Маяковский от души рассмеялся. Рассказывая о бое быков в Мексике, он с иронией назвал его «культурным развлечением». Одна девушка с нашего курса, не разобравшись, в чем дело, спросила:

— Почему вы назвали эти развлечения культурными?

Он ответил очень низким и добрым голосом:

— К сожалению, человеческая речь не имеет кавычек. Разве вот так...— И руками изобразил кавычки.

Кроме общежития, у меня было еще два «главных дома» — Быстровых и Нины Башмаковой. Мои соседки по комнате заранее знали, что, если меня нет в первом доме, значит, я во втором или в третьем. У Нины тоже был студенческий круг, но удивительно не похожий на наш. Это были консерваторки, студенты Института сценических искусств, молодые артисты, и, слушая их разговоры, я всегда начинала бояться, как бы мне не одичать со своими микробами, которые требовали все больше труда и внимания.

Нина стала очень хорошенькой, ей часто объяснялись в любви, и тогда она прибегала ко мне взволнованная и тащила к себе ночевать — ей необходимо было немедленно обсудить со мной, серьезно это или несерьезно. Почти

всегда ей казалось, что серьезно, и мне приходилось — в который раз! — доказывать, что не все люди могут любить, потому что любовь — это такой же талант, как художество или наука. И Нина, как всегда, засыпала на полуслове, а я еще долго лежала с открытыми глазами. Набережная Тесьмы вспоминалась мне, плоты, плоты, куда ни кинешь взгляд, и утренний парок над ними, и шум у пристани, и то, о чем мы говорили, то, о чем так и не сказали ни слова. И мне начинало казаться в полусне, что это был не Андрей, а Митя, который проходил мимо, не замечая меня, бледный, с недовольно поднятыми бровями. «А ты,— я спрашивала себя,— могла бы полюбить? Наверное, нет! И очень хорошо, что Андрей перестал мне писать, хотя я так и не знаю, в чем я перед ним провинилась...»

По субботам Володя Лукашевич приезжал из Кронштадта и долго сидел, не говоря ни слова, и, как в Лопахине, я начинала бояться, что он опять скажет что-нибудь неожиданное и тогда мне снова придется провести «разъяснительную» работу. Заходил Гурий, и Нинина комната превращалась в уголок Лопахина, точно, уехав из родного города, мы захватили с собой нашу юность.

Зато мой третий дом — это был уж такой Ленинград, что ничего более ленинградского, кажется, невозможно было себе представить.

Это был дом Быстровых.

Давно забыла я и думать о нашей первой «холодной» встрече с Василием Алексеевичем. Теперь я всегда старалась приехать к Лене в те редкие часы, когда он был дома. По выходным дням мы гуляли, и это были интересные прогулки. Он знал историю каждой улицы, каждого дома.

Мы часто говорили о маме, и я узнала странные вещи, очень неожиданные,— например, что в молодости мама была очень красива. «Похожа на румынку,— задумчиво сказал Василий Алексеевич.— Однажды мы с ней были в ресторане «Ташкент», и одна девушка из румынского оркестра заговорила с ней по-румынски».

Василий Алексеевич рассказывал о маме без всякой таинственности, совершенно иначе, чем она всегда говорила о нем. Так, очень просто он рассказал, как она обманула его и вышла за другого, как и после свадьбы он помогал «молодым» — пытался устроить моего отца на Путиловский, убедил его дать зарок от пьянства, но ненадолго хватило этого зарока.

— Очень хорошо, что ты рассталась с отцом, Таня,— однажды сказал он серьезно.— Это такой человек, которого трудно не пожалеть, а вместе с тем жалеть его — преступление!

Василий Алексеевич работал мастером в модельном цехе, но и дома у него стоял верстачок, на котором он постоянно что-то строгал, вырезал, выпиливал. Впрочем, все были заняты, когда я приходила к Быстровым; но как-то выходило, что эти занятия не мешали разговаривать, смеяться, даже разыгрывать друг друга. Разыгрывали, главным образом, Марию Никандровну Быстрову, доверчивую, сердито-добродушную, вспыльчивую, со страстью входившую во все заботы и дела молодежи. Сколько раз слышала я ее возмущенные речи по поводу какой-нибудь тетки, которая отказывалась поддержать Лениного товарища или подругу! Сколько раз Мария Никандровна ругательски ругала нашего анатома, который действительно был несправедливо придирчив! Кому только она не помогала — одеждой, деньгами! Она легко увлекалась людьми и трудно, болезненно разочаровывалась. Среди наших студентов она славилась, между прочим, своими чудесными пирогами, но мы-то с Леной знали, как любила она пробовать новые, рискованные рецепты, часто приводившие — увы! — к поразительным неудачам. Тут уже насмешек хватало по меньшей мере па неделю.

Мария Никандровна была женщина пятидесяти пяти лет, крупная, шумная, широкая, так что Василий Алексеевич, который был среднего роста, рядом с ней казался маленьким, суховатым.

У Быстровых часто бывала Елена Петровна Овцына, работница «Электросилы» и моя будущая ученица,— я подготовила ее в школу для взрослых.

А душой этого дома была все-таки Лена, с ее прямотой, быстрыми решениями, с ее любовью к собраниям, особенно для нее характерной. И не только к собраниям — для нее наслаждением было замешаться в толпу на празднике, на гулянье. Так и вижу ее на улицах Ленинграда после первомайской демонстрации, когда колонны уже смешались, начинают расходиться, идут беспорядочно по тротуарам и мостовой, и Лена, веселая, в сбившейся косынке, размахивая бумажной розой, метко отшучивается от ребят (она за словом в карман не лезла) — и вдруг исчезает за углом или в воротах. Это значило, что она увидела какого-нибудь малыша и занялась им, забыв обо всем на свете.

Она обожала детей. Недаром родные и друзья всегда советовали ей стать не медиком, а воспитательницей, педагогом. Но Лена считала, что для того, чтобы учить других, нужно уметь работать над собой, «а у меня, черт побери, из этого никогда ничего не получалось».

Ничего не выходит

Мой первый реферат прошел, в общем, довольно удачно — не потому, разумеется, что мне удалось сказать нечто новое — куда там! — а потому, что впервые в жизни я прочитала несколько настоящих научных работ. Ох, как это было трудно! И как не похоже на ту опасную, интересную жизнь борца с болезнями, которую нарисовал в своей первой лекции Заозерский. Ничего самоотверженного не было в этом чтении, от которого меня сразу же бросало в пот, так что я сидела, хлопая глазами, красная, как из бани. Точно эти работы были написаны на иностранном языке — так я читала, останавливаясь после каждой фразы. К столу, на котором лежала книга Николая Васильевича «Наблюдения над дифтерийным анатоксином», я неизменно подходила с одним и тем же чувством: бежать от нее, и возможно скорее. Но я не убежала. Я прочла «Наблюдения» два раза, потом принялась за другую, еще более трудную книгу, и так день за днем ушла с головой в чтение научной литературы. Когда мой реферат был уже доложен и обсужден, Заозерский, смеясь, сказал, что он боится, что«ничего больше мне в жизни не удастся сделать — во всяком случае, по объему». Конечно, это была шутка! Но через несколько дней я пришла на кафедру, и он с первого слова спросил, намерена ли я продолжать заниматься дифтерией.

Я ответила: «Да»,— и, обняв меня за плечи, задумчиво пройдясь вместе со мной по своему кабинету — у него была такая привычка,— Николай Васильевич поручил мне самостоятельную работу, довольно сложную, в особенности для студента.

Кафедра была — или показалось мне в те далекие годы — очень большой. Кроме меня, у Николая Васильевича работали еще по меньшей мере десять студентов, из которых каждый был — или казалось — в тысячу раз умнее и начитаннее, чем я. Гордая, красивая ассистентка, проходя мимо меня, каждый раз делала что-то такое своими красивыми глазами, что легкий холодок неизменно пробегал

у меня по спине. Сердитая старуха препараторша то и дело отправляла меня обратно в школу второй ступени. И вообще сначала было очень страшно — даже не сначала, а долго, месяца три. Все фыркали на меня, всем я мешала! Наконец меня приютил в своей комнате один из ассистентов Николая Васильевича, маленький, круглый, лохматый, пожилой, по моим тогдашним понятиям, человек, лет двадцати восьми. Фамилия его была Рубакин. Но вся кафедра звала его просто Петя.

Не помню, где я читала — кажется, у де Крюи — об «отчаянии, свойственном девушкам-бактериологам». Трудно найти для моего тогдашнего настроения более верное слово. Как мальчик с пальчик, которого старшие братья завели в лес и оставили одного, так я бродила по темному лабиринту, в котором на каждом шагу встречались пропасти и засады.

Это продолжалось день, два, три, неделю, месяц! Всю зиму! Начались клиники, я пропустила вводные занятия по терапии и опозорилась, открыв ярко выраженный шум в сердце у печеночного больного, о котором профессор сказал, что в наше время «редко встречаются обладатели более здорового сердца». Но разве стала бы я огорчаться подобными мелочами, если бы в лаборатории хоть что-нибудь получалось? Если бы Петя, застенчиво улыбаясь, не спрятал от меня стеклянный колпак от микроскопа — я била посуду. Если бы красивая, гордая ассистентка не сказала Николаю Васильевичу, думая, что я не слышу, или, наоборот, рассчитывая, что я услышу: «Никогда ничего не выйдет. Дырявые руки!»

В конце концов я все-таки кое-чему научилась. Но дифтерийная палочка почему-то не хотела терять своих ядовитых свойств. Не хотела — в то время как именно это и было моей главной задачей.

Разумеется, я знала, кто мог бы помочь мне — Николай Васильевич! Но он даже не подходил ко мне, а когда я, едва увидев его, бросалась к нему с готовым вопросом, делал равнодушное лицо и поспешно проходил мимо. Все-таки я спросила, какую литературу он рекомендует для моей работы. Он лукаво усмехнулся и сказал:

— Читайте «Дон-Кихота».

Что это значит? Расстроенная, я отправилась в лабораторию, и Петя Рубакин, смеясь, объяснил мне, что у «Николая Васильевича такая метода».

Так или иначе, выход был только один: работать. И я работала, стараясь отогнать от себя печальные сомнения, мучившие меня, как повторяющийся, утомительный сон.

В этот вечер из лаборатории я отправилась к Нине, не застала ее и решила дождаться: мне хотелось переночевать у нее.

Обычно в десятом часу за стеной происходило чтение — хозяйка читала внуку «Войну и мир». Но сегодня было тихо, как будто нарочно для того, чтобы я могла спокойно подумать: что же, собственно, случилось со мной?

Ничего особенного! То же самое, что произошло в тот печальный день, когда режиссер из Института экранного искусства сказал мне, что я могу стать кем угодно — математиком, инженером, педагогом, но актрисой — даже очень плохой — никогда!

«Но ученым, даже очень плохим,— могла я прибавить теперь,— никогда!»

...Очень не хотелось вставать, но я все-таки встала, надела Нинин халат и уселась за стол. Мне нужно было написать несколько писем. Я сосчитала на пальцах — не меньше пяти.

«Гурий, не заходи за мной послезавтра, я занята» — это было самое короткое письмо и самое простое. Гурию можно при встрече все объяснить, а на мой билет — он достал два билета на «Зигфрида» с участием Ершова — пойдет кто-нибудь другой — или другая, мне все равно.

Сочинить второе письмо было гораздо труднее, потому что его должен был получить и прочесть один взрослый, серьезный, умный человек, у которого был только один недостаток: он доказывал, что не может жить без меня. Я написала ему, что уезжаю из Ленинграда на сельский участок и что, быть может, «мы еще встретимся в жизни». «А если не встретимся,— прибавила я равнодушно,— простите и не поминайте лихом всегда признательную вам за дружбу Т. В.».

Уж не знаю, сколько раз я вздохнула, прежде чем взяться за третье письмо, которое должен был получить один молодой врач, недавно кончивший Военно-медицинскую академию. Это были как раз те отношения, когда ничего не нужно доказывать друг другу, а просто очень весело встречаться, бывать в Филармонии и на гастролях МХАТа. С детским, радостным изумлением оглядывался он

на меня, когда что-нибудь интересное, остроумное или страшное поражало его. Да, ему-то, без сомнения, очень грустно будет получить это письмо, тем более что он, так же как и я, одинок и еще недавно говорил мне, что был бы счастлив, если бы у него была хоть сестренка, которую он мог бы иногда баловать.

И я написала ему правду — с этого дня все мое время будет отдано работе на кафедре, и потому я прошу его, как ни грустно, до весны забыть обо мне. Почему до весны? Это было неясно, но я зажмурилась, потянулась и написала все-таки: до весны.

Нина вернулась, когда я сидела за четвертым письмом, и только сказала: «А, доктор еще не спит?» — как я уже поняла, что она выступала с успехом. Студенты консерватории поставили «Пиковую даму», и Нина — это был ее дебют — сегодня впервые пела графиню.

Не раздеваясь, она поцеловала меня, потом покружилась по комнате, села на пол, зажмурилась. Потом заговорила — и это было так, будто на меня обрушился огромный, легкий, разноцветный ворох. В течение пяти минут я узнала о костюмерше, которая плохо заколола какую-то ленту, о каком-то Ваське Сметанине, который сказал, что Ниночка родилась, чтобы петь графиню, о восторге и аплодисментах публики, которая, оказывается, сразу насторожилась, едва Нина в первом акте появилась на сцене,— словом, обо всем, чем была полна моя подруга и что было так бесконечно далеко от меня. «Да, ты мечтала об этом,— говорила я себе, слушая и не слушая Нину.— Как же случилось, что все, о чем ты мечтала, теперь проносится перед тобой, как вихрь чужого счастья, которое лишь манит и дразнит тебя? Вот так и случилось».

И строки позабытого стихотворения вспомнились и прозвучали в душе:

Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.

Нина легла, мгновенно уснула, и в комнате сразу стало как на сцене, где только что было шумно и весело, но опустился занавес, и наступила тишина, темнота...

Жизнь идет — день за днем, за месяцем месяц.

Вот в старых Боткинских бараках я прохожу вдоль длинного ряда коек, на которых лежат больные — возбужденные, сосредоточенные, застигнутые врасплох, потрясен-

ные, равнодушные, полумертвые. Страстная, мучительная работа идет на каждой койке: жизнь работает, чтобы победить смерть. Невидимый мир, о котором рассказывал старый доктор, господствует в лихорадочном напряжении барака. Как же проникнуть в этот загадочный мир?

Дифтерийная палочка по-прежнему отказывается терять свои ядовитые свойства, работа не клеится, и, думая о ней днем и ночью, на лекциях и практических занятиях, на кафедре и на заседаниях предметной комиссии, я вспоминаю наконец, что старый доктор в одной из лекций упоминал о подавляющем действии экстракта печени на возбудителя сибирской язвы. Впервые за последние три года я нахожу среди лопахинских дневников и писем записи лекций Павла Петровича, нахожу и принимаюсь за чтение.

Это были три самодельные тетради, сшитые из желтой ломкой бумаги, на которой в двадцатом году печатались протоколы лопахинского Уполитпросвета. Латинские слова были записаны русскими буквами, а на полях здесь и там разбросаны рисунки, по которым нетрудно было заключить, что мысли слушательницы то и дело уходили за тридевять земель в тридесятое царство. Среди рисунков особенно часто попадался профиль не то негра, не то Гурия Попова. Словом, по всему было видно, что слушательница меньше всего думала о том, что придет время, когда она будет тщательно восстанавливать нить, ведущую от одной лекции к другой и как бы тонко обводящую границы теории.

Правда, по этим записям трудно было назвать воззрения Павла Петровича законченной научной теорией. Но мечниковская идея микробного антагонизма была разработана старым доктором с новой и неожиданной точки зрения. В одной из лекций была дословно записана мысль Мечникова о «благодетельных микробах, оберегающих нас от болезнетворных». Однако Павел Петрович утверждал, что «благодетельные силы» нужно искать не только в микробном мире, а в организме человека, животных, насекомых,— силы, которые развились в процессе борьбы за существование на протяжении тысячелетий. Вероятно, он занимался этим вопросом очень давно, еще в ту пору, когда был преподавателем Московского университета, потому что в лекциях приводил примеры из своих старых работ.

Среди них был и тот, который вдруг — и, кажется, без всякого повода — припомнился мне: о действии экстракта печени на возбудителя сибирской язвы. И не только язвы, но и сапа — это в особенности поразило меня. Опыты после многократных лабораторных испытаний были поставлены на животных и прошли, как утверждал Павел Петрович, с успехом.

Но и сапа... Это было ночью, в общежитии, соседки спали, я одна сидела за столом над своими школьными тетрадками и думала: «Но и сапа... А может быть, и не только сапа?»

Маша Коломейцева просила разбудить ее в два часа: утром она должна была сдавать инфекционные и ничего не знала. Я растолкала ее, но она повернулась на другой бок и заснула.

Сказка о ночном стороже была вложена в одну из тетрадей, я машинально прочла несколько строк, написанных большими, корявыми детскими буквами. Мне вспомнился Лопахин, в котором я так давно не была. Каков-то стал мой Лопахин? Узкоколейку кончили, и паровозы свистят теперь недалеко от Пустыньки, у самой Тесьмы. Еще недавно я читала в газете о нашем кожзаводе, который впервые в мире стал применять новую искусственную кислоту для дубления кожи. В середине декабря я получила письмо от Марии Петровны, сообщавшей, что она собралась учиться в музыкальном училище, которое открылось на месте бывшего «депо проката». Под старость у нее появился талант. И только на Павской горе все осталось таким же, как прежде. Городок шумит, волнуется, а там — тишина. Неслышными шагами мерит она дорожки от одной до другой могилы. Равнодушно смотрит на полинявшую дощечку: «Доктор Павел Петрович Лебедев» — и дата рождения и смерти. Равнодушно проходит мимо деревянной решетки вокруг холмика, под которым лежит «Наталья Тихоновна Власенкова» — и дата рождения и смерти...

Ну, полно! Вернемся-ка лучше к экстракту из печени. Стало быть, он подавляет возбудителей сибирской язвы и сапа. А почему бы, собственно говоря...

Маша спала, сложив руки на груди, и некоторое время я пристально смотрела на нее, стараясь вспомнить, о чем она меня просила. Что-то важное! Ах да! Я встала из-за стола, подошла к Маше — и забыла, зачем подошла. А почему бы, собственно говоря, не прибавить экстракт из печени к средам, через которые я провожу свою дифтерийную палочку?

Если печень действительно содержит вещества, задерживающие рост возбудителей сибирской язвы и сапа...

Наутро я отправила отцу в Лопахин письмо, в котором спрашивала: находится ли в целости и сохранности чемодан с бумагами старого доктора и нельзя ли переслать его ко мне в Ленинград с верной оказией? Отец ответил, что чемодан цел и невредим, но оказии не предвидится, разве что он сам, возможно, поедет в Ленинград, куда его давно приглашают на работу в бывший Александринский театр.

Петя Рубакин, которому я рассказала насчет печени, насмешливо поднял брови, но помог мне приготовить экстракт. Я поставила опыт, потом второй, третий, десятый, и дифтерийная палочка стала терять свои ядовитые свойства.

Я не верила этому до тех пор, пока Петя не сказал решительно:

— А теперь отправляйтесь к Николаю Васильевичу! Живо!

...Минуло полгода с тех пор, как я принялась за «анатоксин против дифтерии». Была уже весна, и старушка библиотекарша с удивлением спросила, каким образом в разгар экзаменационной сессии мне пришло в голову читать «Дон-Кихота». Было слишком сложно объяснять, что эта книга, по мнению профессора Заозерского, является прекрасным пособием для изучения дифтерии, и я ответила, что трудный предмет время от времени полезно перебивать легким чтением.

Николай Васильевич был в своем кабинете. Постучавшись, я зашла и молча положила на стол «Дон-Кихота».

Он открыл первую страницу и засмеялся.

— Прочли?

— Прочла, Николай Васильевич.— Тетрадь с итогами опытов была вложена в книгу.— И вот результаты.

Полет

Эта история началась в тот день и час, когда в далекой поморской деревне, в трехстах километрах от железной дороги, пятилетний мальчик проснулся ночью и почувствовал, что не может вздохнуть. Четыре дня он молча пролежал в постели с бледно-восковым лицом, с посиневшими ушами и носом, с отекшей шеей, вздувшейся, как у гремучей змеи. На пятый день он умер.

Что произошло между этой смертью и запиской Николая Васильевича, которую я нашла на своем столе? Не

знаю. «Прошу зайти»,— было написано острым, крупным почерком, и Петя Рубакин, ничего не объясняя, тоже сказал, что профессор просил зайти.

...Он сердито горбился над географической картой и у него было недоумевающее лицо с надутыми губами, когда я вошла в кабинет.

— Садитесь. У меня к вам дело. Вы слыхали когда-нибудь о таком селе — Анзерский посад?

Мне смутно вспомнилось, что Анзерский посад где-то на севере, на одной железной дороге с Лопахином, но очень далеко. Я так и сказала.

— Вот, мой друг. Это более трехсот километров от железной дороги. На карте есть — взгляните. А в энциклопедии нет. Так вот, нужно доставить в этот посад дифтерийную сыворотку. Почему ее не оказалось на месте? Почему нельзя доставить из Архангельска? Не знаю. И еще одно почему...

Он сердито почесал поросшую детским пушком голову и с унылым видом, но внимательно посмотрел на меня.

— Почему я хочу, чтоб это сделали вы?

Откровенно говоря, мне самой захотелось задать ему этот вопрос.

Только что я начала летнюю практику в Свердловской больнице, а на кафедре снова стало получаться что-то «непонятное, но интересное», как сам же Николай Васильевич сказал третьего дня. Мой милый адресат, которого я просила забыть обо мне до весны, в первый же солнечный день прислал телеграмму: «Таня, весна!» А теперь кончался июнь, и мы условились в ближайший выходной день поехать па море, в Сестрорецк, а вечером — в театр. Я волновалась за Нину: ей только что объяснился в любви Васька Сметанин, и она уверилась, что «теперь-то уж это, без сомнения, серьезно». Но, кроме всех этих веселых и, в общем, необязательных дел, было одно важное: Леша Дмитриев просил меня зайти к нему, и я догадывалась, что он будет говорить о том, что у меня слишком много времени уходит на академическую работу. Лена Быстрова, которая была в курсе дела, в ответ на мой вопрос, о чем пойдет речь, ответила загадочно: «И об этом...»

— Ага, не хочется! — не дожидаясь моего ответа, сердито возразил Николай Васильевич.— Стало быть, что же? Вы всю жизнь намерены просидеть в этом стеклянном мире?

Стеклянный мир — это была лаборатория.

— А с какою целью он существует, это вы себе уяснить не желаете? Нет-с, сударыня! Микробиолог, которому в наше время представляется случай своими глазами увидеть дифтерийную эпидемию и который отказывается от этой редчайшей возможности,— не микробиолог!

— Как эпидемия? Об этом вы ничего не сказали!

— Да, да. И сильнейшая. Смертность — сорок процентов!

— Дифтерия?

Страницы учебника мысленно прошли перед моими глазами, с рисунком, на котором был изображен задыхающийся ребенок, с примечанием, в котором была указана смертность до и после открытия сыворотки. Сорок процентов — это было «до».

— Разумеется, согласна, Николай Васильевич. Когда нужно ехать?

— Лететь!

— Все равно, лететь. Сейчас?

— Завтра утром. И завтра же нужно быть в Анзерском посаде.

Прямо от Николая Васильевича я отправилась искать Лешу Дмитриева — искать, потому что было еще утро, а жизнь в профкоме и ячейке начиналась обычно с четырех часов дня. Но Леша был уже на месте — энергично прикусив губу, делал выписки из какой-то книги. Я вошла и удивилась, как он переменился за последнее время — постарел, если это выражение можно было отнести к юноше двадцати трех лет с петушиным хохолком на затылке.

— Есть разговор, Таня,— сказал он серьезно.— Только не сейчас. Зайди завтра, часа в четыре.

— Не могу.

— Почему?

— Потому, что завтра я буду уже далеко.

— Где же?

— В Анзерском посаде.

Я объяснила ему дело, которое поручил мне Николай Васильевич, и он выслушал не перебивая.

— Ну что ж, счастливо,— сказал он.— Когда вернешься?

— Смотря по обстоятельствам. Думаю, что через две-три недели.

— Тогда и поговорим!

Я ничего не понимаю в авиации, и очень возможно, что самолет, который был предоставлен в мое распоряжение, был результатом гениальной конструкторской мысли. Но, очевидно, это было давно, потому что при первом взгляде на него мне вспомнилась «Нива» времен войны 1914 года и фото воздушного боя между нашим и неприятельским «аппаратами». Это был именно аппарат — недаром с этим словом у меня всегда связывалось представление о чем-то трещащем и составленном из дощечек и палок. Но отчасти он напоминал и этажерку, которую нельзя, разумеется, назвать аппаратом. Короче говоря, я должна была лететь на «аврухе», как назвал машину дежурный по аэродрому, то есть на самолете какой-то старой конструкции.

Мужчина атлетического сложения — даже страшно было подумать, что сейчас он вскарабкается на этажерку и тем не менее она полетит,— подошел ко мне и назвал себя вежливо, но мрачновато:

— Табалаев.

Николай Васильевич велел мне для солидности называть себя доктором, и я сказала, немного покраснев: «Доктор Власенкова», но сейчас же раскаялась, потому что летчик внимательно посмотрел на меня, подумал и недоверчиво крякнул.

— Допустим,— сказал он.— Итак, чем могу быть полезен, доктор?

Я объяснила, что необходимо доставить в Поморье два ящика с ампулами — «как видите, совсем небольшие».

Летчик сказал: «Так-с, доктор», потом достал трубку, закурил и уставился на ящики: по-видимому, они изумили его.

— Надо устроить, Ваня,— сказал дежурный.

— «Авруха» же,— с досадой возразил летчик.

Тем не менее он, ворча, унес ящики и минуту спустя вернулся с какой-то шкурой, в которую мгновенно завернул меня как ребенка. Потом он объяснил, что в самолете две кабины — я буду сидеть во второй. Перед моими глазами будет доска приборов, а перед коленями все время будет ходить туда и назад, направо и налево рычаг, который называется «ручка». Но чтобы я, боже сохрани, не вздумала хвататься за эту «ручку»!

Я спросила, нельзя ли, чтобы рычаг не ходил, и он, подумав, ответил, что можно.

— Но при этом условии, доктор,— серьезно объяснил он,— самолет не летит.

Потом дежурный сказал: «Счастливо, доктор!» — и помог мне вскарабкаться в кабину, очень тесную и состоящую из зеленых матерчатых стен, натянутых на деревянные палки. Передо мной на фюзеляже был полопавшийся туманно-желтый козырек, через который было видно такое же полопавшееся туманно-желтое небо, а под ногами отверстие для той самой «ручки», за которую мне запрещалось хвататься. Отверстие меня утешило, сквозь него был виден овальный зеленый кусок земли, которую я покидала...

— Прекрасно, доктор,— заглянув в кабину, сказал летчик.

Он и потом в дороге не называл меня иначе, как доктором, и хотя я уже не краснела, привыкла, видно было, что эта незатейливая шутка от души забавляет его.

По огромному пустому полю, на котором свет белой ночи уже смешался с розовыми красками утра, мы, подпрыгивая, как на телеге, покатили вперед.

Я закричала:

— Товарищ, куда вы спрятали ящики?

Страшный, оглушительный рев раздался в ответ так близко, точно кто-то рванулся ко мне нарочно, чтобы стонать, выть, греметь в самые уши. Самолет качнулся назад, потом еще глубже назад, и овальный зеленый кусочек земли подо мной побежал, потом стал уходить вниз и делаться больше и больше.

— Первое и самое главное,— сказал, прощаясь со мной, Володя Лукашевич,— не думать о полете.

Сжавшись под шкурой, от которой почему-то пахло касторкой, ежеминутно обороняясь от «ручки», откидываясь то вперед, то назад, было довольно трудно не думать о полете. Но прошел час-другой, и, как ни странно, я поймала себя на мысли о том, что удивительно: какой у Нины в музыке превосходный вкус, а мне под коричневый костюм купила голубого шелка на блузку. Потом Николай Васильевич представился мне расхаживающим по своему кабинету, заложив за спину короткие, толстые ручки. «Не так скоро,— говорит он, когда, выслушав его, я торопливо прощаюсь.— И вот еще что: посмотрите, только ли там дифтерия? Что-то больно высокая смертность, черт побери! Нет ли там еще и ангины? Некогда я задумывался над стрептококками, усиливающими дифтерию. Ну-с, а теперь подумайте вы».

Ладно, подумаем! Я бы уснула, если бы не ветер, со свистом врывавшийся в кабину со всех сторон и гулявший под шкурой, которую летчик недостаточно туго завязал на ногах.

— Ну, как дела? — заорала я, стараясь перекричать этот свист, казавшийся мне громче и отвратительнее равномерного шума мотора.

— Плохо!

Я подумала, что ослышалась:

— Что вы сказали?

— Плохо! — закричал летчик.— Движок сдает. Нужно садиться...

— Как садиться? Сегодня вечером мы должны быть в Анзерском посаде.

Он ничего не ответил, и я стала кричать, что он не имеет права садиться, потому что везет врача, которого ждут больные. Нельзя сказать, что это было легко: обороняясь от холода, ветра и шума, сидя то на одной, то на другой замерзшей ноге, объяснять летчику значение противодифтерийной сыворотки как профилактического и лечебного средства. Но я объясняла и, должно быть, недурно, потому что вдруг почувствовала, что самолет, который уже шел на посадку, стал выравниваться и даже набрал высоту.

Километров двести мы прошли на моем «горючем», как потом назвал лекцию летчик. Но в моторе случилось что-то еще, и нужно было уже не просто садиться, а спасаться.

— Вы слышите меня, доктор?

— Слышу.

— Иду на посадку, доктор.

Я закричала, что нужно отдать его под суд за трусость, но самолет начал равномерно уходить вниз, и вместе с ним стало отвратительно падать сердце, так что, к сожалению, пришлось замолчать.

Зато когда мы сели и шум, холод, свист — все прекратилось сразу, я так накинулась на летчика, что даже сама удивилась: неужели это я так хрипло, сердито кричу и с таким бешенством размахиваю руками? Он молча выслушал меня и сказал, что все это так, но тем не менее дальше лететь невозможно. Он долго объяснял почему, и по его лицу, по рукам, слегка задрожавшим, когда он сдвинул шлем на затылок и стал набивать свою трубку, я поняла: да, невозможно.

Вдалеке были видны огни какого-то городка, и я хотела сразу же нести туда ящики, но он не дал. Он посадил меня, открыл мясные консервы и разломил на куски черствую халу.

— Нужно есть, доктор,— пробурчал он и сунул в консервы чайную ложку,— иначе все равно никому не поможете, только сами сыграете в ящик.

Странный, дикий пейзаж с какими-то деревьями-кривулями раскинулся перед нами, холодно окрашиваясь лучами бледного солнца. Но картины природы в этот день очень мало интересовали меня.

Все время, пока мы шли, я говорила, что от В — ска — очевидно, этот городок был В — ск — до Анзерского посада больше ста километров и что достать машину будет трудно или даже почти невозможно. Летчик логично сказал, что в таком случае придется добираться пешком, верхом или на телеге. Но я опять набросилась на него, и он покорно умолк, покряхтывая — ящики были тяжелые — и посасывая потухшую трубку.

На окраине В — ска мы постучались в первый попавшийся дом, и хозяйка, красивая, молодая, с длинной косой и голубыми глазами, напоила нас молоком, а потом сказала, что в городе только две машины: одна — горсоветовская, а другая — милицейская, которую нам все равно не дадут.

— А если и дадут, не проедете, миленькие, не проедете.

— Почему?

— Анзерка разлилась. Может, ходит карбас, миленькие, а может, не ходит.

Летчик беспокоился насчет «аврухи», но я оставила его стеречь мои ящики и отправилась в горсовет.

...Черная собака, выбежав из подворотни, бросилась мне в ноги, я невольно вскрикнула, отшатнулась. Потом снова пошла, но вдруг почувствовала такую усталость, так захотелось лечь прямо на хлюпающие доски панели, что пришлось сделать усилие, чтобы начать думать о чем-нибудь другом.

И я стала думать: как это смешно, что до сих пор я чувствовала себя превосходно, а теперь стало казаться, что ничего не случится, если я немного полежу на панели. Но эта смешная мысль почему-то не рассмешила меня.

Председатель горсовета был высокий, еще не старый, с приятным лицом. Ему уже сообщили, что мы спустились недалеко от В — ска, и он послал к самолету охрану.

Авто у него есть, очень хорошее, но сейчас в ремонте. Впрочем, это не беда: крытый грузовичок ГПУ довезет меня до Анзерки.

— Но дорога, вы знаете,— сказал он,— только первые двадцать — тридцать километров хороша. А дальше — гать, сухая только по пригоркам. Ну, что в Ленинграде?

И он стал спрашивать меня обо всем сразу: что идет в театрах, в кино? С какого аэродрома я поднималась — с Корпусного? Стало быть, видела «Электросилу»? Когда-то он работал на этом заводе. Питаются ли уже ленинградские станции энергией Волховстроя? Что я думаю о наступлении Народно-революционной армии в Китае?

Потом мы пошли к начальнику ГПУ, и я стала доказывать этому спокойному человеку с большим лысым лбом и широкими скулами, что нельзя терять ни минуты.

— Дорогой мой,— побагровев и почему-то в мужском роде, сказал мне начальник ГПУ,— что же, вы полагаете, я не понимаю, что дело идет о жизни и смерти? Но нет машины, вы понимаете: нет! Или, точнее, есть, но оперативная. Сегодня агент должен отвезти заключенного на очную ставку. В одной машине с заключенным отправить вас не могу, не имею права. К утру машина вернется. Одна ночь. В конце концов только одна!

У меня задрожали губы — не потому, что захотелось плакать, а от обиды, что этот человек не хотел понять, что для дифтерийного больного не только ночь, а каждый час имеет большое значение.

— Да поймите же вы, черт возьми! — сказала я с бешенством.

Потом я вспомнила, что дважды бралась за спинку стула, очевидно, рассчитывая этим простейшим способом убедить начальника ГПУ. Не знаю, как это случилось, но он вдруг сказал:

— Ладно. Поедете.

— Когда?

— Сейчас. Но я попрошу вас написать мне письмо с изложением всех обстоятельств дела. Вашу руку.

Он крепко пожал мне руку.

— Сейчас распоряжусь.

Прошло несколько часов, и измученная, но полная желания немедленно пустить в ход испытанное чудо науки, я подъезжала к берегу Анзерки. Старая часовня показалась вдали, потом какие-то полуразвалившиеся домишки,

должно быть сараи, а там — широкая лента реки. У избушки паромщика шофер остановил машину и помог мне выгрузить ящики.

— Эй, дядя! — крикнул он.— Выходи, кто живой!

Седая бабка в тулупе вышла на крыльцо и сказала, что сегодня переправы не будет.

Переправа

Паром снесло половодьем вместе с пристанью, как объяснила бабка, и народ пошел напрямки к порогу Крутицкому, потому что народ боится, что паром снесло в Крутицкий порог. Но если и не снесло, все равно назад его придется тащить конной тягой, и раньше чем дня через два в посад переправы не будет.

— Ну что же, переедем на лодке,— сказал шофер.

— Лодка-то есть. А не потонете?

— Не потонем, бабушка! Нам некогда. Срочное дело.

— Ой, потонете!

Она сказала это так просто и с такой глубокой уверенностью, что мы с шофером невольно посмотрели сперва на быструю, беспокойную мутно-серую реку, потом друг на друга. Но два дня! Два дня!

— Где лодка? — спросила я свирепо.

...Как будто я была не я, а кто-то другой, зорко наблюдавший за мной,— с такой живописной отчетливостью рисуется передо мной эта картина: на берегу, от которого мы только что отвалили, стояла и, покачивая головой, долго смотрела нам вслед бабка в тулупе. На реке были мы, а по ту сторону, похожий на старую деревянную крепость, виднелся Анзерский посад. Поднимаясь на горку, теснясь вокруг деревянной церкви, стояли дома, такие спокойные, прочные, что трудно было представить, что почти в каждом из них лежат, борясь с тяжелой болезнью, дети.

Сперва все шло превосходно: я правила, а шофер, оказавшийся, к сожалению, узкоплечим и щуплым, как мальчик, сидел на веслах, которые были немного тяжелы для него. Уключины были не железные, а деревянные, и только одна, а другая сломана, так что пришлось привязать весло к борту ремнем от моего рюкзака. «Но все это пустяки,— подумалось мне.— А главное то, что через полчаса я буду в Анзерском посаде».

Мне стало весело, когда я увидела, как быстро мы приближаемся к нему, и впервые пропало острое чувство, что

нужно спешить и спешить. Правда, бабка сказала: «Ой, потонете», и мне хотелось поскорей быть на том берегу, когда я вспоминала об этом. Но это было совсем другое чувство, ничуть не похожее на то нетерпеливое волнение, которое мучило меня всю дорогу.

Все было хорошо, хотя по берегу, от которого мы отошли, можно было заметить, что лодка движется не только вперед, но и в сторону, так что посад вдруг оказался по левую руку от нас. Разумеется, это ничего не значило, течение было все-таки сильное, и нас непременно должно было отнести. Но через несколько минут я стала немного беспокоиться, потому что мне почудилось, что мы почти перестали двигаться вперед, хотя шофер с таким же нахмуренным, сердитым, энергичным лицом заносил тяжелые весла.

Река потеряла свой прежний беспокойный оттенок, легкий тающий свет шел от воды, в которой отражались облака, еще сохранившие по краям последние краски заката. Возможно, что шофер давно заметил опасность, но молчал, не хотел тревожить меня: нас сносило вниз по Анзерке. Теперь он понял, что я догадалась, потому что стал зарывать тяжелые весла. Ему стало страшно, точно опасность увеличилась с той минуты, как я узнала о ней.

— Не могу, устал,— пробормотал он.

Я сделала вид, что не слышу. Мы были на середине реки, но посад ушел так далеко налево, что лучше было не смотреть на него.

— Может быть, теперь вы немного,— снова пробормотал шофер.

Я бросила руль и стала помогать ему, изо всех сил налегая на весла. Потом мы поменялись местами: это было трудно, потому что лодка круто поворачивала по течению, едва мы переставали грести. Но я помню, что мы поменялись, потому что вдруг стало нужно не налегать на весла, а тянуть, и я начала тянуть — сперва неровно, рывками, а потом плавно, когда догадалась взяться не за ручки весел, а ниже. Я тоже испугалась, но тут же так рассердилась на собственный страх, что даже заскрипела зубами от злости. Это было бешенство, но не слепое, когда не помнишь себя, а светлое, от которого ощущение странной лихости разлилось по телу. Потом исчезло и чувство лихости, и осталось только тяжелое качание вперед и назад, и тяжелый однообразный плеск воды, и томящее желание бросить весла и лечь, которое нужно было преодолевать почти ежеминутно.

— Далеко? — не спросила я, а простонала сквозь зубы.

Но было уже недалеко. Лодка медленно вошла в песок, качнулась, и я упала головой вперед. Это было последнее движение на дне лодки, у ног шофера, который наклонился и о чем-то беззвучно, но настойчиво спросил у меня.

Не знаю, сколько времени мы пролежали на мокром песке. Это была слабость, в которой было даже что-то мстительное, точно тело мстило за то, что я заставила его перейти границу, за которой начиналось то, на что прежде оно никогда не было способно. Я лежала вниз лицом, очень тихо, и думала о самых разнообразных вещах, не имевших ни малейшего отношения к тому, что произошло или могло произойти, если бы нас снесло в Крутицкий порог.

Кухня у Львовых, освещенная слабым огнем свечи, появилась из темноты перед моими закрытыми глазами, и я увидела Митю, который вошел и не понял, кто я, а потом сказал с ласковым изумлением: «Отпустить старую знакомую, которую я однажды чуть не убил? Э, нет! Это не в моих интересах». Это было, когда он вернулся с фронта и носился по Лопахину в шлеме и кавалерийской шинели. Как он крепко сжал мои руки в своих, как был нежен со мной после маминой смерти! Неужели старый доктор был прав? Как он сказал: «Блеск ума — и слепота эгоизма?»

Потом я стала думать, что, если бы мы не выгребли, Митя так ничего и не узнал бы обо мне. Быть может, в ту минуту, когда я лежу как мертвая, с неловко подвернутыми руками на мокром песке, он в светлой, нарядной комнате ждет гостей, открывая вино?

Почему я думала о нем в эти минуты? Не знаю. Как будто близость смерти прогнала все, чем я жила до сих пор, и на смену из глубины души явилось то, что еще вчера, казалось, ничуть не занимало меня. Как будто тайная полузабытая мысль воспользовалась тем, что я, слабая, беспомощная, лежу без сил на мокром песке, на берегу незнакомой реки, и, подкравшись, стала распоряжаться моей душой...

Шорох послышался за моей спиной, я обернулась. Это шофер поднялся на колени, постоял и снова улегся, свернувшись калачиком, как на постели.

Нужно идти! Сонными, чуть живыми руками я развязала рюкзак, стала есть, и даже слезы выступили на глазах — таким удивительно вкусным показался мне бутер-

брод с колбасой! Шофер сказал, что нужно выпить водки; я выпила и снова легла, но ненадолго, потому что все-таки нужно было идти.

— Ты останешься, а я пойду.— Шофер кивнул, не вставая.— Ящики береги! Скоро пришлю за ними, слышишь?

Он опять кивнул.

Первый дом, к которому я подошла, был, очевидно, нежилой, потому что, как я ни стучалась, как ни окликала хозяев, никто не отзывался на мой охрипший голос. В соседнем доме окна были занавешены, но мне показалось, что занавеска дрогнула, когда я поднялась на крыльцо.

— Откройте! Я врач из Ленинграда. Откройте же!

Ни шороха, ни звука!

— Да что вы тут, вымерли, что ли? — крикнула я и топнула ногой по крыльцу.

Тишина. Если бы в посаде была эпидемия не дифтерии, а чумы, и тогда на этой кривой, бегущей в гору улице не могло быть более мертво и пустынно. Я села на крыльцо, и впервые за все время моего путешествия мне по-настоящему захотелось плакать. Почему-то я решила, что шофер уснул, как только я ушла, а ящики украли. И никому не нужны эти заботы и муки, и я сама, одинокая и беспомощная, зачем-то приехавшая в эту глухую деревню, никому не нужна. Все на свете к чертям, и врачом я тоже не буду! Врачи лечат, а не возят за тридевять земель ящики с сывороткой! «Нет ли там еще и ангины? Когда-то я задумывался над этим вопросом. Ну-с, а теперь подумайте вы»,— вспомнилось мне. Вот и подумала!

Со злостью, которая меня даже удивила, я вскочила и бросилась к широкому, приземистому дому напротив, почему-то показавшемуся мне особенно ненавистным.

— Откройте же, черт возьми! — закричала я и стала бить в дверь ногами.

Наконец-то! Голоса. Шаги.

— Кто там?

— Врач из Ленинграда.

Должно быть, я еще не верила, что откроют, потому что это «откройте же» я повторила раз десять. Открыли. Какая-то девушка, тоненькая, с косами, впустила меня в сени.

— Врач из Ленинграда? — с удивлением повторила она.— Пожалуйста, войдите.

...Духота тесной, перегороженной комнаты. Запах йода. Икона в углу, беленая печь. Высокая худая старуха в белом платке, перекрестившаяся, когда я вошла. Мужчина в халате, склонившийся над кроватью. Закинутое, белое, как бумага, лицо ребенка, мелькнувшее, когда этот мужчина, не оборачиваясь ко мне, поднял руку — как делают, когда мешает шум и хотят, чтобы вокруг стало тихо...

Этот жест и то, что мужчина в халате — без сомнения, врач — даже не обернулся, когда я вошла, в особенности возмутили меня.

— Измучилась, пока переправлялась через эту сумасшедшую реку! Никто не встретил! Брожу, стучусь во все дома! Ну, что вы молчите! Я вам сыворотку привезла.

Мужчина в халате обернулся. Он сделал шаг, другой, и стетоскоп — у него в руках был стетоскоп — упал и покатился со стуком. Он стоял против света, да я не вглядывалась в его лицо, только смутно удивилась, что это усталое, широкое, но с тонкими чертами лицо, этот высокий лоб и над ним прямой белокурый ежик волос были мне когда-то знакомы.

— Черт знает что! Неужели не знали, что я должна приехать?

— Да, Таня,— голосом Андрея сказал мужчина в халате.

Должно быть, я ослышалась.

— Так что же, не могли встретить?

— Мы ждали тебя вчера.

«Тебя»! Я замолчала, потом взяла его за руку и потащила к окну.

— Андрей? Андрей? Да ты ли это?

Ночной обход

Через час ящики с ампулами были доставлены в посад, и мы стали ходить из одного дома в другой. Мы — это были Андрей, я и Машенька — так звали тоненькую девушку с косами, оказавшуюся фельдшерицей. Я почти не могла представить, что все это происходило в тот самый день, когда мы с шофером садились в лодку и в легком свете заката еще розовели отраженные водой облака.

Потом наступила ночь. Многое казалось мне странным, и, если бы у меня было больше времени, я, без сомнения, задумалась бы над некоторыми загадками, в особенности над одной, относившейся к Машеньке, и смутно

поразившей меня. Стало светать, а мы все еще ходили и впрыскивали, и что-то повелительное, вдохновенное было в этом ночном обходе, в этой невозможности отложить то, что нужно было сделать сейчас, в этих твердых, уверенных руках Андрея, освещенных слабым огнем лучин, ночников, лампад. В конце концов мне стало казаться, что мы ходим из дома в дом не для того, чтобы бороться с дифтерией, а только для того, чтобы снова увидеть эти широкие, твердые руки, разбивающие ампулу, подносящие к свету шприц. Но они делали и многое другое. Они гладили и успокаивали детей, глядевших на наши приготовления застывшими от ужаса глазами. Они бережно меняли повязку на рассеченном горле, в которое была вставлена трубочка — через нее дышал полузадушенный крупом ребенок. Они боролись с женщиной, у которой двое детей погибли от дифтерии и которая не пускала нас к третьему, исступленно клянясь, что он совершенно здоров. Они исчезали в резиновых перчатках и появлялись снова, и мы снова шли из одного дома в другой, из одного безмолвного мира, в котором не было ничего, кроме свистящего шума дыхания, в другой. И мне казалось, что всюду, где появлялся Андрей, слабый свет надежды загорался в воспаленных, растерянных глазах.

...Этот свет не появился в глазах белокурого мальчика лет семи, лежавшего безучастно, с посиневшим, сонным лицом, на котором уже устанавливалось тусклое спокойствие смерти. Должно быть, она стремилась войти в этот дом — богатый, просторный — вместе с нами, но почему-то замедлила шаги, остановилась у порога. Я взяла за кисть беспомощно повисшую ручку и нащупала слабый, ускользающий пульс.

Свечи горели на столе, стоявшем у изголовья умирающего ребенка, и старик в очках, склонившийся над толстой книгой, не обернулся, не встал, не произнес ни слова, когда мы вошли. Потом он стал молиться громко, и я поняла, что перед лицом смерти, стоявшей у порога, он не считал нужным обращать внимание на каких-то ничтожных людей, стремившихся изменить беспощадный закон, которому обречено на земле все живое.

— «Владыко, господи вседержителю,— громко молился старик,— душу раба твоего Алексея от всяких уз разреши и от всякия клятвы освободи, остави прегрешения ему, ведомые и неведомые, в деле и слове, исповеданные и забвенные...»

Но доктор с усталым, тонким лицом, очевидно, не соглашался отпускать к вседержителю душу бедного раба его Алексея — кстати сказать, напоминавшего мне самого доктора в те далекие времена, когда он старался узнать, есть ли у тараканов сердце. С минуту он стоял неподвижно, внимательно глядя на распростертое маленькое тело, а потом решительно сказал:

— Нужно приготовить, Машенька.

И Машенька открыла свой чемоданчик и достала горелку, спирт, инструменты...

Нужно было завернуть мальчика в простыню, сесть на табурет и крепко зажать коленями его ножки. Сперва это сделала я, но Андрей почему-то велел, чтобы села Машенька, а я держала голову ребенка, и мы поменялись местами. Это была интубация, введение в гортань металлической трубки, и у Андрея, как это ни странно, был такой вид, как будто он делал это тысячу раз.

— Таня, голову прямо и неподвижно,— сказал он.— Нет, немного вперед. Машенька, держите крепче.

И быстрым движением руки он вставил трубку в бедное, забитое пленками горло.

— Вот и все,— сказал он.

Но, увы, это было далеко не все. Мальчик захрипел, открыл глаза — туманные, вздрагивающие... С силой, которую нельзя было вообразить в этом худеньком, легком теле, он рванулся, судорожно втянул воздух — и трубочка выскочила из горла и вместе с брызгами кашля полетела прямо в лицо Андрею.

— Ах!

Машенька вскрикнула, хотела подняться... Я почувствовала, как она задрожала.

— Спиртом, скорее!

— Не вставайте! — повелительно сказал Андрей.

Он наскоро вытер лицо спиртом, и все началось сначала.

— «Земнии бо от земли создахомся и в землю тую же пойдем, яко же повелел еси создавый мя...— читал старик.— Яко земля еси и в землю отыйдеши».

— Так, готово,— сказал Андрей.

И тотчас же послышался шум дыхания, свистящий, с металлическим оттенком — верный признак, что трубочка попала в гортань.

Это было странно — видеть, как жизнь, казалось уже покинувшая это худенькое, покорное тело, вернулась, окра-

сила мертвенно-бледные щеки и точно за руку привела глубокий, успокоительный сон.

Было совсем светло, когда, шатаясь, мы вышли из этого дома. Усталость совершенно прошла, по крайней мере у меня, так что я не понимала, почему меня все-таки тянет прилечь и приходится время от времени следить за ногами. Я шла и смотрела на Андрея, и мне ясно вдруг стало, что он мог стать только таким — с этими неторопливо-задумчивыми движениями рук, свертывающих папиросу, с этими ясными, прямыми глазами.

— Таня, неужели это все-таки ты? — спросил он.— Все некогда было посмотреть, чтобы убедиться, что это действительно ты. Смешно, правда?

Я хотела сказать, что, конечно, смешно, но у меня закружилась голова, и я подумала, что станет лучше, если пересилить себя и идти. Но лучше не стало. Андрей подхватил меня... Он нес меня на руках, а я говорила, чтобы он отпустил меня, потому что все хорошо, и удивлялась, что говорю громко, почти кричу, а он не слышит, не слышит.

Машенька

Я проспала почти сутки и, открыв глаза, не поняла, где я и что со мной. Потолок был так близко, что его можно было достать рукой, вниз шли широкие ступени, и я лежала на самой верхней из них. На окне и на самодельных полочках, висевших вдоль бревенчатых стен, стояли чашки Петри, штативы с пробирками, колбочки. Тонкие ослепительные полоски солнца, перекрещиваясь, играли на стекле. Это была лаборатория. Но на самом деле это была просто деревенская банька — недаром два пышных березовых веника висели в углу под потолком.

Машенька сидела на табурете у окна, вполоборота ко мне, и несколько минут я смотрела на нее, не показывая, что проснулась.

У нее было приятное лицо, очень молодое. Косы, аккуратно заплетенные, как у девочки, волосок к волоску, тоже молодили ее. Она была тонкая, прямая, и, едва взглянув на эти нежные щеки, на маленькие уши, видневшиеся под косами, переходившими в гладкую прическу с пробором, можно было сказать, что у Машеньки мягкие движения, тихий, никуда не торопящийся голос.

— Доброе утро.

— Ах, вы проснулись? — Она встала и подошла ко мне.— Шофер заходил, просил вам кланяться. Он уехал. Как ваше здоровье?

— Хорошо, спасибо.

— Как же вышло, что мы с Андреем Дмитриевичем не встретили вас на том берегу? Нам сообщили, что сыворотка выслана самолетом, а прошел день — нет и нет! Мы думали, где же может спуститься самолет? И решили, что на Черной Поляне,— здесь есть такое место, километрах в пяти.

Я рассказала о том, как самолет долетел только до В—ска, как мы чуть не утонули в Анзерке. Машенька слушала, широко открыв глаза; видно было, что она не только глубоко сочувствует мне, но от всей души желает, чтобы со мной ничего подобного больше никогда не случалось.

— Как жалко, что Андрея Дмитриевича нет! — сказала она.— Не слышит вас. А ведь второй раз вы не захотите рассказывать, правда?

Я засмеялась. Она с удивлением взглянула на меня, покраснела и тоже стала смеяться.

Теперь была моя очередь спрашивать, и я начала с эпидемии: давно ли она началась, и как случилось, что в посаде не оказалось сыворотки.

— Ах, нет, оказалась,— возразила Машенька.— Из Архангельска вскоре прислали, но Андрей Дмитриевич сказал, что не годится, потому что ее, по-видимому, в очень холодном помещении держали. Она промерзла и потеряла активность. А дифтерия началась сразу во многих домах, и в такой тяжелой, знаете, форме. Если бы локализованная, ну, как обычно бывает, а то ведь почти сплошь токсическая, и все с крупом, все с крупом!

Машенька рассказывала обстоятельно, с учеными словами, звучавшими немного странно в ее простодушной речи. Но именно их-то она и выговаривала особенно неторопливо.

— А круп — вы вчера видели, какая картина? На третий день начинают задыхаться. Что делать? Вы подумайте только, как это страшно! Смотришь на ребенка с отчаянием и думаешь: чем же помочь? Андрей Дмитриевич все говорил, что мы попали сразу в девятнадцатый век. Хорошо, что он такой образованный, знает, как лечили дифтерию в девятнадцатом веке. Вы не поверите — ведь он трубочкой пленку высасывал.

— Как трубочкой?

— А вот так: вставит трубочку в горло ребенка и высасывает. И еще смеется. Говорит: «Это вам, Машенька, наглядный экскурс в историю медицины».

— Но ведь это же очень опасно!

— Ну, как же! Очень. Вы читали Чехова «Попрыгунья»? Там рассказывается, как один прекрасный врач высасывал пленки и умер. Теперь, разумеется, так никто не лечит. Но, с другой стороны, ведь сил же не хватает смотреть, как задыхаются дети! Мы им горло разными дезинфицирующими смазывали — да ведь это разве поможет? Андрей Дмитриевич в шести случаях трахеотомию сделал, а сам же мне говорил, что прежде — только один раз, и то студентом, на трупе! И потом, вы знаете, какая здесь обстановка? Про все болезни говорят: «Кровь мучит»,— и сейчас же кровопускание. В Судже знахарка живет, я ее видела, так она первой весенней водой лечит. И заговорами: «На море, на окияне, на острове Буяне лежит камень Алатырь, на том камне сидят три старца, идут к ним навстречу двенадцать сестер-лихорадок — трясея да знобея, хрипуша да огнея...» — и Машенька досказала заговор до конца.— Вас зовут Татьяна Петровна?

— Просто Таня. А я вас — Машенька, хорошо?

— Да меня еще никто и не называл иначе!

— Вы постоянно живете в посаде?

— Да. Я могла поехать в Сальск. Я родом из Сальска. Но не захотела. Я сама выбрала такую глушь...— добавила она и снова немного покраснела.— Но нисколько не жалею, нисколько.

— Почему?

— Ну, как же — почему? А Андрей Дмитриевич? Ведь я только здесь поняла, зачем и вообще-то училась! Мне казалось, чтобы зарабатывать побольше да жить получше. И все! А когда я приехала... Но вы не подумайте, что он со мной говорил об этом, хотя я сразу поняла, что это человек идейный. Он просто жил здесь, вот в этой баньке, и работал. А когда я приехала, его ни в один дом даже на порог не пускали.

— Как не пускали?

— А вот так! Привыкли к знахарке и говорят: «Она нас лучше всякого доктора лечит». Конечно, она их подговаривала, тем более что здесь все-таки кулаков много.

Машенька говорила то «идейный», то «партийный», очевидно понимая под этими словами одно и то же.

— Но, знаете, случай помог, уже когда я приехала. Тут соль варят в таких специальных варницах. И вот однажды приводят такого солевара — ослеп! Андрей Дмитриевич посмотрел, подумал, да и капнул ему на конъюнктиву несколько капель кокаина. Солевар поморгал — и бух ему в ноги! Прозрел!

Машенька рассмеялась — тихо, но от всей души.

— А у него от дыма просто слизистая очень распухла. Вот после этого случая Андрея Дмитриевича стали ценить.

— А теперь?

— А теперь одни его ненавидят, а другие — ну, просто готовы за него в огонь и в воду!

— За что же ненавидят?

— А за то, что он такой волевой. Он ведь очень волевой и всегда своего добьется, если захочет.

Я слушала с интересом.

— А чего же приходится добиваться?

— Ну, как же! Всего! Тут ведь кулаков много, и нам в медицинской практике приходится с ними бороться.

Мы с Машенькой болтали все утро, потом нагрели воду, и я умылась с наслаждением, в котором было даже что-то дикарское. Машенька помогала мне и смеялась.

Большой разговор

Говорят, что борьба с эпидемиями напоминает войну: те же разведки, прорывы, отступления, атаки. Но ничего похожего на войну не было в той тщательной однообразной работе, которой мы занимались днем и ночью — ночью потому, что нужно было не только лечить, но и ухаживать за больными.

И лишь в одном отношении наш труд напоминал войну: мы не могли предсказать потери. Так погиб, несмотря на огромные дозы сыворотки, белокурый мальчик, напомнивший мне Андрея. Погиб третий ребенок у женщины, потерявшей двух, и она часами стояла у нашей баньки, простоволосая, страшная, качая завернутое в тряпку полено.

Бай-бай, да усни,
Да большой вырастай.
На оленя гонец,
На тетеру стрелец,—

пела она, и нельзя было выйти, чтобы не встретить ее тусклого взгляда.

Ты на елке тетерку имай,
На озерке гагарку стреляй.
Еще на море уточку,
На песочке лебедушку.

Машенька не боялась ее, а я боялась и каждый раз, выходя из баньки, должна была сделать усилие, чтобы не побежать со всех ног.

Есть что-то неуверенное в отношениях людей, знавших и любивших друг друга в юности и встречающихся, когда миновали в разлуке не дни и месяцы, а годы. Была ли эта разлука полным забвением или все же не переставало звенеть в душе воспоминание о том, что казалось забытым? Кто знает? Расстаются в юности, когда удивительно близки впечатления и размышления. Встречаются не очень или очень охладевшими и, сравнивая две жизни, поражаются, сочувствуют, негодуют.

Нужно было что-то переломить в душе, чтобы между Андреем и мной возникли прежние отношения — не прежние, другие, но которые были невозможны без прежних. То, что было между нами в Лопахине, теперь представлялось мне чем-то легким, тонким, похожим на первую сквозящую зелень вязов, когда ночью мы шли на Пустыньку после школьного бала.

Солнце заходило, бледно-желтый шар без лучей уже коснулся зубчатой линии кряжей, когда, посмотрев больную девочку лоцмана, жившего в крайнем доме посада, мы вышли и, одновременно вздохнув, пошли не налево — домой, а направо — вдоль пологого берега Анзерки.

Мы шли, и я думала, что в здешнем закате нет теплоты, как у нас... я мысленно чуть не сказала — в России, как будто здесь, в Анзерском посаде, была не Россия. Вокруг не лежал теплый, желтый отсвет уходящего дня, а лишь холодно сверкала каменистая тропинка, которая вела к солевым варницам, раскинутым среди извилистых оврагов.

Мы долго шли и молчали, но это было уже не прежнее молчание от усталости, а совсем другое. И Андрей, как всегда первый, назвал то, о чем мы молчали.

— Почему мы перестали переписываться, Таня? Ты обиделась на то письмо, в котором я упрекал тебя... Ты знаешь, о чем я говорю?

Это было сказано совершенно как в детстве, когда мы угадывали мысли друг друга.

— Знаю.

Он сдвинул шапку на затылок, и у него стал расстроенный, но решительный вид.

— Скажи, это правда, что, когда Глафира Сергеевна с мамой уехали из Лопахина, она поручила тебе... Это правда, что ты взяла на себя заботы о дяде?

Я остановилась от неожиданности. Но он взял меня под руку, и мы быстро пошли по неудобной, покатой тропинке к оврагам — туда, где виднелся черный навес на столбах и в глубине, под навесом, вспыхивало дымное пламя. Это были варницы.

— Конечно, ты была девочкой и они не должны были оставлять его на твое попечение. Но ведь ты предложила сама? Это правда? Я понимаю, ты предложила не из-за денег...

Андрей прикусил губу и с ужасом взглянул на меня. Я потом поняла, что он не хотел упоминать о деньгах и проговорился нечаянно.

— Я много думал о нем все эти годы. Я понял, что с преступной небрежностью относился к нему — преступной, потому что он искал среди нас того, кому мог бы передать свой труд, свои мысли. А я даже не знаю, где остались его работы? У тебя?

— Да.

Теперь варницы были недалеко, а через распахнутые настежь ворота, на фоне дымно-красного вырывающегося откуда-то пламени, можно было рассмотреть темные фигуры неподвижных людей.

— И ведь он много сделал для тебя, я часто думал об этом,— снова заговорил он.— И вот, когда он остался один... Разумеется, это вздор, что он умер из-за кого бы то ни было,— сказал он поспешно.— Но ты понимаешь... мне было очень трудно, и, когда ты не ответила, я решил больше тебе не писать.

Мы подошли к варницам. Под развалившимся навесом женщины качали воду из колодца, и вдоль деревянного желоба она бежала в варницу через дворик. Черный, мохнатый мужчина с палкой в руке стоял подле котла, в котором варилась соль, и все вокруг было озарено мрачным отблеском пламени.

Это было только начало нашего разговора, оборвавшегося потому, что я была так ошеломлена, что в первую

минуту не нашлась, что ответить Андрею. Зачем Глафира Сергеевна оклеветала меня? Она сочинила целую историю, будто я долго умоляла ее оставить Павла Петровича на мое попечение, уверяя, что буду беречь его. А потом, когда старый доктор после ее отъезда остался один, я ни разу даже не зашла к нему, и он тяжело болел и умер без теплого слова, без помощи и без друзей. Все это она узнала будто бы от одного лопахинца, который был возмущен моим поведением.

Поверила ли этой выдумке Агния Петровна? Оказывается, поверила. Это меня поразило! Все-таки Агния Петровна знала и любила маму, и я привыкла уважать ее, хотя и чувствовала, что в глубине души она слабый человек и легко поддается чужому влиянию. А Митя? Поверил ли Митя?

Не помню, когда еще в жизни я с подобной энергией обрушивалась на кого-нибудь, как в ту ночь — была уже ночь — на Андрея.

Я рассказала все — никогда не думала, что у меня такая хорошая память!

Я рассказала, как Глафира Сергеевна потребовала, чтобы Агния Петровна немедленно переехала в Москву, разумеется, чтобы развязать себе руки. Как, жадно поглядывая по сторонам, она снимала с антресолей всякую рухлядь и потом долго торговалась со старьевщиком, который даже плюнул, уходя, и сказал, что такую выжигу он встречает впервые. Как старый доктор молодел от надежды, освещавшей его лицо, когда он читал мне письмо, начинавшееся словами: «Дорогой Владимир Ильич». Как он был потрясен отзывом какого-то Коровина. Как ему стало «некогда жить» и как перед смертью он манил кого-то слабой рукой, но не было с ним той, кого он манил, а была только одинокая девочка, не знавшая, чем облегчить его последние минуты.

Я замолчала. У меня щеки горели, и было такое чувство, что температура не меньше тридцати девяти. Мы ничего не ели с обеда, я хотела сварить кофе (мы вернулись в баньку). Но Андрей почему-то не дал, и мы молча, грустно съели страшно соленую селедку, после которой так захотелось пить, что я все-таки сварила кофе.

Андрей заговорил, и наступила моя очередь слушать его — слушать и волноваться, потому что то, что он рассказал, глубоко взволновало и заинтересовало меня.

Мне думалось, что это очень трудно — найти объяснение тому, что произошло четыре года назад в семействе Львовых, но оказалось, что совсем нетрудно! Нужно было только одно: знать Глафиру Сергеевну, а Андрей знал ее теперь куда лучше, чем я. Это был конец прежней семьи во главе с Агнией Петровной и начало новой, в которой главную роль Глафира Сергеевна, разумеется, отводила себе. Тогда, в Лопахине, она лишь приступила к своей задаче, может быть, немного решительнее, чем требовали обстоятельства,— приступила и, совершив ошибку, немедленно свалила вину на меня. Андрей рассказывал об этом немного иначе. Я угадывала каждый его намек с полуслова. Он нарисовал портрет изменившейся, постаревшей — «не узнать!» — Агнии Петровны, и за этим «не узнать» я увидела Глафиру Сергеевну, уверенную, вежливо улыбавшуюся, в то время как глаза оставались неподвижно-мрачными на красивом, бледном лице: «Что касается ваших, мамочка, дел...» Теперь она вела дом — и вела, по словам Андрея, в высшей степени толково и властно. Митя слушался ее, только в одном вопросе она встретила решительное сопротивление и уступила после долгой борьбы. Глафира Сергеевна настаивала, чтобы он работал в частной лечебнице, которую открыл на Тверской какой-то крупный доктор-делец. Но Митя отказался, объявив, что будет заниматься наукой. Он обработал свои материалы по сыпному тифу, собранные во время войны, и выступил с докладом, очень хорошим, так что ему предложили работать сразу в двух институтах. И теперь Глафира Сергеевна даже довольна, что он решил заниматься наукой, потому что он быстро выдвинулся и в прошлом году защитил диссертацию.

— И ты знаешь, что о нем говорили? — с детским удивлением сказал Андрей, как будто ему самому никогда не пришло бы в голову то, что говорили о Мите.— Что со времени Мечникова никто еще не нарисовал с такой смелостью картину будущего развития медицинской науки.

В общем, оказалось, что Митя — талант, но Андрей думал, что из него тем не менее едва ли получится толк, потому что Митя разбрасывается и в конечном счете не знает, что ему делать со своим талантом.

Я слушала, и у меня было странное чувство, что Митя и Андрей поменялись местами, что Митя теперь стал младшим братом, а Андрей — старшим. Никогда прежде

он не сказал бы, что Мите больше всего «мешает то обстоятельство, что он прекрасный оратор» и что «у него слишком много времени уходит на шум».

— Но постой,— вспомнил Андрей.— Ведь он же непременно хотел найти тебя в Ленинграде.

— Зачем?

— Я пересказал ему одну из дядиных лекций — помнишь, об Ивановском, и он хотел узнать, сохранились ли у тебя дядины бумаги.

Он замолчал. На окне стояла консервная банка, из которой торчали пробирки. Он машинально взял одну из них и посмотрел на свет. Потом положил обратно, но остался у окна. Это продолжалось долго — он стоял и смотрел в окно, за которым из белого сумрака северной ночи уже вставал рассеянный утренний свет, а я сидела на табурете, у стола, и молча рисовала рожи.

Андрей обернулся. У него было веселое лицо с сияющими глазами, удивительно светлыми, как всегда, когда он волновался.

— Ах, не все ли равно? — сказал он.— В конце концов что нам до Глафиры Сергеевны? Мне стыдно, что я мог поверить ей, но ты понимаешь...

Мне захотелось поцеловать его, но я только встала и протянула руки.

Мы вышли. Розовое утро вставало над горизонтом, и все вокруг — деревенская улица, поднимающаяся в гору, церковь, и церковная ограда, и женщины, развешивающие на ограде белье,— все было окрашено в розовый цвет всех оттенков — от нежного, чуть тронувшего неподвижные, воздушные облака, до темного, начинавшегося у наших ног и уходящего к далекой зубчатой линии кряжей. Я взглянула на Андрея: полузакрыв глаза, подняв голову, улыбаясь с детски торжественным, добрым выражением, он смотрел туда, где поднимался утренний, чистый, как будто умывшийся шар восходящего солнца.

Большой разговор
(Продолжение)

Все, что я услышала от Андрея, показалось мне каким-то «сдвинутым» — фотографы называют это «не в фокусе». Должно быть, и вообще наши отношения с той минуты, как мы встретились в Анзерском посаде, были «не

в фокусе», хотя мы, занятые с утра до вечера, лишь смутно замечали это. Теперь все стало на место.

Новых больных давно не было, старые поправлялись. Теперь мы с Андреем довольно часто гуляли, и он, можно сказать, показывал мне Анзерский посад. Почти все дома были украшены резьбой, коньками, теремками, и на некоторых были ставни, расписанные необычайно искусно. Андрей успел познакомиться с северным народным искусством и так интересно рассказывал о нем, что можно было заслушаться, тем более что я в этих вещах всегда разбиралась слабо. Он собирал коллекцию — прялки, покрытые орнаментом из звездочек и крестиков, переходящих в фигурки сказочных птиц, костяные ящички с крышками, вырезанными как тончайшее кружево. Теперь ему вдруг вздумалось подарить всю эту коллекцию мне, но я взяла только вышитое полотенце, понравившееся мне своим простым, изящным рисунком.

Словом, Анзерский посад был настоящим «музеем прошлого», но за его фасадом, украшенным искусным орнаментом, был, как сказал Андрей, куда более сложный орнамент запутанных отношений, недоброжелательства, злобы, обид. Полгода назад здесь организовалась «артель по совместному рыбному лову». И какие только несчастья не обрушивались на эту артель! То бесследно исчезали лучшие переметы, то сельсовет настаивал, чтобы артель отдала один карбас для почты. Увеличить улов в два-три раза можно было только одним способом: достать моторный карбас, и Андрей с большим трудом выхлопотал в Архангельске этот «трактор рыбных хозяйств». Но в разгар путины мотор оказался сломанным, хотя артельщики берегли его как зеницу ока. Это была война, последовательная, беспощадная, и выиграть ее было трудно, тем более что Митрофан Бережной, известный на севере строитель судов, пользовался значительным влиянием в сельсовете. У него было по меньшей мере вдвое больше рыболовецкой снасти, чем у всей артели, и он давным-давно в моторном карбасе отправлял в путину своих сыновей.

О чем мы только не говорили с Андреем! Не год и не месяц — нет, каждый день, прошедший с тех пор, как в пролетке с откинутым верхом Андрей отправился в «будущее», был рассказан. И мне все казалось, что еще продолжается, то обрываясь, то возникая, наш недавний ночной разговор.

Иногда при этом разговоре присутствовала Машенька, и смутная догадка, что она недаром прислушивается к нему, приходила мне в голову, когда я смотрела на это покорное, нежное лицо, на бледно-розовые, горящие слабым румянцем щеки. И я вспомнила, как Машенька расстроилась, чуть не упала в обморок, когда Андрей делал интубацию и трубочка вместе с брызгами кашля полетела ему прямо в лицо. Потом он попросил Машеньку посветить — он осматривал мальчику горло,— и свечи озарили такое взволнованное лицо, с такими заботливо мигающими, полными тревоги глазами! Впрочем, в нашем дружеском разговоре не было ничего, что Машенька не могла бы слышать.

Больше ни слова не было сказано о Глафире Сергеевне. Андрей лишь упомянул, что он написал Мите о нашей встрече, предупредив, что через несколько дней я вернусь в Ленинград.

— В конце июля Митя будет в Ленинграде на съезде,— объявил он.— И ты сама расскажешь ему эту историю. Я написал ему только: «Ты услышишь то, что тебя поразит». Но вот о чем я хотел предупредить тебя. Ему будет очень тяжело, потому что он... Ты не представляешь себе, как он ее любит!

Я кивнула.

— Тем более, он прекрасно поймет, что теперь между мной и Глафирой Сергеевной не может быть никаких отношений. И вот еще. Я немного боюсь, что он выслушает тебя и потом спросит: «Но где же сейчас находятся бумаги Павла Петровича? Они сохранились? Не кажется ли вам, что давно пора вернуть эти бумаги родным?»

Я сказала холодно:

— Ну что ж! На этот вопрос не трудно ответить.

— Без сомнения. Ты ответишь, и вы поссоритесь. А мне... Понимаешь, я очень не хочу, чтобы вы ссорились.

Нельзя сказать, что работа, которую поручил мне Николай Васильевич, не удалась, но результаты получились странные, причем не только с микробиологической, но и просто с логической точки зрения.

В самом деле, Николай Васильевич сказал мне перед отъездом: «Некогда я задумывался над стрептококками, усиливающими дифтерию. А теперь подумайте вы». Но, согласно моим опытам, стрептококк вовсе не усиливал

дифтерию. Напротив, можно было предположить, что стрептококк и палочка, вызывающая дифтерию, находятся в плохих отношениях и думают только о том, как бы причинить неприятность друг другу. Впрочем, из многих стрептококков это неизменно случалось только с одним. Зато он не только не усиливал, а понижал и даже в некоторых случаях останавливал рост дифтерийного микроба...

Страшное известие о крымском землетрясении донеслось до Анзерского посада; в газетах каждый день стали появляться корреспонденции, фото, рассказы очевидцев. Андрей тревожился о судьбе своего товарища, работавшего в ялтинской больнице, и успокоился, лишь получив от него телеграмму. Трудно было предположить, что и в Ленинграде может произойти землетрясение, и еще труднее, что мое присутствие может его предотвратить, но я, сама не зная почему, стала торопиться домой.

Вот так-то обстояли дела, когда однажды вечером в баньку, где, надев на ночь халатик, я переписывала свою работу, быстро зашел Андрей, положил передо мной письмо, сказал каким-то глухим голосом «спокойной ночи» и вышел. Сперва я подумала, что это письмо из Ленинграда. Нет, на конверте было только написано: «Тане». Я разорвала конверт.

«Милая, хорошая, дорогая Таня, мне страшно не только солгать тебе, но даже подумать о том, что ты можешь мне не поверить,— вот почему я не хочу уверять, что всегда любил тебя, еще в Лопахине, хотя мне кажется, что любил. Я спрашивал себя: а если бы мы не знали друг друга с детских лет и здесь, в Анзерском посаде, встретились впервые? Что изменилось бы? Только одно! Я не терзался бы так долго, проверяя себя, боясь принять за любовь старую дружбу. Случалось, что я с испугом и изумлением останавливался перед этим чувством — мне казалось, что ты никогда не полюбишь меня. Но были и минуты неожиданного счастья, когда я был почти уверен, что не нужно никакого письма, что еще одно слово, и ты сама скажешь, что веришь в мою любовь и разделяешь ее. Но время шло, и наконец мне стало страшно, что ты уедешь, а мы так и не скажем друг другу этого последнего слова. Теперь жду его от тебя.

Всегда твой Андрей».

Я прочитала это письмо и, как будто за последней страницей снова шла первая, не останавливаясь ни на секунду, прочитала снова. Изумление, растерянность, неловкость, перемешанная с сожалением, налетели и закружились в душе. Мы были друзьями, и это была не мимолетная, а верная, старая дружба, когда, ничего не скрывая, можно рассказать о самых затаенных мечтах. Почему же мне так трудно пойти к нему и сказать, что я смотрю на него как на друга? Потому, что Андрей — добрый, милый, стремящийся все на свете объяснить себе и другим, Андрей, глазами которого я с детства привыкла смотреть на самое главное в жизни, сразу окажется где-то далеко, и я расстанусь с ним навсегда.

Я вскочила и стала ходить из угла в угол, крепко сжимая письмо в руке.

«Так, может быть, ты любишь его?»

Разумеется, если бы я любила кого-нибудь прежде, можно было бы сравнить свои чувства тогда и теперь. Но я только придумывала разные теории — вроде той, например, которую часто развивала Нине, что любовь — это такой же талант, как художество или наука. Нельзя сказать, что я не могу больше жить без Андрея, хотя, без сомнения, буду смертельно скучать, когда мы расстанемся, да еще на неопределенное время. Здесь, в Анзерском посаде, мы расставались на два-три часа, и меня уже тянуло посмотреть, что он делает и не нужно ли ему помочь, и в эту минуту он как раз приходил ко мне с этой же мыслью! Но ведь этого все-таки мало, чтобы сказать ему: «Да».

И мне представилось, что я вхожу в избу, где ночевал со времени моего приезда Андрей,— прежде он жил и работал в баньке,— и останавливаюсь в дверях с протянутыми руками. О, с какой нежностью он сжимает их, целует и прикладывает к горящим щекам! И мы начинаем говорить — быстро, бессвязно, неизвестно о чем, но о том, что прежде касалось только его или меня, а теперь касается нас обоих. Мы говорим о том, как станем работать в этой маленькой баньке и как со временем она станет настоящей лабораторией,— разве великие открытия не приходят из глухих деревень? У меня нет никого, кроме отца, который бесконечно далек от меня, а теперь у меня будет муж. Муж — какое странное слово!

Утро вставало над Анзерским посадом, а я еще возилась со своими глупыми мыслями, которые то вспыхивали, то гасли в темноте, как освещенные пламенем тени.

Так ничего и не придумав, но твердо зная, что сейчас Андрей увидит меня и поймет, что я пришла, чтобы сказать ему: «Нет», я подошла к избе, в которой он ночевал, и негромко постучала в окошко. Никто не ответил, только в сердце, в ответ на этот осторожный стук, отозвалось такое же осторожное: «Нет».

«Спит»,— подумалось мне. Но Андрей всегда вставал очень рано. Я постучала еще раз, потом поднялась на крыльцо, заглянула в сени. Машенька, бледная, расстроенная, стояла в сенях.

— Что случилось?

— Андрей Дмитриевич заболел.

— Что с ним?

— Не знаю. Температура очень высокая. Сорок.

Это было ничуть не похоже на дифтерию, которая случается у взрослых очень редко и протекает так легко, что врачи часто даже путают ее с катаральной ангиной. У Андрея не было кашля, горло почти не болело, он свободно глотал, и вообще не было ничего, кроме головной боли, сменявшейся время от времени пугавшим нас с Машенькой возбуждением. Но температура каждый вечер поднималась до сорока, а к утру резко падала, и это было плохо, потому что у Андрея, несмотря на его сильное, плотное сложение, оказалось маленькое — значительно меньше нормального — сердце. Он с трудом переносил жар, и я думала, что по этой причине. Впрочем, в течение первых трех дней не произошло ничего особенного, кроме страшного спора, когда мы с Машенькой напали на Андрея, чтобы он позволил впрыснуть ему сыворотку, а он не дал. Три года назад на практике под Батуми он впервые захворал малярией, повторявшейся с тех пор каждое лето. «Это малярия»,— упрямо повторял он, а когда мы начали доказывать, что он легко мог заразиться хотя бы от того мальчика, которому делал интубацию в день моего приезда, он смеялся и советовал нам заняться теорией вероятности. В конце концов я все-таки впрыснула ему сыворотку, но лишь на четвертый день, когда он потерял сознание.

Не раз мне приходилось слышать бред: мама, например, несла околесицу при самом незначительном повышении температуры. Но такого странного бреда я не слышала еще никогда.

То Андрею казалось, что он на вокзале, поезд опаздывает, а нужно спешить. То он ждал экзамена — сейчас вызовут, а он не готов, не успел прочесть последнюю страницу. Но все это было совсем не то, чего он действительно ждал, когда возвращалось сознание.

— Опять наболтал? — приходя в себя, устало спрашивал он, и у меня сердце разрывалось, когда я встречалась с этими большими глазами на похудевшем лице.

«Ты уедешь, а мы так и не скажем друг другу последнего слова»,— вот что я читала в его тревожном, неуверенном взгляде.

Но что я могла ответить, если именно теперь, в эти ночи, сидя у его постели, в душной избе, при слабом свете лампады, я поняла, что хотя он дорог мне, но все-таки это не любовь, не любовь!

И мне чудилось, как по зимней, освещенной луной дороге я еду в санях — не знаю с кем. С Митей? Может быть! С тем, кого я люблю. Тихо вокруг, лес притаился под снегом. Мы едем — куда? Не все ли равно! Лишь бы долго еще звенел колокольчик да снежный дымок вылетал из-под ног лошадей. Лишь бы долго еще мелькали по сторонам дороги деревья, мохнатые, полусонные, под голубым светом луны. Лишь бы долго-долго еще он был рядом со мной. Заиндевевшая полсть сползает с колен, он поправляет ее, кутает мои ноги: «Что, радость, счастье мое? Озябла? Что молчишь? Скажи что-нибудь. Ты любишь меня?» А я только смеюсь и говорю ему «нет», а сама так люблю, что сильнее, кажется, любить невозможно...

— Вы устали, Таня? Я посижу у Андрея Дмитриевича, а вы подите к себе.

И все исчезало. В темной избе я сидела у постели больного, смутно белели на стуле вата, бинты. Машенька, бледная, тонкая, бесшумная, осторожно будила меня.

Не знаю, когда она спала,— мне казалось, что совсем не спала. В посаде было много работы, приходилось следить за выздоравливающими, вести прием. Машенька помогала мне, но это была лишь тень той энергичной, внимательной, нежной, мягко-настойчивой Машеньки, какой она была у Андрея. Уходя от него, она переставала су-

ществовать. Она двигалась, разговаривала, ела, пила, но это были движения и слова автомата.

Накануне приезжал врач из В—ска, долго осматривал Андрея и сказал, что у него действительно малярия, соединившаяся с катаральной ангиной. Я не возразила, только пожала плечами, и в ответ он накричал на нас за то, что мы до сих пор не отправили Андрея в больницу, точно В — ск был под боком и не нужно было везти тяжелобольного больше ста километров по неудобной дороге.

— Нужно телеграфировать родным,— были единственные разумные слова, которые я услышала от этого человека.

И я уже совсем собралась телеграфировать Мите, когда Андрею вдруг стало гораздо лучше.

— Экой усач,— добродушно сказал он о в—ском докторе.— Вы его накормили?

И стал шутить над нашими опытами, по которым получалось, что при помощи ангины можно лечить дифтерию.

— Но, чур, подопытного животного из меня не делать,— смеясь, сказал он.— Для этого мы слишком давно знакомы.

Он выпил чаю, съел сухарь и яйцо и потребовал, чтобы я рассказала о наших больных. Температура упала к вечеру, впервые до нормы. Словом, это был совсем хороший день, и я подумала, что поступила очень умно, отложив телеграмму до завтра.

В девятом часу Андрей задремал, и Машенька стала гнать меня, потому что прошлую ночь я так расстроилась из-за в—ского доктора, что не спала ни минуты. Помнится, вернувшись в баньку, я подумала: чего больше хочется — есть или спать? И решила, что спать.

Должно быть, я очень устала за эти тревожные дни, потому что прежде никогда не засыпала так скоро — точно упала в мягкую, темную пропасть.

Так было и в этот вечер. Но кто-то стал кричать надо мной, едва я уснула,— вот что огорчило меня! Кто-то ворвался в баньку, бросился ко мне и сказал взволнованным голосом: «Проснитесь! Он умирает!»

Я открыла глаза. Машенька стояла подле меня, босая, в платке, накинутом на голые плечи.

— Умирает! Ах, умирает!

— Что случилось?

— Умирает! — повторяла она.— Ах, плохо совсем! Идите, идите!

Не знаю, что сталось со мной в эту минуту. Почему-то я так сильно толкнула Машеньку, что она чуть не упала, потом побежала на улицу и, вернувшись с порога, стала искать в чемодане новую иглу для шприца.

Потом вспомнила, что отнесла ее Андрею еще третьего дня, и бросилась к двери. Халатик, в котором я спала, зацепился за торчавший в скважине ключ, я рванула халатик...

Андрей лежал без подушки, откинув голову, вытянувшись, с полузакрытыми глазами. Уже наступило утро — мне лишь показалось, что я почти не спала,— и как страшно выступало его побелевшее лицо в этом резком утреннем свете!

В избе был беспорядок, одеяла лежали на полу,— очевидно, хозяйка собралась застелить и не успела. Теперь она стояла в стороне. Ребенок заплакал. Она торопливо взяла его из кровати.

— Андрей, что с тобой? Тебе дурно? Открой глаза! Да очнись же! Ты слышишь меня?

Как будто в моей воле было остановить то страшное, что приближалось к нему и уже таилось в этих брошенных на пол одеялах, в том, что хозяйка, сурово потупясь, качала ребенка,— так я гладила и целовала Андрея.

— Дорогой мой, радость моя! — Мне было все равно, что говорить, лишь бы это были самые ласковые слова на свете.— Вздохни глубже! Ты слышишь меня? Да разве я позволю, чтобы тебе стало хуже! Машенька, глупая, напугала меня.

Нужно было немедленно впрыснуть камфору, и я закричала Машеньке, чтобы она приготовила шприц. Но у нее так дрожали руки, что я вырвала шприц и стала готовить сама, очень медленно, потому что у меня тоже дрожали руки. Но все же, хотя и неловко, я впрыснула ему камфору.

— Отходит! — перекрестившись, прошептала хозяйка.

Не помня себя, я накинулась на нее и на Машеньку и выгнала их, а сама распахнула окно и встала на колени у постели Андрея.

Что еще сказать ему? Что сделать, чтобы он очнулся, открыл глаза, чтобы не белела так страшно мертвая, точно очерченная мелом челюсть?

— Ты слышишь меня? Мне было трудно ответить на твое письмо, потому что я еще никогда никого не любила. Я не спала до утра, когда прочитала его, все думала о том, что ведь у меня нет никого, кроме тебя! Я люблю тебя. Ты слышишь? Я останусь с тобой!

Андрей вздохнул. Веки дрогнули, поднялись. Он услышал меня. Мне показалось, что он улыбается, и я залилась слезами. Они закапали прямо на лицо Андрея, я испугалась, вытерла, но против моей воли они продолжали капать все время, пока я перекладывала его, ставила градусник, слушала сердце, которое с каждым ударом стучало все громче, точно вернувшись откуда-то издалека.

Весь следующий день я провела не отходя от Андрея; у него была такая слабость, что приходилось кормить его с ложечки — он не мог поднять руку. Болтливость вдруг овладела им, он говорил, говорил чуть слышным голосом и тут же засыпал на полуслове. Я дала ему воды, холодной, чистой, прямо из колодца, он выпил несколько ложечек и сказал со счастливой улыбкой: «Как вкусно!» Решительно все приводило его в умиленное состояние; на маленькую дочку хозяйки он смотрел влажными от радости глазами. Это было выздоровление. Согласно учебнику инфекционных болезней Розенберга, над которым я сидела еще совсем недавно, после опасного кризиса часто наступает «сверхчувствительное состояние духа».

Ни эти дни, ни потом, когда Андрей стал садиться, у меня не было ясного представления о том, что же, собственно говоря, произошло между нами. Ничего не произошло! Просто я растерялась, увидев его лицо с проступившей челюстью,— насмотрелась на эти челюсти в анатомическом театре! — и наговорила со страху множество ласковых слов. Но что-то произошло — иначе почему же теперь, едва я входила к нему, мы оба начинали чувствовать какую-то перемену, заставлявшую нас как бы немного стесняться друг друга? Вольно или невольно, но я обещала Андрею, что стану его женой, и это обещание приходило ко мне — именно приходило, как человек,— каждую ночь, едва я оставалась одна. И два «я» — одно разумное, хладнокровное, а другое порывистое, взволнованное — начинали вести между собой разговор.

«Ты знаешь Андрея много лет,— говорило первое, разумное «я».— Благороднее, добрее, умнее его ты еще никого не встречала».

«Но ведь придет день,— я робко возражала себе,— когда мне придется сказать Андрею, что это лишь полуправда?»

«Проходят годы, и полуправда становится правдой. Вы будете идти вперед, поддерживая друг друга, учиться и работать. А Митя?» — вдруг подумалось мне.

И мне вспомнилось, как я провожала Митю к Глашеньке, когда он приехал в Лопахин после гражданской войны, и как, узнав его, она крикнула низким, зазвеневшим голосом: «Митя!» — и как потом я бежала по спящим пустынным улицам... «Когда, переправившись через Анзерку, я без сил лежала на мокром песке и близость гибели прогнала все, чем я жила до сих пор,— думалось мне,— почему я стала думать о Мите?»

Пора было возвращаться в Ленинград, я бы давно уехала, если бы не болезнь Андрея. В середине августа должен был состояться в Ленинграде Всесоюзный съезд бактериологов и санитарных врачей, и мне хотелось побывать на нем, тем более что Николай Васильевич должен был выступить с докладом.

На письмо Андрея Митя ответил, что будет очень рад услышать от меня «то, что его поразит». Он собирался на съезд и спрашивал, буду ли я в середине августа в Ленинграде.

Но были и другие, не менее важные поводы, заставлявшие меня торопиться. Николай Васильевич должен был договориться в деканате, чтобы моя командировка считалась практикой между четвертым и пятым курсом. С обычной беспечностью он не сделал этого, и теперь, как мне писала Оля Тропинина, мой перевод на пятый курс встретил неожиданные затруднения. Давно пора было навестить отца, который писал, что «Авдотья Никоновна тяжело больна и все надеется, что ее вылечит Таня». Необходимо было съездить в Лопахин и по другой причине: я должна была привезти и отдать Мите чемодан с бумагами старого доктора, хранившийся у отца.

Машина из В—ска должна была прийти рано утром, и, уложившись, я обошла всех своих пациентов. Андрей сидел на постели в белой рубашке с открытым воротом, из которого торчала трогательная похудевшая шея. Ежик его, всегда аккуратно подстриженный, торчал во все стороны.

— Жаль, что мне не удастся приехать на съезд,— сказал он.— Правда, Молчанов (это была фамилия заведующего здравотделом) мог бы отпустить меня в августе. Ведь я все-таки болел тяжело.

— А может быть, согласится?

— Едва ли... Таня,— помолчав, продолжал Андрей,— мы с тобой еще не говорили... как все будет. Ты понимаешь, о чем я говорю?

Я ответила спокойно:

— Да, понимаю.

— Но вот что я хотел сказать тебе. Меня мучает одна загадка, которую я, может быть, уже разгадал. Ведь ты...— он волновался,— ведь ты ответила на мое письмо, правда?

— Ну, конечно.

— Понимаешь, мне пришло в голову, что так ласково ты никогда не говорила со мной до той ночи. Скажи,— и он взглянул мне прямо в лицо,— ты испугалась, что я умираю, и потому сказала мне...

— Нет.

Машенька зашла, извинилась, убежала, и мы заговорили о чем-то другом. Не знаю, заметил ли Андрей, что у нее заплаканные глаза. Должно быть, заметил, потому что задумался, не выпуская из рук мои руки.

— Знаешь, о чем я думаю? — сказал он, когда я наконец стала прощаться.— Что я все-таки плохо знаю тебя. Вот сейчас, например, мне все кажется, что ты расстроена, не уверена, говоришь и не слышишь себя. Я ошибаюсь?

— Конечно.

В избе никого не было, мы обнялись, и я крепко поцеловала Андрея. Никого мне не нужно было, кроме него,— такого милого, доброго, красивого,— я все время забывала, что он очень красивый. Конечно, я люблю его. Как же еще назвать ту теплоту в моем сердце, которая принадлежала только Андрею и которую я начинала чувствовать, едва вспоминала о нем?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ

Возвращение

Не знаю почему, вернувшись в Ленинград, я никому не сказала, что выхожу замуж. Может быть, потому, что это выглядело немного смешно: поехала на эпидемию и

через месяц вернулась невестой. Но была и другая причина: еще в поезде все происшедшее между мной и Андреем в Анзерском посаде отодвинулось от меня, но не назад, а вперед, точно мое обещание стать его женой должно было осуществиться лет через десять. Это беспокоило меня, но что я могла поделать со своей глупой душой? «Вот это — сейчас,— думала я, перебирая свои дела, которых накопилось множество за то время, что я не была в Ленинграде,— а это — потом». Сейчас мне нужно явиться с отчетом на кафедру, с оправданиями к декану. На открытом собрании комсомольской организации института мне предстояло в самое ближайшее время выступить с докладом о поездке в Анзерский посад. Среди этих дел и забот мне смутно мерещилась встреча с Митей, если он приедет на съезд.

Это было открытое собрание комсомольской организации, но пришел почти весь курс — только что съехались после каникул,— и я инстинктивно почувствовала, что непременно должна коснуться тех вопросов, которые не могли не волновать студентов, кончающих медицинский институт. Накануне я заходила в комитет к Леше Дмитриеву, но он, не знаю почему, снова отложил разговор, который должен был состояться еще до моей поездки. Это тоже взволновало меня. Дмитриев вел собрание, и я поймала себя на том, что во время доклада несколько раз с волнением обернулась к нему.

У меня был план, и я говорила по пунктам, кажется, связно, а между тем товарищи потом сказали, что получилось несоответствие между научной и общественной стороной доклада. Я сама почувствовала это, когда вдруг поняла, что моих товарищей, студентов пятого курса, больше интересует работа молодого врача на такой далекой окраине, как Анзерский посад, чем меры борьбы с дифтерией, о которых можно было прочесть в учебнике инфекционных болезней.

Это стало окончательно ясно, когда, отвечая на какой-то вопрос, я стала говорить об Андрее. Я сделала это с невольным чувством, что все сейчас догадаются, почему я покраснела, смутилась, почему говорю о «местном враче» в каком-то неестественно свободном тоне. Но ничего не случилось, и я вскоре совершенно овладела собой. Я рассказала о том, что Андрею приходится заниматься далеко не одной медициной, но, например, и делами рыболовецкой артели. Я упомянула о Митрофане Бережном,

сидящем над книгами времен Алексея Михайловича, глубоко убежденном в полной незыблемости своего страшного мира.

Вечером я зашла в ячейку, и Леша Дмитриев сказал, что всем очень понравилось мое выступление. Я спросила:

— А наш разговор?

И он ответил улыбнувшись:

— А теперь разговора не будет.

Молодой китаец, спускавшийся с лестницы на кафедре микробиологии,— это был приемный сын Николая Васильевича,— добродушно улыбаясь, сказал, что отец занят, у него московские гости. Я пошла в деканат, вернулась — гости еще не ушли. Я получила стипендию, забежала в профком, узнала новости и среди них одну неприятную: что у Лены Быстровой очень болен отец. Гости сидели и, судя по голосам, доносившимся из-за двери, не собирались скоро уходить. Что делать? В маленькой комнатке перед кабинетом Николая Васильевича стояли его коллекции, и я в сотый раз стала рассматривать каких-то странных кукол с опахалами и костяных обезьян. Вдруг дверь распахнулась, и Заозерский, оживленный, с растрепанной бородкой, в новом костюме, в белой рубашке, открывшейся на полной груди, вошел и, обернувшись, крикнул с порога:

— И будет прав, потому что это типичнейший нэпман от науки... А, путешественница! — сказал он, увидев меня.— Ну, как дела? Давно вернулась?

Он называл меня то на «вы», то на «ты».

— Вчера, Николай Васильевич. Я вам писала.

— Получил и ничего не понял... Вот извольте,— сказал он, взяв меня за руку и ведя в кабинет.— Сия девица утверждает, что ею открыт стрептококк, который подавляет палочку Леффлера. Каково, а?

В кабинете было накурено, дым медленно уходил в открытое окно, и везде стояли цветы — Николай Васильевич сам покупал и ему постоянно дарили цветы. Круглый стол, на котором обычно лежали в беспорядке журналы и книги, был накрыт, и за этим столом, уставленным закусками, вином и цветами, сидел, улыбаясь, Митя. Направо и налево от него были какие-то курившие, смеявшиеся и уставившиеся на меня с любопытством люди.

Но почему-то с полной отчетливостью я увидела только Митю...

— Рекомендую,— говорил между тем Николай Васильевич,— способная девушка, возжелавшая, несмотря на мои уговоры, вкусить от горького плода науки. Только что вернулась с дифтерийной эпидемии в Анзерском посаде. Ее зовут Таня,— объяснил он, точно я была маленькая и стеснялась назвать себя.— Мы слушаем вас. Что вы думали сделать и что сделали? Ну-с?

Я смутилась и стояла, не поднимая глаз, но, когда Николай Васильевич произнес мое имя, быстро взглянула на Митю. Он поставил бокал на стол, поспешно встал и посмотрел на меня, вежливо улыбаясь. Не узнал? Но это продолжалось не больше минуты. Я заговорила, и, как бы не веря глазам, он стал всматриваться... Потом отвел взгляд, и на лице появился холодный оттенок.

— Почти ничего не сделала, Николай Васильевич. Отвезла сыворотку и помогла местному врачу впрыснуть ее больным и здоровым. Вот и все.

— Молодец! — с удовольствием сказал Николай Васильевич.— Ай, девица! Хороша, а?

— Что касается палочки Леффлера,— продолжала я,— то вы посоветовали мне...

И, повторив слово в слово то, что советовал мне Николай Васильевич, я рассказала, каким образом его предположение привело меня к обратному результату. Сперва голос немного дрожал и делалось то холодно, то жарко, но потом я совершенно успокоилась и, кончая, подумала, что лучше рассказать было почти невозможно. Впрочем, однажды меня уже обмануло подобное чувство!

Меня слушали внимательно, особенно Митя. Зато Николай Васильевич совершенно не слушал, только посматривал на гостей и с довольным видом похлопывал себя по колену.

— Ну что, какова? — спросил он, когда я замолчала.— Вот тебе и дивчина! Выходит, стало быть, что палочка Леффлера...

И в две минуты он доказал, что мне не удастся подтвердить результаты, если опыт будет поставлен более точно. Не глядя на меня, Митя стал возражать Николаю Васильевичу, и загорелся спор, да такой, как будто оба

только и ждали удобного случая, чтобы с ожесточением наброситься друг на друга.

Сначала я кое-как следила за спором, потом запуталась и только ждала с ужасом, что сейчас Николай Васильевич или Митя обратятся ко мне и окажется, что я просто невежда.

Обо мне спорщики забыли так надолго, что, постояв немного посреди комнаты, я тихонько отошла и присела на ручку кресла.

Они спорили, а я смотрела на Митю, и впервые мне пришло в голову, что я почти не знаю его. В самом деле, если бы до сих пор мне никогда не случалось встречаться с ним, что я сказала бы об этом человеке?

Нижняя часть его лица была решительная, даже жесткая, а глаза задумчивые, с рассеянным, добрым выражением. Он мало изменился после Лопахина, хотя пополнел и стал казаться еще выше. По-прежнему он держался по-военному прямо, теперь, когда он был в штатском, эта манера стала еще заметней. В нем было что-то отталкивающее и одновременно притягивающее.

Но самым главным в Мите была все-таки энергия, которая в ту минуту, когда я следила за ним, выражалась, во-первых, в том, чтобы победить Заозерского в споре, а во-вторых, чтобы не поссориться с ним. Несколько раз он был готов вспылить и удержался с трудом.

Только одно я поняла в этом затянувшемся споре: Митя намеревался выступить на съезде против какого-то профессора Крамова, а Николай Васильевич заклинал Митю не выступать.

— Это не человек, а елейный удав,— сказал он,— который хоть через десять лет, но подберется и непременно задушит.

Наконец Николай Васильевич вспомнил обо мне.

— Таня, садитесь к столу,— ласково сказал он.— Наливки рюмочку! Наша, чеботарская, земляки прислали!

Я поблагодарила и отказалась.

— Да вы не чинитесь! Вы думаете, профессора, то да се. А мы не профессора, мы тоже студенты, только старые. Учимся, спорим, шутим, а где лучик света блеснет, туда и бросаемся, ей-же-ей! Як барани!

Все засмеялись, и я тоже, но все-таки не села к столу, тем более что московские гости собрались уходить. Николай Васильевич крепко пожал мне руку и велел завтра принести отчет и работу на кафедру.

Митя притворился, что не узнал меня! Даже об Андрее не спросил, хорош! Положим, он не знает, что Андрей болел. Все равно мог бы поинтересоваться братом. Ладно же! Вот что я сделаю: бумаги Павла Петровича отправлю из Лопахина в Москву ценной посылкой, а личные письма оставлю себе. Павел Петрович велел сжечь эти письма, так что я не обязана отдавать их кому бы то ни было и тем более Мите! Мите, который думает, что я нанялась ухаживать за старым доктором, а потом отправила его в Инвалидный дом! Мите, который уверен, что за деньги я продала свою самую дорогую привязанность в жизни! Удивляясь тому, что хотя я рассердилась на Митю, но в глубине души была довольна, что он не понравился мне, я нашла казначея нашей коммуны, отдала ему стипендию и побежала домой.

Должно быть, мы вышли из института одновременно, только я — из ворот, а Митя — из главного здания, потому что он вдруг оказался в двух шагах позади меня.

— Одну минуту!

Я подождала, и мы пошли к площади Льва Толстого.

— Мне было неудобно говорить с вами у Николая Васильевича,— сказал он вежливо, но, как мне показалось, с оттенком презрения.— Вам передавали? Весной я заходил к вам в общежитие.

— Нет, не передавали.

Я так и кипела.

— Признаться, вас трудно узнать. В Лопахине вы были маленькой девочкой, а теперь... Необыкновенно переменились и похорошели...

Нужно было ответить с ироний: «Благодарю вас». Но ирония не получилась бы, потому что я была очень сердита.

— Вы, кажется, намеревались о чем-то говорить со мной? Полагаю, моя наружность не относится к теме этого разговора?

Он искоса взглянул на меня.

— Да, я хотел говорить с вами. Вы находились при Павле Петровиче в последние дни его жизни. Скажите, когда он скончался, у кого остались его рукописи? У вас?

— Да.

— А вы не думаете,— и Митя слово в слово сказал ту самую фразу, которой так боялся Андрей,— что давно пора вернуть их родным?

Я ответила:

— Вы правы. И я сделала бы это, если бы не боялась, что родные Павла Петровича отнесутся к его рукописям с таким же возмутительным пренебрежением, как и к нему самому.

У меня нечаянно получилось так складно. Впрочем, от злости у меня всегда появляется дар говорить совершенно свободно. Митя изумился:

— Что такое?

— Сейчас объясню,— ответила я хладнокровно.— Но прежде позвольте узнать, почему вы не спрашиваете о здоровье вашего брата? Или вас не интересует, что неделю тому назад он был при смерти и что, уезжая, я оставила его еще в постели?

Это была минута, когда я убедилась в том, что Митя очень любит Андрея. Он побледнел, остановился и вдруг так сильно схватил меня за руки, что я чуть не закричала от боли.

— Как при смерти?

— Теперь ему лучше, гораздо лучше!

— Что с ним было? Дифтерия?

— Если дифтерия, то какая-то не типичная,— ответила я, чувствуя, что мне приходится отвечать за болезнь Андрея, и сердясь на себя за это глупое чувство.— Он сам предполагал малярию.

— Но как он сейчас?

— Поправляется! Встанет через неделю.

— Почему же он не написал мне о своей болезни! Я получил от него письмо перед самым отъездом.

— Это какое письмо? — спросила я сердито.— В котором он написал: «Ты услышишь то, что тебя поразит»?

Мы давно прошли мимо моего общежития и с площади повернули на улицу Красных Зорь — так Кировский проспект назывался в двадцатых годах.

Последние слова я подчеркнула, и Митя, помолчав, взглянул на меня сверху вниз — в буквальном и переносном смысле.

— Слушаю вас.

Мы как-то не ко времени поговорили о болезни Андрея, и теперь было трудно найти прежний сердитый, уверенный тон, помогавший мне держаться свободно. Но это «слушаю вас» было сказано таким равнодушным голосом, что я опять закипела:

— Начнем с того, что мне бы хотелось, чтобы при нашем разговоре присутствовала Глафира Сергеевна.

— Вот как?

Митя вздрогнул или мне показалось? Впрочем, сразу же взял себя в руки.

— Ну что же, это нетрудно устроить,— сказал он.— Глафира Сергеевна со мной в Ленинграде и даже (он взглянул на часы) сейчас ждет меня в гостинице. Отложим наш разговор на десять минут, и вы можете при ней изложить то, чем намерены меня поразить.

Глафира Сергеевна

До мечети мы шли пешком, и Митя, пожалуй, мог бы спросить у меня не только о том, давно ли по улице Красных Зорь стал ходить автобус. По крайней мере, на его месте я отнеслась бы с интересом к девушке, которая только что вернулась из Архангельской области, где работала полтора месяца с его родным братом, у которой хранились рукописи старого доктора и которая могла рассказать о них (и о нем) больше всех на свете. Но что все это значило, думалось мне, по сравнению с владевшим Митей чувством презрения. Еще бы! Он видел перед собой лицемерку, упросившую, чтобы старый, слабый, больной человек был оставлен на ее попечении, а потом бросившую его без присмотра. Хорошо же!

У Глафиры Сергеевны сидел гость — пожилой человек, с круглой лысеющей головой, которую он держал немного набок, с бледными висячими щечками и пухлыми улыбающимися губами. Когда Митя, пропуская меня вперед, открыл дверь, этот человек встал, а Глафира Сергеевна, сидевшая на диване в нарядном японском халате, спокойно повернула голову. Без сомнения, она узнала меня с первого взгляда.

— Здравствуйте, Валентин Сергеевич,— сказал Митя.— Вот, Глашенька, узнаешь? Старая знакомая, Татьяна...

— Петровна,— сказала я.

— Садитесь, Татьяна Петровна! Мы помешали?

Гость улыбнулся.

— Напротив. Дмитрий Дмитрич, рассудите нас. Глафира Сергеевна утверждает, что в ленинградских театрах можно умереть от скуки. А я вчера был в Большом драматическом на «Заговоре императрицы»,— прекрасный спектакль, уверяю вас! Вместо доказательства, Глафира Сергеевна, позвольте завтра прислать билеты?

— Я не говорила, что можно умереть,— возразила Глафира Сергеевна,— но в сравнении с Москвой здесь как-то надуто играют.

По-моему, так нельзя было сказать: «надуто играют».

— Нет, вы положительно неисправимы! Москва и Москва! А белые ночи? А Нева, Эрмитаж?

И он продекламировал:

В гранит оделася Нева,
Мосты повисли над водами,
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова.

— Помните?

— Разумеется,— сказала Глафира Сергеевна так торопливо, что я невольно подумала: «Ничего ты не помнишь».

И снова они стали сравнивать московские и ленинградские театры. Гость похвалил Акдраму, бывший Александринский, а Глафира Сергеевна сообщила, что она была на спектакле «В царстве скуки» и зрители утверждали, что игра актеров вполне оправдала название. Время от времени она почему-то брала в руки лежавшую перед ней книгу — очевидно, эта книга имела отношение к Александринскому театру.

Я волновалась, но, может быть, именно поэтому заметила многое, на что при других обстоятельствах не обратила бы никакого внимания. Во-первых, я заметила, что Глафира Сергеевна изменилась — прежде была тонкая, гибкая, а теперь пополнела, и на шее, под самым подбородком — я все рассмотрела! — появилась большая морщина. Несмотря на свой гордый вид, она держалась напряженно, точно в глубине души не была уверена, что имеет право сидеть в этом прекрасном номере гостиницы и разговаривать с такими умными, образованными людьми. Во-вторых, я заметила, что Мите не нравится этот слащавый гость и еще меньше нравится, как ведет себя с ним Глафира Сергеевна. В самом деле: она уронила платочек, гость подхватил, подал. В ответ Глафира Сергеевна протянула руку — и он элегантно поцеловал ее.

В-третьих, я поняла, что невольно попала в круг каких-то сложных, запутанных отношений. Это чувствовалось и в том, что гость говорил слишком неторопливо, и в том, что Митя почти откровенно ждал, когда он уйдет, и в том, что Глафира Сергеевна делала вид, что не замечает Митиного недовольства, хотя оно было буквально

написано на его сердитом лице. Вообще все притворялись, но особенно Глафира Сергеевна, которой нужно было еще показать, что она с глубоким равнодушием относится к тому, что некая Татьяна Петровна сидит в углу, терпеливо ожидая окончания разговора. «Зачем явилась ко мне эта мерзкая девчонка в выцветшей жакетке, в заштопанных чулках? О чем собирается говорить со мной? Неужели об этом?» Я была готова прочитать ее мысли.

Между прочим, чулки были заштопаны выше колен, но я все время чувствовала эти местечки, точно были заштопаны не чулки, а ноги.

Гость все говорил, вежливо, длинно и льстиво,— так преувеличенно льстиво, что я даже подумала, что он смеется над Митей. По-видимому, это был один из микробиологов, приехавших на съезд, но, как и Львовы, за две недели до съезда. Эти две недели — так я поняла из прощальных, незначительных фраз — решено было посвятить осмотру Ленинграда, в котором Глафира Сергеевна еще никогда не была.

— Зачем он приходил? — сердито спросил Митя, когда за гостем наконец захлопнулась дверь.— Ведь ты знаешь, что я не выношу этого святошу. Вот уж действительно «елейный удав»! Кстати, Заозерский только что сказал, что он собирается выступить против меня на съезде.

Глафира Сергеевна пожала плечами.

— А ты можешь представить, что я узнала об этом прежде тебя? И пригласила Крамова именно для того, чтобы...

— Что такое?

Я бы, кажется, спряталась под кровать, если бы Митя вдруг двинулся на меня с таким сердитым лицом.

— Я тысячу раз просил тебя не вмешиваться в мои дела! — закричал он. У него губы не слушались.— Неужели ты не понимаешь, что это ставит меня в ложное положение?

— Ты, кажется, забыл, что мы не одни,— значительно произнесла Глафира Сергеевна.

— Простите! — Митя резко повернулся ко мне.

— Может быть, мне уйти, Дмитрий Дмитрич?

— Нет, нет! Говорите, пожалуйста. Глаша, Татьяна Петровна только что вернулась из Анзерского посада. Андрей тяжело болел, но сейчас ему лучше. Они вместе работали на дифтерии. Мы вас слушаем, Татьяна Петровна.

— Видите ли, в чем дело,— начала я, рассчитывая (как это постоянно случалось со мной на экзаменах), что мне удастся успокоиться через несколько минут,— мы встретились с Андреем случайно, и лишь благодаря этой случайности я узнала, что меня обвиняют в том, что я нанялась за деньги ухаживать за Павлом Петровичем, а потом, когда Глафира Сергеевна уехала...

— Никто вас не обвиняет,— поспешно возразила Глафира Сергеевна.— Да и вообще, что за вздор! Когда это было?

— Не так давно, чтобы я забыла, как вы вели себя по отношению к нему.

Митя с изумлением повернулся к жене. Она ничего не ответила, только поджала губы и взглянула на меня исподлобья.

— Если бы вы были тогда в Лопахине, Митя,— продолжала я, забыв, что все время называла его «Дмитрием Дмитриевичем»,— вы были бы возмущены не меньше, чем я. Вот теперь вы интересуетесь его трудами и даже думаете, что они могут понадобиться вам для какой-то работы. Где же вы были, когда он умирал, один, без друзей и родных? И ведь он ничего не требовал! Да и вообще разве хоть одну минуту он думал о себе? Он писал о своей работе Ленину...

Я остановилась, потому что нужно было успокоиться, но Митя только переспросил с удивлением: «Ленину?» — и я снова помчалась во весь опор, не разбирая дороги.

— Да, да! И это письмо было бы закончено и отправлено, если бы вы взяли на себя труд хоть взглянуть в те рукописи, которые я, по вашему мнению, не имела права оставить себе. Но я пришла, чтобы сказать о другом. Глафира Сергеевна оклеветала меня. Я требую, чтобы она немедленно, в вашем присутствии, отказалась от этой клеветы и признала, что она свалила свою вину на меня.

Еще далеко не наступила та минута, когда я должна была понять, что правду трудно доказывать именно потому, что она не требует доказательств. Каждое слово, из которого состояла эта пылкая речь, казалось мне настолько неопровержимым, что я была уже почти готова простить Глафиру Сергеевну... «Сейчас расплачется!» — с торжеством подумалось мне. Но Глафира Сергеевна не расплакалась.

— Вы кончили? — спросила она.— Так вот, Дмитрий, должна тебе сказать, что я не намерена разговаривать с

этой...— она не нашла слова,— только скажу, что удивляюсь, зачем ты привел ко мне эту...— Она нарочно все время называла меня просто «эта».— Чтобы меня оскорбить? Так я тебе скажу, что дело не только в том, что она из милости жила у соседки и надеялась захватить комнату Павла Петровича со всеми его вещами. Здесь был еще один подлый расчет. Скажите, товарищ... как вас там зовут? — сказала она с отвращением,— где письма артистки Кречетовой, которые оставил вам Павел Петрович?

Митя спросил тревожно: «Какая Кречетова?» — и я почувствовала с ужасом, что он и Глафира Сергеевна — это одно, а я — совершенно другое. За этой мыслью так же быстро промелькнула другая: «Она стащила у меня эти письма!»

— Где? — переспросила я хладнокровно.— В Лопахине оставлены на хранение.

— Вот как! Оставлены на хранение? — И Глафира Сергеевна взяла со стола книгу, о которой я прежде подумала, что она имеет отношение к Александринскому театру.— Вот они! — Она швырнула мне книгу.— Изданы! Теперь вы посмеете утверждать, что не продали их?

Я стояла далеко от нее, и книга упала на пол. Митя сделал шаг, но я опередила его. «Письма О. П. Кречетовой к неизвестному», не веря глазам, прочла я на белом переплете.

— Ничего не понимаю,— пробормотал Митя.

— Знаешь, Кречетова, артистка! Да я тебе потом расскажу! Но какова же низость — узнать, что среди бумаг старика имеются личные письма! Разнюхать, что они имеют какую-то ценность! Найти издателя и продать ему эти письма. И эту...— Глафира Сергеевна с трудом удержалась от грубого слова,— ты приводишь ко мне?

Впервые в жизни навстречу мне двинулась такая откровенная, смелая, поражающая своей меткостью ложь — не мудрено, что я растерялась. Нужно было повернуться и уйти. Но в ту минуту с острой, почти болезненной ясностью я увидела полное лицо Раевского с моргающими глазами и услышала его голос, говорящий: «Мне нужны эти письма. Идет? Задаток — сегодня!» И как будто я взяла задаток и обещала украсть эти письма — так я залепетала что-то, обращаясь не к Глафире Сергеевне, а к Мите. Какое-то жестокое выражение возникло у него на лице, промелькнуло в глазах, и это выражение, как ножом, резнуло меня по сердцу.

— Вы верите ей? — закричала я.

Он отвернулся, и я выбежала из номера, не помня себя, с единственной мыслью — не заплакать перед этой страшной женщиной, глядевшей на меня тяжелыми, поблескивающими глазами.

Письма к неизвестному

Я сказала, что впервые в моей жизни навстречу мне смело двинулась ложь. В течение первых трех дней после моего возвращения произошло так много событий, точно кто-то долго собирал их в огромную корзину, а теперь опрокинул ее на меня без предупреждения — это тоже случилось со мной впервые. Среди этих событий были важные и не особенно важные, и, чтобы отличить одни от других, нужно было остановиться, оглядеться, подумать. Куда там! Только один предмет я видела перед собой: книгу под названием «Письма О. П. Кречетовой к неизвестному». Наконец мне удалось купить ее у букиниста на Литейном проспекте.

Пожалуй, это было не совсем обыкновенное зрелище: девушка, которая, не обращая ни малейшего внимания на оклики извозчиков, на свистки милиционеров, шла по улицам Ленинграда с раскрытой книгой в руках. Дважды она чуть не попала под лошадь. Она сталкивалась с прохожими. На углу Семеновской с ней поздоровался товарищ по курсу — она его не узнала...

Письма, которые старый доктор просил сжечь после своей смерти, теперь читали чужие, равнодушные, незнакомые люди, и каждый, у кого было три рубля пятьдесят копеек, мог так же, как это сделала она, зайти в магазин и купить эти письма.

Письма, которые она не решалась прочитать в рукописи, были напечатаны в количестве пяти тысяч экземпляров, с предисловием какого-то пошляка, намекавшего на «загадку жизни знаменитой актрисы».

Она читает эти письма, и ей кажется, что весь город вместе с ней перелистывает страницу за страницей. Вот красивая женщина с темными глазами идет по аллее, а там, в беседке на берегу моря, ее уже ждет, волнуясь, высокий человек в свободном летнем костюме и широкой панаме. Загорелое лицо с прекрасными, навыкате глазами полно муки и радости ожидания. Вот он видит ее, бросается к ней... Эта первая встреча в Балаклаве, о которой

Кречетова с нежностью вспоминала в нескольких письмах. Вот они встречаются в Геническе, в Азове, все в маленьких южных городах, где никто не находит странными эти радостные и печальные встречи. Еще непонятно, что заставляет их так бережно хранить свою тайну? Почему все чаще в ее письмах попадается слово «невозможно»? Почему в одном из них она приводит чье-то стихотворение, посвященное этому слову?

Есть слова — их дыханье, что цвет,
Так же нежно и бело-тревожно,
Но меж них ни печальнее нет,
Ни нежнее тебя, *невозможно*.

С раскрытой книгой в руках девушка пересекает город, и ей кажется, что от страницы к странице все тише становится на шумных улицах Ленинграда. Через Летний сад она проходит на набережную — чуть слышно перебирают листьями старые липы, умолкают и перестают смеяться люди на пристани, от которой отходит на Острова пыхтящий, переполненный пароходик.

«...Как ни тяжелы, почти непереносимы наши горькие встречи, но когда ты уезжаешь, я чувствую такую пустоту, что понять не могу, как еще в силах двигаться, разговаривать, играть. Ты знаешь, что я играю не только на сцене».

«...Нужно представить себе всю бессмысленность положения, когда два человека, которые друг без друга не могут вообразить ни единого мига счастья, должны тосковать, терзаться и лгать, лгать на каждом шагу. Когда я вынуждена притворяться, что равнодушно слышу твое имя, только что уйдя от тебя с пылающими щеками, мне начинает казаться, что когда-нибудь меня убьет этот мучительный стыд. Да, нам нельзя видеться. Нужно расстаться! Но стоит лишь вообразить ту пустоту, тот ужас, который открывается за этими словами, и я страстно, злобно гоню эту мысль. Нет, верно, суждены нам с тобой, бедный мой, дорогой, эта мука, это небывалое счастье!»

«...В Париже Шарко нашел у меня истощение сил и велел ехать в Сицилию. Ты представляешь себе, как хотелось мне ехать, тогда как я знала, что ты будешь ждать меня в Плёсе! Лихорадочно следила я за русскими газетами и по первому известию о вскрытии Волги выехала, убедив врачей, что в Плёсе воздух будет здоровее для меня, чем в чужой Сицилии».

«...Теперь уже не мечтаю я больше навсегда соединиться с тобой. Года идут, голова моя седеет, и, видно, не дождаться нам этого счастья. Но хоть видеть тебя, не скрываясь, хоть знать, что ты здоров и по-прежнему любишь меня! Сегодня я снова говорила с ним. Ты знаешь, о ком я пишу. Он повторил, что не даст развода, даже если я возьму всю вину на себя».

«...Когда я получаю твое письмо, я, как девочка, прежде всего ищу слова любви, а все остальное кажется мне бесконечно менее важным. Тысячу раз я перечитываю твою подпись, и когда ты не подписываешься «всегда твой» и ставишь только инициалы, мне начинает казаться, что ты меньше любишь меня. Однако меня расстроило известие о «готовой разразиться над тобой буре». Ты глухо пишешь об этом. Почему? Чтобы не огорчать меня? Но разве ты не знаешь, мой друг, что я никогда не расстанусь с тобой! Тяжело мне писать это «не расстанусь», в то время как мы видимся лишь во время твоих редких приездов в Петербург. Но все равно — наша любовь давно уже стала как бы вне нашей власти, и не только вне, а над нами».

«...Что говорят в Москве о провале «Чайки»? Гостинодворцы, которые убеждены, что мы играем только для них, свистели, шикали, смеялись, оскорбляли актеров и в конце концов добились провала замечательной пьесы. Бедный Чехов! Никогда не забуду, как, растерянный, осунувшийся, с напряженной улыбкой, он слушал наши уверения, утешения! Не дождавшись конца спектакля, накинув пальто и забыв шапку, он бежал из театра — так и уехал с непокрытой головой».

«...Пишу тебе, надеясь, что мое письмо еще застанет тебя в Петербурге. Синельников только что сказал мне, что по Москве ходят слухи о том, что министр приказал освободить тебя от преподавания в университете. Я знаю, как важно тебе, в особенности после столкновения с Ционом, хотя бы числиться преподавателем университета. Когда же кончится наконец этот кошмар, который уже отнял у меня почти всех друзей? Вчера узнала, что Кравцов отправлен под надзор полиции в Арзамас. Кажется, никогда я не была трусихой, но я дрожу при одной мысли, что это безумие может коснуться тебя».

«...Этого давно ждали, говорят вокруг. И я соглашаюсь, мне все еще нужно делать вид, что между нами никогда не было ничего, кроме простого знакомства. Я не

плачу, я ничем не умею выразить горе. Но мне кажется, что я ослепла или сплю летаргическим сном: слышу, чувствую и не в силах крикнуть. Мой бедный, родной, мой навсегда, бесконечно любимый! Ты знаешь, что я решила? Приехать к тебе, чтобы умереть».

Огорчения, о которых никогда не упоминал Павел Петрович, приходившие «оттуда», из того давно умершего мира, где жила дама с темными глазами,— теперь я поняла их так живо, как будто старые фото, висевшие над фисгармонией в перламутровых рамках, сошли со стен и рассказали мне свою жизнь! Это была грустная жизнь, и, читая некоторые письма, трудно было удержаться от слез. Я не привела их, потому что они заняли бы слишком много места.

Кречетова много писала о театре, о ролях, которые она исполняла, почти на каждой странице мелькали имена Горького, Савиной, Комиссаржевской. Это были письма актрисы. Но странно! Не Кречетова, а «неизвестный», которому были адресованы письма, как живой вставал со страниц этой книги.

«На могильной плите следовало бы писать не то, кем был человек,— сказал мне однажды этот «неизвестный»,— а то, кем он должен был быть». Вот кем он должен был быть — знаменитым, уверенным в себе, гордящимся необычайной любовью...

Растерянная, ошеломленная, выбежала я из «Европейской» с единственной мыслью: «Митя поверил Глафире, мне не удалось доказать, что она оклеветала меня!» Письма Кречетовой увели меня в другой мир, и, притихшая, почти испуганная глубиной открывшегося передо мной горя, я как будто засмотрелась на бедные, ожившие тени. Теперь, вспомнив о Раевском, я мгновенно вернулась из прошедшего в настоящее.

Разумеется, нечего было и сомневаться в том, кто издал эту книгу! На титульном листе было указано название издательства — «Время», и адрес: «Набережная Фонтанки, 24». Но как Раевский добрался до писем, если перед отъездом в Анзерский посад я написала отцу и получила ответ, что чемодан старого доктора цел и невредим и попрежнему стоит на своем месте под его кроватью? Без сомнения, он стащил эти письма. Но сохранился ли труд Павла Петровича и другие бумаги?

Измученная, но готовая немедленно пустить в ход все силы ума и сердца, чтобы разгадать эту тайну, я влетела в общежитие и лицом к лицу столкнулась с нашим швейцаром.

— А, наконец-то! — сказал мне этот усатый, длинноносый старик, который знал все наши дела и неизменно выручал нас в трудных случаях жизни.— Давно пора!

— Что случилось?

— Папаша приехали.

— Какой папаша?

— Папаша, отец! Ваш папаша!

Дурные вести

Он сидел на моей постели, очень довольный, с красным носиком, в коричневом, измятом, но приличном костюме. Вместо галстука был завязан черный бантик, усы закручены, пушистые волосики, которых осталось уже немного, лихо зачесаны на лоб. Когда я вошла, он с хвастливо-самоуверенным видом рассказывал о чем-то моим соседкам по комнате. Они слушали и улыбались. Увидев меня, отец встал, но, качнувшись, снова сел на кровать.

— А вот и дочь,— сказал он.— Здравствуй, дочь! Как снег на голову, а? Проездом на Амур, станция Михайло Чесноков, по делу редкого экземпляра быка симментальской породы.

Девушки заметили, что я покраснела, и вышли под каким-то предлогом.

Мы с отцом остались одни. Он посмотрел на меня, моргая, и радостно засмеялся.

— Сподобился такую дочь иметь! — сказал он с восторгом.— Господи помилуй! Чудная, великолепная дочка! Подруги рассказывали. Горжусь!

Он отодвинулся, деликатно прикрыв рот ладонью.

— Извиняюсь,— сказал он и икнул.— С горя, Таня, поверь, с тоски-одиночества. Авдотья скончалась.

— Как скончалась?

— Алле-марше! Семнадцатого дня июля сего года.

И он стал длинно рассказывать, что в последнее время служил в парикмахерской швейцаром, снимал пальто и выдавал номерки и что это прекрасная должность, без которой культура погибла бы, поскольку ни один уважающий себя мастер не станет брить или стричь клиента в пальто. И вот однажды он вернулся домой, стал звать Авдотью, а

она сидит за столом и молчит. Он потянул ее за руку, а она — бряк на пол, и все!

— Адская вещь,— сказал он и всхлипнул.— А какая кухарка была! Семнадцать лет у маркиза де Траверзе служила! Очень резко бросила пить — вот беда. Это нельзя — пить такое пространство времени и вдруг моментальпо бросить. Организм не выдержал. Так-то вот я и сел на якорь, брат,— сказал отец и самодовольно хлопнул себя по коленям.— Теперь на Амур! Петька Строгов зовет — нужно ехать! У него бык выращен симментальской породы. За девять тысяч верст от матушки-России выращен бык ради принципа, а не для какой-то наживы.

Я слушала и молчала. Никогда не забывала я о том, какой у меня отец, но за те годы, что мы не виделись, черты его сгладились в моих воспоминаниях. Теперь мне было больно видеть, что он стал еще более смешным и жалким, чем прежде. Он показал мне заявление о том, что «поскольку осенью сего года в Москве открывается сельскохозяйственная выставка», он от имени какого-то «Товарищества ответственного труда» просит Дорпрофсож Амурской железной дороги «доставить экспонат в священный город возрождающейся пролетарской промышленности». Петька Строгов, объяснил он, служит артельщиком и лично доставить быка не может. А он, Петр Власенков, может. Но суть дела не в быке, а в том, что недалеко от станции Михайло Чесноков зарыт клад, он найдет и разделит его пополам со мной.

Он был очень пьян, и прежде всего нужно было увести его из общежития и устроить — но где? У Нины? Я даже не знала еще, в Ленинграде ли Нина. В гостиницу, если достану номер.

— Вот что, папа,— сказала я вдруг,— мне необходимо поговорить с тобой по очень важному делу. Хорошо, что ты явился, иначе на той неделе мне пришлось бы ехать к тебе. Ты помнишь Павла Петровича? Ну, старого доктора? Я часто ходила к нему.

— Как же,— пробормотал отец.

Что-то неуверенное прозвучало в этом коротком ответе. До сих пор он прямо смотрел на меня своими светлыми глазками, которые, как две бусины, торчали на маленьком усатом лице, а теперь глазки забегали и в них показалось неопределенное выражение. Страх?

— Слушай внимательно. Когда доктор умер, мне выдали из Дома инвалидов его чемодан. В чемодане не было

вещей, только бумаги.— Я старалась говорить медленно, чтобы он понял. Кажется, он понимал.— Ты был при этом. Уезжая, я отдала тебе этот чемодан и просила беречь. Помнишь?

— Как же,— снова пробормотал отец.

— В чемодане были научные труды Павла Петровича и среди них — письма одной актрисы. Он очень берег их. Он не хотел, чтобы кто бы то ни было прочел их, потому что это были личные письма.

Отец молчал. Глазки, бегавшие по сторонам, беспомощно застыли, пальцы, которые он то и дело подносил к губам, дрожали, как всегда, когда он чувствовал себя виноватым. Я продолжала спокойно:

— Теперь эти письма изданы. Вот! — Отец с ужасом взглянул на книгу.— Как это могло случиться — не знаю. Очевидно, кто-то вытащил их из чемодана и списал, а копии продал. А может быть, и не копии, а самые письма, хотя об этом даже страшно подумать. У меня большие неприятности из-за этой истории, папа.

Он пробормотал:

— Почему?

— Потому, что Львовы думают, что это сделала я. Ты ведь знаешь,— сказала я с силой,— кем был для меня Павел Петрович! И вот теперь...

— Что же такого, что же такого? — прошептал отец.— Ведь они не пропали?

— Для меня было бы гораздо лучше, если бы они пропали.

Должно быть, я была очень измучена, потому что голос вдруг зазвенел и я с трудом удержалась от слез.

Отец встал. Не знаю, что творилось в его голове, но почему-то он осторожно вынул из кармана брюк свой старенький бумажник и развернул одну квитанцию, другую. Потом сложил квитанции, выронил бумажник и рухнул передо мной на колени.

— Иуда! — закричал он и ударил себя кулачком в грудь.— Я виноват, я. Отец — подлец! Бейте в колокола! Родную дочь предал.

Я посадила его на кровать, подала воды. У меня руки дрожали.

Все было ясно еще до того, как я выслушала этот перепутанный, длинный рассказ. Раевский — отец с ненавистью называл его «некто» — приехал в Лопахин в марте этого года и прежде всего явился к отцу «с угощеньем»,

Трудно ли было ему уговорить отца — не знаю. Отец уверял, что Раевский уламывал его две недели.

— Это ужас что такое было! — повесив голову объяснил он.— Оттого что в подобных историях я — кто? Кремень.

Но так как ему необходимо было ехать на Амур и билет стоил очень дорого — триста пятьдесят рублей сорок копеек,— и Авдотья была больна, хоронить не на что, и Раевский действовал на него «апатически»,— отец в конце концов согласился и, подобрав ключ, вытащил из чемодана бумаги.

— Все бумаги? — спросила я почти хладнокровно.

Отец ответил: «Все», и, не помня себя, я бросилась к нему и с бешенством схватила за плечи. Не помню, что я кричала ему... В дверь постучали, и, как во сне, я увидела Лену Быстрову, стоявшую на пороге.

— Таня! Танечка! Да что с тобой, Таня?

Как поступить!

Если бы не Лена, я просто пропала бы в этот несчастный день. За номер — мы отвезли отца в Московскую гостиницу — нужно было заплатить вперед, а я только что отдала стипендию казначею нашей коммуны. Лена достала деньги. Она увела меня к себе, накормила и заставила лечь — я едва держалась на ногах, хотя и порывалась идти в институт и заняться делами, которые та же Лена убедила меня отложить на завтра.

— Ну вот,— сказала она, накинув на плечи шаль и уютно устроившись у меня в ногах,— а теперь рассказывай.

— О чем?

— Обо всем. И не смей выдумывать. Пока я знаю только одно: тебя расстроил отец. Верно?

Я кивнула.

— Но ведь это для тебя не новость?

Я снова кивнула.

— А мне нужны новости. Что случилось?

— Лена, помнишь, я рассказывала тебе о старом докторе? Это было давно, на первом курсе, мы спорили, ты сказала, что профессия иногда — дело случая, и в пример привела меня. А я возразила, что медицина для меня вовсе не случай и что, когда я решила идти на медицинский, на меня повлияли вовсе не твои уговоры. Вот тогда

я и рассказала тебе о старом докторе. Неужели не помнишь?

— Помню.

— Так вот... После смерти Павла Петровича остались бумаги. Целый чемодан с бумагами. В последние дни подле него не было никого, кроме меня, кому он мог бы их передать. Там были личные письма одной женщины, которая любила его, и научный труд, над которым он работал всю жизнь. И вот...

Я рассказала о том, как бумаги старого доктора попали к Раевскому. Лена подумала.

— Этот труд имеет научную ценность?

— Без сомнения!

— Почему же он до сих пор не был издан?

— Потому, что Павел Петрович довел его только до середины и говорил, что самое главное — впереди.

— В таком случае нужно сделать все возможное, чтобы спасти его из рук этого типа. Совсем не сложно, уверяю тебя! Я поговорю об этом с Дмитриевым, хочешь?

Я отвечала, что хочу, и Лена ушла, объяснив, что торопится к отцу в Сестрорецк, и на прощанье уверив меня, что все обойдется.

Василий Алексеевич был болен, и Мария Никандровна почти насильно увезла его в Сестрорецк, в какой-то хороший санаторий.

«Да, Лена права, нужно заставить Раевского вернуть бумаги Павла Петровича. Но как это сделать? Обратиться в милицию или в прокуратуру? И зачем только я оставила чемодан в Лопахине? Правда, уезжая, я не знала, что ждет меня впереди, я не могла взять его с собой. Но в прошлом году я написала отцу, и он ответил мне, что чемодан с бумагами цел — вот когда нужно было бросить все и поехать в Лопахин. Но это было невозможно в разгар занятий в середине учебного года!»

И незаметно среди беспокойно-неопределенных мыслей появилась и робко стукнула в сердце одна определенная, которой тотчас же подчинились все остальные: Раевский издал письма отдельной книгой — это было выгодно для него. А рукопись? Что, если он просто бросил в печку эти перепутанные, неразборчивые листы бумаги, написанные дрожащей рукой? Уже не робко, а смело, со всего размаху стучала в мое сердце эта страшная мысль.

Нет, напрасно Лена уговорила меня остаться, все равно не спалось! В квартире было жарко, душно, пахло сохну-

щим деревом, лаком, чем-то еще, и ходить можно было только из комнаты Лены в столовую и обратно. Всегда у Быстровых было шумно, весело. Мария Никандровна ругала кого-нибудь за несправедливость и вдруг появлялась из кухни с пирогом, испеченным по новому рецепту. Василий Алексеевич по вечерам возился у верстачка. А теперь? У меня сжалось сердце, и стало так грустно, что я с трудом удержалась, чтобы не заплакать.

«Позвонить Мите — вот что нужно сделать прежде всего,— думала я, лежа на диване и рассматривая этот верстачок, на котором так и остались лежать какие-то планки.— Но ведь это же значит, что я должна рассказать ему об отце? Да, должна. Как бы это ни было трудно».

— «Европейская»? Номер сто пятый, пожалуйста. Дмитрий Дмитрич?

— Да.

— Говорит Таня Власенкова,— сказала я, чувствуя, что готова убить себя за свой неуверенный голос.— Дмитрий Дмитрич, вы можете думать обо мне что угодно. Но вот что: сегодня приехал из Лопахина мой отец. И он рассказал мне... В общем, вы хотите знать правду?

— Да.

— Тогда мы должны встретиться.

Он ответил не сразу. Еще мгновенье, и я бы бросила трубку.

— Хорошо. Где и когда?

— Где угодно.

— Может быть, в Летнем саду?

— Очень хорошо. В девять часов, у памятника Крылову.

Мальчишки-газетчики на разные голоса распевали: «Вечерняя Красная газета!», солнце садилось, жаркий летний день остывал над Невой, когда я отправилась на свидание с Митей.

«Кулачный бой у Народного дома! — кричали газетчики.— На скамье подсудимых — атаман по прозвищу Турман!»

Митя ждал меня. На скамейках вокруг памятника Крылову были заняты все места, и он прохаживался поодаль. Он был прекрасно, даже франтовато одет: в светлом костюме, с нарядной кепкой в одной руке, с палкой — в другой. Забыла сказать, что я тоже в этот день взяла у портнихи свой новый костюм — длинный жакет в талию и короткую юбку.

— Вчера мне следовало подумать, что вам будет трудно встать на объективную точку зрения в нашем споре с Глафирой Сергеевной.— Эту фразу, но только одну, я приготовила с ночи.— Но я не сразу нашла объяснение тому, что письма оказались изданными. Это поразило меня.

— Да, я видел, что вы растерялись.

Искоса я посмотрела на Митю. Это было сказано в совершенно другом тоне, чем вчера: сердечно и просто.

— И не думала! Просто решила уйти — вот и все. Жаль только, что не успела доказать, что вы виноваты не меньше, чем Глафира Сергеевна. Впрочем, я пришла сюда не упрекать вас,— сказала я торопливо, но не потому, что Митя нахмурился, а чтобы поскорее подойти к цели нашего разговора.— Вот что: вчера ваша жена обвинила меня... Вам известно, в чем она меня обвинила.

В конце концов я рассказала все: и как некий делец (я нарочно не назвала Раевского) несколько лет назад приехал в Лопахин и предложил Павлу Петровичу продать ему письма. И как на другой день он явился ко мне, но я прогнала его, и он уехал из Лопахина с пустыми руками.

— Павел Петрович просил меня сжечь эти письма. Я не решилась и глубоко сожалею об этом. Потому что, если бы я решилась, не произошло бы другого несчастья, о котором мне даже страшно сказать,— не пропали бы научные рукописи Павла Петровича. Ведь вы знаете, что в этом чемодане был весь труд его жизни.

Теперь нужно было переходить к отцу — ох, как не хотелось! Мне мешало еще, что мы были в Летнем саду, где в этот вечер гуляющих было особенно много. Толстые люди в новых шляпах — наверное нэпманы — молча ходили по главной аллее, их разодетые жены переговаривались крикливыми голосами. На пыльной площадке перед чайным домиком стояли мраморные столики, и официанты, мелькая белыми курточками, разносили мороженое и воду. Вечер был душный, и все время хотелось уйти от движущейся, шумной толпы.

— Вот это я могла рассказать вам вчера. Вчера же, уйдя от вас, я узнала, что приехал отец. Теперь вот что... Несколько слов об отце.

Чем быстрее мне хотелось рассказать об отце, тем почему-то медленнее получалось.

— Он... легкомысленный человек, переменивший в жизни очень много профессий. Сейчас он едет на Амур,

очевидно, будет служить там на железной дороге. Я не вмешиваюсь в его дела, оттого что это давно уже ничего не меняет. Так вот: отец рассказал мне, что этот издатель вернулся в Лопахин в марте этого года и уговорил его продать письма Кречетовой. И отец сделал это,— сказала я твердым голосом.— И не только это. Пропали все бумаги Павла Петровича, и его труд, и письмо Ленину — все, все! Впрочем, может быть, и не пропали. Но я не знаю, где они находятся, и боюсь, что они не сохранились, потому что этот делец... Он мог просто бросить их в огонь. Ведь он, разумеется, ничего не понимает в науке.

Я замолчала. Опустив голову, Митя шел рядом со мной.

— А как фамилия этого человека? — спросил он.— На переплете указано, кажется, издательство «Время»?

Я сказала:

— Раевский.

Митя остановился:

— Какой Раевский?

— Тот самый.

Я знала, что Митя очень вспыльчив, еще вчера он на моих глазах налетел на жену с побелевшим от гнева лицом. Но сейчас... Можно было подумать, что, назвав Раевского, я попала в «locus minoris resistentia», как говорят врачи, то есть в место наименьшего сопротивления.

— Очень хорошо,— сквозь зубы сказал он.— Так Раевский издал эти письма?

— Да.

— И вы думаете, что другие бумаги Павла Петровича тоже находятся у него?

— Да, думаю.

— Он в Ленинграде?

— Не знаю. В книге указан адрес издательства: Набережная Фонтанки, 24.

Митя посмотрел на часы.

— Жаль, поздно,— злобно проворчал он.

— Вы хотите идти к нему?

— Да. Вместе с вами.

— Вот прекрасно. Нужно все же спросить, согласна ли я?

— Вы согласны?

— Да. Но прежде пойдемте к отцу, Дмитрий Дмитрич. Я хочу, чтобы вы лично услышали от него, как это случилось.

Не слушая уговоров Мити, повторявшего, что он «верит мне, верит!», я настояла на своем и привела его к отцу, который сидел в своем номере у окна и курил, наслаждаясь видом на площадь Восстания. Очевидно, два рубля, которые я оставила ему на обед, были истрачены на что-то другое, потому что, когда мы вошли, он, не вставая, величественно кивнул и заговорил с Митей в каком-то непринужденно-аристократическом духе. Рассказывая о том, что Раевский уговаривал его вытащить письма, он сказал: «Тут дворянин на дворянина наскочил», хотя, насколько мне было известно, фамилия Власенковых никогда не числилась в списках дворян Российской империи. «Увидев на нем крахмала́,— сказал он,— я приказал жене подать и мне крахмала́». Кое-что он напутал и передал совсем не так, как я рассказала Мите. Словом, он не только не называл себя Иудой, не просил «бить в колокола» и т. д., но держал себя так, как будто был героем какой-то рискованной истории, из которой вышел с честью, как и полагается благородному человеку.

Ну что я могла с ним поделать?

Но Митя... С первого взгляда он понял все и слушал отца вежливо, внимательно, не позволяя ни малейшей иронии. Я то краснела, то бледнела, особенно когда отец начинал сочинять. Митя взглядами старался успокоить меня. Отец вдруг заявил, что до революции он работал главным режиссером Александринского театра,— я нетерпеливо оборвала его. Митя осторожно, умело перевел разговор.

Но вот кончился бесконечный рассказ! Митя поблагодарил, сказал, что непременно займется этой историей, спросил что-то об Амурской железной дороге и простился с отцом. Я вышла проводить его. Он был очень спокоен. Мы спустились в вестибюль. Он купил какой-то журнал. Я уже собралась пожелать ему доброй ночи, как вдруг он скомкал журнал, побледнел и резко повернулся ко мне. Это было так неожиданно, что я невольно подумала, что он прочел в журнале какую-то неприятную новость.

— Мы пойдем к Раевскому сегодня,— сказал он.— Сейчас!

— Поздно же! Издательство закрыто.

— Нет, сейчас! Можно узнать домашний адрес по телефону.

Это было ошибкой, простительной для меня, но не для Мити, который был старше, опытнее и умнее, чем я. Тогда я не знала, что его жизнь на три четверти состоит из подобных ошибок.

Так или иначе, не выходя из «Московской» гостиницы, мы узнали домашний адрес Раевского и самое большее через десять минут звонили и стучали в двери его квартиры. Звонила я, а стучал — нетерпеливо — Митя.

— Кто там?

Митя еще стучал, не слышал.

— Дмитрий Дмитрич, открывают.

— Кто там? — повторил доносившийся откуда-то издалека женский испуганный голос.

— Это квартира Раевского?

Долгое молчание.

— А вам кого?

— Да Раевского же! Откройте, пожалуйста.

Снова молчание.

— А кто вы такие?

— Доктор Львов,— ответил Митя вежливо, но мрачно.— С ассистентом.

Раздался грохот крюков, скрежет цепей и мелодичный, как в старинных сундуках, звон замка; мне невольно вспомнились ходившие по Ленинграду слухи, что очень богатые нэпманы, в особенности ювелиры, из боязни налетов устроили в своих квартирах сигнализацию, навесили стальные двери. Не знаю, стальная ли, но, во всяком случае, очень тяжелая дверь медленно распахнулась перед нами. Мы вошли. Полная старуха в очках, моргая, как Раевский, встретила нас в передней.

— Доктор Львов? — повторила она недоверчиво.— К Сергею Владимировичу?

— Да, да.

Старуха ушла. Со стуком поставив между ног свою палку, Митя сел и принялся сердито рассматривать переднюю. Передняя была обыкновенная.

Старуха вернулась.

— Сергей Владимирович просил передать, что он не вызывал врача.

— Что?

Митя шагнул к ней. Старуха попятилась. Он снова шагнул, она завизжала, и в глубине коридора, отодвинув портьеру, за которой мелькнула большая, ярко освещенная комната, появился Раевский. Я поразилась — он так

постарел, что его стало трудно узнать. Щеки повисли, под глазами появились мешки.

Расставив ноги, согнувшись, закинув голову, похожий в своем зеленом халате на жабу, он стоял в дверях и рассматривал нас тревожно моргающими глазами. Меня он, кажется, совсем не узнал, а Митю узнал, разумеется, с первого взгляда.

— Так вот что это за доктор Львов,— с гримасой искреннего отвращения сказал он.— Ну-с, прошу.

Не знаю, что это было — кабинет или гостиная или то и другое вместе. Но ни в одном комиссионном магазине я не видела так много дорогих вещей — деревянных резных картин в тяжелых рамах, ковров, мраморных статуй. Огромная хрустальная люстра висела над круглым столом. Другой стол, поменьше, был покрыт великолепной вышитой скатертью с изображением морского сражения. Повсюду в старинных красного дерева горках, на окнах, даже на полу под роялем стояла посуда, сервизы. Трюмо было украшено перламутровыми цветами.

— Ну-с, чем могу служить? — спросил Раевский.

Митя придвинул кресло и сел.

— Сегодня,— грозно сказал он,— мне попалась в руки книга «Письма О. П. Кречетовой к неизвестному». Вот она. Ты издавал?

Это «ты» было сказано с таким ударением, что люстра нежно зазвенела в ответ.

— Если можешь, не кричи, пожалуйста.

— Я спрашиваю, ты издавал? — оглушительно повторил Митя.

— Ну да, да. В чем дело?

— В том, что эти письма принадлежали моему дяде Павлу Петровичу Лебедеву и после его смерти перешли в собственность нашей семьи. Издавать их ты не имел никакого права.

Раевский пожал плечами.

— По этому вопросу обратись, пожалуйста, к юрисконсульту издательства, Фонтанка, 24.

Митя помолчал.

— Послушай, Раевский,— начал он довольно спокойным голосом, только на щеке играла какая-то опасная жилка.— Поговорим начистоту. Мне отлично известно, что ты украл эти письма. Не сам, не сам! — прикрикнул он, видя, что Раевский энергично затряс головой.— С помо-

щью отца этой девушки, который сейчас находится в Ленинграде.

— Бумаги приобретены за определенную сумму. В издательстве имеется расписка, составленная по соответствующей форме.

Митя шумно задышал.

— Ну хорошо,— сдержавшись, продолжал он.— В конце концов дело не в этих письмах. Но одновременно к тебе попали научные записки доктора Лебедева. Для тебя они не представляют ни малейшего интереса. Это труд, имеющий значение для науки и сохранившийся в черновиках, понятных только специалисту. Это микробиология, а ты издаешь, насколько мне известно, бульварные переводные романы.

Я смотрела на Раевского не дыша. Самое главное решалось в эту минуту: сохранился ли труд Павла Петровича? Не уничтожил ли его Раевский? Тень расчета прошла по его холодному, полному лицу.

— А специалист, который будет разбираться в этих записках,— ты?

Я перевела дыхание. Сохранился!

— Да, я. Послушай, черт с тобой,— почти весело сказал Митя.— Я готов простить тебе эту книгу,— он положил руку на «Письма Кречетовой»,— при условии, что ты вернешь оригиналы писем и в печати принесешь извинения. Но записки доктора Лебедева ты должен отдать мне сейчас же, слышишь? Сию же минуту!

Закинув голову, презрительно моргая, Раевский слушал его. Когда мы пришли, у него был испуганный вид, он отступил и даже схватился рукой за портьеру. Теперь что-то незаметно было, что он собирается отступить!

Это была минута, когда два лопахинских гимназиста вспомнились мне, стоявшие друг против друга с револьверами в руках на снежном поле, под холодным светом луны. Теперь они встретились снова — такими разными, что трудно было вообразить, что они родились в одно время, жили в одном городе и носили некогда одинаковую форму с буквами «Л. Г.» — Лопахинская гимназия — на мельхиоровой бляхе.

Но, кажется, бывшие гимназисты меньше всего интересовались подобным значением своей встречи.

Раевский, который накануне свадьбы увез из Лопахина Глашеньку, чтобы потом через два года бросить ее. Раевский, который оскорбил его первую любовь,— вот

кого видел перед собой Митя! И Раевский — я почувствовала — прекрасно понял это. Он улыбнулся с таким подлым торжеством, так злорадно, так откровенно, что мне стало неловко, точно я подслушала чужой разговор.

Митя замолчал. Жилка все билась, и губы раза два подозрительно вздрогнули. Но он еще сдерживался. Он сказал что-то насчет того, что мой отец в любую минуту готов «дать показание».

— Предполагается суд? — спросил Раевский.— Ну что ж! На этой книге издательство потерпело убыток.

— Послушай...— сквозь зубы почти простонал Митя.

Раевский встал и запахнул халат. Лицо его как-то двинулось, лоб разгладился.

— Ну-с, прошу поторопиться,— грубо сказал он.— Не следует думать, что у меня нет других дел, кроме того дела государственной важности, с которым вы изволили явиться ко мне. В следующий раз прошу звонить. Я по телефону постараюсь разъяснить, как в подобных случаях действуют опытные шантажисты. Эх вы, шантажисты-активисты! — сказал он злобно и засмеялся.— Комсомолия, культсмычка! Красные спецы!

Митя встал, заложив руки за спину, и прошелся по комнате размеренными шагами. У него было задумчивое лицо с полуопущенными веками. Осторожно огибая мебель, он подошел и ударил Раевского палкой.

Потом он рассказывал, что боялся этого с первой минуты. Он старался не думать о палке, не смотреть в ее сторону. Даже взмахнув ею, он еще надеялся, что, может быть, удастся все-таки не ударить. Напрасная надежда! К счастью, палка скользнула, и удар пришелся по плечу.

Я крикнула: «Митя!» — бросилась к нему, схватила за руки.

Потом я увидела, что Раевский почему-то ползет на четвереньках, вздрагивая и хватаясь за ножки кресел, а Митя, закусив губу, крутит палкой над его головой, прицеливаясь в трюмо, украшенное перламутровыми цветами. Это трюмо он сперва проткнул, а потом серией коротких ударов, как говорят о фехтовальщиках, выбил из рамы. Давешняя старуха с криком ворвалась в комнату, за ней худенькая черная женщина в кимоно, которая молча прыгнула на Митю, как кошка, так что он должен был осторожно скрутить ей руки и посадить на диван.

— Таня, пошли,— коротко сказал он.

И мы пошли, не очень торопясь, хотя женщина в ки-

моно, пронзительно визжа, бросала в нас тарелками, старуха вызывала по телефону милицию, и вообще следовало поторопиться.

— Что же вы сделали, Дмитрий Дмитрич! Теперь он ни за что не отдаст, нечего и думать! Вы забыли кепку.

— Черт с ней!

— Теперь все пропало.

Митя говорит о себе

На другой день мы долго разговаривали по телефону, и он спросил, когда уезжает отец. Но спросил между прочим, так, что меньше всего я могла ожидать, что увижу его на вокзале.

Мы условились, что Митя напишет заявление районному прокурору, и он принес это заявление. «На всякий случай,— серьезно объяснил он,— если нас с Танечкой посадят в кутузку за буйство». В заявлении рассказывалось, при каких обстоятельствах пропали бумаги старого доктора, причем отец был выставлен пострадавшей, обманутой стороной. Впрочем, отец не успел оценить Митиного благородства, потому что, надев очки и самодовольно оглянувшись вокруг, подмахнул заявление не читая. Он был очень милый в этот день — чистенький, причесанный, немного грустный и почти трезвый; когда он был трезв, на него всегда находило «легкое облачко грусти», как писали когда-то. Прощаясь, он намекнул, что, возможно, ему не удастся ограничиться деятельностью «сопроводителя быка» на сельскохозяйственную выставку, потому что его ждут на Амуре дела, от которых «многие ахнут». Кто были эти многие, осталось неясным.

— Я ведь лично жандармов разоружал,— значительно сказал он.— Амур меня знает.

Он поцеловался со мной трижды, крест-накрест, шепнул, что половину клада я могу считать как бы лежащей в моем кармане, помахал нам платком и уехал. Митя проводил взглядом плавно изогнувшийся на повороте поезд и сказал задумчиво:

— А ведь любопытнейший человек, Танечка, ваш папа...

Он попросил меня показать ему Ленинград, и мы прямо с вокзала отправились в Летний сад.

— Я было одного приятеля попросил, ленинградца. Он согласился, а потом оказалось, что основательно зна-

ком только с двумя достопримечательностями: с игорным клубом на Владимирском и с кафе «Тринадцать» на Садовой.

Я решила, что его просьба — только предлог, а на деле Митя хочет сообщить мне какую-то важную новость. Но вот мы дошли до Летнего сада и обошли его по боковым аллеям, и сделали открытие, что Летний дворец Петра Великого и есть тот самый скромный двухэтажный домик, недалеко от которого мы встретились третьего дня, но никакой новости я еще не услышала от Мити.

Мы зашли в Летний дворец.

Длиннющий, ветхий, изъеденный молью мундир висел в одной из комнат под стеклом витрины, и я сказала, что странно подумать, что на свете жил человек, носивший этот мундир и даже насадивший табачные пятна на полы. Но Митя возразил, что нисколько не странно, потому что Петр был только на голову выше его.

— Бедняга! — сказал он серьезно.— Вы маленькая, Таня, и не подозреваете, как это утомительно...

— Что?

— Да вот! Быть такого высокого роста. Мальчишки дразнят: «Дядя, поймай воробушка!» И вообще. С утра еще ничего, а к вечеру надоедает.

Я засмеялась. Он ласково взглянул на меня и, как ребенку, сделал большие глаза.

Разговор, которого я так нетерпеливо ждала, начался с этого мундира,— не совсем тот разговор, но тоже очень интересный и важный, потому что Митя впервые заговорил о себе. Правда, он немного хвастался и одновременно жалел себя, невольно придавая всем своим поступкам оттенок благородства. Но все-таки этот разговор заставил меня взглянуть на него другими глазами.

Очень просто он рассказал, как началась его юность — с той минуты, когда он узнал о смерти отца. Это было в гимназии, на уроке латыни. На всю жизнь запомнилось ему молчание класса, когда, собрав книги, он шел между партами к двери и товарищи с жалостью и любопытством смотрели на него — на него, у которого умер отец. Он еще не знал, что отец был убит. В непривычно пустой раздевалке швейцар торопливо подал ему шинель — торопливо, потому что умер отец. Шел грибной дождь, крупный и редкий, и среди стремительных капель точно стояла, сверкая па солнышке, бриллиантовая пыль. И эта пыль, и свежесть дождя, и то, что скоро лето, экзамены, а у него в

последней четверти по геометрии двойка,— значит, все это осталось на свете, несмотря на то что умер отец? И, страшно вскрикнув, схватившись за голову, Митя бросился домой. А там уже толпились, взволнованно переговариваясь, какие-то люди; все двери были раскрыты, и толстый подтянутый пристав, стоя в дрожках, кричал: «Господа студенты, прошу разойтись!»

И Митя остался один. Мать не только не имела на него никакого влияния, но ничего не делала без его помощи и совета.

Старый доктор после ссылки, разбитый болезнью, поселился в Лопахине, в городе, где он родился и вырос, и после гибели мужа Агния Петровна отвезла детей к нему, а сама поехала в Петербург и вернулась служащей музыкальной фирмы Циммермана.

Так началась лопахинская жизнь, которая была, в сущности, как сказал Митя, «историей медленного падения интеллигентной семьи». И Агния Петровна долго старалась скрыть это паденье и обнищанье от Мити.

Паденье и обнищанье! «А девочке из посада,— подумала я,— казалось, что нет в мире более богатого, чудесного дома».

Мы прошли спальные комнаты, детскую, кабинет Петра и остановились перед огромными деревянными часами, занимавшими целую стену. Митя сказал, что по этим часам можно было бы узнать не только век, месяц, день, но даже завтрашнюю погоду, если бы они не стояли.

Мы были теперь в первом этаже, в кухне, выложенной прелестными голландскими изразцами, сохранившейся со всеми своими таганчиками, подставками для лучины, щипцами для углей и медной, непривычно большой, позеленевшей посудой. Митя рассматривал изразцы и восхищался. Сходство с Андреем мелькнуло, когда с озабоченным, серьезным лицом он стал считать, часто ли и в какой последовательности на изразцах повторяется море. «Надо сейчас же сказать ему, что я выхожу замуж за Андрея»,— с остановившимся сердцем подумала я. Но Митя вдруг взглянул на часы, заторопился, и я ничего не сказала.

Прощаясь, я спросила, был ли он у районного прокурора, и Митя ответил, что нет, потому что решил сперва посоветоваться с юристом.

— О чем же посоветоваться? Нужно отобрать у Раевского рукописи Павла Петровича — вот и все.

— Без сомнения. Но для того, чтобы это сделать, нужно сначала доказать, что они не принадлежат Раевскому и попали к нему незаконным путем.

— Когда же вы пойдете к юристу?

— Завтра.

— Нет, сегодня.

Митя улыбнулся.

— Вот вы, оказывается, какая. Ну, ладно. Сегодня.

Сложное дело

Я вернулась домой после этой прогулки, и наш усатый швейцар подал мне письмо от Андрея. Он писал, что поправился и начал работать. «Милый мой, дорогой друг, как мне хочется поскорее увидеть тебя!» — прочитала я с чувством какой-то неясной вины.

У меня было много дел в эти дни. Василий Алексеевич совсем расхворался, мы с Леной возили к нему врачей, которые ставили противоположные диагнозы. А один хирург, прощаясь, сказал совсем страшную вещь, которую мы от Марии Никандровны скрыли. На кафедре тоже было много работы — Николай Васильевич велел повторить опыт с моим стрептококком,— так что на личные, тем более сердечные дела не оставалось ни одной свободной минуты. Но смутное недовольство собой все же время от времени начинало постукивать в сердце. Днем, когда я была занята, оно постукивало осторожно, а по ночам — все сильнее, смелее, пока наконец я не сделала усилие в душе, чтобы не повторился анзерский разговор с собой, которого я не желала и даже боялась.

...Усталая, сидела я на предметной комиссии теоретических кафедр, обсуждавшей интересную новость в нашей общественной жизни: студенческое научное общество — СНО. Без конца переправляя каждую фразу, написала я статью о СНО в редакцию нашей газеты, и статья получилась скучной. Опыт со стрептококком не вышел — может быть, из-за моего нетерпения, а может быть, потому, что Николай Васильевич разрешил мне поставить опыт с единственной целью: доказать, что я ошибаюсь. Он не догадывался, что куда больше его веры в священную точность науки мне была нужна в эти дни его вера в мою способность заниматься наукой.

Я сказала Мите — это было в Петровском домике,— что у меня сохранились записи лекций Павла Петровича,

и Митя попросил меня взглянуть, нет ли в этих записях чего-нибудь об Ивановском, основателе вирусологии.

Я перелистала свои тетради. Почти ничего! Зато насчет вирусов нашлись интересные мысли.

Митя не заходил и не звонил эти дни. Но накануне съезда он вдруг явился на кафедру.

— Николай Васильевич пригласил меня посмотреть лаборатории,— сказал он,— а сам не пришел. Он не звонил?

— Нет.

Митя вздохнул. У него был расстроенный вид.

— Может быть, у вас найдется немного свободного времени?

У меня оказалось сколько угодно свободного времени, и я охотно прошла с Митей по всем лабораториям, не особенно, впрочем, понимая, что именно Николай Васильевич собрался ему показать. Потом мы спустились на улицу, и я не заметила, как дошли до Лопухинки и стали ходить по садику, между улицей Красных Зорь и берегом Невки.

Почему мне почудилось, что именно сегодня, в этот прохладный, ясный вечер, так не похожий на тот, когда мы встретились в Летнем саду, между нами возникнут какие-то новые отношения? Не знаю. Митя все засматривался: то на рыбаков, которые в мокрых до пояса брезентовых штанах тащили сеть вдоль берега Невки, то на лодочку-восьмерку, быстро скользившую по воде под дружными ударами весел.

Сперва мы говорили о съезде: правда ли, что его доклад был назначен на первое заседание, а потом перенесен на последнее по решению организационной комиссии?

— Да.

— Почему?

— А черт их знает! — грустно ответил Митя.— Должно быть, старики докопались, что я собираюсь выступить против них.

Было как-то невежливо спрашивать, что это за старики, и, помолчав, я заговорила о лекциях Павла Петровича. Митя оживился:

— Нашли что-нибудь?

— Да.

И я рассказала мысли Павла Петровича — кажется, не очень отчетливо. Но Митя понял и, по-видимому, больше, чем я.

— Черт возьми, какая голова! Кстати, я был у юриста,— сказал он, помрачнев и принимаясь с ожесточением ковырять палкой гнилой пень, набитый прошлогодней листвой.

— Да, да. И что же?

— Он спросил, кто из родственников был на иждивении дяди. Я говорю: «Никто. Напротив, он был на иждивении сестры».— «Ну тогда, говорит, имущество выморочное и по закону должно принадлежать государству». Я возразил, что это не имущество, а научный труд, который подвергается опасности в руках спекулянта. Говорит: «Тем более!»

— Что же делать?

— Он сказал, что я должен написать в прокуратуру.

— Дмитрий Дмитрич, не написать, а вы должны сами пойти к прокурору. И не к районному, а к самому главному, не знаю, как он называется — городской или областной. Я говорила с Николаем Васильевичем...

— И что же?

— Он сказал, что не понимает, как вы, человек науки, до сих пор не сделали ничего, чтобы спасти научную работу из рук какого-то проходимца. Это его подлинные слова.

Митя вздохнул.

— Правильно! Надо ехать не к районному, а к городскому прокурору. И надо, чтобы Николай Васильевич предварительно позвонил ему. Вот тогда дело будет вернее.

...Разумеется, это не было исповедью: стал бы он исповедоваться перед девушкой, которую и знал-то, собственно говоря, очень мало! Скорее это была как бы «картина души», которую он вдруг с какой-то грустной откровенностью нарисовал передо мной. Никогда мне не приходило в голову, например, что он сам смотрит на себя как на холодного человека и тяготится этой чертой, которая в юности часто переходила в душевную слепоту,— он дважды повторил это слово.

«И не только в юности»,— подумалось мне.

— И не только в юности,— сейчас же печально сказал он.

Мне захотелось сказать, что, кроме этой слепоты, он

страдает еще слепотой в любви. Но я, разумеется, промолчала.

— Вот мы говорили о дяде,— продолжал Митя.— Ведь это же странно, что вы знаете его в сто раз больше, чем я! Когда я прочел письма Кречетовой, мне показалось, что это какая-то фантастическая история, в которой никому не нужный, скучный старик оказывается волшебником — могущественным, несчастным и добрым. Разумеется, сразу же я стал утешать себя, даже придумал теорию, согласно которой родственные связи мешают душевной близости, и так далее. Вздор! Я просто не замечал его. Он был для меня больным стариком, о котором нужно заботиться,— и только!

Мы давно уже ушли из садика, но повернули почему-то не к Островам, а в город, хотя Митя сказал, что ему хочется посмотреть Острова. Было уже поздно, темнело. Извозчик окликнул нас у площади Льва Толстого. Митя ответил: «Не надо», но извозчик, уговаривая, еще довольно долго тащился за нами. У Кронверкского началась мокрая мостовая — должно быть, здесь недавно прошел дождь,— из парка запахло свежестью, и свет только что зажегшихся фонарей заблестел на мокром памятнике «Стерегущему», на листве. Мы вышли к Неве, и Митя сказал с восхищением:

— Что за город!.. Иногда мне начинает казаться, что я лучше, чем думаю о себе,— продолжал он.— А иногда убеждаюсь, что нет — даже хуже. И вы знаете, что самое трудное, черт побери, не находить все, что делаешь, превосходным! Это первое. А второе... Впрочем, вы маленькая и второго еще не поймете.

— Нет, скажите.

— Не прятаться от своих ошибок.

— В науке?

Митя долго шел не отвечая. Потом сказал с трудом:

— И не только в науке. Между прочим, я давно хотел узнать у вас, Таня. Ведь Андрею известна эта история. Вы понимаете, о чем я говорю?

Он спрашивал — известно ли Андрею, что Глафира Сергеевна оклеветала меня?

Я ответила:

— Да.

Митя опустил голову.

— А он не говорил вам... Дело в том, что мне бы не хотелось... У него всегда была какая-то нетерпимость в

этих вопросах. Не хотелось, чтобы он поссорился с Глафирой Сергеевной.

Я посмотрела на него: это было поразительно, но на моих глазах прежний Митя — самоуверенный, оживленный, блестящий — куда-то пропал, а его место занял усталый, нерешительный человек, который заботился, повидимому, лишь об одном: чтобы его жене, низкой и ничтожной женщине, простили низкий и ничтожный проступок.

— Не знаю, Дмитрий Дмитрич,— сказала я мягко (как обещала Андрею).— Думаю, что об этом вам нужно лично поговорить с вашим братом.

Он неловко засмеялся.

— Совершенно верно. А теперь у меня есть предложение, Таня. Пойдемте обедать!

Мне давно хотелось есть, и так сильно, что даже кружилась голова и минутами трудно было внимательно слушать Митю. Но после лаборатории я не заходила домой и была в простом, сатиновом темно-синем платье и с изорванным старым портфелем. Поэтому я спросила нерешительно:

— Куда?

— Не все ли равно? — ответил Митя, и мы на трамвае доехали до Казанского собора и зашли в «Донон».

Я не люблю ресторанов, и есть основание полагать, что это чувство, вызывающее удивление моих друзей и знакомых, впервые возникло в тот вечер, когда Митя повел меня обедать в ресторан «Донон».

Великолепный мужчина в длинном мундире распахнул перед нами сверкающую стеклянную дверь. Другой, тоже великолепный, с осторожным презрением взял из моих рук портфель и, спрятав его куда-то, сказал: «Номера не нужно». Третий, в черном фраке, встретил нас на лестнице, покрытой ковром, и проводил до других дверей, которые, едва мы приблизились, распахнулись сами собой. Оказалось, что это сделали мальчики, на которых тоже были мундирчики с двумя рядами серебряных пуговиц, посаженных удивительно часто.

Должно быть, Митя заметил, что я оробела,— почему бы иначе он предложил мне руку? Я приняла, и мы превосходно прошли между столиками, за которыми сидели разряженные мужчины и женщины, встретившие нас, как мне показалось, пренебрежительно-равнодушно. Но мне было уже безразлично, как они встретили нас, тем более

что меня вел под руку Митя. Я села, оправила платье и тоже посмотрела вокруг себя пренебрежительно-равнодушно. В ресторане было несколько залов, и я немного пожалела, что мы не заняли столик в соседнем — там были зеркальные стены. Лысый официант с застывшим морщинистым лицом подал нам карту. Я заказала — и это тоже сошло превосходно, между прочим, отчасти потому, что Митя, кажется, и сам не знал, кто из нас должен был заказать обед, или не придавал этому никакого значения.

Но дальше начались неудачи. Прежде всего мне совершенно расхотелось есть, так что, когда официант подал закуску, я с трудом заставила себя проглотить немного салата. Суп пошел легче, но, протянув руку за солью, я опрокинула одну из многих рюмок, стоявших подле моего прибора, и проклятая рюмка на тонкой высокой ножке разбилась. Митя засмеялся и сказал: «К счастью!» Я тоже засмеялась, но покраснела, и свободная, уверенная манера, с которой я только что разговаривала, равнодушно поглядывая вокруг, мгновенно исчезла.

Словом, я была так потрясена собственным поведением, что не сразу заметила странную перемену, происшедшую за нашим столом. Только что Митя оживленно рассказывал о съезде, на который, оказывается, приехали тысяча пятьсот человек. И вдруг он замолчал. Брови нервно поднялись, губы сжались. Он побледнел, мне показалось, что сейчас ему станет дурно. Я обернулась. Глафира Сергеевна под руку с Раевским выходила из соседнего зала.

Как я ни презирала ее, но должна была сознаться, что в этот вечер она была необычайно красива! Гладко причесанные на прямой пробор волосы открывали прекрасный лоб, прямой и чистый. Широко расставленные темные глаза блестели на полном, слегка порозовевшем лице. Она была в черном бархатном платье, по-модному длинном, почти до земли, и на открытой шее виднелось агатовое ожерелье — нарочно, чтобы подчеркнуть белизну прямой красивой шеи. Раевский, у которого было довольное лицо, вел ее с хвастливо-самоуверенным видом.

Митя мрачно проводил их глазами, они прошли довольно близко, но, кажется, не заметили нас,— и наступило молчание. Я что-то спросила, он не ответил. Наконец он поднял голову, и я увидела то почти физическое усилие, с которым он вернулся ко мне и к нашему разговору.

— О чем бишь мы говорили? — немного искусственным голосом спросил он.— Ах да! О съезде. Так вот как это

начнется: нарком опоздает, и Николай Васильевич, приняв государственный вид, — иногда это у него выходит,— объявит, что ему особенно приятно видеть этот съезд в Ленинграде. О том, что еще приятнее для него было бы увидеть его в Чеботарке, он, разумеется, не скажет ни слова.

Он заказал вино и налил мне и себе.

— За наш Лопахин!.. А странно все-таки, что когда-то, Танечка, я вас чуть не убил! — весело сказал он.— Бог мой, как мне запомнилась каждая мелочь! Вы были в потертой плюшевой жакетке, «бывшей» зеленой, платок крест-накрест завязан на груди, и один валенок упал в снег, когда я взял вас на руки. Вы знаете, что я решил стать врачом у вашей постели?

— Да ну?

— Я хотел быть судьей, а когда убили отца — адвокатом. Но когда я увидел, как вы умирали, решил, что стану врачом. Больше того, милый друг! Дал слово, что, если вы умрете, я покончу с собой! Но вы, как сказал Генрих Гейне, «прошли мимо и оставили меня в живых!». Что же еще оставалось мне делать, доктор,— смеясь, спросил Митя,— если не посвятить себя медицине? Я был потрясен загадкой вашего выздоровления и вот...

Он допил вино и встал.

— Ну что ж, пойдемте, Таня,— сказал он.

На съезде

У подъезда Филармонии была толкотня, и, насилу пробравшись в вестибюль, я сразу поняла, что нечего и думать попасть на съезд без билета. Машка Коломейцева помогла мне. Мы встретились в вестибюле, она спросила, почему у меня такой постный вид, подхватила под руку и сказала злой контролерше:

— Нам не нужно билетов. Мы подаем.

Контролерша сердито кивнула, мы прошли, а когда, давясь от смеха, я спросила: «Что подаем?» — Маша беззаботно махнула рукой и сказала:

— Ах, не все ли равно.

Съезд открылся ровно через десять минут после того, как мы заняли чьи-то чужие кресла, на которых лежали бумажки с загадочными буквами «ЧОБ» — член организационного бюро, как догадалась Машка. В президиуме сидели главным образом старики, и среди них была осо-

бенно заметна фигура Коровина, о котором Петя Рубакин в перерыве сказал, что в прошлом он был главным санитарным инспектором белой армии — ни больше ни меньше! Он же показал мне Николая Львовича Никольского — знаменитого ученого, одного из основателей русской микробиологии.

«Это дед»,— сказал о нем Рубакин. Дед сидел, сморщив большой мясистый нос, скрестив длинные ноги.

Совершенно такой же, как всегда, Николай Васильевич появился за столом президиума — немного сгорбленный, седой, лысый, милый, в потертом пиджаке и модном галстуке, который, тоже, как всегда, был завязан криво. Он объявил, что нарком «задержался» — таким образом, Митино предсказание подтвердилось — и что поэтому «в ожидании его приезда» следовало бы начать работу. Машка прошептала:

— В ожидании или не дожидаясь?

Я толкнула ее и стала слушать.

Николай Васильевич произнес совершенно другую речь, чем та, которую я накануне услышала от Мити в ресторане «Донон». Он перечислил обширные задачи, стоящие перед советским здравоохранением в связи с пятилетним планом, и широко обрисовал современное положение дел в практической и научной медицине.

Потом Николай Васильевич предложил почтить вставанием память «выдающихся деятелей, которые были душой предшествующих съездов», и начались доклады. Машка не давала мне слушать. То она, как глухонемая, при помощи пальцев разговаривала с кем-то на хорах, то смеялась над знакомым студентом, энергично записывавшим выступление Заозерского, которое назавтра должно было появиться в газете. То кокетничала одновременно с тремя молодыми людьми, сидевшими за нами.

— Техника, да? — смеясь, спросила она и стала учить этой технике меня, но через пять минут соскучилась, заявила, что у меня не хватает «серьезного, ответственного отношения к делу», и выдумала новую игру: стала писать знакомым студентам анонимные записки, глупые, но довольно смешные.

— Кто это? — спросила она, когда Митя, которого я до сих пор не видела, появился на эстраде — не за столом президиума, а в глубине, на ступеньках справа,

Я ответила:

— Доктор Львов.

— Ты его знаешь?

— Немного.

— Какой интересный!

— Ты находишь?

— Безумно интересный! — сказала Машка.— Давай напишем ему.

— Ты сошла с ума!

— Ну, ты напиши, миленькая, дорогая! Хоть два слова! Я хочу, чтобы он знал, что ты здесь. А потом ты нас познакомишь.

— И не подумаю.

— Не познакомишь?

— Да нет, могу познакомить, но зачем же писать?

— А вдруг он уйдет! Ну, пожалуйста! Что тебе стоит?

И Машка почти насильно всунула мне в руки карандаш и бумагу.

— Что же писать?

— Все равно. Два слова!

И прежде, особенно в Лопахине, случалось, что на меня находило чувство беспричинного веселья. Это были минуты, когда я была твердо, безусловно уверена, что меня ждет самое лучшее, самое прекрасное в жизни. Именно это чувство вдруг овладело мной, когда я взялась за карандаш, чтобы написать Мите. Что-то радостное зазвенело в душе, откликаясь на сиянье хрустальных люстр, на строгость белых колонн, на всю праздничную парядность великолепного зала,— и вместо двух слов я написала Мите черт знает что! Какой-то длинный, запутанный, восторженный вздор; были даже стихи — не мои, разумеется, а Тихонова, которым я тогда увлекалась.

С любопытством, зажмурив один глаз, Машка покосилась на записку, сказала «ого!» и, сложив записку, написала на обороте: «Доктору Львову».

— Кстати, он уже приват-доцент.

— Нет, лучше «доктору»,— подумав, ответила Машка, и, прежде чем я успела опомниться, моя записка пошла гулять по рядам, приближаясь к Мите.

Некоторые оборачивались с недоумением, и тогда Машка так энергично начинала показывать, кому предназначается записка, что сидевший рядом с нами маленький старичок в пенсне наконец потерял терпение и прошипел:

— Пожалуйста, тише!

Между тем Николай Васильевич, немного привстав, сказал:

— Слово для доклада имеет профессор Крамов.

Движение интереса пробежало в переполненном зале, и Крамов, бледный, с пухлыми щечками, прекрасно одетый, держа в руках один узкий листок бумаги, поднялся на кафедру и выжидательно склонил голову набок.

Доклад

Согласно повестке дня, за Крамовым должен был выступить какой-то профессор Горский, занимавшийся «территориальным распределением кишечных инфекций», и Машка, соскучившись, стала уговаривать меня пойти на новый фильм «Сумка дипкурьера», который был, по ее мнению, вершиной киноискусства, когда Николай Васильевич, хитро моргнув, объявил, что слово имеет приват-доцент Дмитрий Дмитриевич Львов. Это было неожиданно: ведь Митя сам сказал, что «старики» перенесли его доклад на последнее заседание. Потом я узнала, что это устроил Николай Васильевич — среди главных фигур съезда он один принадлежал к «молодым», несмотря на свои шестьдесят три года.

Митя был немного бледен — волновался. Широко раскинув руки, он взялся за кафедру и долго не отпускал ее, точно боялся, что отпустит и за тридевять земель улетит от «Симбиоза при вирусных инфекциях» — так сложно назывался его доклад. Он начал медленно, неуверенно, стараясь привыкнуть к огромному залу, в котором еще слышался сдержанный шум голосов. Резкий свет лампочки, вставленной куда-то в самую кафедру, снизу падавший на лицо, раздражал его. Но с каждой минутой голос становился спокойнее, фразы — короче.

В сущности говоря, главная Митина мысль была очень проста: нет никаких сомнений в том, что вирусы, попадая в организм человека, неизбежно встречаются с микробами. Каков же результат встречи, повторяющийся в течение тысячелетий? И на основании опытов, сведенных в таблицы, которые он последовательно развешивал одну за другой на доске, он доказал, что вирус, который по своей природе в сотни раз меньше бактерии, выработал способность размножаться в бактериальной клетке.

— Смелый человек, — сказал за моей спиной чей-то голос.

— Или не знает Крамова,— с иронией отозвался второй.

Я обернулась. Это были военные врачи, пожилые, в очках, с умными лицами.

— А вам не кажется, что он совершенно прав?

— Да, может быть... Но выступить против Крамова? Вы знаете Крамова?

— Нет.

— Дьявольский характер! Смесь Талейрана с Иудушкой Головлевым!

Дьявольский характер... И, найдя в президиуме Крамова, я долго смотрела на его бледное, почти скучающее личико. Он вежливо слушал Митю.

Митя говорил, и что-то поэтическое было в этом стройном течении мыслей. Он привел последние слова Мечникова: «Будущее принадлежит бактериологии невидимых микробов». Он заявил, что здравоохранение зайдет в тупик, если изучение вирусов не станет делом государственного значения.

— Вспомните послевоенную эпидемию гриппа, погубившую более двадцати миллионов человеческих жизней! — сказал он.— И остановитесь хоть на мгновение перед этой чудовищной цифрой! Сравните с этим бедствием мировую войну, унесшую девять миллионов! И подумайте, какое значение в жизни человечества приобретает та скромная профессия, которой мы отдаем наши силы!

Я слушала с увлечением и не заметила, когда и почему в зале стало заметно меняться настроение,— кажется, в ту минуту, когда Митя поставил точку на стоявшей позади кафедры школьной доске и объявил, что эта точка — то, что мы знаем о вирусах, а вся доска — это то, чего мы не знаем. Чуть слышный смешок раздался здесь и там, когда он сказал, что загадку многих неизлечимых болезней следует искать в направлении, указанном вирусной теорией, и чей-то голос на хорах иронически протянул:

— Не-у-же-ли?

Митя побледнел. Он стоял, подняв голову, и мне было страшно, что сейчас он обернется и увидит пухлое, бледное личико Крамова, на котором появилось злорадное выражение. Но Митя не обернулся.

— Болезнь, которую трудно распознать и легко спутать с другими,— сказал он,— которая подкрадывается незаметно; от которой умирает каждый десятый; болезнь за-

гадочная и беспощадная — вы узнали, я полагаю, о какой болезни я говорю? Так вот, для меня и моих сотрудников вирусная природа рака не вызывает ни малейших сомнений...

Вот когда в зале раздался уже не прежний, сдержанный, а оглушительный шум! Напрасно мы с Машкой шипели и шикали, напрасно Николай Васильевич громко ударял по звонку. Шум вперемежку с возмущенными возгласами становился все громче:

— Соблюдайте регламент!

— Время!

Старичок, сердившийся на меня и Машку, долго оглядывался с изумлением, как бы не веря ушам, и вдруг сам закричал оглушительно:

— Вздор!

Николай Васильевич объявил, что прения переносятся на следующее заседание; все стали уходить, и по оживленным лицам я видела, что говорят о докладе. Митя еще был на эстраде — снимал таблицы, собирал бумаги.

Мне хотелось сказать ему, что он прочитал превосходный доклад, но это было невозможно, потому что Машка все не уходила — должно быть, ждала, что сейчас мы пойдем кокетничать с Митей.

— Маша, милая, не сердись на меня. Мне нужно поговорить с ним. Я тебя в другой раз познакомлю.

Я боялась, что она очень обидится. Но она только значительно посмотрела на меня и сказала:

— А-а... понимаю...

Потом сухо простилась и ушла. Без сомнения, ей казалось, что никогда в жизни она не приносила бóльшую жертву.

— Дмитрий Дмитрич...

Я остановила его, когда он спускался с эстрады.

— А, Танечка! Добрый вечер.

— Добрый вечер. Я хотела сказать вам. Это было замечательно — то, что вы говорили. Для вас, разумеется, не имеет значения, что я... Но я с вами согласна.

— Спасибо.

И Митя крепко пожал мою руку.

— И спасибо за вашу записку,— прибавил он, улыбнувшись.— Я прочел и позавидовал.

— Чему же?

— Не знаю. Тому, что вы такая милая. И любите стихи. И молодая. А доклад... Я увлекся и сказал больше, чем хотел. Это был провал, да?

Я сказала:

— Это был блестящий успех.

— Фью...— он засвистел.— До сих пор я не замечал у вас склонности к парадоксам. А где Андрей?

Митя сказал это с таким выражением, как будто не прошло и десяти минут, как он расстался с Андреем.

— Андрей? Он в Ленинграде?

— Как, вы не знаете?

— Почему же он не сообщил, что приедет?

— Понятия не имею! Да он здесь где-нибудь! Мы условились встретиться после доклада.

Сейчас я увижу Андрея! Это было так, словно я своей рукой мгновенно приоткрыла сердце, заглянула и поскорее отвернулась, чтобы не видеть всей той путаницы противоречивых чувств, которыми было полно мое сердце.

— Куда же он девался, не пойму,— оглядываясь, говорил между тем Митя.— Мы только что поздоровались, и Николай Васильевич объявил мой доклад. Я ничего толком и спросить не успел! Даже не знаю, где он остановился. Он спрашивал о вас,— вдруг вспомнил Митя.— Я же ему сказал, что вы на съезде, даже показал вашу записку. Неужели он не подошел к вам?

— Нет.

Я прошла вперед.

Митя догнал меня — это было на лестнице — и заглянул в лицо:

— Вы что-то скрываете от меня?

— Да нет же!

— Ну, так он ждет нас в вестибюле!

Но в вестибюле было пусто. Только Машка, стоявшая перед зеркалом, небрежно накинула макинтош на плечо и вышла, послав мне равнодушно-пренебрежительный взгляд.

— Ну, значит, он пошел прямо ко мне,— сказал Митя.— Он знает, что я живу в «Европейской».

Было еще совсем светло, когда мы вышли из Филармонии. Давно пора было кончиться белым ночам, и коренные ленинградцы считали, что они уже кончились. Но на улицах был еще неопределенный, рассеянный

свет белых ночей, всегда казавшийся мне каким-то тревожным.

— Он очень похудел, вот что меня огорчило! Глаза огромные, шея тонкая, ежик торчит! Мне показалось, что он чем-то расстроен. Я спросил, и он ответил, что нет.

У подъезда «Европейской» стояли, громко разговаривая, врачи; один из них окликнул Митю, он отозвался, но не остановился, показав очень вежливо, что он не один.

— Простите, Танечка, я подойду к портье.

Портье сказал, что Митю спрашивали, но давно, днем, часа в четыре.

— Что за вздор! Куда же пропал Андрей?

— Может быть, он ждет вас в номере?

— Да нет же. Ключ у портье.

— Так, может быть, он зашел...

Митя сумрачно посмотрел на меня.

— Тоже нет. Она уехала в Москву,— не называя Глафиру Сергеевну, резко сказал он.— Ну что ж, подождем. Выпьем кофе.

Мы зашли в ресторан. Ничего особенного не было в том, что Андрей по какой-то причине, которая окажется, вероятно, совершенно ничтожной, ушел из Филармонии, не дождавшись брата. Но он не подошел ко мне — вот это было действительно странно.

— Знаете, какой у вас вид? — Митя сложил кулаки, как трубу.— Как будто вас приговорили к расстрелу. Какая вы милая! Вы так волнуетесь за Андрея? Вот я ему расскажу! А я выпил кофе и успокоился. Еще два стакана! — сказал он официантке.

— Спасибо, не хочу.

— Выпейте!

— Не могу, Дмитрий Дмитрич.

— Ну что ж, тогда один.— Официантка ушла.— У меня всегда появляется волчий аппетит от волнения. Нет, вот у вас какой вид,— сказал неожиданно Митя,— как будто вы прекрасно знаете, где он!

Это было сказано как раз в ту минуту, когда я подумала, что, может быть, мы с Андреем случайно разошлись в Филармонии и он поехал ко мне. Не удивительно, что я покраснела.

— Нет, не знаю. Но мне пора. Может быть, вы проводите меня, Дмитрий Дмитрич? Кстати, мы спросим, не заходил ли Андрей ко мне в общежитие.

Это нужно было сделать давным-давно — рассказать Мите о том, что произошло в Анзерском посаде. Это нужно было сделать в первый день, в первую минуту, когда я увидела Митю. Мне не пришлось бы теперь объяснять, почему Андрей не мог не заехать ко мне. «Так сделай это сейчас»,— мысленно убеждала я себя. «Сейчас? Ни за что!»

И все время, пока мы ехали на вечернем, быстром трамвае и говорили о Митином докладе и смотрели на Неву, по которой не плыл, а как бы влачился туман, на баржи, которые, едва вырисовываясь, тоже как бы влачились в тумане,— все время мне думалось: «Сказать или нет?»

Было уже без четверти девять, когда мы пришли в общежитие. Я разбудила швейцара, который крепко спал в кресле у дверей своей комнаты, и он сказал, что ко мне в пятом часу заходил «приличный молодой человек».

— А сейчас не заходил? Вечером?

— Нет.

Расстроенные, не зная, что делать, мы стояли в подъезде, и Митя собрался ехать к себе, когда швейцар вдруг вспомнил, что «приличный молодой человек» оставил записку. Кряхтя, он отправился в свою комнату и долго шарил там, роняя стулья и на кого-то сердясь. Потом вернулся с маленькой запиской в руке.

«Таня, родная моя, как видишь я — в Ленинграде. Твои соседки сказали, что ты на кафедре, а если не на кафедре — у Нины, а если не у Нины — у Лены Быстровой. В общем, если я тебя не найду, увидимся на съезде. Но до съезда еще четыре часа — чертовски много! Я привез тебе сто один подарок. Милая, дорогая, как я тосковал без тебя!

Твой Андрей».

Я прочла эту записку вслух (без последней фразы), и Митя мрачно спросил, кто такие Нина и Лена.

— Мои подруги.

— Он знает их?

— Нину — да. Еще по Лопахину. И вы ее знаете.

— Не помню. Так, может быть, он у Нины?

— Она еще не вернулась с каникул.

Митя закурил.

— Нет, с ним что-то случилось,— помолчав, подавленно сказал он.— Что же делать?

— Можно было бы позвонить Лене по телефону. Но последнее время у них снимают трубку, очень болен отец. Дмитрий Дмитрич, может быть, мне съездить к Лене? У нас условный знак: я постучу в стенку, и она мне откроет. А вы поезжайте к себе.

— Ну что вы! Поедемте вместе!

— Это очень далеко, на Международном.

— Все равно.

У него на щеке билась жилка, как у Агнии Петровны, когда она волновалась. Мы сели в трамвай, и он сказал:

— Нет его у Лены.

— Дмитрий Дмитрич, уверяю вас, что с ним ничего не случилось.

— Вы не знаете Андрея. Он не мог не подождать меня после доклада.

— Я знаю его лучше, чем вы думаете.

— Тем более. Вообще он был какой-то странный.

— Ну вот... придумайте еще что-нибудь!

— Я не придумываю. Это проскользнуло у меня в сознании, но как-то смутно, потому что я должен был через несколько минут выступать. А теперь я вспоминаю: он был очень расстроен.

— Чем же?

— Не знаю. Он побледнел, когда мы заговорили о вас,— вдруг вспомнил Митя.— Да, да! Он побледнел и спросил: «Так она тебе ничего не сказала?» И как раз в эту минуту Николай Васильевич объявил мой доклад. Что вы должны были сказать мне, Таня?

Я ничего не ответила. Мы сошли с трамвая. Парадная дверь в доме, где жили Быстровы, была почему-то закрыта. Митя позвонил. Дворничиха, шлепая туфлями, показалась в темном подъезде.

— Танечка, я вас очень прошу: объясните, в чем дело?

Мы прошли темный пролет лестницы между первым и вторым этажами. Я спросила:

— Андрей переписывался с вами последнее время?

— Нет. Я получил от него одно письмо — перед самым отъездом из Москвы.

— Ну, вот...

Лампочка горела на третьем этаже.

— Танечка, я вас умоляю! Я не пойду дальше. Что изменится от того, что мы узнаем, что днем Андрей был здесь и справлялся о вас?

— А что изменится от того, что я...

Теперь мы снова были в темном пролете, а там, через несколько ступенек, опять начинался светлый, и на черной, обитой клеенкой двери был виден голубой почтовый ящик Быстровых.

— ...от того, что я скажу вам, что мы с Андреем хотим пожениться!

Это было глупо, что я заплакала, но ничуть не смешно, и по Митиному лицу я видела, что он и не думал смеяться. Он взял меня за руки, усадил на подоконник — на лестнице были низкие подоконники — и молча сел рядом.

— Ну вот, а теперь рассказывайте,— ласково сказал он, когда я перестала плакать, и, как маленькую, погладил по голове.— Почему вы так долго молчали? Почему вы плачете? И главное — где Андрей?

— Да не знаю я, где Андрей!

— Ш-ш! Ну ладно, все равно! Не провалился же он, в самом деле, сквозь землю! А теперь...

Он взял мои руки, крепко пожал и хотел поцеловать, но я отняла.

— Поздравляю вас от всей души, милая, хорошая Танечка! Это великолепно, что вы выходите за Андрея, потому что вы оба какие-то светлые, чистые и будете превосходной парой. Но почему этот болван молчал — просто загадка! Если бы у меня была такая невеста, я звонил бы о ней на каждом углу.

Я подняла глаза: у него было доброе лицо и голос звучал сердечно и просто. «Если бы у меня была такая невеста»... О, если бы! У меня снова стали капать слезы, сперва две-три, а потом сразу много, так что пришлось встать и отойти в сторону, чтобы справиться со слезами.

— Спасибо, Дмитрий Дмитрич! Но все это... далеко не так просто. Вы даже не можете себе представить, как я хорошо отношусь к Андрею! Но в тот день, когда я получила от него письмо — это было в Анзерском посаде,— письмо, в котором он спрашивал меня, разделяю ли я его чувства... я все-таки не решилась ответить «да», хотя никогда еще не встречала человека лучше, чем он, и часто думала, что, может быть, никогда и не встречу.

Кто-то не спеша поднимался по лестнице, и я говорила все тише, наконец шепотом, так что Митя должен был встать и подойти поближе, чтобы услышать меня.

— Но когда я наконец решила, что скажу ему «нет», за мной прибежали, потому что ему стало плохо. И я... Он был при смерти, и я не могла... Это вышло случайно.

Но вы не скажете ему, что это вышло случайно? И вот теперь, когда он приехал...

Я замолчала — не потому, что было сказано все, а потому, что мои слова были так ничтожны, так жалки в сравнении с тем, что я чувствовала в эту минуту! И так непохожи на правду!

Митя грустно смотрел на меня.

— И вы думаете, что вам это удастся?

— Что удастся?

— Да вот... не выйти за Андрея.

— Дмитрий Дмитрич...

— Пожалуйста, не думайте, что я шучу,— поспешно сказал Митя,— или не понимаю, что произошло между вами. Но ведь вы не хотите сказать, что любите кого-то другого?

Он взял меня за руки, но в это мгновение где-то очень близко от нас, за стеной, послышался крик.

Дверь распахнулась, и Лена Быстрова, которую я не сразу узнала, растрепанная, в халате, выбежала на площадку.

— Лена!

Она обернулась и бросилась ко мне.

— Это ты, Таня? Как хорошо, что ты пришла! Я хотела вызвать неотложную помощь, а отец... Ему очень плохо. Идем, идем скорее! Он не отпускает меня!

Простая случайность

Мы стояли в передней. Лена рассказывала, и ничего нельзя было понять — ни того, что случилось утром, когда Василий Алексеевич порезал палец и три часа нельзя было унять кровь, ни того, что случилось сейчас, когда почему-то понадобилась неотложная помощь. Мария Никандровна ушла в аптеку и не возвращалась что-то очень долго. Василий Алексеевич уснул и вдруг стал вставать и сердиться на Лену, которая заставляла его лечь. С болезненным возбуждением, в котором было что-то беспомощно-торопливое, Лена рассказывала, путалась, искала анализы. Я смотрела на нее во все глаза и не узнавала. И ничего не могла понять до тех пор, пока не вошла вслед за Леной в столовую,— вошла и остановилась в изумлении, глядя на смутно белевшую постель, на стриженую костлявую голову, неподвижно лежащую на высоких подушках.

Мне не раз случалось видеть, как страшно болезнь изменяет людей. Например, на одной курации мне попался больной, лицо которого менялось почти ежечасно. Но это была не перемена — то, что я увидела, подойдя к Василию Алексеевичу. Это было полное, окончательное исчезновение прежнего, спокойного, медлительного, задумчивого, удивительно определенного в каждом движении, в каждом слове человека и появление нового человека — высохшего старика, с квадратным черепом, кости которого отчетливо проступали под натянувшейся кожей, причем эта перемена произошла за несколько дней. При электрическом свете желтый цвет лица — у Василия Алексеевича была желтуха — обычно почти незаметен. Но уже не желтый, а странный зеленый отсвет лежал на истомленном лице, на узких, беспомощно вытянутых вдоль тела руках. И этот умирающий человек открыл глаза, когда мы вошли, и спустил на ковер тонкие зеленые ноги, и Лена стала упрашивать отца, и было видно, что она старается скрыть от него то страшное, безнадежное, что против воли сквозило в каждом ее движении, в каждом слове.

— Папочка, не нужно, дорогой! Вот доктор пришел, сейчас он тебя посмотрит. Хочешь пить?

Василий Алексеевич покачал головой. Рука, которой он опирался на постель, дрожала.

— Слабость... проклятая,— с трудом пробормотал он.

Еще прежде, в передней, я объяснила Лене, что Митя — врач, и она как-то бледно, бессознательно улыбнулась, когда Митя пошутил, что он всегда является кстати. Теперь она умоляюще смотрела на него (Митя ласково уложил больного и сел подле его постели), и мне стало страшно, когда в этом измученном взгляде мелькнула надежда. Шепотом она попросила у Мити разрешения остаться. Он покачал головой.

— Ради бога!

— Нет, нет.

Я увела Лену.

Было половина одиннадцатого, когда мы ушли от Быстровых. Больной уснул, сказав Лене, что если бы его прежде лечили такие врачи, он давно избавился бы от этой несносной желтухи. Выходная дверь была заперта, и дворничиха, которую Митя насилу поднял с постели, узнав, из какой квартиры, спросила сочувственно:

— Ай скончался?

Молча мы вышли на Международный, пустой и тем-

ный. Ночной ветерок мягко нес по мостовой первые желтые листья. Пролетка стояла у аптеки, в окнах которой сонно просвечивали цветные шары.

— Я подвезу вас.

— Спасибо.

— Извозчик!

Мы сели. Я спросила Митю о положении больного, и он ответил сумрачно:

— Проживет несколько дней.

— Так это не желтуха?

— Нет. Вы помните симптом Курвуазье? У него рак поджелудочной железы — и, очевидно, глубокий, с метастазами, потому что поражена и печень.

— Вы сказали Лене?

— Зачем? Она все понимает. Хорошая девушка,— прибавил он задумчиво.

— Очень.

Мы помолчали.

— Какая беспомощность,— вдруг сказал с горечью Митя,— какая жалкая беспомощность! Чувствовать этот ужас ожидания, который гонит от себя умирающий человек! Знать, что смерть приближается — неизбежно, неотвратимо,— и не уметь не только остановить ее, но хотя бы облегчить мучения! Черт побери! И подумать только, что едва я заговорил о вирусной природе рака... Ну ладно! Все еще впереди.

Извозчик повернул на улицу Льва Толстого.

— Ну-с, милый друг, а что мы станем делать с Андреем?

Какое-то странное движение прошло по его лицу — и меня сразу бросило и в холод и в жар. Неужели я выдала себя, и он понял, что я не могла, не имела права ответить Андрею «да», потому что... Но у Мити вдруг стало холодное, недовольное лицо, как всегда, когда он уставал, и я подумала с тоской: «Нет, не понял!»

— Дмитрий Дмитрич... Мы встретимся, и я все расскажу ему. Как вы думаете?

Я сказала это с отчаянием, голос зазвенел, и Митя внимательно посмотрел на меня.

— Разумеется, да. Сейчас поеду к себе, в «Европейскую», а оттуда, если Андрей не пришел,— прямо в Главное управление милиции.

— Дмитрий Дмитрич, я буду звонить вам.

— Когда?

— Часов в двенадцать.

— Пожалуйста.

— А если Андрей у вас, скажите ему, что я жду его. И буду ждать весь день. Никуда не уйду.

— Хорошо. Доброй ночи.

Я спала тревожно — все была виновата перед кем-то во сне,— когда соседки по комнате разбудили меня и, перебивая друг друга, стали рассказывать, что ко мне приходил посыльный в красной шапке.

— Зачем?

— Да письмо же принес!

— Какое письмо?

— У тебя в руках! Очнись, соня.

Я накинула пальто и спустилась в столовую, чтобы остаться одной. Письмо было от Андрея:

«*Дорогая Таня,* ты, без сомнения, очень удивилась, не найдя меня в Филармонии. Я был и видел тебя. Когда ты прочтешь это письмо, я буду уже в поезде: мне случайно удалось на один день вырваться в Ленинград — только потому, что Ефимов (это была фамилия замнаркома), который неожиданно вызвал меня, перенес наш разговор на завтра.

Что же случилось? Ничего особенного, дорогой друг. После твоего отъезда я каждый день уходил на Анзерку, а оттуда по каменистой — помнишь? — дорожке к оврагам, к варницам и думал, думал о тебе. Да какое там думал! Я говорил с тобой, я перебирал каждое твое слово. И странно — мне стало казаться, что не одна, а две Тани были со мной в те дни. Одна — ответившая мне «да» и убеждавшая себя в том, что она не могла ответить иначе. И другая — ответившая «нет» и страдавшая, оттого что не решалась отнять у меня свое слово. Я чувствовал твое раздвоение, а потом, после твоего отъезда, увидел его так же ясно, как сейчас из окна гостиницы вижу высокий, узкий, темный двор,— не правда ли, какие неприветливые дворы в Ленинграде?

Я написал тебе в Ленинград — ты не ответила, и мне впервые подумалось: она не любит меня».

Дальше полстраницы было зачеркнуто, и я разобрала только: «Не подумай, что я упрекаю». Потом снова шли отчетливые, твердые, написанные без колебаний строки:

«Вот, милая Таня! На съезде я увидел твое оживленное, смеющееся лицо, такое далекое от всего, чем было полно мое сердце, и точно чья-то рука направила свет фонаря на догадки, мерещившиеся мне в полутьме. Я понял, что обманывал себя — и обманывал лишь потому, что мне не хотелось верить печальной мысли: она не любит меня.

Потом я подошел к Мите. Это было трудно — спросить о тебе. Но я спросил — и понял, что ты не сказала ему о том, что произошло между нами в Анзерском посаде. Почему? Я ответил: потому, что она не любит меня.

Вот и все! Я буду писать тебе. Иногда, если позволишь, я стану приезжать к тебе и спрашивать: «Все то же?» Ты не должна думать, что я стал меньше любить тебя.

Всегда твой Андрей».

Размахивая этим письмом, в пальто, накинутом на ночную рубашку, я вбежала в вестибюль и закричала швейцару:

— Петр Францевич, дайте гривенник, скорее, скорее!

Сто лет он копался в старом, потрепанном портмоне, сто лет не отвечала станция — и, кажется, не ответила бы еще сто, если бы я с отчаянием не ударила кулаком по автомату.

— Дайте справочную Октябрьской дороги. Говорит ревизор.

Не знаю, какой добрый демон подсказал мне эти слова, но телефонистка, в любое время дня и ночи повторявшая «занято»,— в ответ на подобную просьбу вдруг сказала:

— Даю.

— Когда отходит ближайший поезд в Москву?

— Через двадцать минут.

Я не увижу его. Не увижу, не скажу, что я одна во всем виновата!

Кажется, курсантам военных школ положено одеваться в полторы-две минуты. Я оделась быстрее. Девочки стали приставать с расспросами, я что-то ответила и, опрометью сбежав по лестнице, бросилась к площади Льва Толстого.

Нечего было и думать на трамвае добраться до вокзала за пятнадцать минут. Такси в те годы не было и в помине. Но как раз накануне Машка Коломейцева рассказала мне об одном нашем студенте пятого курса, у ко-

торого рожала жена и который, растерявшись, выскочил на улицу, остановил первую попавшуюся машину и отправил жену в клинику. Этот случай смутно вспомнился мне, когда, перебежав через площадь, я увидела издалека приближавшуюся по Большому проспекту машину. Остановить? И с бьющимся сердцем я пошла по мостовой навстречу машине.

— Что случилось?

— Товарищ шофер, мне нужно успеть на Октябрьский вокзал. Поезд отходит через пятнадцать минут. Я вас умоляю!

Шофер был мрачный, небритый, в ушанке, надвинутой на лоб. Я сунула ему пять рублей — все, что у меня было.

Он распахнул дверцу и сказал сердито:

— Садитесь.

...Сама не знаю, что я бормотала, заглядывая в окна, заходя наугад в вагоны. Мне хотелось крикнуть: «Андрей!» — как в лесу. Мне казалось, что в жизни не может быть большего несчастья: я потеряла Андрея. Он уедет, не повидавшись со мной, расстроенный, оскорбленный, не зная, что я все-таки люблю его, хотя и не так, чтобы он был счастлив, бедный, дорогой, милый!

— Таня!

Он стоял в двух шагах от меня на площадке вагона.

— Ты пришла!

Это было недолго — несколько мгновений,— когда я сердилась на него за то, что, красная, растрепанная, я проталкивалась в проходах среди пассажиров, возившихся со своими вещами, за то, что я плакала, когда он увидел меня. Потом я бросилась к нему и сказала все сразу:

— Я пришла, потому что это невозможно, чтобы ты уехал, не повидавшись со мной. Я не хочу, чтобы мы так расставались! Ведь ты не станешь сердиться за то, что я плохо знаю себя? Мне нужно было написать тебе, но я боялась, что это будут холодные, принужденные письма.

На Андрее было какое-то старое, позеленевшее пальто с лохматыми петлями, и я помню, что из-за этих петель мне тоже хотелось плакать. Но все это — и что он так похудел, и что на носу стали видны две беленькие параллельные полоски, и что, должно быть, Машенька перестала заботиться о нем, не обметала петли,— обо всем этом сейчас было некогда думать. До отхода поезда осталось только три или четыре минуты.

— Да, я не думала о тебе, это правда! Я ничего не сказала Мите потому, что все как-то изменилось с тех пор, как мы расстались в Анзерском посаде.

Нужно было просто снять вещи Андрея с полки и выбросить их через окно на перрон. Но это даже не пришло мне в голову — без сомнения, потому, что я чувствовала себя виноватой.

Кондуктор вышел и пронзительно засвистел, а я еще говорила.

— Милая моя, родная, — наконец поспешно сказал Андрей,— спасибо, что ты пришла! Но все же я не хочу, чтобы ты думала, что связана тем, что сказала мне в Анзерском посаде. Мы будем переписываться, хорошо?

Поезд тронулся. Я быстро поцеловала Андрея.

— Да. И я ничего не стану скрывать от тебя. Ты мой лучший друг, единственный, самый дорогой — на всю жизнь!

Он стоял на площадке и кивал с просветлевшим, добрым лицом, а когда вагон был уже далеко, еще раз показал рукой, чтобы я написала.

Сущность вопроса

Так всегда бывало после осенних бурь в Лопахине, поражавших меня своей дикостью и первобытной силой: вдруг падал ветер, уходила на юг косая стена дождя, переставали страшно шуметь на Овражках деревья. Куда-то исчезал шалый дух разрушения, бессмысленно гремевший железом на крышах. Осторожно открывались двери, и лопахинцы робко выглядывали в переулки, усеянные обломками водосточных труб, ветками, дранкой, которую ветер неизменно приносил с мельницы — там был станок, на котором делали дранку. Тесьма возвращалась в свои берега, и в городе наступала тишина.

С этим чувством вдруг наступившей тишины я занялась после отъезда Андрея своими институтскими делами. Мне предстоял пятый курс, государственные экзамены. Работа на кафедре, которую поручил мне Николай Васильевич, была едва начата.

Больше я не ходила на съезд, только слышала от Рубакина, что с интересной речью выступил Крамов, который сообщил об организации в Москве Института биохимии микробов. «Вот куда бы попасть»,— с восторгом сказал Рубакин. Сотрудники нашей кафедры звали меня на за-

ключительное заседание, но я не пошла, отговорившись болезнью Василия Алексеевича, которому становилось все хуже. Это была правда. Я проводила у Быстровых целые дни и часто оставалась ночевать, чтобы сменить измученную, отчаявшуюся Лену. Впрочем, волнение, растерянность, отчаяние исчезли из этого дома, когда стала совершенно ясна безнадежность положения больного. О том, что было неизбежно, неотвратимо, никто не упоминал ни словом, и только Марию Никандровну я иногда заставала на кухне стоящей у окна и молча глотающей слезы.

В приемной было много народу, и с первого взгляда я поняла, что ждать придется долго — часа два или три. Это не очень испугало меня, потому что я захватила с собой учебники гигиены — нетрудный предмет, который можно отлично изучать и в приемной. Впрочем, вскоре пришлось пожалеть, что я не взяла с собой «ушные и горловые», потому что соседи заметили, что я занимаюсь, и стали говорить шепотом, а когда какой-то парень громко зевнул над самым моим ухом, все укоризненно посмотрели на него, а одна старушка спросила с негодованием: «Дома не выспался?» И парень покраснел до ушей.

Накануне я позвонила Мите, и он таким неопределенно-равнодушным голосом заговорил со мной, что я спросила:

— Вы знаете, кто с вами говорит?

— Да, разумеется.

— Вы были у прокурора?

Он помолчал: по-видимому, старался вспомнить, по какому делу ему нужно было пойти к прокурору.

— Нет еще.

— Дмитрий Дмитриевич, ведь вы же согласились со мной, что нельзя терять ни одного дня.

— Да. Но ведь я обещал, что пойду после съезда.

Не было и речи о том, что он пойдет после съезда! И потом, что это за «обещал»?! Можно было подумать, что дело, по которому он собирался говорить с прокурором, касается только меня.

Потом я узнала, что в этот день академик Никольский выступил с большой речью, в которой досталось — в числе прочих — и Мите; таким образом, у него был серьезный повод, чтобы углубиться в собственные дела и заботы. Так или иначе, я решила, что не буду больше звонить ему,

тем более что была важная причина, по которой мне хотелось, чтобы прокурор выслушал именно меня, а не Митю. Леша Дмитриев и Лена, с которыми я посоветовалась, тоже сказали, что откладывать нет ни малейшего смысла.

Какой-то человек, пожилой, с крупными чертами лица, в кепке, сдвинутой на затылок, в пальто, наброшенном на плечи, вышел из кабинета, потом вернулся немного погодя, и по тому оживлению, с которым его встретили в приемной, можно было догадаться, что это один из работников прокуратуры. Но мне даже в голову не пришло, что это и есть городской прокурор.

— Прошу садиться,— сказал он, когда я вошла в просторный, строго обставленный кабинет,— слушаю вас.

— Товарищ Гаранин,— это была фамилия прокурора,— я студентка Первого Медицинского института Власенкова и пришла по делу, которое требует вашего вмешательства. Возможно, что не вашего лично, но, во всяком случае, вмешательства прокуратуры. Профессор Заозерский (я подчеркнула фамилию Николая Васильевича и тут же с огорчением убедилась, что она не произвела на прокурора никакого впечатления), с которым я советовалась по этому поводу, рекомендовал обратиться именно к вам.

Он слушал не перебивая. Без кепки и пальто он выглядел более суровым, и на умном желтоватом лице установилось выражение привычного внимания.

— А, так вы по этому делу? — сказал он, когда я спросила, получил ли он заявление от Дмитрия Дмитриевича Львова.— Да, получил.

— Видите ли, я не в курсе того, что именно написал вам доктор Львов,— продолжала я, начиная немного волноваться.— Но мне история покойного Павла Петровича Лебедева известна лучше, чем кому бы то ни было. Он был моим учителем и руководителем с детских лет, и я могу удостоверить, что его труд действительно имеет научное значение. У него была очень несчастливая жизнь, еще до революции он был беспомощным стариком. Тем не менее он довел приблизительно до середины свою работу, которая в настоящее время находится в руках этого темного типа. Вы знаете, о ком я говорю, товарищ Гаранин?

Прокурор кивнул. Он слушал меня с интересом.

— После революции Павлу Петровичу предлагали напечатать его работу, именно ту, о которой идет речь. Но он

отказался, и это естественно, потому что оценить ее, по-видимому, можно было только в законченном виде. После смерти Павла Петровича эта рукопись осталась у меня, поскольку его родные в то время... Доктор Львов в своем заявлении указал, каким образом она попала к Раевскому?

— Прошу вас рассказать все, что вы знаете по этому делу. Не спешите. И не волнуйтесь.

Я сразу поняла, что нужно не рассказывать без разбору, а как бы нарисовать портрет, причем сосредоточить в этом портрете все, что было характерно для Павла Петровича как человека науки.

— А теперь я должна сообщить вам,— продолжала я с разбегу, потому что иначе сказать об этом мне было бы трудно,— что рукопись Павла Петровича попала к Раевскому по моей вине. Не знаю, что написал по этому поводу доктор Львов, но это факт, что я доверилась своему отцу, оставила ему рукопись, а отец...

Прокурор улыбнулся, и его лицо смягчилось.

— Мне кажется, что винить себя в данном случае не приходится, товарищ Власенкова,— сказал он.— Кому же должна довериться дочь, если не своему отцу? Что же касается вашего отца, так он действительно виноват, поскольку распорядился чужим добром по своему усмотрению. Причем вина его усугубляется тем обстоятельством, что это добро не какие-нибудь там ложки и плошки, а научный труд, который принадлежит государству. Объяснительная записка вашего отца приложена к заявлению Львова. Теперь могу вам сообщить, что по этому заявлению в квартире гражданина Раевского уже произведен обыск и никакого научного труда обнаружить не удалось.

— Как не удалось?

— А сам Раевский утверждает, что о научных трудах он не имеет понятия. Ездил он, по его словам, в Лопахин за письмами артистки Кречетовой, которые и выпустил в свет отдельной книгой. Имел ли он на это право? Безусловно, нет. Однако это претензия особая, и могу лишь сказать, что она стоит в ряду других претензий, которые предъявило к гражданину Раевскому государство. Но относительно научного труда покойного Лебедева у нас имеется показание вашего отца — и только.

— Товарищ Гаранин, а я уверена, что рукопись у Раевского! Мы с доктором Львовым были у него, теперь я вижу, что это была ошибка! А теперь... Еще бы! Станет он держать дома научную рукопись, из-за которой — он

это превосходно понял — может разыграться неприятная история!

Прокурор внимательно слушал меня.

— Не волнуйтесь, товарищ Власенкова,— повторил он.— Я думаю, что вы правы. Но вот о чем я попрошу вас. Во-первых, передайте профессору Заозерскому мою просьбу прислать свое заключение по поводу пропавшей работы. С ваших слов он может сделать подобное заключение?

— Да.

— А во-вторых... Прошу вас пройти сюда.— Он провел меня в соседнюю комнату и усадил за стол.— Напишите мне подробнейшим образом все, что я от вас сегодня услышал. Не торопитесь и не волнуйтесь. Этот научный труд мы будем искать и дела в подобном неопределенном положении не оставим...

Накануне отъезда Митя позвонил в общежитие, и я передала ему свой разговор с прокурором. Он удивился и спросил: написал ли Заозерский заключение по поводу труда Павла Петровича? Я ответила, что да, хотя на самом деле Николай Васильевич только прочел это заключение, а написала его я от первого до последнего слова.

— Значит, все в порядке,— сказал Митя таким голосом, как будто именно он позаботился о том, чтобы все было в порядке.— А я тоже говорил с Николаем Васильевичем... о вас.

— Да? И что же?

— Сошлись.

— На чем?

— На том, что у вас есть данные.

— Какие данные?

— Научные, Таня, научные. Разумеется, если вы будете серьезно работать...

Это было на лекции, посвященной менингиту — воспалению мозговых оболочек,— одной из самых страшных детских болезней, против которой в то время знали только одно, и то весьма несовершенное средство.

— Что же это за средство? — спросил профессор, и я громко сказала со своего места:

— Пункция.

Честное слово, до сих пор не знаю, каким образом эта пункция (прокол оболочек спинного мозга) залетела в

мою голову. Но я так уверенно произнесла это слово, что обрадованный профессор немедленно пригласил меня подойти,— очевидно, чтобы я могла похвастать своими глубокими познаниями в детских болезнях. Дрожа, я вышла вперед, и началось... Что началось! На демонстрации был туберкулезный больной, и профессор задал вопрос, относящийся к туберкулезу. Я тупо уставилась на него и промолчала. Он задал другой, третий, а когда в ответ на четвертый я понесла чушь, покачал головой и сказал:

— Вот тебе и пункция! Ну-с, садитесь.

Разумеется, не потому я стала аккуратно ходить на лекции — даже на стоматологию, к которой питала необъяснимое отвращение,— что мне стало страшно получить плохой диплом или отстать от подруг. Но я подумала: еще год — и я стану врачом!

Самое простое было посоветоваться с друзьями — и я посоветовалась: сперва с Олей, для которой было ясно, что мне следует заниматься наукой, и только наукой. А потом с Леной, которая не сомневалась в том, что я должна посвятить себя деятельности практического врача. Прошло несколько дней, и я окончательно запуталась, потому что Леша Дмитриев сказал, что бюро ячейки решило выдвинуть меня на научную работу по кафедре профессора Заозерского.

В конце концов сущность вопроса заключалась все-таки в том, что я должна выбирать между двумя направлениями в жизни, которые — так мне казалось — были очень далеки одно от другого. Первый путь — наука — требовал не только упорства и знаний, но и таланта, которого у меня, быть может, и нет.

Второй путь — практика — вел меня непосредственно в самую глубину жизни.

Эти два пути с особенной отчетливостью представились мне на похоронах Василия Алексеевича Быстрова.

Был ясный октябрьский день, один из тех, когда кажется, что вернулось лето, но вернулось только для того, чтобы проститься надолго. В сквере, вдоль которого мы прошли за гробом, было сухо, деревья стояли легкие, веселые, как будто им не жаль было расставаться с последней листвой, еще дрожавшей на ветках. Небо было бледное, но ясное, с нежными, высокими облачками.

Я много плакала на гражданской панихиде и теперь, выйдя на просторное шоссе, вздохнула полной грудью. Народу было так много, что, когда выносили, милиция

па несколько минут остановила движение, но родных, кроме Марии Никандровны и Лены, не было никого, и мне вспомнилось, как Лена говорила, что она стала особенно сердечно относиться ко мне, когда узнала, что у меня, кроме отца, нет родственников — ни далеких, ни близких. И снова и снова у меня сжималось горло, когда я вспоминала, как она неподвижно стояла у изголовья гроба и, не отрываясь, глядела на мертвое лицо отца. Но я прогнала слезы и до самого Волкова кладбища думала о том, что сделала ошибку, проведя два года на кафедре микробиологии, среди лабораторного стекла, бесконечно далекого от человеческих мук и страданий.

Прощание было на панихиде, но и здесь, на кладбище, после речей тоже стали прощаться. В ясном свете дня, на воздухе, среди живых цветов странным казалось зеленое лицо покойника, который как будто с важностью прислушивался к какой-то происходившей в нем неизъяснимой тайне.

Все еще подходили, целовали в лоб, целовали тонкую, тоже зеленую руку. Вот Лена в последний раз наклонилась над отцом и что-то шепотом сказала ему. Вот гроб начали на веревках опускать в могилу, и такими грубыми показались эти толстые перекрутившиеся веревки, и то, что рабочие, побагровев, с натугой держали тяжелый гроб на весу, и то, что их высокие сапоги глубоко вжимались в глинистую землю. Вот первые комья с глухим стуком упали на гроб, и холм, покрытый цветами, вырос над свежей могилой.

Проводы

Еще когда я была на четвертом курсе, в институте много говорили о том, что Николай Васильевич собирается переехать в Москву. На съезде я тоже слышала, что новый институт эпидемиологии, которым будет руководить Николай Васильевич, решено организовать в Москве, а не в Ленинграде. Но это были неопределенные слухи, и на кафедре, например, никто им не верил. В самом деле, как было поверить тому, что придет день и никто из нас не услышит строгого покашливания Николая Васильевича, и «Реве тай стогне», и беспечного молодого смеха, когда вдруг выяснялось, что подопытный кот съел приготовленное к очередному «пятничному» чаю печенье! Кот был то подопытный, то ловил в виварии крыс. Как представить

без Николая Васильевича кафедру, в одной из комнат которой стояли коллекции, вывезенные им из Китая, Индии, Египта, а в другой — висел портрет Мечникова с надписью: «Бесстрашному ученику от восхищенного учителя с пожеланием всяческого преуспеяния в борьбе против наших микроскопических врагов!» Кафедру, на которой все было проникнуто его мыслью, создано по его слову!

В начале января Петя Рубакин сказал мне, что до конца учебного года Николай Васильевич будет совмещать московский институт с ленинградским, а в начале следующего окончательно переедет в Москву. День проводов был назначен, и некой Тане Власенковой, сказал Рубакин, от имени кафедры поручено произнести прощальную речь.

Институт устраивал в честь Николая Васильевича торжественное заседание — оно должно было состояться через несколько дней. Но это было не заседание, а обычный «пятничный» чай, на который сотрудники кафедры явились с цветами — все знали, что Николай Васильевич любит живые цветы. Повсюду, на окнах, на шкафах, стояли букеты — всё гортензии: зимой трудно достать другие цветы в Ленинграде.

Николай Васильевич пришел в новом черном костюме (который — это было широко известно — шился к съезду и не был готов, потому что надул портной) и с первого слова объявил, что вчера просил у наркома разрешения забрать с собой всю кафедру в Москву.

— Он спрашивает: «Сколько же человек?» Я отвечаю: «Со слушателями тридцать четыре». «Многовато»,— говорит. А что за многовато, если вы мне все нужны, все мои дорогие, родные!..

Никогда прежде я не бывала на этих чаепитиях, где сотрудники кафедры держались свободно, как знакомые, совершенно иначе, чем на работе. Правда, я уже не была той девочкой, которая, решив посвятить себя науке, тайком пробралась в кабинет профессора и спряталась за портьеру. Но все-таки я чувствовала себя неуверенно, напряженно, неловко. То мне казалось, что я могу и даже должна вмешаться в серьезный разговор, завязавшийся между Николаем Васильевичем и Петей. То, съежившись на диване, я начинала торопливо повторять в уме свою речь.

Между тем речи начались, и было уже видно, что Николаю Васильевичу самому хочется сказать речь: у не-

го было растроганное, но вместе с тем какое-то нетерпеливо-страдающее выражение. Вдруг дошла очередь до меня. Я встала, откашлялась, начала: «Дорогой Николай Васильевич...» — и замолчала, потому что оказалось, что я не помню ни слова. Это было ужасно. С остолбенелым видом я стояла, крепко сжимая рюмку в руке.

— Ну что, забыла? — с огорчением сказал Николай Васильевич.

Все засмеялись; я вспомнила, и вышло даже к лучшему, что я так волновалась, потому что сказала совсем другое, чем приготовила, гораздо серьезнее и умнее.

Николай Васильевич поцеловал меня и немного всплакнул. Когда молодежь приветствовала его, он всегда бывал особенно тронут. Вместо ответа он рассказал, как в 1919 году разнесся слух о его смерти, и в институте, в Микробиологическом обществе почтили его память вставанием, а академик Коровин, всю жизнь доказывающий, что Николай Васильевич не кто иной, как Дон-Кихот, воюющий с ветряными мельницами, написал статью, в которой сравнил его одновременно с Мечниковым и Пастером.

— Потом, говорят, волосы на себе рвал,— сказал Николай Васильевич,— и доказывал, собачий сын, что я подстроил эту штуку нарочно... Ну, Таня,— сказал он, когда чай кончился и я подсела к нему,— а вы приедете ко мне в Москву, а?

— Нет, Николай Васильевич.

— Вот тебе и на! Почему?

— Потому, что я решила оставить микробиологию. Хочу работать как практический врач.

— Что такое? — Он взял меня за руки и посмотрел в глаза.— Это, кажется, серьезный разговор. Да, Таня?..

— Да.

Он подумал.

— Завтра зайдите ко мне домой. Между двумя и тремя. Ишь придумала! Практический врач!

Учитель

Еще ничего не было окончательно решено, но, несмотря на то что меня по-прежнему выдвигали в аспирантуру, я все более склонялась к тому, чтобы взять врачебный участок. Я поняла, что мучилась этими сомнения-

ми, еще когда писала свою первую историю болезни — печальную историю, кончавшуюся словами: «Диагноз под вопросом».

Но странная вещь! Едва я начинала представлять себе деятельность практического врача, как наша кафедра вспоминалась мне с пугающей соблазнительной силой. Что же, значит, не будет этого прекрасного чувства, с которым я всегда подходила к дверям лаборатории? Не будет затаенного волнения, когда, стараясь не спугнуть еще неопределенную мысль, осторожно касаешься того неведомого, о котором ничего не знает ни один человек на земле?

Мне не повезло. Вернувшись с проводов Николая Васильевича, я наугад раскрыла Тимирязева, стала читать и наткнулась на страницу, умножившую мои колебания. Вот она:

«...Стыдитесь,— говорит ученому негодующий моралист,— кругом вас бедствуют люди, а вас заботит мысль — откуда взялась эта серая грязь на дне вашей колбы! Смерть уносит отца, опору семьи, вырывает ребенка из объятий матери, а вы ломаете голову — мертвы или живы какие-то точки под стеклами вашего микроскопа? Разбейте ваши колбы, бегите из лаборатории, окажите помощь больному, принесите слово утешения там, где бессильно искусство врача».

Но вот проходит сорок лет, и вновь встречаются эти воображаемые лица. Теперь берет слово ученый:

«...Вы были правы, я не оказывал помощи больным, но вот целые народы, которые я оградил от болезней. Я не утешал отцов и матерей, но вот тысячи отцов и матерей, которым я вернул их детей, обреченных на неизбежную гибель. И все это было в той серой грязи на дне моей колбы, в тех точках, которые двигались под моим микроскопом!»

Николай Васильевич назначил мне час, когда он возвращался домой к обеду, и опоздал на добрых сорок минут. Наконец пришел, веселый, с цветами, и от души удивился, найдя меня в своем кабинете.

— Что повесила нос, милая дивчина? — спросил он.— Опять собралась сказать речь и забыла? Садитесь-ка вот сюда. Я вас слушаю. И не сердитесь, что опоздал. Зато дома обедать не буду.

Он пододвинул мне кресло, и сам сел у окна.

— Вот что, милая Таня,— выслушав меня, серьезно сказал он.— Однажды уж был, кажется, случай, когда я посоветовал вам прочитать «Дон-Кихота». Мне нравится, когда из темного леса выходят по звездам, не спрашивая дороги. Но я вас полюбил и поэтому постараюсь ответить на ваши вопросы. Вы спрашиваете: должны ли вы посвятить себя практической медицине? Отвечаю: нет. Почему? Да потому, что у вас теоретическая голова. Правда, этого мало, нужны еще хорошие руки. Но это, милый друг, зависит от вас. Итак — наука! Вопрос второй: ехать ли вам после института в деревню или куда там пошлют? Безусловно! Почему? Потому, что для ваших научных интересов это будет только полезно. Мне ли доказывать вам, что в деревне можно и должно заниматься наукой? Разве свою работу, весьма любопытную, вы не привезли из деревни, да еще глухой-преглухой, за сто километров от железной дороги?

Он говорил, и я слушала с таким чувством, точно в большом зале, по которому я бродила впотьмах, зажигались лампочки, сперва в одном углу, потом в другом, и хотя было еще полутемно, но уже стали видны двери, через которые можно выйти на волю.

Николай Васильевич помолчал, вздохнул и попросил разрешения прилечь.

— У меня, например,— устроившись на диване, сказал он,— в молодости не было подобных сомнений. Я попал прямо в лабораторию, и мне удалось кое-что сделать, но лишь потому, что в те времена сама бактериологическая лаборатория была новостью в медицинской науке. Но пришел день, когда мне стало ясно, что я превратился в скучного собирателя фактов. На второстепенном я стал настаивать как на главном. И нужна была катастрофа, чтобы мне стало ясно, что наука и жизнь не должны расходиться под линзами микроскопа.

И Николай Васильевич рассказал, как еще молодым человеком, работая на Одесской бактериологической станции, он по поручению Мечникова делал овцам массовые прививки против сибирской язвы и три тысячи животных погибли по неизвестной причине.

— По неизвестной причине! А на деле причина заключалась именно в том, что он не был проверен жизнью — тот эксперимент, который я пытался столь широко применить. Вот что было для меня катастрофой! — раздельно повторил Николай Васильевич.— Вот-с, милый друг! Так что смело вперед! Вы не белоручка и, слава богу, здоровы. В деревне вы получите то, что никогда не найдете в лаборатории — жизненный опыт! Да-с, жизненный опыт, значение которого переоценить невозможно.

Прощание с юностью

Сомнения сомнениями, а пора было кончать институт. Пятый курс, потом государственные — при одном этом слове мне становилось холодно и что-то катилось от головы к ногам, очевидно, душа уходила в пятки.

В первом полугодии я еще заходила на кафедру, главным образом чтобы посоветоваться с Петей Рубакиным, которому Николай Васильевич поручил позаботиться о моей первой статье. Во втором — забыла и думать, что существует на белом свете, да еще в Ленинграде, да еще во дворе Первого Медицинского скромное серое здание, в котором некая студентка ежедневно до поздней ночи возилась с таинственным стрептококком. Кстати сказать, я потеряла сон и покой, работая над статьей, посвященной этому стрептококку. Я переписывала ее по меньшей мере четыре раза. Потом Оля Тропинина исправила стиль, и я переписала еще раз.

Но что значили эти муки в сравнении с неслыханным издевательством, которое я ежедневно терпела от Пети! То он начинал публично доказывать, что за эту статью я должна получить по меньшей мере Нобелевскую премию. То требовал, чтобы я посвятила ее памяти выдающегося советского микробиолога Петра Николаевича Рубакина, поскольку сей последний отдал данному произведению все свои силы и, читая двенадцатый вариант, скончался в ужасных мучениях. Словом, дорого досталась мне его помощь, и день, когда я наконец отправила статью Николаю Васильевичу, показался мне праздником, несмотря на то что это был отвратительный, пасмурный день, битком набитый «ушными и горловыми».

Ох, уж эти горловые и ушные! Это было необходимо — кто не понимал, что на периферии каждый из нас мог

прежде всего встретиться с этими болезнями! Но все время, пока я занималась ушными и горловыми, у меня было неприятное чувство, что ко мне пристают с чем-то длинным, скучным, однообразным и что ничего не произойдет, если на другой день после экзамена я забуду об этих болезнях. И я забыла, впрочем только потому, что началась новая неделя, а на пятом курсе это значило: новый предмет.

Я занималась с Олей Тропининой и еще раз оценила ее умение легко схватывать то, что можно назвать «общей панорамой» предмета. В любой новый курс она входила, как в город, держа перед глазами воображаемую карту и следя по ней за линиями улиц. Она очень помогала мне, но и я ей, кажется, тоже. Она нетерпеливо относилась к мелочам, а были предметы, представляющие собой не что иное, как перечень мелочей, да еще и прескучных. Она не любила возвращаться — превосходная черта! Но, как известно, не возвращаясь к прочитанной странице, очень трудно, почти невозможно, окончить медицинский институт. Кроме того, когда в шестом часу утра Оля засыпала на полуслове, я трясла ее за плечи, ругала, хотя и очень жалко было смотреть на ее худенькое милое лицо, с большими, влажными, закрывающимися глазами.

Это было неожиданно, когда из сплошного, слившегося времени, состоявшего из зубрежки, ночных дежурств, торопливых практических занятий, времени, делившегося не на дни и часы, а на детские и инфекционные, вдруг выглянула весна. Однажды, идя с утомительного дежурства в Институте скорой помощи, я посмотрела на небо и убедилась, что земля, как ни странно, продолжает свой бег вокруг солнца, не обращая внимания на заботы и огорчения очередного выпуска молодых врачей. Небо было весеннее, нежная луна, едва заметная в его прозрачной голубизне, медленно уходила, ночные пушистые облачка тепло розовели, освещенные солнцем, а оно — великолепное, красно-желтое, тоже весеннее — уже вставало где-то далеко, готовясь ринуться в город.

Так же неожиданно, как весна, обнаружилось, что почти все мои подруги вышли замуж. Эту «кампанию» начала, к общему изумлению, тихая, сдержанная, молчаливая Верочка Климова, вышедшая за того молодого военного врача, который водил меня на гастроли МХАТа. Я же и познакомила их — недаром на свадебном обеде третий,

после жениха и невесты, тост был провозглашен за меня. Потом вышла Машка Коломейцева и тоже удивила — не потому, разумеется, что вышла, но потому, что, отвергнув множество завидных женихов, выбрала студента-египтолога — худого, лохматого, в темных очках и погруженного в книги, интересовавшие его, кажется, гораздо больше, чем Машка.

— Ничего не поделаешь, девочки, любовь! — решительно объявила она.

Когда мы готовились к государственным, я получила приглашение еще на одну свадьбу — не институтскую, а нашу, лопахинскую, о которой я еще расскажу.

Андрей писал мне очень часто, и теперь мне казалось странным, что до сих пор я жила, не получая этих длинных, ласковых писем.

С трудом вспоминаю я несколько дней, прошедших между курсовыми и государственными экзаменами, которые начались в июне. Девочки потащили меня на «Похищение из сераля» Моцарта; я мгновенно заснула и открыла глаза, когда похищение уже совершилось. Во втором акте я вдруг обнаружила за щекой карамель — должно быть, снова вздремнула. Зато к концу третьего окончательно пришла в себя и потребовала у девочек, чтобы оперу показали сначала.

На другой день Леша Дмитриев, встретив меня и Олю на институтском дворе, объявил, что у нас «жалкий полузадохшийся вид», и доказал, что для того, чтобы сдать госэкзамен, нам нужны три вещи: гулять, гулять и гулять. И мы пошли в Ботанический сад. Это была странная прогулка! Оля все время громко дышала и говорила: «Внимание! Вентиляция организма», а я изображала артистку Колумбову из Московского театра эстрады. Потом мне захотелось посидеть в беседке на холме, с которого открывался вид на длинную аллею, красиво расчерченную параллельными косыми тенями, но Оля не дала, объяснив, что мы должны не сидеть, а «драться за здоровый отдых».

В саду было привольно, прохладно, от маленьких серо-зеленых растений подле оранжереи пахло легкой горечью, нежные молодые побеги елей были уже темные, твердые — верный признак, что лето в разгаре. Часа три мы

бродили по саду и наконец уснули где-то в кустах, голодные, счастливые, пьяные от воздуха, зелени и неслыханного, давно забытого фантастического безделья.

Это было в середине июня, государственные уже начались, мы занимались втроем — Оля, Лена Быстрова и я,— и счастливый день в Ботаническом давно казался мне полусном. Помнится, мы обсуждали в этот вечер сложившийся план, согласно которому наша группа не должна была попасть к Гиене Петровне (таково было прозвище некой Елены Петровны М., доцента по детским болезням), когда в дверь постучали, позвонили и на пороге показалась нарядная, похорошевшая, смущенная, в новой шляпке с вуалью Ниночка Башмакова.

Разумеется, прежде всего мне пришло в голову, что кто-то снова объяснился ей в любви и она пришла, чтобы немедленно обсудить со мной, серьезно это или несерьезно. Но на этот раз у меня не было времени, и, усадив ее тут же в передней на диванчик,— это было в квартире Быстровых,— я сказала решительно:

— Ну, выкладывай! Десять минут.

Нина засмеялась, покраснела, откинула вуальку и поцеловала меня с задумчивым — это было поразительно! — видом. Спохватившись, что закрасила мою щеку, она вынула платочек, стала оттирать, размазала и сказала счастливым голосом:

— Уф!

Мы все заметно одичали во время экзаменов — я, кажется, больше других. Поэтому я тоже сказала «уф», но с другим — нетерпеливо-страдающим выражением.

— Говори же!

— Ничего особенного! Просто меня собираются пригласить в Михайловский театр.

— Да ну?

Это было великолепно — едва окончив консерваторию, получить приглашение в большой, известный всей стране театр,— и я от всей души поздравила Нину.

— Вот молодец! Помнишь, как Гурий спрашивал: «Ребята, а вдруг я гений?» Когда твой дебют? Я весь институт приведу! Скоро?

— Постой... Это еще не все.

Нина заморгала, потом зажмурилась, и две слезы покатились из зажмуренных глаз.

— Понимаешь, он очень хороший,— она вытерла слезы,— и даже слишком умный для меня, но мне не страшно, что он такой умный, а между тем даже с тобой иногда почему-то страшно. И он любит меня! До сих пор, когда мне объяснялись, я как-то не чувствовала. А теперь почувствовала — и знаю наверное и убеждена, что ему все равно, что я хорошенькая и пою, а важно совершенно другое. Он мне давно понравился, еще в прошлом году, но, понимаешь, мне даже в голову не приходило,— во-первых, потому, что он всегда был погружен в музыку, то есть в себя, а во-вторых, потому, что он знаменитый.

— Знаменитый?

— Ну да! Знаешь кто? Виктор Сергеев.

— А-а...

Признаться, в первую минуту я не вспомнила, кто таков Виктор Сергеев и почему Нина с гордостью произнесла это имя. Но потом афиша Филармонии мелькнула передо мной, статья в «Вечерней Красной»...

— Постой, но ведь он же москвич?

— Да нет, ленинградец! Он наш, консерваторский, ученик Шелепова. Он давно кончил, еще в двадцать третьем, его оставили при консерватории, понимаешь?

Я обняла Нину.

— Вот теперь, когда ты не спрашиваешь, серьезно или несерьезно, я верю, милый друг, что это серьезно.

Мне хотелось, чтобы девочки тоже поздравили Нину, но она не пустила меня, и мы болтали до тех пор, пока из Лениной комнаты не донесся многозначительный кашель. Нина заторопилась:

— Постой, да как же твои дела?

— Ничего, пока сдаю хорошо. Но впереди, ох, самое трудное! Хирургия.

— А комиссия по распределению была?

— Вчера.

— И что же?

— Еще не знаю.

— Но ты останешься в Ленинграде?

— О нет! Да мне никто и не предлагает.

Это было правдой: с тех пор как уехал Николай Васильевич, на кафедре перестали говорить о том, что он предлагал мне остаться в аспирантуре.

— Как же так? — с огорчением спросила Нина.— И не дают выбирать?

— Дают. Я, например, попросилась в Лопахин.

— Не может быть! Вот здорово! Тогда мы будем видеться часто!

— Погоди, еще не дадут!

— Да что ты! Ведь это нам с тобой кажется, что Лопахин — прелесть! А для других это страшная глушь! Дадут!

Многозначительный кашель повторился, и я поскорее простилась с Ниной. Еще раз крепко обняла ее. Еще раз заглянула в добрые заплаканные глаза, по которым было видно, что Нине от души хочется, чтобы мне стало так же хорошо, как ей. Еще раз пожелала счастья. Потом проводила до ворот, и милое, легкое видение в шляпке с вуалью исчезло за углом, как за кулисой, а я вернулась к кишечным расстройствам, которые, как известно, представляют собой серьезнейшую опасность для грудных, особенно в летнее время.

Душным июльским вечером я выхожу из института и поворачиваю не направо, как обычно, к общежитию, а налево — все равно куда, к трамвайному парку. Только что кончилось торжественное собрание нового выпуска молодых врачей, слова доверия и надежды еще звенят в голове, лица товарищей, похудевшие, счастливые, еще мелькают перед глазами. «Очень странно, девочки,— сказала Лена Быстрова,— но жизнь, оказывается, может стать еще интереснее».

Я захожу в незнакомый садик на берегу Невы, и девочки, до сих пор старательно игравшие в «классы», с удивлением смотрят на тетю-чудачку, которая ложится на скамейку и как зачарованная смотрит в прекрасное, еще подернутое дымкой жары, остывающее вечернее небо. Неужели уже прошли, промчались, отшумели институтские годы? Трамвай, звеня, скатывается по Сампсониевскому мосту — прямо ко мне? Последний зеленый луч заката скользнул над Невой — для меня? Толстая, важная няня, точно сошедшая со страниц детской книжки, подходит с вязанием в руках и спрашивает, не дурно ли мне. Я смотрю на нее, и слезы счастливого волнения застилают глаза. Неужели эта доброта и вежливость и вязание в руках — для меня?

Молодость кажется бесконечной, и о ней хочется рассказывать долго, подробно, с любовью. Почему не рассказать, например, о прекрасном «лопахинском» вечере у

Нины, на который пришли Гурий, работавший теперь корреспондентом «Ленинградской правды» и собиравшийся в Запорожье, где начиналось строительство Днепровской плотины, и командир-подводник Володя Лукашевич, у которого был такой вид, как будто он так и не собрался поговорить со мной о чем-то очень важном? Почему не рассказать, как Гурий произнес немного длинную, но в общем превосходную речь о том, что все мы, в сущности говоря, «разъезжаемся в пятилетку»? Почему не рассказать о том, что на этом вечере кто-то заговорил об Андрее и оказалось, что каждому из нас по-своему не хватает Андрея? Почему не рассказать о том, как рано утром мы вышли на улицу — Нина жила теперь в Чернышевом — и отправились к Неве, над которой с гортанными криками низко носились чайки?

Мы шли вперед, взявшись за руки, во всю ширину панели. Гурий громко читал Маяковского: «Эй вы! Небо! Снимите шляпу!»,— и город был нарядный, просторный, молодой и опять какой-то новый, в мягких красках тающей белой ночи.

Конец первой части

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПОИСКИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ
В ЗЕРНОСОВХОЗЕ

Все ново

Недавно прошел дождь, еще падают редкие, тяжелые капли, от которых, как от камешков, во все стороны разлетается пыль, а дорога уже сухая, и уже по-прежнему печет жаркое степное солнце. Кузов грузовика, в котором я сижу, опять нагревается, у женщин-сезонниц, едущих в совхоз на строительные работы, начинают дымиться паром платки. Я смотрю по сторонам: все ново — и дорога, бегущая вдоль той, по которой мчится наша машина, и то, что эта боковая дорога изрыта гусеницами тракторов, и то, что мы обогнали один из них, тащивший за собой огромную, похожую на утюг, походную кухню. Степь и степь — куда ни бросишь взгляд! Скучная — лишь мелькнет здесь и там на кургане плоский памятник, каменная скифская баба. Так пыльно, что я вынимаю из сумки платочек, и даже в нем лежит пыль, как будто я нарочно собрала ее и положила в платочек.

У меня много попутчиков: женщины, едущие в совхоз к своим мужьям, рабочие, трактористы, механики. Неуклюжий человек, полный, широкий, с большими ушами, нахлобучив кепку, гудит «Гренаду» Светлова,— все те же первые строфы повторяются с небольшим перерывом:

Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
Гренада, Гренада,
Гренада моя!

Он гудит «Гренаду» от самого Сальска, вот уже третий или четвертый час, так что в конце концов мне начи-

нает казаться, будто во всем, что я вижу и слышу, незаметно участвует эта простая мелодия. Мы знакомимся. Это механик «Зерносовхоза-5». Фамилия его Бородулин.

Высокий мужчина в клетчатых галифе, в брезентовых сапогах, в расстегнутой рубашке, под которой открывается могучая грудь, сидит рядом с Бородулиным и, посмеиваясь, ругает директора за «сухой закон» (я не знала, что в «Зерносовхозе-5» запрещены спиртные напитки).

— Ситро и солодовое пиво! Что вы скажете об этих медикаментах, доктор?

У каждого из пассажиров нашей машины свои дела, но почему-то кажется, что они ничего не значат в сравнении с делами этого человека,— так громко и уверенно говорит он о них, так оглушительно хохочет, с таким самодовольным выражением поглядывает на дорогу. Впрочем, это законное самодовольство. Дорога проложена им: «Километр в сутки, работали даже ночами, при фарах. Две благодарности в приказах наркома!» Этот человек, о котором с первого взгляда можно сказать, что все, что он делает, он делает с вдохновением,— инженер Репнин, начальник дорожной бригады, в прошлом буденновец, как раз один из тех, кто

...хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.

— А вы знаете, доктор, что родина Первой Конной — Сальские степи?

Начинает темнеть, шофер зажигает фары, какие-то птицы мелькают в голубоватом свете. Я присматриваюсь к третьему попутчику — средних лет, с чемоданом, в старельком, но аккуратном костюме. Его фамилия Маслов, он тоже инженер, как и Репнин, и едет в зерносовхоз из Москвы. У него обыкновенная внешность: некрупные черты лица, маленький нос, плоские губы. Он курит, молчит. Лишь когда загорается жаркий спор о том, можно ли в здешних краях сеять хлопок, он поднимает глаза — холодные глаза человека, никогда не повышающего голос.

Думала ли я, что в одной машине со мной едут те, кто займет свое место на страницах этой истории? Нет. Я рассматривала своих попутчиков хотя и с любопытством, но с дорожным любопытством — тем самым, которое кончается вместе с дорогой.

Огни показываются вдалеке, и по правильности их расположения я догадываюсь, что это освещенные окна. Вот становятся видны и самые дома, кажущиеся странными на ровной, пустынной поверхности степи. Дома трехэтажные, их немного, шесть или семь. Мы приехали. Это Главный Хутор «Зерносовхоза-5». Сторож берет мой чемодан, ведет меня в общежитие и бормочет в ответ на расспросы, что начальства нет, чаю нет и хорошо еще, если найдется свободная койка. Мы заходим в недостроенный дом, и светом фонарика сторож указывает мне свободную койку. Я умываюсь, ложусь. Шум чего-то пересыпаемого, раздробляемого, свет, вдруг вспыхнувший за окнами, не дают мне уснуть. Это, должно быть, ночная смена принимается за работу. Нужно спать!

Я сплю, а надо мной строят дом. Торчат железные прутья, под ветром раскачиваются фонари, и люди в грязных фартуках стоят над всем этим железным, бетонным хозяйством с полными забот руками.

Проходит два месяца. Поздняя осень. В пустой квартире нового, еще не заселенного дома, в маленькой комнате — весь Главный Хутор называет ее «лекарней»,— я сижу над письмом, в котором, ничего не преувеличивая, рассказываю о своих делах и заботах. «Почти ежедневно я вспоминаю наш разговор, дорогой Николай Васильевич, тот самый, помните, когда вы сказали, что в деревне можно и должно заниматься наукой...»

Свет то разгорается, то гаснет — почти гаснет, так что становится виден лишь тонкий рисунок красноватых, остывающих нитей. Полно, да в деревне ли я? Трехэтажные дома стоят в необозримой степи. Сегодня утром я видела, как длинный, нескладный садовник вбивал колышки на площади перед управлением и сердился, когда тракторы наезжали на его будущий сад. За машинным парком шумит, качая воду, катерпиллер в пятьдесят лошадиных сил. Днем он почти не слышен, а ночью шумит, как прибой. Длинный ряд домиков, построенных из ящиков, в которых пришли из Америки тракторы, тянется через весь Главный Хутор — это проспект Коммуны, будущая центральная улица «Зерносовхоза-5». А там, в поле, дымятся походные кухни, трепещут под осенним ветром палатки, в зеленых фургончиках спят коротким, тревожным сном трактористы, комбайнеры.

Нет, я не в деревне! И не в городе.

Быть может, Николай Васильевич прав. Но как же взяться за дело? С какой стороны подойти?

Тихо в пустом, пахнущем известью доме, неоконченное письмо лежит на столе.

Сосед по квартире заходит на кухню, умывается, потом на площадке лестницы отряхивает и чистит пальто, и все это аккуратно, неторопливо. Когда я впервые увидела инженера Маслова по дороге в зерносовхоз, мне и в голову не пришло, что он будет жить в одной квартире со мной.

— Доктор, вы дома? Откройте!

Я открываю. Незнакомая девушка, босая, в косынке, наброшенной на плечи, стоит в темном подъезде. Ноги ее до колен залеплены грязью.

— Что случилось?

— Сестренка умирает.

— Чья сестренка?

— Моя.

Девушка плачет.

— Где она?

— В столовой ИТР. Она с лесов упала. Вы придете, доктор?

— Да, да.

— Я побегу, хорошо?..

С чемоданчиком, в котором лежит почти вся моя аптека, я выхожу на проспект и останавливаюсь, потому что для того, чтобы попасть в столовую, нужно перейти этот проспект, а перейти его невозможно. Грязь лежит на нем — черная, блестящая, густая. Мне случалось воевать с грязью, особенно в детстве, в Лопахине. Но разве можно сравнивать с добродушной лопахинской слякотью эту дикую, злобную, хватающую за ноги грязь? Я делаю шаг, и нога медленно уходит по щиколотку — удача! Следовательно, мне удалось попасть на помост,— где-то здесь был дощатый помост. Хуже, если это доска, которую накануне подкладывали шоферы под застрявшую подле моей «лекарни» машину. Еще шаг — да, доска! Нога уходит до колена, и я с трудом возвращаюсь в исходное положение. Что делать?

Между тем кто-то большой, шумно дышащий, быстро шагающий надвигается на меня из темноты. Это инженер Репнин. Он в комбинезоне, в резиновых сапогах выше колен, в широкополой шляпе. Веревка, переброшенная через шею, привязана к ушкам его сапог, и я вспоминаю, как

еще сегодня в той же столовой он громко хвастался своим изобретением, а я сказала, что он похож на человека, которого собрались повесить.

— Это вы, доктор?

— Да.

— Попались?

— Да, плохо дело.

— Потому что девушкам по ночам нужно спать.

— Полно болтать глупости. Лучше помогли бы.

С хохотом он делает один огромный шаг и, прежде чем я успеваю опомниться, подхватывает меня, переносит через улицу и осторожно ставит на землю.

— Спасибо, товарищ Репнин!

— Нет, серьезно, доктор, куда вы идете?

— А вы? Домой?

— Да.

— Будьте добры, разбудите фельдшера и передайте, что я его жду.

Мой фельдшер Леонтий Кузьмич — сосед Репнина.

— Где?

— В столовой ИТР.

— В столовой? Что там случилось?

— Еще не знаю.

Я уже далеко от него. На той стороне — панель, и через несколько минут давешняя заплаканная девушка встречает меня на пороге столовой.

В раздумье, хотя раздумывать некогда, стою я над ее сестрой, лежащей без сознания, с открытыми глазами, из которых уходит последнее мерцание жизни.

Она бетонщица, упала с лесов на груду песка. У нее небольшой кровоподтек на груди, но ни вывихов, ни переломов. Почему же едва прощупывается пульс? Почему она так неровно, прерывисто дышит? Почему (я тревожно всматриваюсь в лицо) нос заострился, синюха уже тронула губы?

Страница конспекта по хирургии встает перед моими глазами. Я вижу ее так же ясно, как эту девушку, которая умирает и умрет безусловно, несомненно, через пять — десять минут. «В случаях неотложной хирургической помощи перед врачом прежде всего возникает вопрос «что делать?», а затем «как делать?». Но что же делать, если врач впервые видит больного в то мгновение, когда замирает пульс, когда начинают тускнеть и закатываться под веки глаза? Что делать, если даже для самого беглого

осмотра нет ни одной минуты? Я впрыскиваю камфору — никакой перемены. Искусственное дыхание? Но применяют ли в подобных случаях искусственное дыхание?

Мысль, кажущаяся особенно дикой рядом с этим зрелищем полуосвещенной кухни, заставленной столами, на которых стоят груды грязной посуды, осеняет меня, даже не мысль, а мелькнувшее воспоминание о том единственном случае, когда я своими глазами видела, как знаменитый Джанелидзе уколом в сердце оживил больного, умиравшего на операционном столе! Но, во-первых, у него был адреналин, а во-вторых, он едва ли сомневался в том, куда нужно сделать укол — между пятым и шестым ребром или между четвертым и пятым?

— Снимите комбинезон! Да скорее же!

Я осторожно поднимаю ее послушные руки. Еще раз — так же осторожно. Еще десять, двадцать, тридцать раз. Еще сто, двести, триста...

Стараясь не шуметь, кухарка подбрасывает в плиту дрова, передвигает кастрюли. На цыпочках входят и уходят подавальщицы — время не ждет, нужно кормить очередную смену. Кто-то с грохотом вламывается в столовую, его останавливают:

— Ш-ш! Тише!

И в столовой ИТР становится тихо. Говорят шепотом, не двигают стульями, не стучат посудой. Все знают, что в двух шагах, за стеной идет работа — размеренная, утомительная, однообразная работа...

Раз-два. Мертвенно синеют полузакрытые веки. Раз-два. Никакой надежды! Пот льет с меня градом, я сбрасываю все, кроме легкой кофточки. Раз-два. Как странно, по-разному у нее закатились белки! Раз-два. Больше не могу. Еще двадцать — и кончено... Ну, а теперь еще двадцать!

Женщины столпились вокруг — значит, смена ушла? Кухарка моет плиту. Ого, как разболелась спина! Черт с ней, со спиной. Раз-два!

— Померла.

— Царство небесное!

— Вечный покой.

Женщины плачут. Раз-два. Ничего не поделаешь. Еще двадцать раз — и кончено... Ну, а теперь еще двадцать! Веки вздрогнули. Вздор, это мне показалось! Да, вздрогнули! Раз-два... Вот когда нужно всерьез приниматься за дело.

— Так, превосходно! Свету побольше! Воды!

Через час я возвращаюсь домой. Так же темно на улице или даже еще темнее. Так же мрачно блестит в темноте грязь. Холодно, ветер. Девушки из столовой, наскоро раздав ночной смене оставшуюся перловую кашу, провожают меня. Они спрашивают, трудно ли учиться на врача, одинаково ли требуют в институте от мужчин и от женщин; я отвечаю солидно, неторопливо, а сама слушаю себя и думаю: «Что же это было? Шок! Ох, как я еще мало знаю!»

Сгорбленная неуклюжая фигура в длинном пальто показывается из темноты — это фельдшер Леонтий Кузьмич, тот самый, за которым я посылала Репнина.

— Это вы, Татьяна Петровна? Что случилось?

Еще сегодня утром я поругалась с фельдшером за то, что он отменил мое распоряжение: ко мне принесли обожженного ребенка, и я велела — это было новостью — залить поверхность ожога танином. В каждом письме к Николаю Васильевичу Заозерскому я жалуюсь на Леонтия Кузьмича, на его неопрятность, лень, глупость, на то, что он тайно от меня принимает от больных «подарки». Почему же сейчас он кажется мне таким добрым, смешным, симпатичным?

— Все в порядке, дорогой Леонтий Кузьмич. Вы опоздали.

— Опоздал?

Отогнув ухо — он глуховат,— фельдшер подходит поближе и вдруг, сделав отчаянное движение всем телом, скользит и падает в грязь. Девушки хохочут и помогают ему подняться.

Вот и «лекарня».

— Доброй ночи.

— Доброй ночи, доктор! Спасибо!

— Да за что же?

— За Лушу!

...Больше не меркнет, не вспыхивает свет, как всегда после двух часов ночи. Я снова одна. В пустой кухне я моюсь вовсю, не жалея воды, хотя знаю, что завтра с водой будет плохо, потому что, пока я возилась с Лушей, катерпиллер заглох. С горящими от холодной воды щеками возвращаюсь в свою комнату. Неоконченное письмо лежит на столе. «Почти ежедневно я вспоминаю наш разговор, дорогой Николай Васильевич...» Ладно! Завтра допишу! А сейчас нужно спать.

И я с головой ныряю в холодную, сырую постель. Сон приходит мгновенно, но и во сне я чувствую, что случилось что-то хорошее. Очень хорошее! Но что — не могу догадаться.

Проходит еще три месяца. Начало весны.

...Разговор уже был — очень короткий,— но я не ушла, и директор — маленький, рыжеватый — сердится, что я не ушла. Очень хорошо, пускай сердится! Терпеливо пережидаю я длинную беседу с каким-то немцем-инженером, специалистом по ремонту комбайнов, потом с трактористкой, которая жалуется, что ее бросил муж, потом с механиком, ездившим в Сальск принимать грузовые машины, потом с Репниным, который мрачно сообщает директору, что Нефтесиндикат опять не прислал автол и что пускай его отдают под суд, а уж он покажет кому следует, где раки зимуют. Потом, стараясь не глядеть в мою сторону, директор принимает кого-то из ИРУ,— есть, оказывается, на свете такой Институт рационализации управления. Потом приходит Чилимов — секретарь парткома, и директору становится еще труднее делать вид, что меня нет в его кабинете.

Больше часа идет разговор о преимуществах тракторных колонн перед «таборной системой», еще минут двадцать директор с притворно-равнодушным выражением лица подписывает бумаги. Наконец он поднимает глаза — добрые, с оттенком иронии. На днях я выслушивала его — больное сердце. Прописан теобромин и адонис, по одной столовой ложке три раза в день. Сон не меньше восьми часов, строгий режим и т. д. Не заметила я сегодня, чтобы он принял хоть одно из моих лекарств! Строгий режим! Недаром он от души рассмеялся, когда в памятке я жирно подчеркнула эти два слова.

— Ну-с, Татьяна Петровна! Это что же получается, а?

Директор окает. У него мягкая, неторопливая манера выговаривать каждое слово. Он симпатичен мне. Почему? Сама не знаю. Может быть, потому, что он так мало похож на директора зерносовхоза, в котором пахотной земли не меньше, чем в ином западноевропейском государстве.

— Это получается — кто кого? На манер борьбы между кооперацией и частным капиталом?

— Не вижу сходства.

Правой рукой Иван Иванович — так зовут директора — энергично растирает левую. Болезнь или привычка?

— Так, Татьяна Петровна. Сосчитаемся, как говорится. Не сделал ли я для вас все, о чем вы меня просили? Хирургические инструменты выписаны?

— Да.

— Лечебные сыворотки, согласно вашему списку, в количестве, значительно превышающем потребность, выписаны?

— Да. В необходимом количестве.

— Выставка-лубок по охране материнства и младенчества, над которой весь зерносовхоз смеется, выписана?

— Да. Смеются, потому что детей мало. Но будет много.

— На прошлой неделе вы потребовали у меня какой-то аппарат, который, как выяснилось, без микроскопа вообще пригодиться не может. Выписан?

— Да. Микроскоп у нас есть, Иван Иваныч. А вы знаете, что в «Гиганте» с февраля работают хирургический, терапевтический и зубной кабинеты? Аптека великолепная, с полным набором лекарств. Для стационара строится отдельное здание.

— На то он и «Гигант», Татьяна Петровна. Да-с. А теперь вы снова являетесь ко мне и просите,— да куда там! — настаиваете, чтобы я отобрал комнату у инженера Маслова на том основании, что эта комната понадобилась вам для устройства стационара, который, насколько мне известно, никто вас устраивать не просил!

— Иван Иваныч, ничего Маслову не сделается, если он проведет лето на одном из участков. Дайте ему комнату на Сухой Балке. В конце концов, не из Главного же Хутора он будет наблюдать за работой комбайнов!

— Это не ваше дело, Татьяна Петровна, судить о том, откуда ему удобнее наблюдать за работой комбайнов. И я вас прошу...

— Иван Иваныч, вспомните весну прошлого года! У меня двенадцать больных, из них четыре тяжелых. Я отвечаю за них. Вот вы, умный человек, скажите же, что мне делать?

Муравьев встает и медленно подходит к окну. Уже давно я заметила, что он побледнел, но в эту минуту он кажется мне особенно бледным. Он распахивает окно. Зачем? Ветер врывается в комнату, бумаги летят со стола на пол. Он не подбирает их. Растерянно улыбаясь, он составляет стулья, и я с ужасом смотрю на него. К двум стульям он, тяжело дыша, приставляет третий. Как буд-

то стараясь вспомнить о чем-то, он проводит рукой по лбу, потом, негромко охнув, садится — нет, ложится на стулья.

— Иван Иваныч, что с вами?

Директор едва переводит дыхание.

— Боже мой, что я наделала! Я замучила вас!

Он молчит, долго, минут двадцать — все время, пока я прикладываю к сердцу мокрое полотенце, ищу и нахожу в письменном столе склянку с моей микстурой, ругаю его за то, что он даже не открыл эту склянку, и себя за то, что довела его до припадка.

— Что за дура! Вам нужно было просто выгнать меня!

Постепенно бледность проходит, лицо оживает. Директор пытается встать, я не даю.

— Ну, ну! Нет, Татьяна Петровна, сдаюсь! Поднимаю руки! Будет вам стационар! Будет!

История одной болезни

Механик заболел вечером одиннадцатого июня и, пока я на попутной машине добиралась до Цыганского участка, чуть не «отдал концы», как сообщила мне расстроенная повариха. Когда я вошла, он лежал в комнате опытно-испытательного отдела и ругался. Доброе лицо с большими ушами, придававшими ему сходство со слоном, побледнело и смялось. Каждые пять минут он страшным голосом кричал кухарке: «Маша, уходи!» — и, хватаясь за живот, сползал с койки все по одной и той же весьма серьезной причине.

Я осмотрела его, и мне не понравилось, что у него была холодная кожа. Это наблюдается при многих желудочных заболеваниях, но у него она была какая-то очень уж холодная и влажная, как у лягушки. Зрачки были расширены, пульс замедлен, в икрах, как он утверждал, «стреляло». Я поставила градусник — тридцать пять и семь.

Это было похоже на пищевое отравление, например отравление колбасой, о котором я помнила только, что оно чем-то отличается от отравления грибами. Точность моего диагноза подтверждалась тем обстоятельством, что накануне болезни Бородулин провожал племянницу и на проводах были поданы как раз колбаса и грибы. Таким образом, в происхождении болезни можно было, кажется, не сомневаться.

Была уже ночь, когда, дождавшись обратной машины, я перевезла механика в Главный Хутор и положила в «больницу» — стационара тогда еще не было,— состоявшую из двух палаток, каждая на одиннадцать человек. К счастью, в той палатке, куда я поместила Бородулина, было немного больных — только трое.

По-прежнему он стонал и кряхтел, жаловался, что ему холодно, и время от времени кричал медсестре страшным голосом: «Уходи, Катя!»

В общем, ему все-таки становилось легче. Температура поднялась до нормальной, бледное доброе лицо оживилось. Он уже беспокоился, как без него справятся с ремонтом, ругал какого-то Бесштанько, который был, по его словам, «мастером простоя», и успел сообщить сестре, что «в жизни был одинок». Все это были очевидные признаки выздоровления, и, вернувшись к себе, я даже задумалась: стоит ли ставить анализ? У меня тогда еще не было термостата, а маленькую кладовку, которую я приспособила под термостатную комнату, приходилось по меньшей мере часа три согревать керосинкой, чтобы поднять температуру до 36—37°. Причем поднять температуру — это было еще полдела. Нужно было поддерживать ее на том же уровне все время, пока не вырастут микробы — утомительное занятие после дня, полного забот, волнений и двух поездок — туда и назад — на далекий Цыганский участок! Но все-таки я сделала посев и всю ночь сонно тыкалась в кладовую, ругая керосинку, которая ни с того ни с сего начинала коптить. Прошло десять часов — этого было достаточно, чтобы в питательной среде появились первые колонии микробов. Главное чувство, с которым я рассматривала появившуюся на пептонной воде нежную пленку, было любопытство, тем более что механик (как мне сообщила, заглянув на минуточку, Катя) чувствовал себя значительно лучше. Я сделала мазок, сунула его под линзу микроскопа, и так же отчетливо, как в эту минуту бегут перед моими глазами одна за другой черные строчки по белому листу бумаги, я увидела на предметном стекле короткие «запятые» холерного вибриона...

Этому невозможно было поверить, и я не поверила, оторвавшись от микроскопа и взглянув вокруг себя с недоумением: все было на своих местах — две полки с книгами и лабораторной посудой, аптечный шкаф, койка, покрытая простыней, на которой я выслушивала больных.

Все по-старому, ничего не переменилось! Но под микроскопом, если верить глазам, были типичные холерные «запятые».

Дрожащей рукой я сменила препарат — все то же! Снова сменила... В «лекарне» было тепло, даже жарко, но внезапный холод прохватил меня с головы до ног, даже застучали зубы. Что же я сделала?

— Что же я сделала? — схватившись за голову, повторила я вслух.

В Главный Хутор я отправила механика на рейсовой машине, какие-то женщины подсаживались дорогой, было темно, и я не запомнила их одежды и лиц. Я не спросила, как зовут его племянницу, в каком направлении она уехала, кто был на проводах. Даже не спросила,— в то время как обязана была телеграфно потребовать, чтобы ее сняли с поезда и немедленно отправили в изолятор! В изолятор (которого, кстати сказать, не было в нашем зерносовхозе) полагалось отправить всех, с кем находился в контакте больной, и прежде всего самого больного, а я преспокойно положила его в одну палатку с двумя астматиками и мальчиком, сломавшим ключицу! Я ничего не сделала, чтобы помешать распространению страшной болезни, которая давно была совершенно ликвидирована в Советском Союзе. Напротив, все, что я сделала, как нарочно, было полно таких грубых, преступных ошибок, как будто я сознательно стремилась лишь к одному — превратить в эпидемию отдельный случай холеры.

...Стараясь справиться с дрожью, время от времени пробегавшей вдоль спины, я прежде всего отправилась к директору и доложила ему о положении дел. На этот раз мы говорили минут двадцать, и тем не менее еще через двадцать на Цыганский участок уже мчалась машина с лизолом, карболкой и т. д., а в километре от Главного Хутора уже разбивали палатки — изолятор на тридцать шесть человек. Инструкция по борьбе с холерой, сложенная вчетверо и лежавшая до сих пор в прошлогоднем «Календаре для врачей», вдруг ожила и стала главным предметом моих размышлений...

Механик сидел на койке в вязаном лыжном шлеме и рассказывал мальчику со сломанной ключицей содержание кинофильма «Кастусь Калиновский». На коленях у него спала кошка — упоминаю об этом потому, что эту кошку после некоторых колебаний я тоже отправила в изолятор.

Я осмотрела механика очень внимательно и ничего не нашла. Правда, время от времени он еще отлучался из палатки, но куда реже, чем накануне. Температура была нормальная. Лекарства, которые я ему прописала, он за ночь «полностью приел», как он сообщил мне, весело улыбаясь. Бесштанько, как полагал больной, уже запорол новый трактор, который недавно прислали на Цыганский участок, и лучше уж сразу везти с Главного Хутора запасные части. Один тракторист, у которого была подобная история с желудком, выпил двести пятьдесят граммов, закусил селедкой и поправился — правда ли, доктор, что современная медицина в отдельных случаях рекомендует сильные средства? Когда можно приступить к работе? Хорошо бы завтра! Дело в том, что послезавтра Бесштанько выходной, а ему, Бородулину, непременно нужно застукать его на простое. «Вы не знаете, что это за человек, доктор! Хитрый, как муха». Племянница, как он надеялся, уже доехала до Ростова — кстати сказать, прекрасная девушка, зубной техник, сирота и большая любительница литературы и театра...

Он был почти здоров, но что это значило в сравнении со страшной картиной, открывшейся на предметном стеклышке под моим микроскопом?

Очень осторожно я предложила ему перейти в другую палатку. Там ему будет удобнее, палатка маленькая, сестра будет ухаживать только за ним. Он почти выздоровел, но мне хочется последить за ним, потому что лабораторный анализ показал очень редкое заболевание, совершенно безопасное для жизни, но зато в научнсм отношении представляющее большой интерес.

Не помню, что еще я сочинила ему, но он вдруг увял, побледнел, лег на койку и, помолчав, жалобно сказал, что сам чувствует, что заболевание еще далеко не прошло.

Часа в четыре заведующий Сальским райздравом с целым штатом санитаров и сестер приехал в «Зерносовхоз-5» и вежливо, но решительно объявил мне, что берет на себя всю организационную сторону дела.

Это был старый врач, много лет служивший на флоте и под старость поселившийся в Сальске, откуда был родом. Он и был похож на моряка, но не на современного, а из романов приключений — маленький, красный, седой, говорящий низким, хриплым голосом, не выпуская из зу-

бов коротенькой черной трубки. И распоряжения его по своей краткости и решительности напоминали морскую команду. Потом, когда мы познакомились ближе, я сказала ему, что мне все мерещилось, что он сейчас скажет: «Свистать всех наверх», и все полезут куда-то наверх и будут торопливо делать что-то морское. Он засмеялся, сделал страшное лицо и прохрипел:

— И полезут!

Он сидел за столом в кабинете директора, а я стояла перед ним навытяжку и докладывала довольно связно, хотя голос неприятно зазвенел два-три раза. К тому времени у меня уже были результаты посева на твердой питательной среде, к сожалению, те же. Обычно сообщения о ходе работы даются по схеме, и мой первый предварительный ответ был: «Вибрион обнаружен, исследование продолжается».

Второй ответ я могла дать лишь после так называемой реакции агглютинации; в результате этой реакции вибрионы должны были склеиться в беловатые хлопья. Но у меня не было сыворотки. По правилам, наш медпункт должен был располагать полным набором сывороток, я тысячу раз говорила об этом Ивану Ивановичу Муравьеву и писала в Сальск. Но оттуда ничего не прислали, и, воспользовавшись случаем, я теперь сказала об этом заведующему райздравом. Он проворчал:

— Привезли сыворотку.

Я сказала:

— В таком случае сегодня ночью вы получите второй предварительный ответ.

В общем, с той минуты, как доктор Дроздов — заведующий райздравом — появился в совхозе и до меня стали доноситься, как эхо, его оглушительные морские команды, противоэпидемическая сторона дела перестала беспокоить меня.

Правда, иногда это было немного странное эхо. Каждые два-три часа, например, Катюша, очень хорошая и на редкость смешливая девушка, забегала ко мне с очередным сообщением:

— Проехала Кущевку. Кланялась.

Или еще через два-три часа:

— Проехала Батайск. Будьте здоровы.

Эти и многие другие станции Северо-Кавказской железной дороги проезжала племянница Бородулина, зубной техник и любительница литературы и театра, которую, не-

смотря на энергичные телеграммы доктора Дроздова, никак не удавалось поймать. Наконец поймали уже в Ростове и, хотя она была совершенно здорова, на шесть дней отправили в изолятор.

Совершенно здоровы были и двадцать семь человек, смотревших одновременно с Бородулиным картину «Кастусь Калиновский», привезенную накануне его болезни на Цыганский участок. Совершенно здоровы до сих пор были кухарка, ухаживавшая за механиком, астматики и мальчик со сломанной ключицей — бок о бок с ними в одной палатке механик пролежал десять с половиной часов. Здоровы были женщины, которые ночью подсаживались в машину и которых с большим трудом удалось разыскать. Что касается самого Бородулина — и он тоже чувствовал себя превосходно, хотя, едва я входила, начинал кряхтеть и делал уныло-озабоченное лицо, как и полагалось больному, который стал объектом научного наблюдения.

Но если никто не заболел, если это была не холера, что за чудо произошло в моей «термостатной»? Откуда взялись на жидких, а потом и на твердых питательных средах характерные прозрачные колонии холерного вибриона?

Я рассказала о том, что необходимо было сделать для проверки этого факта: поставить реакцию агглютинации. По всем правилам я поставила эту реакцию, и ничего не получилось. Как ни искала я на предметном стеклышке беловатые хлопья, ничего не было видно, картина оставалась совершенно такой же, как прежде.

Взволнованная, растерянная, я помчалась в изолятор, нашла доктора Дроздова и откровенно сказала ему, что у меня ничего не выходит. Он проворчал:

— Ничего, доктореночек, все будет в порядке.

Я спросила:

— Что же мне делать?

— Продолжать в том же духе, милый друг, тем более что вы, кажется, питаете к этому делу тайную склонность.

Маленький, красный, седой, он расхаживал по изолятору — много палаток стояло в поле на равном расстоянии одна от другой — и с довольным видом пыхтел своей трубкой. В палатках сидели скучные, совершенно здоровые комбайнеры, трактористы, киномеханик, какие-то бабы и, между прочим, «мастер простоя» Бесштанько, который, оказывается, успел удобно расположиться в комнатке опытного отдела после того, как я увезла оттуда

Бородулина. Не скучала и не ругала бедного механика, кажется, одна только кошка.

У меня не было уверенности в том, что доктор Дроздов лучше меня разбирается в сложном вопросе о природе холерного вибриона, недаром же в ответ на мои расспросы он ответил только, что уже затребовал эпидемиолога из Ростова и ждет его с минуты на минуту. Поэтому я вернулась домой и, немного подумав, вновь принялась за работу.

В общем, ясно было только одно — что ту же реакцию теперь следовало проделать с чистой культурой.

— А для этого,— сказала я себе вслух,— прежде всего нужно получить эту чистую культуру.

Ну что ж! Это было нетрудно. Я подрезала фитили в керосинке (что, разумеется, не имело прямого отношения к получению чистой культуры) и поставила штатив с пробирками в «термостатную» кладовую.

Это было в пять часов вечера, меня вызвали к астматикам, и, уходя, я, помнится, взглянула на будильник. Астматики долго не отпускали меня: как только у одного начинался припадок, так сразу же и у другого. Потом я пошла в столовую и встретила Репнина, только что вернувшегося из командировки. Он зажег фонарь, чтобы посмотреть на меня,— мы встретились на улице,— и остался недоволен.

— Красивая же девица была,— сказал он с огорчением.— Доктор, неужели вас этот тюфяк Бородулин допек? Я его сразу убью, к чему холера?

Он охал, сердился, хохотал и от полноты чувств поцеловал мою руку, очевидно считая пострадавшей стороной меня, а не «этого тюфяка Бородулина». Мы зашли в столовую, ужинали, о чем-то говорили, но душа моя была там, в маленькой душной кладовке, где штатив с пробирками стоял на подвесной полке, которую я сделала из куска фанеры.

Репнин проводил меня и хотел зайти — «честное слово, в жизни не видал вибрионов», но я не пустила. Мы простились на лестнице, и как раз в эту минуту свет стал меркнуть, как часто бывало у нас в двенадцатом часу ночи.

В полной темноте я поднялась к себе и на ощупь открыла «лекарню», которую последнее время, сама не зная почему, стала запирать на замок. Глаза освоились, и я уверенно распахнула дверь своей «термостатной»...

Я увидела это сразу, может быть, потому, что керосинка погасла и в «термостатной» было совершенно темно. Пробирки светились, каждая в отдельности, и не рассеянным, а определенным, напоминающим лунный, голубоватым светом.

Исследование продолжается

Разумеется, можно было предположить, что я сплю. С той минуты, как мы с Репниным расстались на лестнице и лампочка стала меркнуть, все это было немного похоже на сон. Я обернулась, подумав, что на пробирки упал отсвет луны. Но окно было задернуто шторой, ночь безлунная, и сколько бы раз, обманывая себя, я ни закрывала дверь «термостатной», чтобы внезапно распахнуть ее через минуту,— пробирки светились, и, казалось, еще сильнее, чем прежде. Голубоватая шапка сияния нежно возвышалась над ними.

Дрожащими руками я поставила штатив в кастрюльку — в этой кастрюльке я варила питательные среды — и осторожно спустилась по лестнице... Холерный вибрион не светится. Стало быть, этот вибрион не холерный? На мгновение я задержалась в темном подъезде и еще раз взглянула на штатив. Светятся! Неужели погаснут прежде, чем я добегу до Дроздова?

Инженер Маслов, мой сосед, встретился мне на проспекте Коммуны, и я далеко обошла его, точно этот бесшумный, сдержанный человек мог сделать что-то такое, от чего перестали бы светиться мои фантастические пробирки. До изолятора ближе всего через поле, и хотя мне всегда было страшно идти среди темной стучащей пшеницы, я все-таки пошла напрямик. Палатки смутно забелели в темноте куда скорее, чем я ожидала.

Держа кастрюльку прямо перед собой, я влетела в дощатый домик, вокруг которого раскинулись палатки изолятора,— здесь жили Дроздов и персонал, приехавший из Сальска.

— Где Иван Афанасьевич?

— У себя,— спокойно ответила незнакомая пожилая сестра, отрываясь от книги, которую она близоруко держала у самых глаз, и глядя на меня с удивлением.

— Проводите меня к нему. Срочное дело.

У Дроздова была отдельная комнатка, немного больше моей «термостатной», и он крепко спал, когда мы вошли.

Сестра хотела зажечь керосиновую лампу, но я сердито закричала: «Нет, нет!»

— Что случилось, докторенок? — не вставая, хрипло спросил Дроздов.

— Иван Афанасьевич, простите, что я вас разбудила. Но дело в том, что...

И я осторожно вынула штатив из кастрюльки и поставила его на стул, подле постели Дроздова.

— Что это значит?

— Не знаю.

— Как не знаете?

— Очень просто. Не имею понятия,— ответила я, стараясь удержаться от вдруг накатившего на меня беспричинного смеха.— Мне нужно было выделить чистую культуру, я посеяла на косой агар, и вот...

Дроздов вскочил. Он вынес стул с пробирками на середину комнаты, крякнул и быстро обежал вокруг стула. Зажег лампу — пробирки погасли. Дунул на лампу — опять засветились.

— Да-да,— с детским изумлением пробормотал он.— Ну что же! Поздравляю вас, доктор. Очевидно, вы сделали большое открытие.

На следующий день эпидемиолог Ростовского облздрава доктор Ровинский приехал в зерносовхоз и долго рассматривал мои пробирки.

— Должен разочаровать вас, доктор,— сказал этот длинный, седеющий, грустный человек в пенсне, который, прежде чем ответить на любой вопрос, неопределенно пожимал плечами и который знал холеру приблизительно в сто раз лучше, чем я.— Светящиеся вибрионы давно известны в науке. Но вам впервые удалось выделить их из человеческого организма. Вот это, кажется, новость. Теперь у вас будет свой собственный вибрион. Как ваша фамилия?

— Власенкова.

— Ну вот, Vibrio Vlasencovi. Нет, лучше так: Vibrio phosphorescens Vlasencovi. Это все-таки кое-что. Не каждый врач может похвастать, что он является автором вибриона. А холеры тут у вас нет. Так что зачем я приехал — загадка.

Холеры нет, и Бородулин болел не холерой — вот каков был неожиданный, но вполне обоснованный вывод, ко-

торый сделал ростовский эпидемиолог. Но приехал он далеко не напрасно. Он побывал на Цыганском участке и еще на двух или трех и посоветовал мне несколько санитарных мероприятий, простых, но весьма эффективных. Я убедилась в этом скорее, чем ожидала.

На конференции, созванной Дроздовым в середине дня, он сделал сообщение, и это был великолепный эпидемиологический анализ, из которого следовало (между прочим), что механик действительно отравился грибами и, таким образом, светящийся вибрион не имеет к его болезни ни малейшего отношения. Это отнюдь не значит, что лаборатория может оборвать работу, напротив, исследование должно продолжаться. Равным образом из того обстоятельства, что случай, внушивший тревогу, оказался не холерным, нельзя сделать вывод, что в совхозе нет данных для возникновения желудочных заболеваний.

Дроздов дал слово мне, и я ответила, что от всей души благодарю за советы.

— Эти советы в особенности ценны для нас,— так я сказала,— поскольку данные для возникновения кишечных заболеваний, очевидно, не вполне исключены и в Ростове. Как известно, именно в этом городе были зарегистрированы последние в СССР случаи холеры.

Все засмеялись, и доктор Ровинский громче других.

На прощание я спросила его, не думает ли он, что светящийся вибрион заслуживает анализа с биохимической точки зрения. Он неопределенно пожал плечами, а потом прочел мне целую лекцию о свечении жучков и гнилушек. Что касается причины свечения бактерий, то он не имел о ней никакого понятия.

Вскоре рассталась я и с доктором Дроздовым, свернувшим свой изолятор через два часа после того, как был получен третий, разумеется отрицательный, ответ. Мы обнялись, и он сказал растроганно:

— Докторенок, милый, я вас полюбил. Вот бы мне такую дочку!

Уехал Сальский противоэпидемический отряд, сезонники поселились в домике, сколоченном из тары, большая хохлатка с цыплятами бродила на том месте, где сидели в изоляторе скучные комбайнеры и рулевые; на Цыганском участке Бородулин давно уже воевал с «мастерами простоя». Огромный урожай пшеницы созревал на двадцати тысячах гектаров «Зерносовхоза-5», и все, от мала

до велика, думали, говорили и заботились только об урожае.

...Время от времени под тентом на проспекте Коммуны появлялся потный, франтоватый Репнин, и все смотрели ему прямо в рот, когда, небрежно держа одним пальцем клеенчатый, но тоже франтоватый портфель, он пил ситро и хвастал, что к первому августа дороги будут готовы. Это были дороги, по которым река пшеницы должна была политься к элеваторам и станциям железных дорог. Мои больные выздоровели, даже астматики. Только возглас «А, просвечоный!», неизменно раздававшийся, едва Бородулин появлялся в столовой, еще напоминал о смешной истории с холерой.

А в моей «лекарне» по ночам все горел призрачный, лунный, голубоватый свет. Все больше становилось в мире светящихся холероподобных вибрионов. Уже добрых три десятка чашек Петри стояли на окнах, медленно загораясь, когда в комнате становилось темно.

«Всегда твой»

Еще в мае мне удалось получить для амбулаторного приема большую комнату в первом этаже того дома, где я жила на проспекте Коммуны. Ее перегородили на бóльшую и меньшую часть: в большей я принимала больных, а в меньшей, разделив ее, в свою очередь, шкафом, устроила перевязочную и аптеку. В перегородке было окошечко, чтобы можно было попросить у фельдшера — тогда он еще работал со мной — нужное лекарство, не отрываясь от дела.

И вот однажды кухарка одного из участков пришла ко мне со своим мальчиком, у которого болела стопа. Оглядываясь на окошечко, в котором время от времени мелькал красный фельдшерский нос, она шепотом жаловалась на Леонтия Кузьмича, посоветовавшего компрессы, от которых нет облегчения, а я задумалась, осторожно ощупывая распухшую стопу. Что-то плотное едва заметно скользнуло под пальцами... Снова... Я подошла к окошечку, хотела сказать фельдшеру, чтобы он прокипятил инструменты, и увидела в аптеке Андрея.

Он стоял спиной ко мне, в комбинезоне, с кепкой в руке — плотный, с широкими плечами, которые он, как всегда, держал как-то по-своему прямо. Я почувствовала, что хочу вздохнуть — и не могу. Хочу закричать: «Анд-

рей!» — и не слушается голос. В это мгновение человек, стоявший в аптеке, обернулся. Это был столяр, которого я просила зайти, чтобы сделать в перевязочной шкафчик.

С бьющимся сердцем вернулась я к больному. «Так вот оно что! — с каким-то удивлением подумалось мне.— Так соскучилась?»

Фельдшер прокипятил инструменты, я весело принялась за дело и через несколько минут вытащила из больной ноги огромную щепку. Потом сделала перерыв, нужно было поговорить со столяром, похожим на Андрея.

...Я написала ему о «холерной истории» и получила ответ — не особенно лестный, поскольку он утверждал, что мои светящиеся вибрионы ничего не изменили в науке.

Это было скучное и вместе с тем небрежное письмо, точно он заставил себя взяться за перо, чтобы сообщить свои нравоучительные соображения. О себе почти ничего, только мельком: «Бываю в Архангельске чаще, чем прежде».

И ни одного ласкового слова, которые мелькали прежде на каждой странице. И подписано: «Твой», а не «всегда твой», как он подписывался обычно. И строки ровные, буквы круглые, а не летящие вперед — вперед, ко мне, как это было прежде.

Странно было и это упоминание об Архангельске, вскользь, в то время как раньше каждая поездка в Архангельск была событием, о котором Андрей писал интересно, подробно...

Нет, нет, что-то переменилось!

Это была смутная догадка, о которой я сразу же постаралась забыть. Но на другой день она подтвердилась.

Кажется, я упоминала о том, что в Сальске жили родные Машеньки Спешневой — мать, Павла Кузьминична, и с ней какая-то старушка, которую звали просто Маврушей, хотя, должно быть, уже лет пятьдесят, как она имела полное право называться Маврой Петровной.

Это было поразительно — как Машенька с ее простым и открытым характером, с ее детской, доходящей до наивности прямотой была непохожа на мать!

Павла Кузьминична была высокая, костлявая, лет шестидесяти, с темным лицом. Ко всему на свете она относилась с недоверием,— ей казалось, что не только люди, но даже животные — коровы, собаки, козы — всегда готовы причинить ей какую-нибудь неприятность. После смерти мужа, военного фельдшера, участника гражданской вой-

ны, Павла Кузьминична получала пенсию, и только одна ее беззлобная сожительница могла выдержать эти бесконечные жалобы на собес, сменявшиеся угрозами, обращенными ко всему горсовету в целом: завтра же перейти на жительство в Инвалидный дом!

Зато Мавруша была совсем другая — быстрая, сухонькая, живая, с кудрявой, как у ребенка, головой, с вздернутым носиком — очень милая, но, к сожалению, немного сумасшедшая. Впрочем, это выражалось лишь в том, что среди обычного, нормального разговора она вдруг съезжала с дороги и катилась куда-то в сторону, пока сама не спохватывалась: «Да что же это я говорю?» Но все же с ней было приятно, и когда, исполняя Машенькину просьбу, я в Сальске заходила к старушкам, Мавруша скрашивала эти посещения своей болтовней, радушием и, между прочим, наставлениями по части вязанья — она прекрасно вязала.

На другой день после огорчившего меня письма Андрея я поехала по делам в Сальск и зашла к старушкам. Павлы Кузьминичны не было дома — ушла на рынок, как сообщила мне сидевшая на крыльце с вязаньем в руках Мавруша.

— А Машенька-то? Вчера пятьдесят рублей прислала,— с живостью сказала она.— Так вы думаете, что? Другая бы благодарна была, что дочь из своего скромного жалованья прислала пятьдесят рублей. А мы — нет! Мы ее целый вечер корили, что могла бы и сто прислать! (Мы — это была Павла Кузьминична.) Какова, а?

Мавруша поманила меня.

— Продукты питания решено закупать впрок,— блестя глазками, сказала она.— А сама купила корейки сто грамм и съела, а мне только лизнуть дала. По ночам не спит, ходит в одной рубашке, как медведь, то здесь посидит, то там, а у меня только пружинка в матраце скрипнет, сейчас же: «Господи, как я испугалась! Дух не перевести!» Вчера говорит: «Машенька хотела за него выйти, и для нее огорчение, что он себе в Архангельске другую нашел». А я говорю: «Пускай нашел, это к лучшему, Машенька для него не пара». Пошли мы в баню, дождь как из ведра, а она: «Накрапывает». Я спряталась в подъезде, зову ее, а она — ни за что! Так и промокла до костей! Вот какое упрямство! У меня в молодости тоже было это упрямство, и я даже в монастырь хотела уйти, потому что мне хотелось, чтобы меня не из дому, а именно из мона-

стыря увезли. А монастырь у нас был в сорока верстах, игуменья строгая, грузинка, и братья грузины, князья, один все на меня засматривался, да у меня к другому симпатия была...

И Мавруша стала подробно рассказывать о своей симпатии к грузинскому князю.

У меня зазвенело в ушах от этой болтовни, и я не сразу поняла, что остановило мое внимание. Ах да! Она сказала: «Машенька хотела за него выйти, и для нее огорчение, что он себе в Архангельске...» Что это значит?

— Постойте, Мавруша,— перебила я, не дождавшись конца интересной истории.— Кто, вы сказали, в Архангельске другую нашел?

Мавруша не сразу поняла.

— Да доктор же! Андрей Дмитрич! — объяснила она.— Мы с Павлой-то все Машеньку за него прочили, а он — на-поди! Был да ушел! И главное: «Они бы в Сальск переехали, и я с ними стала бы жить». Да кто тебя, матушка, позовет к себе жить?

Она еще болтала, я не слушала. Значит, вот что! Но я еще не могла поверить.

— А откуда же вы знаете, что он... Машенька пишет об этом?

Мавруша кивнула.

— Уж так пишет, так пишет,— сказала она,— что мы с Павлой только дивимся. Ведь она только шесть групп кончила, а на рабфаке какое же учение!

Я просидела у нее целый час, так и не добившись толку. Разумеется, проще всего было бы дождаться Павлы Кузьминичны, но я возвращалась в зерносовхоз не одна, а с директором, который обещал заехать за мной на легковой машине. И он заехал и очень удивился, найдя, что я заметно изменилась с утра,— мы расстались утром в райздраве.

— Так похудеть за несколько часов можно только по спецзаданию,— добродушно окая, сказал он.— А от меня вы, милая Татьяна Петровна, подобного задания не получали.

В этот вечер я осталась ночевать на Сухой Балке — так назывался один из отдаленных участков нашего зерносовхоза. Нужно было дождаться, когда встанет первая смена: комсомольское бюро поручило мне погово-

рить с этой сменой, не выполнявшей плана ремонтных работ.

Долго без всякого дела бродила я между палатками, надувавшимися как паруса, когда из степи налетал жаркий, даже ночью, ветер. Снова и снова я перечитывала письмо и каждый раз находила новые подтверждения тому, что еще недавно казалось мне лишь неясной догадкой. Андрей больше не любит меня! Не любит, иначе не стал бы писать так холодно, так принужденно!

Кухарка постелила мне в конторе, я легла и, быть может, уснула бы, если бы не дед-сторож, который то и дело заходил, чтобы взглянуть на часы. Но в конце концов я, кажется, все-таки уснула, потому что дед, с седой бородой, в развевающейся рубахе, превратился в какого-то другого деда, подпоясанного, в высокой шапке, и я не понимала, почему этот новый дед, точно так же, как прежний, приходит, встает на цыпочки и, прикрыв ладонью глаза, смотрит на часы, как на солнце.

Я проснулась от неприятного чувства, что в комнату внесли что-то тяжелое, неподвижное и поставили подле меня. Я поднялась на локте.

В эту минуту фары подходившей машины скользнули по окнам, и фигура какого-то человека, понуро сидевшего за столом, мгновенно выхваченная из темноты, мелькнула и исчезла.

— Кто здесь?

Человек встал и вышел. Я вскочила.

— Дед, кто здесь был?

— Механик с Главного Хутора приезжал. Машина на Безымянный пошла. Вам на Безымянный?

— Нет. Первую смену скоро будешь поднимать?

— Не так скоро.

Я вернулась в контору, зажгла фонарь, снова, в десятый или двадцатый раз, перечитала письмо, и странным показалось мне, как мало я думала о том, что есть на свете человек, который любит меня.

«Ты надеялась, что это будет продолжаться всю жизнь? Ты привыкла к его любви, и она стала казаться тебе тем обыкновенным, ежедневным, что происходит само собой. Ну что ж, отвыкай!»

Но оказывается, что труднее всего, теперь я это узнала, отвыкать от того, что происходит само собой.

«Он счастлив без тебя — и прекрасно. Разве ты сама не стремилась к тому, чтобы вы стали только друзьями?

— Да, стремилась.

Тогда почему же тебе так трудно заставить себя не огорчаться, не думать о нем?»

И неправда и правда

Это было в начале июля. Сердитая, больная (я простудилась, хотя стояла страшная жара), с книжкой в руках, которая вот уже добрых два часа, как была открыта на одной и той же странице, я лежала в постели, когда кто-то вошел — дверь была открыта — и молча остановился у порога.

— Это ты, Катюша?

Я подумала, что это сестра.

— Нет, Татьяна Петровна, это я,— ответил чей-то мягкий неторопливый голос.

Тоненькая девушка, в платье с короткими рукавами, в легкой косынке, с узелком в руках смотрела на меня и улыбалась. Так тесно были связаны мои воспоминания о Маше Спешневой с Анзерским посадом, что еще мгновение я ждала, что эта, самая настоящая, нисколько не изменившаяся Маша окажется не Машей, а кем-то другим, быть может ее двойником или сестрой.

— Машенька, вы ли это?

— Я, Татьяна Петровна.

— Когда вы приехали? На той неделе я была у ваших,— что же они мне ничего не сказали?

— А я никогда вперед не пишу. Я не люблю, чтобы ждали.

— И вы решили меня навестить? Или у вас здесь дело, в нашем совхозе?

Маша покачала головой.

— Нет, навестить,— просто сказала она.— Знала бы, что вы больны, давно бы приехала. Вот уже пятый день, как я в Сальске. Нет, нет, Татьяна Петровна, не вставайте!

— Вот еще новости! Да у меня все прошло. И что это еще за Татьяна Петровна?

Маша засмеялась.

— Теперь вы доктор, не то что прежде,— сказала она.

— Что за вздор! — Я притянула ее к себе и крепко поцеловала.

Она сама помыла посуду, накрыла на стол, развязав свой узелок, достала пирожки и, хотя была голодна (уже

смеркалось, а Маша утром выехала из Сальска), не прикоснулась к ним, пока я не села за стол. Не знаю, каким образом, но моя неуютная, с белыми оштукатуренными стенами комната стала чем-то напоминать нашу баньку в Анзерском посаде, когда умывшаяся, с косами, аккуратно уложенными вокруг головы, Маша удобно устроилась за столом и сказала:

— Эти расстегаи у меня всегда мама печет. Уж я их берегла, берегла, чтобы не помялись в машине.

...Мы разговаривали, и я чувствовала, что не только желание навестить меня заставило ее пуститься в дорогу. В преувеличенном интересе, с которым она расспрашивала меня о работе и сравнивала Анзерский медпункт с моим, была видна какая-то принужденность, точно на самом деле она хотела поговорить со мной о чем-то другом. Она удивилась, как во многом помогает мне руководство совхоза.

— Вот если бы к нам было подобное внимание со стороны заинтересованных организаций,— сказала она, вздохнув.— Например, Рыбаксоюз вполне мог бы обеспечить недостающие медикаменты. Да нет, куда там! Отмахиваются, говорят: не наше дело.

Еще ничего не было сказано об Андрее, кроме каких-то незначительных фраз, но я уже знала бог весть почему, что тайная мысль, которая тревожила Машу, касалась Андрея.

«Он просил ее сказать, что навсегда отказывается от меня»,— вдруг подумалось мне, и кровь отлила от щек. Маша замолчала на полуслове, поглядела мне прямо в лицо и опустила глаза.

— Значит, ближе, чем в Сальске, у вас стоматолога нет? А к нам стоматолог раз в месяц приезжает из города, Андрей Дмитрич договорился с облздравом. Смешной такой стоматолог, все доказывает, что нужнее всего на свете зубные врачи.

Она еще спрашивала, я отвечала, но мы обе давно уже знали, что за этим разговором таится другой, в котором я, а не Маша, спрашивала и не могла дождаться ответа.

— Что же вы, Татьяна Петровна, еще не замужем? — вдруг сказала она.

Я засмеялась:

— Нет. А вы, Машенька?

Она посмотрела на меня долго, печально.

— Нет, я ведь не могу,— ответила она наконец, точно

упрекая меня за то, что я знаю, почему она не может, и все-таки заставляю объяснять.— Татьяна Петровна, вы, верно, уже догадались, о ком я хотела вам рассказать?

— Нет, Маша.

— Нет? А мне все кажется, что давно догадались. Я хотела вам рассказать... об Андрее Дмитриче. Но прежде вы объясните мне одну вещь... Ведь когда вы уезжали из Анзерского посада, вы обещались, что выйдете за него?

— Да.

— А потом отказались? Вы извините, что я так прямо спрашиваю. Мне все думалось по дороге, что надо как-то со стороны подойти. Но ведь со стороны, как вам кажется, у меня ничего бы не вышло? — у Маши дрогнули губы.— Вы не подумайте, что мне Андрей Дмитрич сказал. Но я знаю, что отказались. Правда?

— И правда и неправда, Маша.

— Как же это может быть — и неправда и правда? Объясните, Татьяна Петровна. Мне непременно нужно узнать. И вы, когда поймете зачем, не станете на меня сердиться.

Я задумалась. Потом сказала:

— Хорошо.

Маша перевела дыхание.

Это было невозможно — рассказать ей все, что произошло между Андреем и мной, начиная с нашего первого свидания в Лопахине, на берегу Тесьмы. Но, кажется, себе самой не могла бы я с большей откровенностью рассказать то, что случилось в Анзерском посаде, когда, приготовившись после долгих сомнений ответить на его письмо решительным «нет», я невольно ответила «да».

Маша выслушала меня не шелохнувшись. Лицо ее немного порозовело, брови сдвинулись, губы приняли упрямое выражение. Можно было подумать, что она решает трудную задачу и сердится на себя за то, что никак не может решить. Этой задачей была я, я с моими сомнениями и колебаниями в том, что ей казалось таким поразительно ясным.

— А теперь? — спросила она торопливо.

— А теперь,— снова начала я,— теперь, Машенька, он...

Я хотела сказать: «он разлюбил меня», и замолчала. Все соединилось в это мгновение: и острое чувство той особенной пустоты, которая может быть заполнена од-

ним — присутствием любимого человека, и невозможность остановить подступившие слезы.

— А теперь он разлюбил меня,— спокойным, но каким-то чужим голосом выговорила я наконец.— Должно быть, понял, что я его не стою.

Маша поднялась, не сводя с меня огромных, взволнованных глаз.

— Разлюбил? — переспросила она с удивлением.— Он написал вам? Почему вы знаете? — Я отрицательно покачала головой.— Нет? Так, стало быть, вы сами решили? Что же вы молчите? — Она крепко взяла меня за руки.— Андрей Дмитрич любит вас,— громко, как будто боясь, что я не услышу, сказала она.— И не только любит, он жить не может без вас! Ни о ком на свете он даже подумать не в силах, как только о вас. Он вас обожает, Татьяна Петровна! Как он к вашим письмам кидается, когда бы вы знали! Да он бы давно с ума сошел, если бы не работа. Помните тропинку от Анзерки к оврагам? Как выдастся свободная минута, он сейчас же на эту тропинку — и ходит, ходит! Потому что вы с ним по этой тропинке гуляли. Я вам писать хотела и принималась тысячу раз. Да разве об этом напишешь?

Я уговорила ее лечь вместе со мной. В комнате стемнело, потом стало светло от луны, мы говорили шепотом, и вдруг я увидела близко перед собой ее серые, грустные глаза.

— Маша, дорогая, да как же я вам-то рассказала об этом?

Насилу я умолила ее говорить мне «ты» и сама же все время сбивалась.

— Нет, нет, это ничего. Ведь я же... Если бы так случилось со мной, я бы вам...

— Тебе.

— Я бы тебе тоже все рассказала... Я вот только думаю — может быть, лучше мне уехать из Анзерского посада? У меня здоровье стало плохое. Но, во-первых, райздрав не отпустит. А во-вторых, мне кажется, что Андрей Дмитрич сам вскоре переедет в Москву.

— Как в Москву?

— Да, да. Вы не знаете, как много переменилось с тех пор, как вы были у нас! Один раз его уже хотели перебросить в Москву, правда, не настаивали, а просто так, пред-

ложили. Он отказался. И мне потом объяснил, что ему не хочется идти в наркомат. Но все равно его надолго не оставят у нас.

— Кто не оставит?

— Ну как же кто? — твердо сказала Маша.— Государство понимает, что Анзерский посад слишком маленькая работа для такого человека, как он.

Маша замолчала так надолго, что я боялась пошевельнуться, чтобы не разбудить ее; мне показалось, что она уснула. Чьи-то незнакомые шаги послышались в коридоре, не похожие на бесшумные, осторожные шаги моего соседа, и мне подумалось, что нужно бы посмотреть: может, воры? Но я разбудила бы Машу, если бы встала.

Она дышала глубоко, но неровно, веки вздрагивали во сне, одна заплетенная косичка смешно торчала над ухом, и нежное лицо, с которого быстро сбегало напряженное выражение, при свете луны казалось еще нежнее. «Ничего, все еще впереди,— неясно подумалось мне.— И Маша еще будет счастлива. А на кухне воры».

Кто-то шумно шагал за стеной, пыхтел и дважды открывал водопроводный кран, должно быть пробовал, не идет ли вода. Потом все стихло, и я так и не встала.

Это было чудо вокруг меня — эти стены, которые лунный свет покрыл голубым полотном, так что невозможно было вообразить, что это прежние, грубо оштукатуренные стены, эта песня «Не плачь, подруженька», то приближавшаяся, то удалявшаяся,— трактористы с деревенскими девушками гуляли в степи. И то, что внизу, у подъезда, кто-то ласково сказал: «Ну, серденько, до завтра»,— и женщина засмеялась и ответила певуче: «До завтра!» И то, что у меня онемела закинутая под голову рука, но я не опускала ее, а только шевелила пальцами, чтобы прогнать онемение. Не знаю, сколько времени я пролежала, стараясь не спугнуть все возраставшее ощущение счастья...

— И ведь даже нельзя сказать, что он только врач, а именно общественный деятель,— вдруг, как будто и не спала, сказала Маша.— А образование? Вы знаете, как он немецкий язык изучил? Он по-немецки говорит, вот как мы с вами... с тобой по-русски.

Это было так смешно — то, что Маша как ни в чем не бывало начала с полуслова, что я так и покатилась со смеху.

— Что вы? Что ты? — тревожно спрашивала она.— Я что-нибудь сказала не так?

Я объяснила.

— Неужели? — с огорчением сказала Маша.— Я спала? А мне показалось, что мы только что разговаривали.

— Ну, спи. А мне не хочется. Я буду думать. А ты спи. Ты с дороги устала.

Мне смутно почудился какой-то бассейн, в котором шумно плескались моржи, и, открыв глаза, я не сразу поняла, что кто-то действительно плещется за стеной — в коридоре или на кухне. Я лежала прислушиваясь. Невозможно было вообразить, что это Маслов фыркает, бьет себя ладонью по голому телу и фальшивым басом поет: «Дивный терем стоит...» Но кто же еще? Вдруг романс оборвался, и без всякого перехода раздалось такое сердитое фырканье, что я невольно вскочила с постели. Маша открыла глаза.

— Что случилось?

— А вот слышишь?

Это было уже не фырканье, а рычанье, от которого, казалось, вот-вот рухнет хрупкий дом Совхозстроя.

— Нужно посмотреть,— храбро сказала Маша.— Может быть, это какой-нибудь зверь забрался и не может уйти.

— Какой же зверь? Лев?

— Почему лев? Возможно, большая собака.

Я осторожно приоткрыла дверь в коридор. Рычанье прекратилось, но из кухни слышался гулкий звук, точно кто-то хлопал в ладоши.

Мы храбро двинулись вперед и добрались уже до кухонных дверей, когда раздался новый могучий рев, от которого у меня буквально подкосились ноги.

— Ш-ш... У вас есть что-нибудь? Кочерга?

— Не нужно, я знаю, кто это,— вдруг сказала я и первая быстро вошла в кухню.

Репнин в трусиках, с густо намыленной головой стоял у водопровода и засовывал, а потом вытаскивал из крана мизинец, очевидно надеясь этим странным способом выманить воду. Кран хрипел, но вода не шла.

— Кто тут, черт побери? — заорал он.— Это вы, Татьяна?

— Я, Данила Степаныч. Как вы сюда попали?

Маша, стоявшая за моей спиной, тихонько прыснула, и Репнин, не заметив ее, накинулся на меня.

— Ах, вы еще смеетесь? — закричал он.— Я попал сюда потому, что эта мумия Маслов уговорил меня переночевать. «У меня прохладно, у меня то да се, нам нужно поговорить, важное дело». Обещал водкой угостить, а сам куда-то уехал! Я пришел, как дурак, и не спал всю ночь! Окна хлопают, кто-то скребется. Хотел умыться — и вот, пожалуйста! Вода не идет!

— Ничего особенного, это скребутся мои суслики. Принести вам воды?

Маша снова прыснула, и Репнин увидел ее.

— Ах, вы еще и не одна? — размазывая по лицу хлопья грязного мыла, грозно спросил он.— Вот это лучше всего. Может быть, вам угодно пригласить сюда и всех остальных обитателей этого дома? Необыкновенное зрелище! Спешите видеть! Человек намылился, а вода не идет!

Ему удалось протереть глаза, и он разглядел Машу — розовую после сна, смеющуюся, испуганную, в моем ярком полосатом халатике, который был ей очень к лицу. Он попятился и застыл с открытым ртом, в который сразу же натекло мыло.

Я завязала ему голову полотенцем, и он долго сидел в кухне на табурете, очень смирный, и ждал, пока согреется чайник. Вода пошла, и заметно было, что он борется между желанием сунуть голову под кран и ужасом перед Машей, которая сказала, что «никто не моет голову холодной водой». Я говорю «ужасом», потому что не знаю, как еще назвать то чувство, которым были проникнуты все его движения, слова и, по-видимому, мысли, если он еще не лишился способности мыслить. Куда девалась его самоуверенность, хвастовство, его победоносный, оглушительный хохот? Чайник согрелся, началось мытье головы, и вдруг он так неестественно изогнулся, чтобы посмотреть на Машу, которая в эту минуту с деловым видом лила на него горячую воду, что напомнил мне «человека-змею» — аттракцион, неизменно поражавший мое воображение в детские годы.

За чаем он пригласил нас на испытание новых дорожных машин и стал долго, скучно рассказывать об этих машинах, что было совершенно на него не похоже. Узнав, что Маша проведет у меня только один день, он, подумав, сказал, что ему тоже нужно в Сальск по очень важному делу. Я промолчала, и этого было достаточно, чтобы он

принялся горячо доказывать, что ему действительно необходимо поехать в Сальск. Он выпил четыре стакана чаю и выпил бы еще четыре, если бы я не напомнила, что испытание, как он сам сообщил, начнется в десять, а сейчас без четверти десять.

«Я буду ждать тебя»

Данила Степаныч взял с меня слово, что Маша останется до завтра, и я уговорила ее, тем более что мне самой очень не хотелось с ней расставаться. В Сальске она собиралась пробыть только несколько дней, так что мало было надежды, что мы вскоре увидимся снова.

— Ведь я же Андрею Дмитричу обещала, что в середине июля буду в Анзерском посаде,— серьезно сказала она.

С утра я стала думать, что и как написать Андрею, нет, именно «как», а «что» — это я теперь знала. И Маша помогала мне уже тем, что была рядом со мной. В этот день как раз был большой прием, и она заменила Катю, которая дежурила у тяжелобольного в стационаре. Потом мы вместе обошли больных, а вечером Репнин повел нас в цирк: ростовский цирк гастролировал в зерносовхозе. Данила Степаныч всегда любил поболтать — это было мне отлично известно. Но, кажется, впервые в жизни он говорил так много.

— Кириллов — знаете, есть городок на Шексне? — спросил он, смеясь.— Я там на практике был, и у меня на обратный билет не хватило. А в Летнем саду выступал какой-то силач, который ложился под машину. Я посмотрел, а потом пошел к директору и спрашиваю: «Сколько вы мне дадите, если я тоже лягу?» Он говорит: «А если ты дуба дашь, кто тогда отвечать будет?» Я написал: «Прошу в моей смерти никого не винить» — и лег. Конечно, я лег не прямо под машину, а под доски, но довольно тонкие, дюйма два.

Маша спросила с ужасом:

— Ну?

— Ничего, встал. Правда, потом ребра долго болели. Зато получил девять рублей пятьдесят копеек.

Маша спросила, какой институт окончил Данила Степаныч, и мы выслушали вдохновенный отчет о том, какую роль в его жизни сыграла сама идея дороги.

— Мой отец был стрелочником, и я, бывало, лежу по-

чью, прислушиваюсь к паровозным свисткам и думаю: «Дорога. Куда она ведет, кто ее провел?» Мальчишкой, куда ни пойду, домой непременно возвращаюсь другой дорогой. Над географической картой часами сидел, все прикидывал, сколько дорог проложено по земле, по воде, прежде чем составилась эта карта! Сколько трудов положено! На звезды, бывало, засмотришься, опять думаешь: «А ведь и туда ведут дороги».

Музыкальные клоуны сыграли и спели что-то и ушли, на арену выбежала акробатка в белом, расшитом блестками трико; она легко взлетела на трапецию и вдруг повисла на ней вверх ногами. Я посмотрела и с трудом удержала слезы. Но я знала, что эти слезы были не от жалости к акробатке, а от чувства счастья, которое присоединялось теперь ко всему, которое появилось в моей душе с той минуты, как я узнала, что Андрей по-прежнему любит меня.

«Стоит мне закрыть глаза,— мысленно я писала ему,— как ты появляешься передо мной таким, каким я видела тебя в последний раз на вокзале. Если можешь, прости меня. Я жду тебя и буду ждать, когда бы ты ни приехал».

Ночью, вернувшись из цирка, я написала Андрею, и Маша обещала опустить мое письмо в Сальске, чтобы оно дошло поскорее. Я обняла ее крепко, от всей души, точно предчувствовала, что теперь мы не увидимся долго.

На другой день мы с Данилой Степанычем провожали ее.

Подошел грузовик, и, пошептавшись с шофером, Данила Степаныч усадил Машу в кабину. Потом подал ей узелок. Машина ушла, а он еще долго смотрел вслед. Право, можно было предположить, что этому огромному человеку хочется одновременно и смеяться и плакать...

Прошло несколько дней, и Бородулин, который после «холерной истории» иногда заходил ко мне выпить чайку, очень расстроил меня, сказав, что Данила Степаныч пропал и что Дорстрой разыскивает его по всему совхозу. Но вскоре Данила Степаныч нашелся на трассе. Я слышала, как черноглазая подавальщица, худенькая, замученная жарой, бледневшая и красневшая, когда в столовую приходил Репнин, спросила о нем техника дорожной бригады, и техник ответил, слегка усмехнувшись:

— На трассе.

Директор, который любил Репнина и именно поэтому всегда был по отношению к нему особенно строг, позвонил

в управление Дорстроя и сказал, что при подобном отношении к делу дорожная сеть не то что к августу, но и к сентябрю не будет готова. Не знаю, что ему ответили,— это было при мне,— но, подождав немного, он закричал с бешенством:

— Да где же он, ваш Репнин?

И трубка ответила по слогам:

— На трас-се.

Репнин был на трассе. Но только я догадывалась, что эта трасса ведет прямо к маленькому домику на окраине Сальска...

Суховей

Конюх, вручивший мне грустную рыжую кобылу по имени Крошка, сказал только, что «она свою профессию знает». Я поняла это выражение в том смысле, что во всех спорных вопросах, которые могли возникнуть в связи с моим первым опытом верховой езды, решение надо предоставлять не мне, а кобыле Крошке. Так я и сделала, отправляясь в тот же день на участок, носивший странное название «Злодейский». На мне был комбинезон, высокие сапоги, соломенная шляпа с полями, и я не поняла, почему, когда я вышла на крыльцо, сторож, державший лошадь под уздцы, засмеялся. Ладно, не беда! Я вскарабкалась на седло (с помощью своего персонала, который в полном составе вышел меня провожать), сказала: «Но!» — и храбро дала шпоры. Сперва все шло хорошо. Крошка, хотя и медленно, двигалась в прямом направлении, что вполне соответствовало моему маршруту. Но вдруг она повернула направо (без сомнения, к конюшне), а когда я дернула за левый повод, опустила голову и остановилась. Напрасно я уговаривала ее, напрасно кричала «н-но» и «давала шпоры». Крошка стояла на месте, задумчиво шевеля ушами. Наконец какая-то старуха вышла из крайнего домика у машинного парка и, к моему позору, огрела ее хворостиной. Крошка нехотя тронулась в путь.

На другой день мне казалось, что теперь меня только по приговору суда посадят на лошадь. Но прошел еще день, Репнин, превосходно ездивший верхом, показал мне основные приемы, и вскоре на страницах «Трактора» появилась карикатура, которая и сейчас хранится в моем столе: испуганная девушка в широкополой шляпе во весь

опор мчится на огромной лошади с развевающимся хвостом.

Так или иначе, но, садясь по утрам в широкое, неудобное мужское седло, я думала о том, что, в сущности, мне очень везет: без лошади в это горячее время я бы просто пропала. Моя практика возросла почти вдвое — начался суховей.

Это не был тот пламенный вихрь, который мгновенно покрывает черной мглой небо и землю и способен поднять в воздух тонны зерна. Это было нечто вроде горячего дыхания — очень сильного, равномерного, не прекращающегося ни днем, ни ночью. Солнце было маленькое, страшное, без лучей, как во время затмения, когда на него смотрят сквозь закопченные стекла. Плотный, мелкий песок висел в воздухе, не оседая. Он был везде — на койках, в одежде. Он хрустел на зубах, когда в столовой мы ели суп «с голубыми глазками» — так почему-то назывался перловый суп в нашем совхозе. Все ходили с распухшими красными веками, и мне неожиданно пришлось стать специалистом по глазным болезням. Солнечных ударов стало гораздо больше. Словом, нельзя было даже сравнить неподвижную июньскую жару с этим равномерно пышущим пламенем, от которого с самого раннего утра начинало казаться, что тебя посадили в русскую печь.

Работники Ростовского института засухи определили размеры опасности, как оказалось, в высшей степени грозной: на шестой-седьмой день зерно неизбежно должно было погибнуть от суховея. Это значило, что убирать хлеб нужно было в полтора раза быстрее. Это значило, что нужно было в полтора раза быстрее ремонтировать машины, подвозить горючее, отправлять зерно на элеватор и делать еще тысячу разнообразнейших дел, из которых состояла жизнь комбайнеров, механиков, трактористов...

В полтора раза... А пыль оставалась пылью, а маленькое красное солнце палило с той же беспощадной силой, а суп по-прежнему был пополам с песком, а суховей по-прежнему нагонял сорок градусов в тени, и дышать по-прежнему было нечем.

— Ну что, Татьяна? Похоже на конец света? — невесело спросил меня Репнин. Мы встретились в столовой.

— Не знаю. Мне еще не случалось присутствовать при конце света.

Репнин заказал чаю — четыре стакана для себя, два для меня — и, вынув блокнот, положил на каждый стакан по листочку — от пыли.

— Нет, похоже,— сурово возразил он.— И я уже вижу грешников, которые будут гореть в аду. Будут — или я...

Он побледнел и стукнул кулаком по столу.

Все не ладилось в этот несчастный день. У меня были вызовы на два участка, я просила Катюшу разбудить меня, как только начнет светать, а она ошиблась или пожалела и разбудила, когда солнце уже стояло высоко. Голова побаливала еще с вечера, я надеялась, что в дороге пройдет — так бывало,— но не прошла. До самой Сухой Балки я старалась справиться с раздражением, ежеминутно закипавшим в душе от жары, которая уже началась, от любой мелочи, на которую еще вчера я не обратила бы никакого внимания.

Некого было даже спросить, где лежит трактористка Клава Борисова, повредившая руку, как мне накануне сообщили с участка. Пусто было вокруг, только знакомый дед-сторож спал в тени, под вагончиком, разморенный жарой. Я привязала лошадь, зашла на кухню. Маленькая толстая кухарка мыла и с грохотом швыряла на плиту жестяные тарелки. Я спросила у нее, где лежит больная, она фыркнула: «Лежит?! По всему табору носится!»,— но потом все-таки провела к Борисовой.

Девушка лет восемнадцати, курносая, румяная, однаодинешенька в большой палатке, крепко спала, положив на грудь неумело забинтованную руку. Из другой руки, свесившейся с постели, выпала и лежала на земляном полу какая-то книга. Я вошла в палатку не через «дверь», а подняла полотнище, и все простое хозяйство этой девушки открылось передо мной с неожиданной стороны. Зеркальце висело на спинке кровати, и рядом с ним я увидела фотографию сердитого паренька в юнгштурмовке, которая в те годы была чем-то вроде комсомольской формы. На самодельном сундучке, стоявшем под постелью, лежал выцветший бумажный бювар, а рядом были аккуратно сложены книги. Что же это были за книги? Я присела на корточки: «Руководство к трактору «Интернационал», «Анна Каренина», «Чапаев». На полу лежал словарь иностранных слов. В эту минуту девушка пошевелилась, вздохнула и открыла глаза.

— Здравствуйте, доктор.

— Вы меня знаете?

— Лично — нет, доктор. Но я слышала ваш доклад на комсомольском собрании.

Разбинтовывая раненую руку, я с удовлетворением думала о том, что не напрасно перед уборкой каждому пятому рабочему был выдан индивидуальный пакет.

— Ну что, плохо мое дело, доктор?

— Почему плохо?

— Пропала рука?

— Вот еще! Но как это случилось?

— А как случилось? Приехала экскурсия, мы с Костей — это наш штурвальный — стали комбайн показывать, а кто-то возьми да и запусти мотор...

— Кто же это сделал?

— Не знаю... Да вы разве не видите, что делается, доктор? — снова с жаром заговорила она.— На той неделе мы четыре часа простояли. Только приступили — вдруг: «Стой!» А трактор, вы знаете, доктор, как гремит. Я думала, что ослышалась, а Костя снова: «Стой!» Соскочила я, и что же? Зубья в барабане выбиты, а на решетах, в мякине, кусок водопроводной трубы. Вот тебе и «кто»,— со злобой сказала она.— Эх, да что говорить, доктор! Вот я работала чабаном на хуторе Натаровском — теперь его нет,— так вы знаете, как мне было трудно уехать? Меня родные проклятьями проводили! Зачем, да куда, да разве это дело для девки? Они хотели, чтобы я всю жизнь с кирлыгой возле овец сидела. Я от родного отца-матери отказалась,— заплакав, сказала девушка.— Разве это легко, доктор?

Я слушала и молчала. О том, что волновало эту девушку, говорил в последнее время весь зерносовхоз. Колонна тракторов была отправлена в поле без палаток, без походной кухни, без воронок и леек. Газета ежедневно писала о загадочных авариях комбайнов. От неизвестной причины загорелся сухой навоз, перемешанный с соломой и находившийся подле лесного склада. Степной пожар начался рядом с эстакадами, на которых лежало зерно, и ветер погнал огонь прямо на эстакады.

С тяжелым чувством простилась я с Клавой, пообещав к вечеру прислать за ней машину.

Лошадь едва плелась, степь была желто-серая, обожженная, пустая, только кузнечики прыгали крест-накрест да тяжело взлетали и падали в траву пугливые, осторожные дрофы.

Вода показалась вдали, не то река, не то озеро, с металлическим отсветом, сверкающим в пустынной степи. За нею, на плоском берегу, показались хаты, отчетливые, с дымками из труб, с откинутыми ставнями. Это был мираж, и чем ближе я подъезжала к призрачному селу на берегу реки, тем все дальше оно уходило от меня... Все дальше, пока не слилось с ровным, переливающимся, волнообразным движением воздуха, струившегося над раскаленной землей.

Солнце стояло уже высоко, когда я добралась до Цыганского участка, и первый, кто встретился мне на этом памятном «холерном» участке, был Бородулин.

Я крикнула:

— Здорово, Иван Лукич!

Он промычал что-то, хотел пройти, но узнал меня и остановился.

— Здравствуйте, доктор.

Всегда мы встречались радостно, он вытирал черную, замасленную руку о комбинезон и протягивал ее широким движением, как здороваются с детьми. Он искренне гордился тем, что светящимися оказались именно «его» вибрионы, и от души хохотал, когда я неизменно обещала украсить ими вагончик, в котором он жил на Цыганском участке. О его племяннице я каждый раз узнавала новости. «Мастер простоя» Бесштанько лишь в редчайших случаях не упоминался в наших разговорах.

Но сегодня механик был не похож на себя: щеки его ввалились, воспаленные глаза смотрели исподлобья.

— Какие новости, Иван Лукич?

Он мрачно пожал плечами.

— А вот пойдемте со мной и узнаете новости.

— Как Шурхин?

Шурхин был одним из лучших бригадиров совхоза. Вчера утром он тяжело заболел.

— А вот пойдемте,— повторил Бородулин.— Я вам и его покажу.

Это было летучее совещание руководителей участка, и мой больной сидел среди здоровых с таким видом, как будто забыл и думать о том, что накануне в тяжелом обмороке был привезен с поля. Совещание происходило на «палубе» — так почему-то назывался на Цыганском участке вагончик для жилья — и было посвящено вопросу о смазочном масле. Вместо автола прислали другое, негодное масло, с которым невозможно было работать.

Окна и двери вагончика были закрыты от пыли. Карбидный фонарь неровно освещал задумавшиеся, усталые лица.

— Придумай что-нибудь,— несмело сказал механику Шурхин.

Это был немолодой горбоносый человек с большим родимым пятном на щеке.

— Да что же придумаешь? — проворчал Бородулин.

Они замолчали. Я тихонько подсела к Шурхину, взяла его за руку, послушала пульс. Рука была горячая, пульс неровный, сто десять.

— Вы больны, товарищ Шурхин. Вам следует лечь.

Он рассеянно посмотрел на меня и отнял руку.

— Иван Лукич, нужно найти выход...— сказал он.

Данила Степаныч

Я побывала еще на двух участках, и везде, не зная ни сна, ни отдыха, работали люди — в жаре, в духоте, в красноватой пыли, покрывавшей лица так плотно, что стоило поднять глаза, и как будто дымок слетал с покрасневших век. Окутанные пылью «корабли» ходили в полях, штурвальные стояли на высоких мостиках, как капитаны, и бесконечное — так оно называется — полотно убегало, стуча, и возвращалось, подхватывая срезанную пшеницу. Это были комбайны. Проложенные бригадой Репнина, неустоявшиеся «молодые» дороги дрожали под тяжестью груженных зерном машин.

Кипение дела чувствовалось везде и во всем.

На Безымянном был переполох, когда я приехала, потому что внезапно снялись с работы и ушли снопоносы. Какой-то человек — свидетели рисовали его по-разному: одни — маленьким, кривоногим, в малахае, другие — высоким, в дырявой соломенной шляпе — явился в артель и сказал, что на станции Графской у единоличников можно подрядиться поденно и что против сдельщины это выгоднее едва ли не вдвое. И артель пообедала, потребовала расчета и ушла. За ней ушла вторая и третья.

...Я догнала этих людей километрах в семи от Коша, слезла с лошади, поздоровалась и сказала, что мне нужно поговорить с ними по делу. Раздались голоса:

— По какому там еще делу?

Но я объяснила очень спокойно, что дело важное и касается не только меня или их, а всего Союза.

Опи опять закричали:

— Какого еще союза?

Я сказала:

— Советского. А какого же еще? Он у нас только один.

Среди снопоносов было несколько женщин, которые лечились у меня, так что сначала я обратилась именно к ним. Но все-таки у меня ничего бы не вышло, если бы не чувство раздражения, преследовавшее меня с утра и наконец превратившееся в ненависть, от которой у меня начиналось сердцебиение. Напряженные усилия десятков и сотен людей, которых я перевидала за этот длинный день, неизбежно натыкаются на тайную преграду — вот что было теперь совершенно ясно для меня, и я не могла не заговорить об этом. Возможно, что это был плохой агитационный прием, но в ту минуту я очень мало думала о приемах, а просто говорила о том, что лежало у меня на душе. Кажется, я довольно удачно срезала какого-то толстомордого, который сунулся из толпы и крикнул:

— Чего уши развесили? Или еще не надоело этих балакирей слушать?

В общем, мне удалось уговорить снопоносов вернуться. Мы условились, что на Графскую поедет только старшина артели с тем, чтобы выяснить, правда ли, что единоличники платят за поденщину больше. Зная экономическое положение местного крестьянства, можно было не сомневаться в том, что этот слух пущен с единственной целью: подорвать уборку совхозного урожая.

Я вернулась на Главный Хутор и прежде всего отправилась к директору рассказать историю со смазочным маслом, которая особенно возмутила меня. Но директор с секретарем парткома уехали па один из отдаленных участков. Я приняла душ, зашла к больным. Потом поужинала, едва справляясь с сонливостью, внезапно разлившейся по телу, торопливо разделась, легла — и не уснула. Среди множества острых впечатлений минувшего дня лицо Клавы Борисовой, расстроенное, взволнованное, с полными слез глазами, явилось передо мной как живое. Верно ли я поступила, отложив операцию? Что, если начнется общее заражение крови? Машина ушла за Борисовой в восемь часов, сейчас одиннадцать, а Катюша все не стучит — ста-

ционар помещался в первом этаже, и когда нужно было меня вызвать, Катюша стучала в потолок палкой от швабры.

Окно смутно виднелось в темноте. Распахнуть бы окно, чтобы ворвалась в комнату ночная свежесть. Вдохнуть ее полной грудью, чтобы остановилось на мгновение сердце! Замерзнуть, а потом, согревшись под одеялом, уснуть — так я бывало и делала, когда не спалось. Да нет, куда там! Откроешь окно, и войдет в комнату горячее дыхание песчаных пустынь. Суховей несется по дорогам и без дорог, шагает по крышам, треплет палатки, входит вместе с людьми в их дома, врывается в их короткие, беспокойные сны.

Я задремала, кажется, на пять минут, а открыла глаза — и оказалось, что слабый утренний свет уже бродит где-то далеко в степи.

Катя постучала — это значило, что привезли Борисову...

Только что я посмотрела Клаву и сидела подле нее, думая, что хорошо бы все-таки еще хоть часок подремать, очень довольная, что мое лечение помогло и что почти наверно удастся избежать ампутации или в самом крайнем случае придется отнять один палец,— когда за окном послышался шум подъехавшей машины. Раздались приглушенные голоса: «Да поворачивай же! Слева поддержи! Осторожно!»

Потом внесли Данилу Степаныча — на тенте, с перекатывающейся головой, с открытыми, ничего не видящими глазами.

Корочка хлеба

Это было к вечеру. Я вытирала Даниле Степанычу руки одеколоном и вдруг почувствовала, что пальцы его руки дрогнули и слабо пожали мои.

Темная майка была наброшена на абажур переносной лампы, чтобы свет не беспокоил больного. Я откинула майку и нагнулась над ним. Глаза были открыты.

— Данила Степаныч!

Это было так, будто, спотыкаясь, с трудом узнавая давно покинутый мир, он ощупью возвращался откуда-то издалека.

— Данила Степаныч, это я, Таня. Вы слышите меня?

Молчание.

— Вы были больны, а теперь поправляетесь.

Я стала читать ему вслух и вдруг заметила, что он не слушает, думает о чем-то своем.

— Хотите отдохнуть, Данила Степаныч?

Он покачал головой.

— Я вот думаю... Ведь вам еще не прислали нового фельдшера?

— Нет.

— Может быть, стоило бы поговорить о Машеньке в крайздравотделе?

— Ах, черт побери! Да как же это не пришло мне в голову? В самом деле! Буду в Сальске, поговорю с Дроздовым,— сказала я, хотя это было сложно: без серьезного повода перевести фельдшера из Анзерского посада в Сальский райздрав.

— Вы напишете ей об этом?

— Непременно.

С тех пор мы часто беседовали о Маше, и хотя я, разумеется, не могла записать наши разговоры в «графе назначений», они действовали на Данилу Степаныча лучше любого лекарства.

Суховей утих, мой стационар опустел во время уборки, и у меня вдруг оказалось так много свободного времени, что я снова принялась за своих светящихся вибрионов.

Это было не впервые, что, встречаясь с неразрешимыми — так мне казалось — затруднениями, я перелистывала записи лекций Павла Петровича и всегда находила в них что-нибудь неожиданное, выходящее далеко за пределы учебников и общепринятых курсов.

Был случай, когда, занимаясь у Заозерского, я наткнулась на мысль, которая помогла мне справиться с первой научной задачей. Но сейчас... Сколько ни перелистывала я три самодельные тетради — о свечении вибрионов не нашлось ничего. Зато в самую раннюю тетрадь была вложена одна из сказок, которые уже совсем давно, в детские годы, рассказывал мне Павел Петрович, и я с интересом принялась разбирать корявые детские строки:

«И ночной сторож послал свою дочку в аптеку: «Аптекарь будет предлагать тебе самые лучшие микстуры и

мази. Но ты попроси у него лекарство, которое называется «чудесная плесень»...»

Комната старого доктора вспомнилась мне: под столом, на окнах, на шкафу — везде лежали медицинские журналы и книги. На одном подоконнике стоял микроскоп, а на другом в старом, треснувшем стакане всегда лежало что-нибудь заплесневелое — кусочек сыра или хлебная корка.

Но что же Павел Петрович думал о плесени, которая во все времена и у всех народов внушала лишь отвращение? Он думал — это я помнила ясно,— что в обыкновенной зеленой плесени содержатся какие-то целебные силы. А что, если поставить опыт в моей маленькой лаборатории?

...На этот раз я не воображала, что вижу сон, не мчалась ночью с пробирками в кастрюльке к доктору Дроздову — он как раз был в зерносовхозе,— не сидела до утра, боясь, что пробирки погаснут. Я села писать статью, и горы исписанной и разорванной бумаги появились в моей комнате на столе, под столом, на окне, на кровати. Каждая фраза в отдельности еще выходила кое-как сама по себе, но соединять их... это была тяжелая, почти физическая работа! И когда эта статья, каждая страница которой написана не чернилами, а, можно сказать, кровью, была наконец закончена, я разорвала ее, потому что мне пришло в голову попробовать «передать» свечение от холероподобного к настоящему холерному вибриону...

Однажды — это было уже поздней осенью — я сидела подле Данилы Степаныча и читала «Британский журнал патологии». Доктор Дроздов, застав меня как-то за самоучителем английского языка, прислал мне несколько старых номеров этого журнала. В этот день чтение шло медленно, и не только потому, что приходилось ежеминутно заглядывать в словарь, но и по другой, более важной причине. В кармане моего халата лежало письмо от Андрея.

Данила Степаныч, решавший шахматную задачу, отложил ее и тяжело вздохнул.

— Что случилось, Данила Степаныч?

— Скажите, Татьяна, вы не думаете... Только, пожалуйста, откровенно скажите! Вы не думаете, что моя болезнь могла повлиять на какие-нибудь психические центры?

— Еще новости! Откуда такие мысли?

Репнин снова вздохнул и, не ответив, повернулся к стене.

— Вы не будете сердиться, Татьяна?

— Честное слово, не буду.

Он мрачно уставился в потолок.

— Я вам до сих пор не говорил, потому что надеялся, что это пройдет, хотя у меня вообще тонкий нюх; и если бы запаха не было, я бы не подумал, что это именно плесень. Но потом я обнаружил, что мне начинает казаться, именно когда входите вы, и тогда стало ясно, что это галлюцинация, только не звуковая или зрительная, а нюхательная, наверно, такая бывает. А раз появилась галлюцинация... Что с вами?

Я чуть не упала со стула от смеха... Он приподнялся на локте и с беспокойством посмотрел на меня.

— Это не галлюцинация, Данила Степаныч, от меня действительно пахнет плесенью. Катя мне еще вчера сказала об этом. У меня сейчас такая работа — я изучаю плесень. А плесень бывает разная: одна растет на сыром кирпиче, другая на щепке, а третья на разбитом цветочном горшке, выброшенном на помойку. Вот я и подбираю эти предметы и, случается, таскаю с собой. Но сейчас у меня как раз ничего такого нет.— Я вывернула карманы халата.— Так что одно из двух: либо я уже пропахла насквозь, либо у вас выработалось нечто вроде условного рефлекса.

— А зачем вы изучаете плесень? Объясните, Татьяна. Вы думаете, я не пойму?

— Да тут и понимать нечего, настолько это просто! Жил некогда в маленьком захолустном городке старый врач, который занимался, насколько это было в его возможностях и силах, микробиологией. Возможности были тогда небольшие: микроскоп, два десятка пробирок да медицинские журналы, которые он выписывал из Москвы и Петрограда. Он был очень болен и очень стар уже и в те годы, когда я десятилетней девочкой познакомилась с ним. Много лет — вороятно, двадцать или тридцать — он писал свой «труд», и для нас в детстве это слово означало не только толстую рукопись с множеством закладок, лежавшую на его столе, но и то, что он постоянно работал над ней, зачеркивал, снова писал. А иногда он читал нам страницу-другую. И мы...

— Кто это «мы»?

— Мы... Ну, в общем, его племянник Андрей Львов и я...

Данила Степаныч посмотрел на меня, подняв крупные

брови, которые стали особенно заметны на похудевшем лице.

— Ох, что-то вы покраснели, доктор!

— Я? Вовсе нет.

Но я не только покраснела, а еще и сунула, без малейшей необходимости, руку в карман своего халата.

— Но при чем же здесь все-таки плесень, Татьяна?

— А вот при чем: когда мы подросли, Павел Петрович прочел нам несколько лекций. Это было уже после революции, в тысяча девятьсот двадцать втором году. Я записала их, но кое-как, потому что была тогда глупой девчонкой и мечтала, что стану великой киноактрисой, а не врачом на сельском участке. В этих лекциях он высказал мысль, что плесень, обыкновенная плесень, обладает целебными свойствами. Вот я и пытаюсь проверить эту на первый взгляд очень странную мысль.

— И получается?

— Пока еще трудно сказать.

— Как, вы сказали, его фамилия? Лебедев? Он известен в науке?

— Нет, неизвестен.

— Почему?

— Потому что его труды не были опубликованы. Больше того, они пропали.

— Пропали?

— Да. Они случайно оказались в руках одного темного дельца. Это сложная история.

Незадолго до этого разговора я написала Лене Быстровой с просьбой зайти в прокуратуру, и она ответила, что была и узнала, что Раевский за какие-то грязные дела еще в 1928 году был выслан из Ленинграда. Рукопись Павла Петровича у него не нашли, и работник прокуратуры сказал, что на успех мало надежды.

— Но ведь вы, Татьяна, знаете, о чем он писал?

— Приблизительно.

— Стало быть, можете рассказать содержание?

— Рассказать — никто не поверит, Данила Степаныч. Нужно доказать, а это далеко не так просто.

Репнин задумался.

— Вот что я хотел вам сообщить, Татьяна,— сказал он,— если для ваших опытов понадобится бывший здоровый мужчина, выжимавший два пуда левой рукой, обратитесь к инженеру Репнину Д. С. Адрес известен.

Я поблагодарила и сказала, что для подопытного животного инженер Репнин Д. С. неудобен — слишком беспокойный объект: то влюбляется без памяти, то лежит при смерти, то волнуется, что сошел с ума...

О любви

Мы не виделись долго, два года, и это были годы, когда все как бы сдвинулось в душе и стало другим, чем прежде. Я смутно чувствовала эти перемены, и мне казалось, что нужно остановиться, оглядеться, подумать — что же все-таки происходит со мной? Но некогда было оглядываться, и какая-то беспокойная, неуверенная, так и не собравшаяся с мыслями, встретила я Андрея.

Он понял все это сразу — он всегда понимал меня лучше, чем я сама,— и уже через полчаса забылось это беспокойство о том, что я изменилась, стала грубее и проще и что он будет разочарован, увидев меня. Но на смену одному беспокойству явилось другое: я была счастлива тем, что он приехал, но счастлива как-то иначе, чем ожидала. Быть может, я слишком часто представляла себе эту встречу? Быть может, нет ничего удивительного в этом несовпадении между тем, что было между нами, и тем, о чем я думала, закрыв глаза, с бьющимся сердцем?

Потом все забылось в остром, налетевшем чувстве нежности, разгоревшемся в сердце...

На другой день после приезда Андрея мы зарегистрировались в Сальске, а потом, прямо из загса, отправились на вокзал. Решено было провести отпуск не на курорте, хотя самые лучшие курорты были рукой подать, а поехать куда глаза глядят и жить где придется, не загадывая вперед дальше, чем на день. Так мы попали в Корчевск, маленький городок на берегу Азовского моря, только потому, что Андрею захотелось посмотреть Сиваш. Но оказалось, что Корчевск стоит не на Сиваше, а на проливе, соединяющем Сиваш с Азовским морем, и самое неинтересное, что мы увидели в приятном, чистом городке, был именно этот пролив, в котором, не помню почему, нельзя было даже купаться.

Загорелый усатый рыбак, поджав под себя ноги, сидел на песке подле перевернутой лодки. Андрей почему-то решил, что этот рыбак — участник героической переправы через Сиваш во время гражданской войны, и подъехал

было к нему с наводящим вопросом. Но рыбак оказался приезжий, из Бердянска, и хотя, как вскоре выяснилось, принимал участие в гражданской войне, но скромное — служил кашеваром.

— А далеко отсюда до Бердянска? — спросил Андрей.

— Около суток.

— На пароходе?

— Да.

Андрей посмотрел на меня с торжествующим видом.

— Таня, махнули в Бердянск? А?

— Махнули.

— Когда отправляется пароход?

— Ушел сегодня утром.

— Ушел! — закричал Андрей с таким ужасом, как будто он всю жизнь собирался в Бердянск.— Черт возьми, какая неудача! А на лодке нельзя добраться до Бердянска?

Я прыснула. Он сердито взглянул на меня.

— На лодке? — переспросил рыбак.— Не знаю. Я лично не возьмусь.

— Почему?

Рыбак подумал и лениво усмехнулся в усы.

— Щекотливая идея. Закурить не найдется?

Андрей отдал ему свои папиросы, и мы ушли, потому что я сказала, что не поеду на лодке в Бердянск — меня укачает.

За обедом — мы зашли в кафе — самым вкусным блюдом оказались помидоры, маленькие, розоватые, необычайно душистые; потом, куда бы мы ни поехали, я везде спрашивала эти помидоры. В кафе не было никого, кроме нас.

...Я забыла, как светлеют у Андрея глаза, когда он начинает говорить о чем-нибудь с увлечением. Когда я думала о нем, он представлялся мне усталым, похудевшим, таким, каким я видела его в Ленинграде. А он приехал загорелый, веселый, и не задумчивостью веяло от него, как бывало, а твердостью, отчетливостью, прямотой. Все как бы определилось в нем, и даже растрепанный белокурый ежик волос над большим лбом стал прямой и высокий. И смеяться он стал по-другому, так, что становились видны все белые, ровные зубы. Так и казалось, что для него нет ничего, что нельзя было бы объяснить последовательно и ясно. Но за этой отчетливостью сложившегося человека вдруг становился виден мальчик, некогда составляв-

ший «таблицу вранья» и беспощадно разоблачавший запутанные отношения взрослых.

Мы заговорили о его будущей работе: ему предложили интересную работу в Москве, в противоэпидемическом отделе горздрава.

— В сущности, я думал об этом всегда.— Он замолчал, и я увидела по его глазам, что он мысленно уходит от меня, от всего, что нас окружало.— Или, точнее, с того дня, когда в Лопахин привезли голодающих Поволжья и мы с тобой «жарили» над плитой армяки и рубашки. Я тогда впервые подумал, что, может быть, больше всего мне удастся сделать в эпидемиологии. Хочется, понимаешь ли, сделать много. А тебе?

— А мне — хорошо, хоть бы и мало.

Мы вернулись в гостиницу, заглянули в свой номер, выяснили, что в нем очень душно и что наши дорожные мешки висят на своих местах, и снова отправились бродить по Корчевску.

Где-то близко находился знаменитый заповедник Аскания-Нова. Но в Асканию нужно было ехать поездом через Ново-Алексеевку, а мне почему-то не хотелось ехать поездом, и, разыскав извозчика — кажется, единственного в городе — мы стали уговаривать его довезти нас до Аскании-Нова. Очень скоро выяснилось, что это вздор — до заповедника было не меньше ста километров, но мы сдались, только когда извозчик — маленький, горбоносый и добродушный — показал нам свою бричку, на которой не чаял довезти нас до станции, не то что до Аскании-Нова. И вечером, в десятом часу, мы отправились на этой бричке на станцию, находившуюся от города километрах в семи.

Вечер был тихий, но не душный, и когда мы выехали в степь, стало казаться, что все это было уже когда-то: возница тихонько пел — бормотал какую-то песню, последние краски заката горели перед нами, красные шапки татарника вспыхивали в высокой траве, и тесная бричка, поскрипывая, катилась по мягкой дороге.

Сиденье было неудобное, и Андрей крепко обнял меня. «А то выпадешь,— смеясь, сказал он,— и ищи ветра в поле».

...Он спросил откуда-то издалека: «Спишь?» Я поцеловала его в щеку, положила голову на плечо, и полузабытый сон медленно прошел перед глазами. Вот я еду куда-то, не знаю с кем. С тем, кого я люблю. Тихо вокруг, мягкий ветер клонит траву, бесшумно ходит над степью.

Мы едем — куда? Не все ли равно! Лишь бы долго еще старый возница бормотал свою протяжную песню да мягкие фонтанчики пыли вылетали из-под копыт. Лишь бы долго еще справа и слева от нас проплывали высокие душистые травы и совы, мигая слепыми глазами, сидели на телеграфных столбах. Лишь бы долго еще свет от единственного фонаря, который зажег наш возница, бежал рядом с нами, по мягкой дороге. Лишь бы он был рядом со мной — тот, кого я люблю. Но разве не был он рядом со мной?

Вот он наклонился, чтобы поправить сено в ногах: в бричке было слишком просторно и ноги болтались. Вот, не разгибаясь, спросил меня: «Теперь удобно, Танюша?» — и я сверху увидела его доброе, твердое лицо. Вот заговорил о чем-то — и замолчал, только тихонько поцеловал меня, почувствовав, что мне не хочется говорить. В сумраке, надвигавшемся с каждой минутой, он казался таким молодым, совсем мальчиком, в своей серой кепке, откинутой на затылок.

Мы достали только жесткие, бесплацкартные места, и вагон попался странный, с очень широкими двухэтажными нарами, на которых было удобно лежать, а сидеть неудобно. Зато он был почти пустой, без сомнения, именно по этой причине!

Проводник поставил в фонарь свечу и ушел. Потом кто-то закурил от свечи, не заметив, что мы сидим на нарах, как турки, с поджатыми под себя ногами. Потом какая-то женщина развязала носовой платок под фонарем, оглянулась, сосчитала деньги, ушла — и тоже не заметила нас. Это было забавно — как будто мы и существовали и не существовали на свете. Потом огарок погас, но в вагоне почему-то не стало темнее.

— Ты даже не представляешь себе, как ты изменилась. Ты совсем не знала себя — это было очень заметно. Я вспомнил сейчас, как мы однажды шли по деревне — это было в Анзерском посаде, — ты подхватила какого-то малыша, стала играть с ним, а потом сказала: «Никогда не знаешь, что будешь делать через минуту».

— А теперь знаю?

— Догадываешься. Ты стала другая. Решительная и... мягче.

— А тебе нравится, что я стала другая?

Андрей в темноте нашел и поцеловал мою руку.

— Что тебе пишет Заозерский?

— Он пишет, что рассказал академику Никольскому о моих светящихся вибрионах.

— И что сказал Никольский?

— Что я молодец.

— Ты, кажется, спишь?

— И не думаю.

— Не спи, пожалуйста. А то и я засну,— сонным голосом сказал Андрей.— И мы уедем черт знает куда.

— Зажечь свечу?

— Нет.

— Сказать, что я люблю тебя?

— Да.

Мы разговаривали, пока я все-таки не уснула, положив голову на его широкую руку.

...В Аскании мы позавтракали у ларька арбузом с белым хлебом, и это было так вкусно, что я забылась и облизала пальцы — поступок, о котором я пожалела, потому что Андрей потом издевался надо мной целый день.

Главный дом заповедника был очень нарядный — белый, с просторным крыльцом. В глубине двора стояли хозяйственные постройки под белыми черепичными крышами, отделанными по краям белой же узорной черепицей. Вдоль газона, засеянного перед главным домом, росли какие-то невысокие круглые густые деревья, и все вместе производило впечатление чистоты и уюта.

— Вот бы дали нам комнатку в этом доме,— сказал, поднимаясь по лестнице, Андрей.

— Ну, а это уже просто как в сказке «Три желания»,— сказал он через четверть часа, когда завхоз дал нам маленькую, но светлую комнатку именно в этом доме.

Еще в поезде он вспомнил, что асканийские зоологи поставили перед собой задачу вывести зубробизонов, и теперь с таким азартом принялся объяснять мне тонкости этой задачи, что продолжал говорить, даже когда, переодеваясь, я выставила его в коридор.

Но вот мы пошли в асканийский парк. Что это был за великолепный, тенистый, просторный парк! И что за наслаждение было бродить по нему с Андреем, который рассказывал об Аскании интересно, подробно, как будто прожил в ней всю свою жизнь!

— Прочел одну-единственную книгу,— смеясь, ответил он.— И притом детскую. Издание Детгиза.

Но о научной работе в Аскании, которую он обрисовал со знанием дела, ведь не мог же он прочитать в детской книге?

— А это другой источник. Здесь в прошлом году работал Ковшов. Слышала о Ковшове? Превосходный зоолог. Мне о нем много рассказывал Митя.

— Вот хорошо, что ты заговорил о Мите,— сказала я спокойно.— Как он?

— Я его не застал в Москве. Он в Ялте. Заедем отсюда в Ялту?

— С удовольствием. Мне очень хочется его повидать.

— Мама была одна, так что я знаю о нем только с маминых слов. В общем, она огорчается.

— Почему?

— По многим причинам. Она считает, например, что он мог бы иногда ложиться раньше, чем в три часа ночи.

— Много работает?

— Очень.

— Жена с ним?

— Да, к сожалению.

Когда Андрей сердился, он начинал немного косить. Косил он и сейчас, без сомнения потому, что я заговорила о Глафире Сергеевне.

— Беда мне с ним,— сказал он, вздохнув.— Митя умен, честен, талантлив. Как не чувствовать эту душевную пустоту, эту ложь — ведь она лжет ему на каждом шагу! Как не видеть, что она просто ставит на него, как ставят на карту?

— Он видит, и чувствует, и понимает все это в тысячу раз больше, чем ты.

— Ты думаешь? Тогда почему же...

— Потому что он любит ее.

Андрей пожал плечами.

— Это не любовь, а болезнь воли. Любить такую женщину — это значит любить самые темные стороны собственной души.

Мне вспомнилась Глафира Сергеевна, пополневшая, с тяжелым, исподлобья, взглядом, и рядом с ней — Крамов, вежливый, бледный, в прекрасно сшитом костюме, под которым чувствовались узкие плечи, тонкие ноги.

— Андрей, мне давно хотелось... Может быть, я должна была рассказать тебе об этом сразу же после того, как я узнала, что ты любишь меня.

Я замолчала. Потом начала: «Ты помнишь?» — и опять замолчала. Мне казалось, что я ничуть не волнуюсь, а между тем почему-то трудно было вздохнуть.

— Но теперь это стало уже невозможно... Теперь, когда и я люблю тебя,— сказала я шепотом.— Помнишь, когда ты уезжал из Ленинграда в прошлом году, я нашла тебя на вокзале и сказала, что не хочу, чтобы ты уехал, не простившись со мной?

Андрей кивнул.

— Я тебе сказала тогда: «И есть еще другая причина, о которой я тебе когда-нибудь расскажу».

Андрей снова кивнул. Он слушал, не сводя с меня ожидающего, тревожного взгляда.

— Эта причина заключалась в том,— продолжала я, нарочно твердо выговаривая до конца каждое слово,— что я тогда была влюблена в Митю. Я знаю, что в тот день или даже в ту минуту, когда я почувствовала, что влюблена, мне нужно было бросить все и поехать к тебе, где бы ты ни был. Не для того, чтобы сказать, что я люблю тебя,— тогда я тебя еще не любила, а для того, чтобы объяснить, что происходит со мной. А я не только не сделала этого, а наоборот — все время мне было страшно, что ты приедешь, и я не хотела этого и не могла заставить себя написать тебе хоть одно слово.

Забыла сказать, что, гуляя по парку, мы встретили черненького мальчика в тюбетейке, который гнал куда-то стадо толстоногих смешных страусят, и попросили его показать нам Большой загон — ту часть заповедника, где звери живут на свободе. Мальчик сказал, что нельзя, но мы стали так горячо уговаривать его, что он наконец согласился: запер страусят в вольер, провел нас через дырку в заборе и теперь шел за нами, удивляясь, что мы не обращаем на диковинных антилоп гну и яков никакого внимания.

— Родная моя,— сказал Андрей с нежностью, от которой у меня несмело забилось сердце.— Спасибо, что ты первая сказала мне об этом. С моей стороны было слабостью уехать, не попытавшись даже узнать, правда ли это. Ты понимаешь, это было очень трудно — написать тебе такое письмо, чтобы ты не поняла, что я догадался.

— Догадался? О чем?

— А вот антилопа сайгак,— сказал мальчик, указав на странную овцу с большим, смешным носом, которая спа-

ла на кургане, а когда мы подошли поближе, лениво поднялась, постояла и снова легла.

Андрей погладил мальчика по голове и засмеялся.

— Помнишь записку, которую ты послала Мите? Он показал ее мне, когда я подошел к нему на съезде. Ты понимаешь, я мог понять все, что угодно. Ты не раз упоминала о каком-то военном враче, с которым ходила на гастроли МХАТа. Я был готов предположить, что ты любишь другого. Но представить себе, что этим другим мог оказаться Митя... И вот я вернулся в Анзерский посад и стал ждать твоих писем. Я перечитывал их без конца — все казалось, что ты напишешь об этом. Но ты молчала, и тогда... Что же мне оставалось? Я старался понять тебя, войти в твою жизнь. Только не подумай, что это был обдуманный план. Так же как произошло это счастье — то, что я тебя полюбил,— так же произошло и то, что я не мог отказаться от своей любви.

Какое-то изящное тонконогое животное с откинутыми назад ушами пряталось от солнца в тени деревьев, окружавших пруд. Мальчик обернулся, должно быть, хотел рассказать об этом животном, и замер, увидев, что я обнимаю Андрея.

— Постой же, дай досказать.

Но я больше не слушала. Я целовала его.

Мы не поехали в Ялту, вернулись в зерносовхоз, и хорошо сделали: оказалось, что не только товарищи по работе, но и полузнакомые люди недовольны тем, что свадьба была «сыграна на стороне», как с укоризной сказал мне Репнин. К Репнину я побежала в первый же день приезда, потому что оказалось, что в зерносовхозе меня ожидало письмо от Маши. Она благодарила меня за хлопоты — я говорила о ней в Сальском райздраве. «Впрочем, нетрудно догадаться об инициаторе,— писала она,— поскольку Данила Степаныч пишет мне очень часто, все убеждает переехать в Сальск. Я бы и рада пожить с мамой, которая становится очень стара, да ведь кто же отпустит меня из Анзерского посада?»

Меня поразило то почти боязливое выражение, с которым Данила Степаныч попросил разрешения прочитать письмо своими глазами.

— Значит, была бы рада? — дрогнувшим голосом сказал он.— Так будет же рада!

Я стала говорить, что дело может долго пролежать в Ростове, он слушал и покорно кивал головой.

— Увезу,— вдруг тихо сказал он.— Крайздрав, горздрав, пустят — не пустят... Всех раскидаю!

И он снова стал упрекать меня за то, что мы «сыграли свадьбу» не в зерносовхозе. Напрасно уверяла я, что никакой свадьбы не было...

— Ну, так сыграем же,— сказал Данила Степаныч, и под вечер, часов в шесть, когда мы с Андреем мирно пили чай, обсуждая сложный вопрос о том, как устроить семейную жизнь, находясь на расстоянии двух тысяч километров друг от друга, шумные голоса послышались на лестнице, дверь распахнулась, и вошли директор, Репнин, Бородулин и Катя. Потом явилась Клава Борисова, кто-то еще, и оказалось, что в моей маленькой комнате можно принять, правда, без особенного комфорта, двенадцать человек гостей. Об угощении заботиться не пришлось: гости пришли с подарками, только что полученными в ЦРК,— это был год, когда продукты выдавались по норме. Зато без всякой нормы совхозный садовник выдал каждому из наших гостей цветы, так что пришлось принести из медпункта ведро, чтобы поставить в воду пышные георгины и астры.

Вечером хозяева вместе с гостями пошли в кино — открытое, с любым количеством мест, под звездной крышей которого висела маленькая кривая луна. Картина была новая — «Конец Санкт-Петербурга».

Вдалеке, за ремонтными мастерскими, жгли стерню, дымные полосы низко стлались по земле, и между ними, внезапно вспыхивая, рассыпались искрами красные фигуры огня. Время от времени легкий экран дрожал под ветром, налетавшим из степи, и тогда начинало казаться, что мы с Андреем плывем под парусом. Куда?

— А вот и бабочка,— шепотом сказал он, как будто только и ждал эту ночную бабочку, которая замелькала в прозрачном конусе света, лившемся из окошечка аппарата на полотно. Я взглянула на Андрея. Он не смотрел на экран. Видно было, что все это — кино под открытым небом, люди, сидящие на траве с напряженными лицами, и то, что в полях жгут стерню,— интересовало его больше, чем картина.

Вдруг он обернулся ко мне.

— Что, Андрей?

— Таня...— Он назвал меня одними губами.— Я не могу жить без тебя.

— Мы скоро увидимся снова.

— Скоро! Через тысячу лет! Ох, как мне не хочется расставаться с тобой!

ГЛАВА ВТОРАЯ

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

Первый день

Гардеробщик сказал, что Николай Васильевич Заозерский никогда не бывает раньше двенадцати, но раз уже назначил мне без четверти десять, так к одиннадцати непременно придет. Я сняла пальто и боты. Шапочку мне не хотелось снимать, так как для того, чтобы ее надеть, было затрачено много усилий, но гардеробщик спросил: «А головной убор?» — и пришлось снять.

— Может быть, пройдете в красный уголок? Там есть литература.

Я ответила, что посижу в вестибюле. Впрочем, это был даже не вестибюль, а маленький зал с внутренней лестницей,— однажды я видела такой зал в санатории ученых в Старом Петергофе. Но в Институте биохимии микробов он был уютнее. На лестнице лежала дорожка, на стенах висели портреты Мечникова и Баха.

Я сидела, думала и волновалась. Что будет? Но стоило подумать о том, что было, по меньшей мере о том, что произошло за последние дни.

Во-первых, я в Москве! Это было событие, которое входило решительно во все другие большие и маленькие события, так что думать о нем отдельно было трудно или даже почти невозможно.

Во-вторых, я выступила на одной из секций Всесоюзной конференции микробиологов с докладом о светящихся вибрионах, и, кажется, удачно.

В-третьих, Митя познакомил меня с академиком Никольским, который любезно сказал, останавливаясь после каждого слова:

— А я уже чуть было не спросил, что это за школьница так аккуратно посещает наши скучные заседания?

В-четвертых, Андрей переезжает в Москву! Мы увидимся скоро и надолго — не так, как в декабре, когда он провел со мной только несколько дней и уехал обратно в Москву, где решался вопрос о его переводе.

Дверь хлопала ежеминутно. Сотрудники института входили замерзшие, красные, говорили: «Ну и мороз!» — и топали ногами у порога. Они были уверенные, спокойные, «московские», а я за три года отвыкла от большого города и чувствовала себя настороженно и стесненно. Самая лучшая портниха в Сальске уговорила меня сшить платье с большими воланами, которые еще никто не носил, и этот дар предвидения положительно отравил мою жизнь. Одна из сотрудниц, хорошенькая, с пышными волосами, подошла к зеркалу, стоявшему в вестибюле, и, разговаривая с другой, небрежно подкрасила губы. Это было глупо, конечно, но когда она ушла, я тоже подошла к зеркалу и увидела... Но кого же я могла увидеть, если не самую обыкновенную женщину среднего роста, смуглую, в неуклюжем платье, с загорелыми, хотя была уже середина зимы, руками и с обветренным, взволнованным от ожидания лицом?

Наконец мне надоело ждать. Я поднялась по лестнице и остановилась в галерее, которая шла вдоль площадки второго этажа. Куда пойти: направо или налево? Я выбрала — налево, потому что навстречу шел какой-то почтенный человек в пенсне и в белом халате.

— Простите... Я доктор Власенкова. Николай Васильевич назначил мне прийти в десять часов. Его еще нет. Могу я посмотреть институт? Разумеется, если это возможно.

— Пожалуйста, доктор.

Я думала, что он сейчас познакомит меня с каким-нибудь младшим сотрудником, который покажет мне институт, но он пошел сам. Мы заглянули в нарядный кабинет директора института Валентина Сергеевича Крамова, потом в одну из лабораторий, и Илья Терентьич — так звали моего нового знакомого — в общих чертах рассказал о работе этой лаборатории. Потом нам стали встречаться сотрудники, и тут я окончательно убедилась в том, что мне повезло: редкий из них не останавливался, чтобы справиться у Ильи Терентьича о его делах и здоровье. Но и он, по-видимому, относился к ним с таким же вниманием. В одной лаборатории он заботливо взял со стола пепельницу и вытряхнул в урну, стоявшую в коридоре. В другой, кряхтя, вытер тряпкой стеклянную дверцу шкафа, забрызганную чем-то белым.

Мы вернулись на галерею, и я уже собралась попрощаться и поблагодарить Илью Терентьича, когда внизу

хлопнула дверь и вошел Заозерский — в распахнутой шубе, с палкой в одной руке, с портфелем в другой. Шуба была тяжелая, хорьковая, с хвостами. Сделав несколько шагов, он остановился, шумно вздохнул и стал снимать шубу. И вдруг — я не поверила глазам — мой спутник со всех ног побежал вниз по лестнице, взял из рук Николая Васильевича шубу и отнес ее в гардероб.

— Спасибо, Терентьич! Вот бисова шуба! Ей-богу, завтра же поеду на базар и продам. А, Таня! Здравствуйте, Таня.

Мы прошли в кабинет к Николаю Васильевичу, и через несколько минут я, как будто невзначай, спросила, в каком отделе работает Илья Терентьич.

— Терентьич? Это служитель наш. Замечательный человек, вы его еще узнаете!

Николай Васильевич считал меня — с полным основанием — своей ученицей и надеялся, что я пойду работать в Институт эпидемиологии, которым он руководил последние годы. Но недаром же по меньшей мере три месяца таскала я в сумочке вырезку из газеты «Известия»: «Институту биохимии микробов требуется опытный бактериолог». Все, чем я интересовалась в науке, вело меня именно в этот институт, или, вернее, в эту область знания, потому что институт открылся только два или три года тому назад. Вот почему в ответ на письмо Николая Васильевича, в котором он сообщил, что мой доклад поставлен в программу конференции, я послала ему эту вырезку и попросила рекомендацию — на вакантную должность был объявлен конкурс.

Андрею показался странным этот поступок, на который я решилась после долгих сомнений. «Ты бросаешь своего руководителя и у него же просишь поддержки, переходя к другому?» — написал он. Но я знала душевную широту Николая Васильевича и была почти уверена, что он не рассердится на меня. Так и вышло. Дело облегчилось тем, что Николай Васильевич был консультантом Института биохимии микробов и обещал присматривать за моей работой.

— Ну что, пошли к директору, Таня? — усмехаясь и теребя бородку, спросил он.— Страшно, а?

— Нет. Я не из пугливых.

— Да и я не из пугливых! А как увижу его пресветлые очи, ей-богу, так и тянет сказать: «С нами крестная сила!»

И, приняв серьезный, озабоченный вид, он повел меня к директору института, который — это сообщил нам тот же Илья Терентьич — только что прошел в свой кабинет.

Несколько дней тому назад я видела Крамова на конференции. Но то была мимолетная встреча, когда он сказал мне несколько любезных слов и ушел. Совсем другое было сейчас, когда, пожимая мою руку своей маленькой, со слабыми пальцами, почти детской рукой, Крамов внимательно всматривался в меня... Совсем другое!

— Приветствую вас, Татьяна Петровна! Как говорится, в добрый час, в добрый час! Николай Васильевич, вы еще не познакомили Татьяну Петровну с Лавровым?

— Нет.

— О, тогда это сделаю я. Но сперва мы поговорим, не правда ли?

— Да, вы поговорите, а я пойду,— сказал Николай Васильевич.

— Уже? А я полагал, что вы поможете мне, так сказать, войти в научную биографию Татьяны Петровны.

— Да какая там особенная биография,— вдруг с досадой сказал Николай Васильевич.— Способный человек, вот и все!

Он помрачнел, едва мы вошли, и так по-детски насупился, что как я ни была взволнована, но едва удержалась от улыбки.

Крамов проводил его и вернулся.

— Я читал ваши рекомендации, Татьяна Петровна,— начал он, предложив мне сесть и сам садясь в удобное, красивое кресло.— Доклад ваш на съезде я тоже слышал и, должен сознаться, был поражен...

Это была его манера — оборвать на полуслове, а потом кончить фразу совершенно иначе, чем ждет собеседник. Тогда я не знала этой манеры и наивно решила, что Крамов поражен значением моего открытия для советской науки.

— ...тем, что вам удалось сделать такую тонкую работу на сельском участке.

Я ответила, что в этом нет ничего особенного, поскольку зерносовхоз, в котором я работала, располагает хорошей лабораторией. Это было верно только наполовину!

Но удивление Крамова по поводу сельского участка не понравилось мне.

— Мне кажется, что у вас благодарная тема. А вы не думаете, Татьяна Петровна, что причина реакции, которую вы получили...

И Крамов в две минуты набросал план серии опытов, которыми можно было проверить его мысль. Я попросила разрешения записать — все это было для меня совершенно ново. Он любезно протянул мне карандаш и бумагу.

— Ведь вы, кажется, занимались у Николая Васильевича еще в Ленинграде?

— Да.

Я рассказала — очень кратко — о своей работе над дифтерийной палочкой, упомянув, что одновременно со мной на кафедре работал Рубакин.

— А, Петр Николаевич? — живо сказал Крамов.— Так вы знакомы?

— Со студенческих лет.

— Вы знаете, он теперь работает в нашем институте!

— Да. Я искала его на конференции, но мне сказали, что он заболел.

— У него был грипп. Но сегодня он уже вернулся к работе.

Это было сказано с удивившим меня оттенком значительности.

— Вы еще не виделись с ним?

— Нет.

— Непременно зайдите.

Право, можно было подумать, что лохматый, добродушный Петя Рубакин, которого в Ленинграде можно было ночью поднять с постели, чтобы узнать, чем истинная дифтерийная палочка отличается от ложной, в глазах Крамова представлял собой нечто совершенно другое и гораздо большее, чем в моих!

Разговаривая, мы спустились в первый этаж, который был не в пример скромнее второго, и по узкому цементированному коридору прошли в небольшую лабораторию. За столом, горбясь над микроскопом, сидел высокий человек лет сорока пяти, крепкий, костлявый, с лысой, чистой, как слоновая кость, головой.

Крамов поздоровался с ним очень вежливо, но с тем неуловимым оттенком пренебрежения, который не только не мешал этой вежливости, но как бы подчеркивал ее,— это тоже было его манерой.

— Вот, Татьяна Петровна, познакомьтесь: Василий Федорович Лавров.

Он ушел, закинув голову, блестя пенсне, крепко ставя ножки, и я осталась с Лавровым, который, кажется, смутился больше, чем я.

Я не помню подробностей нашего разговора, продолжавшегося, должно быть, не меньше часа, но помню — и очень ясно — то впечатление жадного внимания, с которым Лавров расспрашивал и слушал меня. Мы говорили не о науке — «еще успеется», сказал он с доброй улыбкой,— а начали с моей работы в зерносовхозе, потом пошли назад, к институтским годам. Я упомянула о Павле Петровиче, внушившем мне интерес к микробиологии, и Лавров сказал, что он не только слышал о докторе Лебедеве, но помнит его брошюру «Защитные силы организма», вышедшую в 1922 году.

— Но это была какая-то философия микробиологии? — вопросительно сказал он.

Мне показалось сперва немного странным, что этот внимательный человек с белыми узкими руками экспериментатора, запоминавшимися с первого взгляда, так подробно расспрашивает меня об организации медпункта в зерносовхозе, и не только расспрашивает, но от души удивляется тому, что кажется мне таким обыкновенным! Потом мне стало ясно, что для Лаврова я была не только новым человеком в институте, но отчасти представительницей того необозримого нового, что происходило в жизни страны.

Лавров задумчиво уставился на меня.

— Я думал о ваших вибрионах,— сказал он.— В каком же направлении вы намерены продолжать работу?

— Хочу выяснить причину свечения. А если не выйдет...

По дороге из Ростова в Москву я познакомилась с одним инженером, который интересно рассказывал о производстве электрических лампочек, и мне пришла в голову мысль, что при выкачивании воздуха из этих ламп мои вибрионы могли бы послужить недурным показателем: отсутствие кислорода заставляло бы их гаснуть. Я рассказала об этом Лаврову. Он с сомнением покачал головой.

— Не думаю, что Валентин Сергеевич одобрит подобную мысль,— сказал он.— Он не сторонник утилитарного направления. Ну-с, а сейчас я покажу вам нашу лабора-

торию, Татьяна Петровна. Оборудование не бог весть какое. Но все впереди.

Оборудование было действительно среднее, в особенности если сравнить его с теми лабораториями на втором этаже, которые показал мне Илья Терентьич. Однако после совхозных установок, в которых почти все было сделано моими руками, лаборатория Лаврова показалась мне, можно сказать, дворцом науки.

Совершенно такой же — румяный, круглолицый, лохматый, каким он был, когда мы расстались в Ленинграде,— Петя Рубакин сидел за столом и, глядя в микроскоп, быстро левой рукой — он был левша — рисовал что-то на лежавшем перед ним листе бумаги. Я поздоровалась с его сотрудниками — он не шелохнулся. Я откашлялась — и он тоже, но не передразнивая меня, а машинально. Наконец один из сотрудников сказал громко:

— Петр Николаевич, вас ждут.

И, еще щуря левый глаз, Рубакин поднял голову и увидел меня.

— Таня! — сказал он удивленно.— К нам?

— К вам, Петр Николаевич,— ответила я, чувствуя, как быстро тает при звуках этого знакомого, насмешливого голоса то холодное напряжение, с которым я думала, говорила и даже двигалась в этот день.— И надолго. Не прогоните?

— Ладно уж! Потеснимся! А ведь вы подросли, доктор! Времени не потеряли.

Я засмеялась.

— Так это вы и есть «девушка из совхоза»? Я лежу больной, приходит Лавров, скучный такой, и говорит: «Прошла по конкурсу девушка из совхоза». Я спрашиваю: «Вас не устраивает, что из совхоза?» А он отвечает: «Не устраивает, что девушка. Я бы предпочел мужчину».

— Кстати, я замужем.

— Ну? — Петр Николаевич с уважением посмотрел на меня.— Черт его знает, как это у людей получается,— с искренним огорчением сказал он.— Женятся, выходят замуж. Многие даже имеют детей. Мне все это кажется дьявольски сложным.

Забыла сказать, что Рубакин познакомил меня со своими сотрудниками, и один из них, высокий белокурый юноша, негромко засмеялся, услышав это признание.

— Нечего смеяться, Виктор,— назидательно сказал Рубакин.— Вы еще студент и не доросли до понимания по-

добных вещей. Уйдем от сих неразумных, Таня! Вот здесь, как видите,— он открыл дверь в соседнюю, очень маленькую комнату, добрую половину которой занимал большой белый шкаф,— мой кабинет, пожалуйста, не шутите. Садитесь и рассказывайте. В конце концов мы действительно не виделись четыре года.

— Три. Да что там рассказывать! Работала — вот и все! А Николай Васильевич редко бывает в институте?

— Николай Васильевич? Очень редко. У него на руках другой институт.

— Еще один вопрос: что за человек Крамов?

Лицо Рубакина стало серьезным.

— Ну, это длинный разговор,— сказал он, накручивая на палец прядь волос и подергивая ее с каким-то задумчиво-сердитым выражением.— Впрочем, нам вообще есть о чем потолковать. Где вы живете?

— Пока еще нигде. Заведующий Сальским горздравом дал мне письмо к своей сестре, чтобы она меня приютила. У нее две комнаты на Арбате.

— У нас уже оформились?

— Пока нет. Николай Васильевич познакомил меня с директором, а директор — с Лавровым.

— Ну, а теперь я познакомлю вас с Кочергиным, заведующим нашей хозяйственной частью. Он скажет, чтобы вас оформили. Пошли, да?

Первые шаги

Первый год в Москве был для нас очень трудным, беспокойным, хлопотливым годом. Мы переехали от сестры доктора Дроздова, сняли комнату на Арбате, кое-как наладили жизнь, но именно кое-как, потому что комната была маленькая, тесная и дорогая. Последнее обстоятельство в ту пору было очень важным для нас. Агния Петровна переехала к нам. Это тоже было поводом для волнений. Мне все казалось, что первые годы семейной жизни лучше жить без «предков», как выразился однажды Андрей, очевидно подразумевая под этим словом свою мать, так как, кроме нее да моего отца, от которого уже много лет я не получала известий, у нас не было других «предков». В первое время я немного побаивалась Агнии Петровны — и напрасно. Это была уже не та решительная, дельная, хотя и легко приходящая в отчаяние хозяйка дома, умевшая в трудных обстоятельствах держать-

ся уверенно и спокойно. Теперь в гордом выражении ее постаревшего лица, в поднятых прямых плечах, даже в пенсне, вдруг повисавшем на старомодном шелковом шнурке, мелькало что-то жалкое, появившееся с тех пор, как, переехав в Москву, она перестала работать. О том, как ей жилось у Мити, она не говорила ни слова. Нельзя сказать, что и у нас она полностью одобряла все происходившее в доме. Невесткой она, по-видимому, была не очень довольна. Между нами всегда было какое-то расстояние, которое я не могла перешагнуть и которое осталось от тех далеких времен, когда я была маленькой оборванной девчонкой из посада, а Агния Петровна — хозяйкой поразившего меня «депо проката».

Не только дома — и на работе тревог и волнений с каждым днем становилось все больше. Самый переход от совхоза к научно-исследовательскому институту был труден для меня по многим причинам. Я была участковым врачом, который утром принимал больных в медпункте, днем, захватив в портфель соответствующую литературу, читал в МТС лекцию по сангигиене, а вечера чаще всего проводил в подшефном колхозе, проверяя работу яслей, наставляя сандружинниц или снова принимая больных. Я была нужна ежедневно и ежечасно, и сознание полезности моей работы согревало и воодушевляло меня.

В Институте биохимии микробов все было другим: и работа, перед которой я остановилась в каком-то недоумении, и люди, между которыми были сложные, неясные для меня отношения.

Институт помещался в небольшом сером здании на Ленинградском шоссе, в глубине залитого цементом двора, за высокой чугунной решеткой. Он состоял всего из девяти лабораторий. По мысли Крамова, таким и должен был быть институт, ставящий перед собой чисто теоретические задачи.

Его твердая рука чувствовалась во всем: в точности, с которой начиналась и заканчивалась работа, в аккуратности, с которой сотрудники выступали на ежемесячных научных конференциях, в субординации, которая подчеркнуто соблюдалась.

После первой же научной конференции, на которой с поразившим меня блеском выступил доцент Догадов, я решила, что мой жалкий опыт научной работы просто не дает мне права находиться среди этих высокообразованных людей, ссылающихся в своих речах на десятки ино-

странных фамилий. Было чудом, что мне удалось попасть в Институт биохимии микробов. И лучше бы не произошло это чудо, думалось мне, потому что не пройдет двух-трех месяцев, как мое невежество откроется перед всеми.

С чувством подавленности ушла я в декретный отпуск, решив после возвращения начать с азбуки лабораторного дела.

...Давно пора было разбудить Андрея, но я еще держалась, хотя время от времени приходилось крепко стискивать зубы. Главное было определить: регулярно ли возобновляется эта боль, с которой я тихонько разговаривала, умоляя ее подождать до утра. Но боль не соглашалась, и пришлось встать и заняться своим туалетом. Я оделась, умылась, подумала, взять ли часы, и решила не брать. Потом подошла к Андрею, наклонилась над ним, позвала — и все прошло, как не бывало.

Я снова легла, а утром мы с Андреем пошли гулять, и он вел меня так осторожно, показывая, куда ступать, а куда не ступать, что я наконец стала смеяться.

Мы вернулись, вскоре пришла докторша из консультации и прочла мне целую лекцию о том, что роды — трудовой процесс и что при родах не нужно и даже вредно кричать, а нужно все время думать, что участвуешь в трудовом процессе. Мимоходом она кольнула писателей, которые изображают этот трудовой процесс как нечто мучительное, внушая женщинам вредную мысль, что от родов можно даже и умереть.

Сперва я слушала ее с интересом, а потом с беспокойством, потому что у Андрея сердито загорелись глаза, и я испугалась, что он вспылит и скажет докторше, что он думает о родах как трудовом процессе.

Потом докторша ушла, и день пошел своим чередом — обыкновенный, утомительный день очень толстой женщины, не знающей, куда себя девать, и думающей с тоской: «Ох, хоть бы поскорее!»

— Андрей, знаешь, что я придумала: сходим в кино, а? Честное слово! Мне тебя жалко.

Но вместо кино мы через полчаса отправляемся на машине в клинику Медицинского института.

Очень странно, но нас встречают, как будто ничего не случилось. Позевывая, приходит врач, никуда не торопящийся, добродушный, носатый, и на добрых полчаса заводит речь о бирюзовом колечке, которое я забыла

снять,— у его жены есть, оказывается, точно такое колечко. Потом еще на полчаса начинается совещание: куда меня положить — в палату или родилку?

Докторша, похожая на подтаявшую снежную бабу, узнав, что я тоже докторша, сочувственно поджимает губы. Женщины-врачи, оказывается, рожают неумело, с неожиданными отклонениями, не предусмотренными наукой. И хорошо еще, что я не кандидат. С кандидатами просто беда, иная такое загнет, что не знаешь, как и выйти из положения. Но со мной все будет хорошо, это видно с первого взгляда. «Кого вы хотите? Конечно, муж — сына, а вы — дочку!»

С чувством облегчения вздыхаю я, когда кончается этот разговор, напомнивший мне другой, не менее интересный, когда в незапамятные времена я сидела на банке, усыпляя тараканов и одновременно рассказывая Андрею о том, что Глашенька Рыбакова убежала с Раевским.

...На твердом, высоком, белом столе я лежу час, другой, третий. Мне впрыскивают синэстрол. Увы! Ни новейшие средства, ни другие, старые как мир, не производят на меня никакого действия, и еще через час я ловлю себя на мысли, что раз уж женщины-врачи не умеют рожать, действительно было бы лучше, если бы я получила не медицинское, а какое-нибудь другое образование.

И только утром, когда врачи уходят на пятиминутку, которая продолжается, как водится, добрых двадцать минут, «трудовой процесс» разыгрывается вовсю и я начинаю тихонько стонать. Нянечка приносит записку от Андрея, и у меня еще хватает силы написать ему несколько слов: «Не беспокойся, все хорошо».

И все действительно было бы хорошо, если бы мне не казалось ежеминутно, что сейчас я умру от невыносимой боли. Неужели это я кричу так грубо, так громко, так бесстыдно? Неужели это я упрекаю врачей, которые ничего не делают, решительно ничего, и только сидят и смотрят на меня ничего не выражающими глазами?

Это продолжается так бесконечно долго, что невозможно даже вспомнить, когда началась эта новая страшная жизнь на высоком белом столе. Утро? Но откуда возник надо мной круглый, жемчужно-белый шар, точно взлетевший в воздух? Вечер? Но почему сестра поднимает штору и матовая полоса окна проступает под слабым утренним светом?

Все смешалось — день и ночь, утро и вечер, все потонуло в бешенстве боли, которую невозможно терпеть! Носатый добродушный врач склоняется надо мной с тревожным лицом,— ага, ты больше не спрашиваешь меня о бирюзовом колечке! Снежная баба испуганно считает мой пульс,— ага, ты боишься, что я умираю? Кто-то мучительно знакомый в белом халате появляется среди других обступивших меня белых халатов и смотрит издалека, точно боясь подойти, и борется — я это вижу — с дрожью, пробегающей по его знакомым, милым, твердым губам. Митя? Его пустили ко мне? Нет, это Андрей. Он пришел, чтобы проститься со мной?

Все снова тонет в зверином, убивающем меня бессмысленном крике, убивающем, потому что я больше не в силах кричать. Не заставляйте меня, я больше не в силах! Не трогайте меня, все равно я умру! Спаси меня, Андрей! Ты — Андрей?

И вдруг все кончается в один невероятный, благословенный, фантастический миг. Все кончается,— я жива. Поразительная, необъяснимая, режущая слух тишина возникает в родилке. И в этой тишине, в этой закипевшей вокруг меня суматохе раздается слабенький скрип — оборвавшийся, грустный. Как будто в соседней комнате кто-то взял в руки скрипку и чуть слышно провел по струнам смычком.

Я чуть не умерла,— об этом нетрудно было догадаться по весьма прозрачным намекам сестер, которым, по-видимому, было запрещено рассказывать мне о том, какие у меня были трудные роды. Вопрос о кесаревом сечении был уже почти решен,— почти, потому что врачи боялись убить не только ребенка. Словом, это было чудо, что я осталась жива и что мальчик, которого мы заранее решили назвать Павлом, в честь старого доктора, родился здоровый и крепкий.

Его показали мне вскоре после родов, и я солгала бы, сказав, что почувствовала к нему хоть маленькую нежность. У него были губки бантиком, и он прежде всего показал мне язык. На ручке был номер — «103» и второй — на кроватке, в которой его ко мне привозили. Он был милый, и нянечка тетешкала его и любовалась. А мне было не до него и хотелось только одного — уснуть на чем-нибудь мягком, потому что теперь, когда кончилась боль, оказалось, что от твердых досок стола ломит все тело.

Это было в первый день после родов, когда Андрей через каждые полчаса присылал мне записочки,— все спрашивал: как Павлик, на кого он похож? — день, когда я ничего не чувствовала, кроме счастья отсутствия боли, удивляясь в глубине души, что до сих пор и не ценила этого счастья. Потом быстро пошли другие дни, когда уже невозможно было вообразить, что еще совсем недавно у нас с Андреем не было этого мальчика, мгновенно вцепившегося в меня так, что я начинала кричать, и нисколько не похожего на кусок мяса, как почему-то говорят обидно о новорожденных детях.

...С четырех часов утра нам не давали спать — то кормили, то мерили температуру, то осматривали,— причем врачи почему-то были разные и разговор всякий раз начинался снова. То облучали кварцем и делали уколы. То являлись тетки с кастрюлями — сцеживать молоко, то мы сами с муками кормили детей. Спать хотелось все десять дней, которые я провела в клинике, и потом еще полгода, пока Павлика не стали прикармливать.

Павлику было три месяца, и я еще не могла уйти из дому надолго. Но пропустить заседание московского Общества любителей естествознания, на котором было решено дать бой Коровину и «коровинцам», было невозможно. Это был тот самый Коровин, который некогда прислал старому доктору высокомерный иронический отзыв. Теперь он с такой же озлобленной иронией не пропускал докладов молодых ученых.

После бурной дискуссии, во время которой Агния Петровна тонко намекнула, что в ее время «мать была матерью» и что «если не кормить, так нечего и рожать», решено было, что к десяти часам я вернусь, накормлю Павлика и уеду.

Мы пошли пешком: с Арбата до Моховой, где в аудитории анатомического института должно было состояться заседание, было недалеко. После оттепели подморозило, тонкий лед звенел на лужах под ногами, и Андрей подсмеивался, что я надела шубу не потому, что холодно, а потому, что раз уж купила — ничего не поделаешь, надо носить! Он сам был «тугой на холод», как однажды сказала о нем сестра доктора Дроздова, и зимой ходил в кепке, без шарфа, в осеннем пальто.

— Тугой-то тугой, однако нос покраснел!

Он засмеялся и быстро поцеловал меня в щеку.

— На Арбате!

— Ну и что же! Никто не видел.

— Милиционер засмеялся...

— Наплевать!

Несколько очередей выстроилось в раздевалке, и, куда ни взглянешь, с пальто в руках стояли знакомые: у меня было уже много знакомых в Москве. Студент, работавший в рубакинской лаборатории,— его звали Виктором Мерзляковым, поздоровался со мной и совсем по-мальчишески зажмурил один глаз — очевидно, дал понять, что от него-то «коровинцам», во всяком случае, нечего ждать пощады. Потом подошел и сам Рубакин — румяный, как ребенок, в новом костюме, который делал его еще короче. Он спросил о Павлике. Он очень интересовался им и все говорил, что присматривается к нашей семейной жизни с «целью выяснить, как она развивается в естественнонаучных условиях».

Догадов из нашего института стоял в параллельной очереди, я кивнула ему и отвела глаза — мы были мало знакомы. Но что-то заставило меня снова взглянуть на него,— не на него, на чьи-то очень знакомые волосы и лоб, мелькнувшие за его плечами...

— Лена!

— Таня! Ты в Москве?

С калошами в одной руке, с шубой в другой я бросилась к Лене Быстровой.

— Давно. А ты?

— Скоро полгода.

— Где работаешь?

— В боткинской. А ты?

На нас оглядывались, смеялись, но отойти в сторону было невозможно, потому что, разговаривая, мы двигались к гардеробу.

— А кто еще из институтских в Москве?

— Да многие! Машка.

— И Машка?

— Чего ты смеешься? — спросила Лена и сама засмеялась. Должно быть, и ей показалось смешным, что хорошенькая Машка Коломейцева, которая мечтала лишь о счастливом замужестве, тоже оказалась в Москве.

— А где Оля Тропинина?

— Недавно приезжала. Эх, знали бы мы, что ты здесь!

Андрей крикнул: «Таня, очередь!» Я отдала ему калоши и шубу и вернулась к Лене.

— Муж?

— Да.

— Кажется, симпатичный,— сказала Лена со своей беспечной улыбкой, вдруг осветившей ее бледное лицо с широко расставленными глазами.

— А ты?

— А я — старая дева.

Я засмеялась. Это было так знакомо, то, что Лена отвечала, не задумываясь, и с особенным лихим видом поглядывала вокруг.

— Как я рада, Леночка, родная! Когда мы увидимся?

— А вот подожди, сдам пальто, сядем рядом и договоримся.

Андрей подошел, я познакомила его с Леной, и он сказал, что отлично знает ее по моим рассказам.

— Но я представлял вас другой.

— Красавицей, наверно?

— Старше.

— Нет, я такая. Не старше.

Все время, пока профессор Зебоде — унылый, длинный, причесанный на прямой пробор мужчина, у которого была странная манера без всякой причины внезапно и с ужасом открывать глаза,— читал свой доклад, мы с Леной разговаривали. Я сказала, что к десяти часам непременно должна ненадолго вернуться домой.

— Зачем?

Я объяснила, и Лена задумчиво поцеловала меня.

— Как я рада, что у тебя все так хорошо! Эхма! Хоть бы влюбиться, что ли!

Сверху, с хоров — мы забрались на хоры, где можно было разговаривать, никому не мешая,— был виден весь зал с его крутыми, один над другим, рядами, и Лена попросила меня рассказать ей о москвичах — она еще считала себя ленинградкой.

«Коровинцы» не пришли, очевидно, демонстративно. Докладчик собрал свои листочки и уселся на стул неподалеку от кафедры с унылым, но вполне удовлетворенным видом.

— Кому угодно? — обведя зал взглядом, спросил председатель.

Рубакин встал.

— Он работает в вашем институте? — спросила Лена.

— Да. Разве вы не встречались в Ленинграде?

— Мало.

— Он бывает у вас?

— Часто. Он одинокий и говорит, что ходит к нам изучать семейную жизнь.

— Способный?

— Очень. И не дрожит, как другие, над каждой мыслью, а расхаживает по лабораториям и со всеми советуется. И сам советует. Очень хороший.

— А это кто?

— Где?

— Да вот этот же! Лысый, со щечками.

Лысый, со щечками, был Крамов, который зачем-то дважды выходил из зала, возвращался и, остро поглядывая вокруг, подсаживался то к Рубакину, то к Никольскому.

— Это директор нашего института Валентин Сергеевич Крамов.

— Вот что! — с уважением сказала Лена.— Хороший человек?

Я ответила уклончиво:

— Умный.

— А как ученый?

— С большими заслугами.

Кругом зашикали, и я замолчала.

Кто-то дотронулся до моего плеча, и я обернулась. Это был Андрей.

— Пять минут одиннадцатого!

— Иду!

— Да ты просто сошла с ума, честное слово!

— Уверяю тебя, что он еще спит.

Не отвечая, он взял меня за руку и потащил за собой с таким решительным видом, что я не могла удержаться от смеха. Лена с удивлением посмотрела нам вслед.

...Сердито поджав губы, Агния Петровна стояла над Павликом, спокойно лежавшим в кроватке. Незаметно было, что он ждал меня с нетерпением, если только это чувство не выражалось в том, что он, энергично пыхтя, старался засунуть в рот розовую пятку.

— Плакал?

— Да,— голосом судьи, произносящего приговор, ответила Агния Петровна.

Я вымыла руки, взяла Павлика.

— Холодная, простудишь ребенка.

— Ничего, Агния Петровна. Я бежала, мне жарко.

Павлик уже тянулся к груди. Похожий на Андрея и чем-то на меня, с ясными глазками, в которых, когда я кормила его, постепенно устанавливалось деловое, сосредоточенное выражение...

Надо учиться

Кто не знает, какую огромную роль в работе ученого-экспериментатора играют руки — руки, которые должны уметь делать все, начиная с мытья лабораторной посуды и кончая сборкой сложнейшего прибора! Такие руки, ослепившие меня чистотой работы, были у Лаврова.

Он не был «человеком полета», как Павел Петрович или, по-своему, Николай Васильевич, и, слушая его последовательные, логические рассуждения, не нужно было поднимать голову: его мысль всегда шла по земле. Он работал медленно, осторожно, тщательно, оглядываясь назад, глядя под ноги, не доверяя себе. Зато когда он ставил опыт, священный трепет точности был виден в каждом его движении. Он на примере показывал то отношение к работе, которое складывается из наблюдательности и последовательности, из терпения и порядка.

Казалось, что этому можно научиться в несколько дней. Казалось, что ничего не стоит повторить то, что делали эти гибкие, тонкие руки. Но я принималась за работу и через час, в отчаянии от собственной неловкости и грубости, бросала ее. Подобно тому как пианист, разучивая трудный пассаж, добивается того, чтобы слушатели не заметили, не поняли, насколько он труден, Лавров работал, казалось, почти машинально, руки его двигались как бы сами собой.

— Нужно, чтобы это делалось спинным мозгом,— както сказал он.— А головной, Татьяна Петровна, пригодится вам для другого.

Правда, вскоре я поняла, что Василий Федорович — это главным образом именно руки. Недаром же Рубакин серьезно утверждал, что у Лаврова ничего не получается в биохимии потому, что он каждый раз делает на один опыт больше, чем нужно. Но долго еще его виртуозная техника служила для меня недосягаемым образцом.

У Николая Васильевича я училась еще в Медицинском институте, и тогда, в студенческие годы, его способ науч-

ного руководства (заключавшийся в том, что он предоставлял своим ученикам полную свободу до тех пор, пока они не являлись к нему с результатами своих изысканий) причинил мне немало хлопот и тревог. «Я люблю, когда из темного леса выходят по звездам, не спрашивая дорогу»,— сказал он мне однажды. Но в те годы я еще не могла оценить одну драгоценную черту, которая была характерна для этого мнимого отсутствия руководства. Николай Васильевич умел создавать ту атмосферу, которая, по словам Павлова, «делает все» в научном коллективе. Трудно сказать, из чего она состояла. Это было то отношение к работе, которое в основном определяло отношение друг к другу. Это была широта в размахе рабочих гипотез. Это было кипение дела, которое возникало вокруг него с той минуты, как, войдя в лабораторию, он бросался в кресло со словами: «Вот когда я наконец отдохну!» Это была неугасимая жажда нового — «отдых» неизменно начинался с того, что он рассказывал сотрудникам о какой-нибудь осенившей его идее. Это было, наконец, глубокое, сознательное преклонение перед величием науки — преклонение, которого он грозно требовал в равной мере от своих учеников, докторов и кандидатов наук, и от лабораторных служителей, и от каждого случайного человека, заглянувшего в комнату, где на столе стояли пробирки и колбы. Но одновременно это были и два-три наводящих слова, которые запутавшийся сотрудник слышал в самую трудную минуту. И еще тысяча других незначительных мелочей, которые так же трудно определить, как те, подчас неуловимые, средства, которыми дирижер заставляет свой оркестр звучать так, а не иначе.

А у Рубакина я училась другому: он умел сомневаться — черта, без которой трудно добиться успеха в экспериментальной работе. У него была своя лаборатория, но это не мешало ему по меньшей мере через день заглядывать в нашу — и не только в нашу! Советчик драгоценный, неоценимый, он умел так глубоко уходить с головой в чужую работу, что подчас переставал заниматься своей. С удивительной свободой входил он в «хозяйство» соседа, даже не входил, а втискивался, смело раздвигая уютно стоявшие рядышком мысли. Румяный, круглолицый, лохматый, он молча выслушивал вас, подняв кверху умное, ироническое лицо, а потом говорил десять слов, которые заставляли вас приниматься за работу сначала. Он

не доверял, предостерегал, взвешивал и язвительно высмеивал ученых, которые в расчете на шумный эффект печатали незаконченные работы.

И еще одному хотелось научиться мне у него: полному, законченному отсутствию «гордыни», той «гордыни», от которой впоследствии Павлов предостерегал молодежь в своем знаменитом письме. Петр Николаевич никогда не упорствовал там, где для пользы дела нужно было отступить, согласиться. Он только багровел да, надувшись, начинал сердито накручивать на палец клок длинных волос.

— Вот чертовщина! И ведь никогда в своей работе не увидишь того, что видят другие!

Он напечатал немного — восемь или девять статей, поражающих тонкостью мысли и богатством экспериментального материала.

Я поставила ту серию опытов, которую подсказал мне Крамов в нашем первом разговоре, и получила результат, подтвердивший его предположение. Одновременно я повторила и расширила «передачу» свечения от холероподобного к холерному вибриону.

Фактов любопытных, до сих пор неизвестных, было много, и пора было объяснить их хотя бы для того, чтобы ответить на иронический вопрос Рубакина: «Ну-с, а вывод?»

Но именно вывода-то и не было! Сколько я ни думала, ни копалась в литературе, ни советовалась с Лавровым, который, впрочем, с самого начала холодно отнесся к этой работе, вывода не было. Я могла — и то не очень уверенно — связать между собой новые факты. Но объяснить их я не могла, а между тем именно это и было моей задачей.

Наконец пришел день, когда я сдалась, очевидно вовремя, потому что начались бессонницы, тяжелые головные боли и перед глазами, едва я садилась за микроскоп, появлялись зловещие темно-красные пятна.

Неудача была острая, болезненная. С докладом о свечении я выступала на всесоюзной конференции: работой заинтересовались крупные ученые, и горько было думать, что я не оправдала их ожиданий. В институте эта тема неизменно связывалась со мной, и, отказываясь от нее, я оставалась в какой-то неприятной пустоте. Наконец мысль

о плесени связывалась в сознании с Павлом Петровичем, и перед ним я тоже чувствовала себя виноватой.

И вдруг в этой путанице сожалений, разочарований, сомнений мелькнула удача.

Представитель треста «Главмаргарин» явился в наш институт с вопросом: не можем ли мы помочь в реализации одного интересного предложения?

— Мы вырабатываем высококачественный продукт,— сказал он,— который не имеет запаха, ни хорошего, ни плохого. Но у покупателя есть свои традиции, с которыми необходимо считаться. Не можете ли вы сделать так, чтобы наш маргарин ни по цвету, ни по запаху не отличался от самого лучшего коровьего масла?

Без сомнения, если бы Крамов не был в отпуске, представитель треста выслушал бы в ответ вежливый, но язвительный отказ. Но заведующий хозяйственной частью Кочергин — маленький, коренастый, с выгнутой грудью, с большими усами — был, кажется, даже польщен, что такая почтенная организация обратилась в наш институт. Он вызвал меня и спросил внушительно:

— Можешь?

Я немного занималась ароматообразующими микробами, и смутное воспоминание о том, какой из них мог бы в данном случае помочь делу, мелькнуло передо мной при этом лаконичном вопросе.

— Попробую. Но за успех не ручаюсь.

Нужно сказать, что эта задача своей низменной практичностью привела в ужас даже Лаврова. Но я в ответ на его возражения вынула из портфеля селедку — самую обыкновенную, но хорошего сорта, за которую я заплатила, помнится, 2 рубля 40 копеек,— и пропела, как Ленский в сцене дуэли:

— Начнем, пожалуй!

И вместе с Лавровым, который еще ворчал что-то, сердито почесывая затылок, мы дружно принялись за дело.

Не стану рассказывать, как, добывая ароматообразующие микробы, мы по очереди таскали в лабораторию разные вкусные вещи, как Рубакин щелкал себя по шее, показывая, что при первом взгляде на меня ему хочется выпить, как время от времени в нашем институте появлялись взволнованные, о чем-то тревожно шепчущиеся представители «Главмаргарина». Скажу только, что после довольно сложных опытов нам удалось решить задачу. Так что, когда я вижу на улице или в трамвае красивую рек-

ламу, на которой румяная молодая женщина, стоя у плиты, со спокойной, но убежденной улыбкой рекомендует покупателям маргарин, мне неизменно приходит в голову, что эта уверенность до некоторой степени основана на нашей скромной работе.

Но главное, что произошло из этой истории, были деньги — солидная сумма, которую наш институт получил согласно договору и которая в значительной степени умерила негодование Крамова.

Кажется, он был удивлен, когда в ответ на его выговор (он язвительно сказал мне, что институт преследует не «маргариновые», а реальные цели) я попросила, чтобы на полученные деньги он выписал для нашей лаборатории новую центрифугу.

Это была минута, которая уже никогда больше не повторялась в наших отношениях. Крамов засмеялся и сказал, что теперь окончательно убедился в том, что в моем лице институт сделал ценное приобретение. Полностью деньги вытянуть не удалось, но зато я уговорила директора выделить нам еще две штатные единицы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НЕИЗВЕСТНЫЕ ДОРОГИ

Простые слова

Летом 1934 года я возвращалась из Торфяного, где работала больше месяца, пытаясь найти средство для борьбы против бактерий, способствующих саморазогреванию торфа.

Андрей сердился, я почти не писала ему. И только сейчас, увидев в толпе встречающих его плотную фигуру в старом сером костюме, который он любил и который, казалось, сейчас треснет на его сильных плечах, с потрепанным портфелем, который я тысячу раз выбрасывала, а он, ворча, подбирал, в серой кепке, из-под которой виднелось его твердое, с правильными чертами, улыбающееся лицо, я поняла, насколько мне было бы легче, если бы он был со мной в Торфяном!

— Наконец-то!

— Как Павлик?

— Отлично! Сегодня ночью проснулся и спрашивает: «Маруся у кине?»

Маруся была школьница, дочка соседей, любившая ходить в кино. Говорить «у» вместо «в» Павлик научился у той же Маруси.

— Все чего-то не хватает, когда тебя нет!

— Ага, не хватает!

— Павлик скучает, совершенно как взрослый. Подопрет подбородок ручкой и молчит. Потом спросит: «А скоро Таня приедет?» (Павлик долго звал меня Таней.) Кляксе не с кем здороваться по утрам.

Клякса был котенок.

— С торфом не вышло?

— Кое-что вышло. Но практически почти ничего. Как Митя?

— Все то же.

Это было очень печальное «все то же», означавшее, что ничего не изменилось в Митиных отношениях с женой, несмотря на то, что мы с Андреем давно и откровенно уговаривали его разорвать эти отношения, которые с каждым годом становились все более принужденными, неестественными и фальшивыми.

Мы сели в трамвай, насилу протиснувшись на переднюю площадку с моими вещами. Тетушка с мешком, от которого вкусно пахло хлебом, прижала меня к решетке, и, когда Андрей, стоявший за моей спиной, шепнул мне на ухо: «Соскучился»,— я чуть не свернула шею, чтобы обернуться и покивать ему.

— Какие же новости? Ты ничего не рассказываешь. Рубакин заходил? Что в институте?

— Где же тут рассказывать, когда дух вон! О Николае Васильевиче слышала?

— Нет. А что?

— Избран членом Украинской Академии наук!

— Фу! У меня уж сердце упало! Членом Украинской Академии! Вот неожиданность!

— Почему неожиданность? Об этом давно говорили. Да, вот еще новость,— сказал Андрей, когда мы слезли с трамвая.— Заходил Никольский.

— Кто?

— Николай Львович.

— Не может быть!

— «А мне сообщили, что ваша супруга уже вернулась»,— передразнивая деда, сказал Андрей.

— Ты меня разыгрываешь!

— «Меня ее передача свечения заинтересовала. Я

эти холероподобные еще в 1893 году выделял. Но вот насчет передачи свечения холерным это мне неизвестно».

— Сегодня же поеду к нему! Позвоню и поеду.

Мы жили в те годы на Ленинградском шоссе, недалеко от Белорусского вокзала, в третьем, надстроенном этаже флигеля в институтском дворе. Весь этаж занимали сотрудники института, так что мы не тяготились тем, что готовить приходилось на общей кухне и что наши комнаты выходили в общий коридор. Одну из них — большую — занимал Павлик с Агнией Петровной, другую — поменьше — мы с Андреем.

Не стану подробно описывать эти комнаты, в которых мы жили до весны 1941 года, когда Андрей получил квартиру в Серебряном переулке, в новом доме жилищного кооператива «Наука». В самом деле, они запомнились мне не потому, что в нашей, например, стояли два письменных стола — мой и Андрея, а потому, что, когда мы устраивались, мой сразу нашел свое место, а стол Андрея мы полночи катали из угла в угол (он был на колесиках) и страшно спорили, причем Андрей утверждал, что дело не в красоте, а в «удобстве рабочего места». И доспорились наконец до того, что я села на постель и заплакала, а он стал хохотать и потом целый месяц рассказывал друзьям о нашей первой «принципиальной» ссоре. И комната Павлика запомнилась мне не потому, что над его постелькой висел вышитый шерстяной коврик, а потому, что этот коврик был нашей первой покупкой и мы серьезно совещались, прежде чем купить его, и он долго считался в нашем доме самым красивым предметом. Книжный шкаф с зелеными стеклянными дверцами мы купили вскоре после коврика, и не потому запомнился мне этот шкаф, что он был выдающимся произведением мебельного искусства, а потому, что у него была какая-то нелепая приставная верхушка, по-видимому от другого шкафа, и мы огорчались и убеждали друг друга, что верхушка все-таки от этого шкафа.

В одном коридоре с нами жил Илья Терентьевич Половинкин с женой — тот самый почтенный служитель в пенсне, которого я некогда приняла за одного из руководителей института. У них были взрослые дети: сын — военный инженер, дочь — скульптор. Они жили отдельно, но, посещая по выходным дням родителей, заходили и к нам. В конце концов как-то получилось, что кто бы из

друзей и знакомых ни приезжал в район Белорусского вокзала, непременно заглядывал к нам.

...Вспоминая теперь наши первые семейные годы, я не нахожу в них той трудности привыкания друг к другу, о которой я слышала не раз, что она характерна для молодоженов. Может быть, это объясняется тем, что мы с Андреем были дружны с детских лет и я еще тогда научилась инстинктивно угадывать то, в чем он ни за что не уступил бы мне,— все равно, касалось это малого или большого. Разумеется, нельзя сказать, что мы совсем не ссорились в те годы. Он любил, например, предоставлять мне «полную свободу», которая была мне совсем не нужна,— отправлял одну в театр или кино, а сам сидел с Ильей Терентьевичем за шахматами до трех часов ночи. Нельзя сказать, что семейная жизнь представлялась нам по-разному,— ничуть! Но могла ли я вообразить, что мы станем ссориться, например, по той причине, что у меня не будет времени, чтобы следить за научной литературой. Я должна была и работать, и читать, и вести хозяйство, и воевать с Агнией Петровной, которая была счастлива рождением внука, что не мешало ей высказывать — чаще, чем мне хотелось,— свое неодобрение по поводу современного воспитания детей. Не возражая, я поступала по-своему, но мне не нравилось, что Андрей молчал, в то время как Агния Петровна, гордо закинув голову, несла вздор, от которого становилось тошно.

Но мало ли что еще не нравилось мне в Андрее! Случалось, что он с какой-то скучной обстоятельностью начинал разбирать то, что с моей точки зрения было ясно само по себе,— это тоже меня раздражало. Мало ли что научилась я сперва «обходить», а потом даже и полюбила — должно быть, это правда, что любят не только за достоинства, но и за недостатки...

Агния Петровна увидела меня через окно и послала навстречу Марусю, которая выбежала на двор и закричала пронзительно: «Приехала Татьяна Петровна!» — как будто я вернулась не из командировки, а с того света. В коридоре из всех дверей высунулись улыбающиеся знакомые лица.

— С приездом!

— Спасибо!

— Ваши-то! Совсем заждались!

— Я и сама соскучилась!

— С приездом!

Агния Петровна с достоинством поцеловала меня. Комнаты были прибраны, занавески выстираны, подкрахмалены, стол накрыт, и между вином и яблоками лежал сладкий пирог — к моему приезду!

Павлик в нарядной курточке с белым бантом, которая надевалась в парадных случаях и из которой он давно вырос, маленький, круглый, сидел на диване и, болтая ножками, рассматривал «книжки-картинки». Я подбежала к нему. Он обнял меня за шею и стал целовать, приговаривая:

— А вот и Таня! Ты больше никуда не уедешь?

Лаборатория

Прошло уже немало времени с тех пор, как, работая над светящимися вибрионами, я наконец догадалась, что как бы ярко ни светились мои пробирки, в науке от этого не прибавится ничего или почти ничего. Теперь, вернувшись из Торфяного, я снова задумалась над этой работой, стоившей мне много труда, забот и даже слез, и решила, что вопрос о свечении увел меня в сторону от того общего, что прежде было основой моих размышлений. Это общее — интерес к «защитным силам» — всегда было как бы подсознательным фоном, на котором проходили все мои опыты и наблюдения. Не свечением нужно было мне заниматься, а вопросом о том, почему же холероподобные вибрионы безвредны для человеческого организма?

Разумеется, это была далеко не новая мысль. Идея защиты организма с помощью полезных микробов была высказана Мечниковым за много лет до того, как современные ученые задумались над этим вопросом. Но от полезных микробов мысль сама собой приходила к сознательному видоизменению, которое должно было усилить степень этой полезности... Вот это было, кажется, ново!

С азартом принялась я за поиски подобных работ. В картотеке — я завела ее еще в студенческие годы — появился новый отдел, а в этом отделе — карточки с названиями книг и статей, современных и старых. Для меня было новостью, например, что в десятых годах в России было медицинское направление, представители которого с успехом лечили больных вытяжками из органов животных — печени, почек и т. д. Причем замечательно, что, по мнению некоторых авторов, эти вытяжки действовали и на инфекционные болезни, что, кстати сказать, совпадало с

опытами Павла Петровича, изучавшего действие экстракта печени на возбудителя сибирской язвы. Одна из старых книг показалась мне особенно интересной. Это была «Органотерапия» доктора Успенского, изданная в Санкт-Петербурге в 1909 году.

И вот в этих старых книгах и статьях (читая их, я отчетливо видела, как творческая мысль, забегая далеко вперед, была вынуждена обходить загадочные факты, которые в наше время легко объяснил бы студент-медик первого курса) мне встретилось сообщение Лашенкова, открывшего, что белок куриного яйца растворяет сибиреязвенные микробы. Я повторила и подтвердила его сообщение, выяснив, что в курином белке содержится лизоцим — так назвал это вещество английский ученый Флеминг, доказавший, что оно широко распространено в животных и растительных тканях.

Энергично принялись мы за изучение лизоцима. Нам удалось доказать — не так быстро, как я сейчас написала об этом,— что лизоцим, добытый из сердца животных, подавляет рост тифозных микробов. Лаврову пришла в голову мысль воспользоваться лизоцимом для сохранения оспенного детрита, и у него получились интересные результаты.

Мы доказали, что свежая икра содержит лизоцим,— факт, который мог получить промышленное значение.

И наконец,— возможно, что это было самым важным следствием работы по лизоциму,— вокруг нас мало-помалу собрались люди, которые стали основными работниками нашей лаборатории.

К тому времени как я вернулась из Ленинграда, у нас уже было «прошлое». Под пышным названием «Лаборатория профилактики инфекций» мы работали больше года. Мы «притерлись» друг к другу. Рубакин отдал нам своего Виктора, да не отдал, а «вырвал из сердца с кровью», как объявил он, приведя тоненького студента с туго набитым портфелем, из которого торчали книги и заткнутые ватой пробирки.

Я уговорила Крамова взять в нашу лабораторию Лену Быстрову — пока врачом-лаборантом, а потом, если дело пойдет, на свободную должность фармаколога, который был нужен нам до зарезу. Николай Васильевич помогал нам, иногда проводя в нашей лаборатории почти все часы, которые он отдавал институту. Особенно мы стали ценить эти часы, когда Лавров ушел на кафедру в Первый медицинский и мы на некоторое время остались без руководите-

ля — «вольные мыслители», как шутил Рубакин. Потом, воспользовавшись тем, что я стала числиться (временно) заведующей лабораторией, я пригласила Катю Димант. И не только Катю, но и Коломнина, химика, в такой же мере известного своими трудами, как и дурным характером, благодаря которому он ни в одном институте не работал более года. Если бы не это счастливое обстоятельство, пожалуй, едва ли удалось бы залучить в нашу скромную лабораторию такого первоклассного ученого, у которого не было — и нет до сих пор — спорных работ. По правде говоря, не без труда удалось нам приручить этого сердитого, вечно хмурого, придирчивого человека. Однако удалось, хотя время от времени мне приходилось вступать с ним в неприятные объяснения, в особенности когда скромная, никогда не жаловавшаяся Катя Димант, утирая слезы, выходила из комнаты, в которой она работала вместе с Коломниным.

В общем теперь наша лаборатория состояла из представителей четырех наук: Лена представляла фармакологию, Коломнин — химию, я — микробиологию, Катя Димант была гистологом. Что касается Виктора Мерзлякова, то это был пока еще просто очень талантливый юноша, интересовавшийся общими вопросами биологии и каждую неделю являвшийся в институт с какой-нибудь новой теорией. Коломнин, которого он поражал своей фантастической способностью к обобщениям, утверждал, что из Виктора выйдет либо гений, либо ничто. Нас устраивал первый вариант — именно поэтому будущий гений по моему настоянию занимался самой трудной, будничной, однообразной работой.

Как в каждой лаборатории, у нас были свои темные и светлые дни. Темные, когда работа не удавалась — животные выздоравливали, в то время как им полагалось болеть, и умирали, несмотря на то что им полагалось жить. Тогда мы внезапно обнаруживали друг в друге отвратительные черты — не только в скромнейшей, тишайшей Кате Димант, но в любом сотруднике, случайно заглянувшем в нашу лабораторию. Тогда все начинали ругать Виктора за то, что он каждую минуту читает — в буфете, на лестнице, в трамвае, за то, что он всем сует книги — «вам это может пригодиться», за то, что он научился у Рубакина требовать в опытах контроля с точностью до одной десятой про-

цепта. И вдруг перегорали пробки. И кто-то непременно вспоминал знаменитого физика Лебедева, который отправлял сотрудника домой, если у того с утра не ладилась работа. И Лена притаскивала в лабораторию кого нужно и не нужно — просить или даже требовать совета. И Виктор на несколько дней скрывался в библиотеку. И Коломнин, жестко щурясь, выливал культуры и принимался за работу сначала.

Как часто мы оступались! Как часто брели ощупью, находя и снова теряя дорогу!

Но были и светлые дни, когда все удавалось — или если не все, так по меньшей мере главное, основное. И за главным непременно прощупывалось что-то еще, второстепенное, незаметное, но то незаметное, которое постепенно начинает расти, занимая все более прочное место в сознании. Как рукой снимало тяжелую, надоевшую усталость! Те животные, которым полагалось жить, чувствовали себя превосходно, а те, которым полагалось умереть, умирали в назначенное время. Коломнин начинал весело пыхтеть своей трубочкой и, кажется, замечал наконец, что вокруг него живут, работают, думают люди. Катя Димант, которая всегда почему-то знала, что делается в соседних лабораториях, тихонько хвасталась нашей удачей. И никто больше не сердился на Виктора за то, что он сомневается в том, что не вызывает ни малейших сомнений. И Николаю Васильевичу Заозерскому дарились цветы — просто потому, что он любил цветы.

Крамов. Вечер у Заозерских

Когда директор позвонил в лабораторию и сказал, что ему хотелось бы повидать меня, и — если это возможно — немедленно, по важному делу, я сразу поняла, что кто-то уже успел доложить ему о моем разговоре с представителями Рыбтреста. Я даже поняла, что этот «кто-то» был Догадов, случайно заглянувший в лабораторию и краем уха услышавший наш разговор. Еще бы! Сей страж научной неприкосновенности нашего института, без сомнения, пришел в ужас, узнав, что дело касается зернистой икры, которую можно купить в любом продовольственном магазине.

Рыбтрест был озабочен тем, что зернистая икра быстро портилась и, несмотря на огромный спрос, не могла экс-

портироваться за границу. По настоянию Крамова мы несколько раз отказывались от предложений, имевших, с нашей точки зрения, практический интерес. Но мы неопровержимо доказали, что икра — не только свежая, но даже продажная — содержит лизоцим. Чему же могли помешать несколько попутных опытов — для нас попутных, а для Рыбтреста существенно важных? Правда, в случае удачи предполагалась командировка на промыслы в Астрахань или на Азовское море. Но мало ли что могло прийти в голову представителю организации, не выполняющей экспортный план?

Так или иначе, нужно было идти к директору, который был, по-видимому, очень сердит,— иначе, пожалуй, не стал бы говорить со мной в таком изысканно вежливом тоне.

— Здравствуйте, Татьяна Петровна. Садитесь.

Что-то изменилось в нем за последнее время — надменность появилась в этом лице, в этих пухлых щечках, висящих над чистым твердым воротничком, губы были жестко поджаты. Он был одет не только тщательно, как всегда, но щеголевато, и когда я увидела платочек в наружном кармане пиджака и яркий, не по возрасту, галстук, мне вдруг вспомнились неприятные разговоры о том, что он очень часто появляется в ресторанах и театрах с Глафирой Сергеевной. Впрочем, я не придавала этим разговорам никакого значения.

— Татьяна Петровна, я хотел задать вам один вопрос,— с обычной любезностью, в которой на этот раз сквозило что-то мрачное, начал Крамов.— Не кажется ли вам, что сотрудники, ведущие какие бы то ни было переговоры за спиной директора, тем самым подрывают авторитет института?

Я ответила, что ни с кем не вела подобных переговоров.

— В таком случае совершенно очевидно, что месяц тому назад наблюдалось редкое в стенах научных институтов явление миража,— с иронией сказал Крамов.— У вас был представитель Рыбного треста, вы обещали ему заняться консервацией зернистой икры, и все это лишь померещилось сотрудникам, которые воочию видели сего представителя и своими ушами слышали ваш разговор?

— Нет, не померещилось, Валентин Сергеевич. Ко мне действительно заходил представитель Рыбтреста, и я обещала ему заняться икрой. Это не значит, что я вела с ним переговоры за вашей спиной.

— Позвольте узнать, а что же это, по-вашему, значит?

— Только одно — что я намерена ввести икру в число препаратов, на которых мы испытываем действие лизоцима.

Крамов с притворным изумлением поднял брови.

— Я очень счастлив, что мне удалось, правда с некоторым опозданием, узнать о ваших намерениях, Татьяна Петровна! Но не находите ли вы, что эти намерения должны согласоваться с пятилетним планом работы нашего института? Как известно, этот план тесно связан с общими задачами нашей страны в реконструктивный период.

Что-то фальшивое прозвучало в самой отчетливости, с которой были произнесены эти слова: «пятилетний план», «реконструктивный период».

— Или вам кажется, что, следуя своим намерениям, сотрудники могут не считаться с общим направлением работы?

— Валентин Сергеевич, я не давала никаких обещаний. Но если вы хотите знать, я считаю, что с нашей стороны было бы непростительной ошибкой отказать в помощи Рыбтресту, который несет большие убытки.

Крамов молча смотрел на меня. Все было неприятно в этом разговоре: и усталость, которую ему, очевидно, не хотелось преодолевать ради меня, и мрачная ирония, за которой сквозило глубокое равнодушие. Но то, что он смотрел на меня не моргая, с пристальным выражением, видимо обдумывая что-то, было особенно неприятно.

— Ну что ж, Татьяна Петровна,— начал он почти небрежно, что тоже оскорбило меня,— очевидно, мы с вами держимся разных точек зрения на цели нашей работы. Я ни на минуту не забываю о том, что наш институт по своему характеру должен определять новое направление в науке. А вы увлечены идеей помощи различным организациям Наркомпищепрома. Вам не кажется, что именно там вы и могли бы найти наилучшее применение своим дарованиям?

Я невольно прижала руку к груди. Крамов взглянул на меня и неторопливо потянулся к графину с водой.

— Благодарю вас, не нужно... Очевидно, я должна понять ваши слова как предложение подать заявление об уходе? Но поскольку наш спор имеет принципиальный характер, я считаю своим долгом довести его до сведения парткома.

Я встала и, не простившись с Крамовым, направилась к двери. Он догнал меня и заставил вернуться.

— Вы неверно поняли меня, Татьяна Петровна,— на этот раз без малейшей иронии, спокойно и твердо сказал он.— Поверьте, что меньше всего я думаю о том, чтобы ограничить ваши научные интересы. Все, чего мне хотелось,— это предупредить вас, что нет ничего легче, как согласиться на узкопрактическое предложение и одновременно потерять основную цель — сделать нечто прогрессивное в науке. Мне казалось, что вам не следует разбрасываться, а ведь у вас есть к этому склонность.

Что-то дрогнуло в маленьком холодном лице, снова уставившемся на меня с пристальным, думающим выражением.

— Начнем нашу беседу сначала. Ну-ка, расскажите мне, о чем вы говорили с представителями Рыбтреста.

Мы разговаривали добрых два часа, я подробно рассказала о новом методе консервации зернистой икры, и мы расстались дружески... Настолько дружески, что он даже напомнил мне, что сегодня вечером мы встретимся на пятничном чаепитии у Заозерских.

В Ленинграде эти чаепития у Николая Васильевича устраивались на кафедре и представляли собой как бы дружеский обмен мнениями о том, что было сделано за неделю. Здесь в Москве хозяйничал не Николай Васильевич, а его жена Серафима Андреевна, и все было совершенно иначе: чтобы не давать мужу «замыкаться в науку», в пятницу приглашались артисты — и всякий раз другие, незнакомые, вносившие какую-то неловкость в эти милые вечера.

Это была последняя «пятница» перед отъездом Николая Васильевича на Украину. Андрею хотелось пойти со мной, но он узнал, что будут Митя с Глафирой Сергеевной, и передумал.

— Я и дома-то не выношу ее кривляния,— сказал он, помрачнев.— А уж на людях... Нет, иди одна!

Я не стала настаивать. Однажды я уговорила его — и не обрадовалась. За весь вечер он не сказал ни слова.

Николай Васильевич, веселый, нарядный, в светлом костюме, сам открыл мне и, шутливо оглянувшись по сторонам, расцеловал в обе щеки.

— Одна?

— Николай Васильевич, Андрей просил передать привет, пожелать счастья. Извините, что он не пришел. У него неотложное дело.

— Ну, так узнает же он, как отпускать молодую жену! Ох, узнает!

И, лихо выгнув грудь, откинув голову, Николай Васильевич с молодецким видом предложил мне руку.

— Кто не знаком — прошу!

В кабинете было много народу, накурено, и везде — на окнах, на столе, на камине,— как всегда у Николая Васильевича, стояли цветы. Дед, которому я от души обрадовалась, сидел в кресле за письменным столом и неторопливо рассказывал что-то о своей поездке на канал Волга — Москва. Лавров и незнакомая молодая женщина слушали его с интересом. У другого стола, на котором всегда лежали в полном беспорядке новинки медицинской литературы, ожесточенно спорили Рубакин и пожилой, подтянутый военный врач — это был Малышев, один из руководителей Санитарно-эпидемического управления Наркомздрава.

Костлявый мужчина с большой челюстью небрежно курил, сидя в кресле, вытянув ноги, и Николай Васильевич шепнул мне, что это бас из Большого театра.

Митя пришел один, и я пожалела, что Андрей не поехал со мной. Мы немного поговорили в стороне, между книжными полками — у Николая Васильевича полки стояли поперек комнаты, как в библиотеках.

— Как мама? Здорова?

— Да.

— А Павлик?

— Тоже, спасибо. Почему вы так редко приезжаете, Митя?

Он неопределенно пожал плечами.

— Я и Андрею удивляюсь, не только вам. Если бы у меня был брат, неужели я виделась бы с ним раз в месяц? И ведь вы же любите друг друга?

— Очень.

Митя вздохнул. Я посмотрела на него, и у меня защемило сердце. В нем всегда был заметен контраст между определенными линиями нижней части лица и мягкими, рассеянными глазами. Теперь твердые, решительные черты как бы стушевались, лицо стало мягче, проще. В каждом его слове чувствовалось, что он подавлен, расстроен, недоволен собой...

Николай Васильевич объявил, что не желает никаких прощальных речей, но как он ни сердился, как ни теребил бородку, обводя стол умоляющим взором, а одну речь ему все-таки пришлось выслушать.

Дед начал издалека — с истории Одесской бактериологической станции, которую Мечников основал в 1886 году. Однажды на эту станцию явился некий студент в клетчатых панталонах, потребовавший, чтобы его провели к доктору Никольскому.

— Я его спрашиваю: «Что вам угодно?» А он отвечает: «Доктор, я мечтаю отдать все свои силы науке». Я ему говорю: «Но вы, по-видимому, франт? Это плохо вяжется с наукой». А он: «Если вы имеете в виду эти брюки, доктор, так они принадлежат не мне, а моему товарищу Строгову. В моих брюках меня бы к вам не пустили». Этот юноша в клетчатых панталонах и был Николай Васильевич Заозерский...

Я сидела рядом с Митей, поближе к двери, чтобы удобнее было выходить на кухню. Старушка-домработница — я это знала — терялась, когда было много гостей. Я помогала ей чем могла и возвращалась в столовую, где у меня была другая забота. Митя пил — мне еще не случалось видеть, чтобы он пил так много! Я тихонько отодвигала от него бутылки...

— Митя, не нужно...

Он молча клал свою широкую руку на мою и спрашивал:

— Вы мой друг, Таня?

— Да. И поэтому прошу вас не пить.

Он снова наливал.

— За дружбу.

Всегда на этих вечерах он веселился от души, придумывал и ставил шарады. Сегодня он был угрюм, молчалив, бледен.

Бас из Большого театра уже сидел за роялем, откашливаясь и пробуя голос, когда раздался звонок и в передней послышались голоса — пришли еще какие-то опоздавшие гости. Я была занята — собирала грязные тарелки — и не сразу поняла, почему за столом вдруг наступило молчание. Николай Васильевич поспешно встал, вышел, и слышно было, как неискренним голосом он сказал кому-то в передней:

— Очень рад! Очень рад! Вот приятно.

Глафира Сергеевна с Крамовым — вот кто были эти новые гости!

— Плетусь себе потихонечку, по-стариковски,— смеясь, громко говорил Крамов,— и слышу за собой легчайшие шаги. Обгоняет интересная дама! Только что приоса-

нился, подтянул галстук, поправил шляпу, смотрю — Глафира Сергеевна!

Он повторил это, входя в столовую, и потом с новыми подробностями рассказал Рубакину и Малышеву, которые слушали его, напряженно улыбаясь. Он был смущен и, хотя держался самоуверенно-ловко, все же было видно, что он очень смущен. Глафира Сергеевна была еще в передней — пудрилась, подкрашивала губы. Никто не смотрел на Митю.

Я вынесла посуду и постаралась подольше остаться на кухне, тем более что старушка была в отчаянии — потеряла соусник. Потом соусник нашелся, но появилась новая забота — какие-то перья, которые надо было приладить к разрезанной, лежавшей на блюде куропатке. Я приладила перья и вернулась. В столовой все уже было так, как будто ничего не случилось. Глафира Сергеевна сидела рядом с Митей. Неловкая минута прошла.

Всегда она была молчалива. Глядя прямо в лицо собеседника своими большими, неподвижными глазами, она молчала; когда-то это обмануло даже Рубакина. Но в этот вечер! Как будто одно лишь ее появление должно было заставить всех бросить свои ничтожные разговоры и смотреть только на нее, заниматься только ею — так она вела себя в этот вечер.

Она смело подшучивала над Крамовым, а Митя косился на них, поднимая брови, и пил так, что даже сдержанный Малышев поглядывал на него с беспокойством. Она произносила тосты и говорила, к моему удивлению, легко, непринужденно.

Всегда в ее красоте было что-то тяжеловатое — медленные движения, низкий лоб, глаза, мрачневшие, когда она улыбалась. Но в этот вечер она держалась уверенно, свободно. Нежное лицо порозовело, зубы поблескивали. Точно что-то подняло и понесло ее куда глаза глядят... Мне уже случалось видеть Глафиру Сергеевну в такие минуты.

И разговаривала она умно или по меньшей мере умело. Только над Рубакиным подшутила неловко, упомянув, как бы невзначай, о Лене Быстровой. Лена нравилась Петру Николаевичу, многие догадывались об этом, некоторые знали. Но знали и то, что он не выносил даже малейшего намека на эти отношения, едва наметившиеся и бережно охранявшиеся им от постороннего взгляда. Петр Николаевич покраснел и притворился, что не расслышал.

Митя сказал, что ему нужно позвонить по телефону, и ушел в кабинет. Артист начал петь, и, слушая его, я думала о Мите. Но вот пение кончилось, а Митя все не возвращался — должно быть, не соединяли. Я тихонько вышла в переднюю — у Заозерских все комнаты выходили в переднюю — и заглянула в кабинет.

Он сидел в кресле, закрыв лицо руками.

— Полно вам, все еще уладится, Митя!

Он поднял голову.

— Что мне делать? Что мне делать, Таня?

— Мне-то ясно, что вам нужно делать. Хотите, скажу?

Он ничего не ответил.

Телефон зазвонил, я сняла трубку.

— Квартира Заозерского? Простите, пожалуйста. Нельзя ли попросить к телефону Дмитрия Дмитрича Львова?

— Пожалуйста.

Я передала трубку.

— Слушаю вас.

Артист запел арию Мефистофеля, и Митя жестом попросил меня закрыть дверь.

— Да, да.— Он быстро переспросил: — Кто, вы говорите?

У него было бледное, нахмуренное лицо с высоко поднятыми недовольными бровями.

— Ну что ж, тем лучше, будем ждать.— И, простившись, Митя с досадой бросил трубку.

— Что случилось?

— Ничего особенного. Директор института назначил комиссию для проверки моей лаборатории.

Он заведовал лабораторией в институте Габричевского.

— Вот что: я уйду не прощаясь. Вы скажете, что у меня разболелась голова. Кстати, она действительно разболелась. Андрей дома? Я позвоню ему.

Я крепко пожала ему руку, бесшумно закрыла входную дверь и вернулась в столовую.

Ночь

Андрей спал так крепко, что не проснулся даже, когда я зажгла свет, чтобы причесаться на ночь. Потом пробормотал что-то, не открывая глаз, и я сказала: «Спи, спи!» Но это было, разумеется, лицемерием, потому что на са-

мом деле мне хотелось немедленно рассказать ему о вечере у Заозерского.

Я не будила его, он проснулся сам, и вовсе не оттого, что у меня несколько раз упала на пол гребенка. Он зажмурился, глубоко вздохнул и сразу открыл глаза, должно быть решив, что утро. Я засмеялась.

— Это, оказывается, ты пришла? — сонным, добрым голосом сказал он.— А я смотрю и думаю, сон это или не сон?

— Конечно, сон. Вот сейчас тебе приснится, что я сняла туфли и села рядом с тобой.

Я сделала все, что сказала.

— А потом?

— А потом поцеловала тебя и пожелала доброй ночи. Погоди, не засыпай. Вот что мне нужно сказать тебе: у Мити, по-видимому, что-то не ладится на работе. Он тебе не звонил?

— Нет.

— Позвони ему.

Андрей нахмурился.

— Сейчас, пожалуй, поздно.

— Не поздно. Я позвоню.

Но он все-таки позвонил сам, хотя к телефону могла подойти Глафира Сергеевна.

— Не отвечают?

Он бросил трубку.

— А что сказал Митя?

— Я ничего не успела спросить. Он сразу же уехал.

Окно в комнате было открыто, и когда Андрей погасил свет, почему-то сильнее стала чувствоваться свежесть осенней ночи.

— Ты говоришь, он был расстроен?

— Да, очень. Мне так жаль его.

— Мне тоже.

Тяжелая машина с железным лязганьем прошла по Ленинградскому шоссе.

— Ты не представляешь себе, как она сегодня вела себя,— сказала я, чувствуя, что мое пылкое желание немедленно рассказать Андрею о поведении Глафиры Сергеевны прошло и что мне гораздо больше хочется спать, чем говорить о том, что мы, в сущности говоря, давно уже знали.— Пришла с Крамовым и весь вечер командовала. И знаешь что? Она поумнела.

Андрей засмеялся.

— Что же ты, Татьяна? — сказал он.— Меня разбудила, а сама уже спишь. Нет уж, тогда давай разговаривать.

Кто-то прошел под окном, но у меня были закрыты глаза, и я догадалась об этом не по шагам, а по тени, косо скользнувшей по потолку, по стенам. Но тень скользнула не наяву, а во сне.

— Ох, прости, совсем забыл,— сказал Андрей, когда я уже засыпала.— Тебе звонил из Рыбтреста Климашин.

Климашин был заместителем директора Рыбтреста.

— Просил передать, что договорился с наркомом о твоей командировке.

— Что такое? — Я открыла глаза.— О какой командировке?

— В Баку или в Астрахань. Он сказал, что тебе предоставляется выбор.

— Да что он, с ума сошел?

Я вскочила и зажгла свет.

— Что с тобой?

— Ведь он же обещал мне, что ничего не станет делать через голову Крамова! — сказала я с отчаянием.— Мы же договорились! А теперь Крамов снова подумает, что я стараюсь устроить свои дела за его спиной.

— Позволь, но я по разговору с Климашиным понял, что ты сама поставила вопрос о командировке.

— Не поставила вопрос, а просто сказала, что в лаборатории — выходит, и что теперь следовало бы организовать проверку в широком масштабе. Им только слово скажи — и вот, пожалуйста. Позвонили наркому. А нарком позвонит Крамову, и опять окажется, что у меня от него какие-то тайны... Черт бы побрал этого Климашина! И чего он так торопится, не понимаю. Не горит же его Рыбтрест!

— Наверно, горит. Да ты сама-то хочешь ехать на промысел?

— Конечно, хочу.

— Ну и поедешь.— Он ласково погладил меня по лицу.— Не сердись. Обойдется.

Нечего было надеяться снова уснуть, тем более что Андрей вдруг объявил, что он страшно голоден, и, глядя, как он вкусно ест холодное мясо, оставшееся от обеда, я вспомнила, что за всеми хлопотами и заботами так и не поужинала у Заозерских. Мы присели к столу и долго, с аппетитом ели мясо.

С прошлого выходного, когда у нас были гости, оста-

лось вино, и осторожно, чтобы не разбудить Агнию Петровну, мы достали бутылку из шкафика, висевшего недалеко от ее изголовья, и выпила из горлышка — искать рюмки, стоявшие в том же шкафике, было рискованно, да и не к чему...

Митя по-прежнему занимался вирусной теорией происхождения рака — вопросом, который был новостью в начале тридцатых годов и который казался руководителям Наркомздрава далеким от клиники, отвлеченным, неясным. По-прежнему он выступал на всех съездах и конференциях, по-прежнему его блестящие по форме, но преждевременные обобщения убедительно опровергались... Ему было трудно — это превосходно понимали и друзья и враги.

На другой день я поехала в институт Габричевского. Митя был занят — показывал ленинградским микробиологам свою лабораторию, и мы перекинулись только несколькими словами.

— Ох, не терпится кому-то меня проглотить! — с раздражением сказал он, когда я спросила о составе комиссии.— Ну ладно же! При случае скажу наркому, что очень рад: наконец представился случай познакомить его с моей работой.

— Вы бы отдохнули, Митя.

— А что?

— У вас лицо усталое.

— Это потому, что я ночь не спал. Ничего, Танечка,— сказал он, улыбаясь.— Не беспокойтесь обо мне. Все будет в порядке.

Мне не хотелось уходить, и несколько минут мы молча стояли в коридоре.

— Мы часто говорим о вас, Митя.

— Спасибо.

— Заходите к нам.

— Непременно.

На Волге

Нарком звонил Крамову — я поняла это, войдя в его кабинет. Все время, пока я старалась доказать, что ничего не знала о разговоре Климашина с наркомом, Крамов шагал из угла в угол. Не знаю, о чем он думал, останавливаясь время от времени, чтобы холодно взглянуть на меня,—

должно быть, решал, что со мной делать — немедленно убить или приговорить к тягчайшему покаянию.

— Полно оправдываться, Татьяна Петровна, ничего особенного не произошло,— любезным и даже еще более любезным, чем обычно, голосом сказал он.— Раз уже вы взялись за это дело, нужно довести его до конца. А что это, я слышал, вы икру на свои деньги покупали? — перебил он себя, засмеявшись.— Вот это уж совсем напрасная жертва. Я полагаю, что бюджет нашего института не пострадал бы от приобретения зернистой икры.

— Это не имеет значения, Валентин Сергеевич.

Мы с Леной Быстровой действительно покупали икру на собственные деньги, и Лена каждый раз ругалась, потому что икра была дорогая. Но не могла же я, в самом деле, звонить в Рыбтрест и от имени нашего высокопочтенного института просить двести граммов икры на бедность!

— Итак, когда же вы намерены отправиться в путь?

— Когда вы сочтете это необходимым.

— Ох, не избалован! — тонко усмехнувшись, возразил Крамов.— Да что толковать, отправляйтесь хоть завтра! Я уже распорядился выписать вам командировку. И вот вам, Татьяна Петровна, мой совет на дорогу: до Саратова поезжайте поездом, а от Саратова до Астрахани — пароходом. Вы бывали на Волге?

— Нет.

— Ну, тогда нечего и говорить! Потеря времени небольшая, а ехать несравненно приятнее. Итак,— он широким движением протянул мне руку,— как говорят моряки: счастливого плавания и достижений!

Помощник капитана зашел в нашу каюту, чтобы узнать, удобно ли мы устроились, и Лена — накануне отъезда мне удалось убедить Крамова послать со мной Лену Быстрову — с таким жаром поблагодарила его, что он даже смутился. Через несколько минут выяснилось, что он заходил во все каюты по очереди, но все равно это было приятно, и несколько минут мы говорили о том, какой он симпатичный,— загорелый, в ослепительно белом кителе и с седой бородкой.

Красивые берега остались позади, выше Саратова, и с кем бы мы ни заговаривали на палубе, нам прежде всего спешили сообщить, что «самая-то красота» была вчера, а теперь до самой Астрахани пойдет степь и степь. Но и

степные картины были так хороши, что мы не могли на них наглядеться.

Это были дни, запомнившиеся мне неожиданными знакомствами, пестротой заваленных фруктами пристаней и базаров, новизной жизни большой реки, по которой навстречу нашему теплоходу шли бесчисленные караваны с хлебом. Маленькие пароходики, энергично пыхтя, тащили его в плоскодонных баржах, большие лодки — баркасы — были нагружены им до самых бортов.

Проходили неторопливо нефтеналивные баржи, грузы перебрасывались с пароходов на поезда, с «воды на колеса», там, где к пристаням подходили железнодорожные пути.

Это была Волга, в верховьях которой воздвигалась плотина, экскаваторы рыли землю, десятки деревень и сел были уже перенесены на новые места, а другие деревни и села готовились к небывалому переселению. Строился канал Волга — Москва, и отзвук этой огромной работы слышался повсюду: на пристанях, где принимали и отправляли грузы для канала, в разговорах волжан, ехавших с нами. И как же не похоже было все, что мы знали, на старую репинскую и горьковскую Волгу!

Впрочем, краешек ее мы увидели на второй день нашей поездки: слепой старик с гуслями, точно сошедший с картины Васнецова, ехал на нижней палубе — загорелый, худой. Слабым, но приятным голосом он пел о том, как

Ребятушки повскакали,
Тонкий парус раскатали,
На деревцо поднимали
И бежали в день тринадцать часов,
Не тринадцать вдоль Волги, а четырнадцать,
Не тринадцать вдоль матушки, а четырнадцать.

Насмотревшись на берега, однообразные, но приятные нежными оттенками красок, постояв на носу, где весело было дышать ветром, сразу же врывавшимся в грудь, так что начинало казаться, что еще мгновение — и ты взлетишь, раздувшись, как шар, посидев на корме, где было настоящее сонное царство, нагретое солнцем и жарким дыханием машины, мы покупали на очередной пристани арбуз и отправлялись в каюту.

В Москве мы с Леной виделись каждый день, почти не расставались, но редко удавалось поговорить не об институтских делах. А между тем было одно совсем не ин-

ститутское дело, о котором Лене хотелось — я это знала — поговорить со мной. Правда, это дело было давно «решено и подписано» любителями сплетен, нашедшимися и в нашем институте. Но оказалось, что оно было еще далеко не решено и представляло собой предмет тяжелых и даже мучительных размышлений. Недаром же при одном упоминании о нем Рубакин свирепел, а Лена становилась необычайно смирной и даже терялась, что было вовсе на нее не похоже.

— Вот ты говоришь, что Андрей влюбился в тебя, еще когда вы были школьниками. Значит, он все время любил тебя — все эти годы, когда вы не переписывались и ничего не знали друг о друге?

— Не знаю. Возможно, что он и не вспомнил бы обо мне, если бы мы не встретились в Анзерском посаде. Тогда, в Лопахине, была юношеская любовь, и она прошла вместе с юностью. Мы встретились совсем другими, и это чувство тоже стало другим.

Лена задумалась.

— Нет,— сказала она,— нет, что-то осталось в его душе, иначе он не полюбил бы так скоро.

Мы помолчали.

— Не помню, где я читала, что, если не можешь понять, любишь ли,— значит, не любишь. Это неправда. Ведь ты же долго не могла понять?

— Несколько лет.

— А потом оказалось, что любишь?

— Не то что оказалось. Я все время думала о нем, и это постепенно проникало в самую глубину моей жизни. Не знаю, как тебе объяснить... Без этих мыслей о нем у меня становилось пусто на душе. Ты понимаешь?

— Конечно. А теперь тебе не кажется странным, что ты сомневалась так долго?

— Нет... Иногда мне кажется, что я еще и теперь сомневаюсь.

В нашей каюте койки были расположены одна над другой, я лежала на верхней, и Лена не знала, что я вижу ее лицо — бледное, с широко расставленными, взволнованными глазами. Она гладко причесывалась последнее время, и мне нравилось, что стал виден ее большой чистый лоб с незагорелой полоской под волосами.

Лена бросила в окно папиросу и сейчас же взяла другую. «Еще и теперь»... Казалось, она хотела спросить меня,

что это значит, но передумала, должно быть, решила, что я не отвечу. И не ошиблась.

— И знаешь, самое трудное,— задумчиво сказала Лена,— то, что себя как-то перестаешь узнавать. Всегда я была решительная, а тут все думаю, думаю. И ничего не могу придумать, только мучаю его и себя.

— И очень хорошо, что мучаешь.

Я приподнялась на локте, чтобы Лена поняла, что я вижу ее.

— Почему?

— Потому что это значит, что ты хочешь сказать ему правду. Да, да! Правду, только правду, как бы это ни было трудно. И если ты не уверена, колеблешься — не нужно бояться сказать ему об этих сомнениях. Не нужно жалеть его,— сказала я, волнуясь,— потому что неправда, пусть самая маленькая, может отравить вам лучшие годы. Впрочем, не вам — тебе.

Мы помолчали.

— Я не сомневаюсь, что Петр Николаевич любит тебя. Он человек сдержанный. Для того, чтобы глубоко узнать его, нужны, мне кажется, годы. Об этой сдержанности я тоже догадалась не сразу. Зато когда догадалась, поняла многое: и то, что он подшучивает над всеми, а на самом деле застенчив.

— Да, да.

— И то, что он тяготится своим одиночеством, а не женился до сих пор только потому, что относился к семейной жизни очень серьезно.

— Ты думаешь?

— Без сомнения. И даже то, что он любит музыку и очень неплохо играет на рояле.

— Неужели?

— Вот видишь, даже и ты этого не знала!

— А я вообще знаю о Петре Николаевиче мало,— задумчиво сказала Лена.— Расскажи мне еще что-нибудь о нем.

— Что же еще? Все хорошо. И все будет хорошо, но при одном условии: если ты его действительно любишь.

Лена встала с койки и поцеловала меня.

— Ты понимаешь, в чем дело,— сказала она нерешительно.— Я прежде только влюблялась, так что тогда все было совершенно другое. А теперь... Не знаю, как это получается, но мне все время некогда, и я чувствую, что это

потому, что я тороплюсь поскорее увидеть его. У тебя было так с Андреем, когда ты еще не знала, любишь ты его или нет?

Большие, черные, остроконечные лодки, на которых вровень с бортами были навалены арбузы и дыни, качались на пятнистой воде. Суда стояли в два ряда, так что для того, чтобы добраться до пристани, нужно было пройти через другой пароход; шумная, разноцветная толпа двигалась повсюду — на набережной, на ведущей в город дороге... И все это: люди, лодки, дорога, мост через какую-то речку, на берегу которой спокойно лежали большие черные свиньи,— все это было пропечено солнцем и пахло рыбой, нефтью, смолой. Это была Астрахань — великое рыбное царство!

По дороге в гостиницу, где для нас был оставлен номер, мы заглянули на рыбный базар. Огромные темно-серые чудовища с острыми спинами, с острыми, как пики, носами свисали с потолка вниз головой — осетры. Другие, тоже страшные, лежали на прилавках, разинув тупые морды,— сомы. Длинные белые косы вязиги болтались у дверей. Большие стеклянные банки-бочонки были полны икрой — паюсной, на которую мы посмотрели с презрением, и зернистой, которая, казалось, только и ждала, чтобы мы за нее принялись.

Я спросила:

— Почем зернистая?

Продавец сказал ту же цену, что и в Москве.

— Почему так дорого?

— Первый сорт. Вот постоит дня два и станет подешевле.

— Быстро портится?

— Переходит в другой сорт,— дипломатично ответил продавец.

— А правда, что на кило зернистой икры кладут двадцать пять граммов соли?

Он усмехнулся.

— Это, говорят, в старину действительно была такая пропорция. Но тогда зернистую икру вообще не готовили в жаркое время. А теперь положите двадцать пять граммов на кило, так вы ее с промысла до магазина доставить не успеете, как она уже в другой сорт перейдет. Вообще-то это секрет, как ее готовят. Мастер ее у нас в отдельном помещении солит, куда посторонним вход воспрещен.

— Вот что!

— А как же!

— Что же это за мастер такой, который один только знает, как икру солить?

— Не один, правда. Но их немного. А вы думаете, готовить икру — это простое дело? Это умение очень тонкое, которое из рода в род передается. Мастер-икряник! Шутка ли — первый человек на промыслах.

Мы с Леной переглянулись.

— Интересно...

Кажется, продавец был разочарован, когда после этого содержательного разговора я попросила его отвесить полкило воблы, к которой мы пристрастились за последние дни.

Зернистая икра

По правде говоря, мы не очень прислушивались к тому, что рассказал продавец на рыбном базаре, да и трудно было поверить, что в наше время могло сохраниться такое странное отношение к секрету приготовления икры. Но оказалось, что дело обстояло именно так.

Мы подъехали к икорному заводу на катере, который долго шел среди «крепей» — так называются в здешних местах непролазные заросли камыша. Директор встретил нас на пристани, рабочие осторожно перенесли наш багаж на берег, и мы отправились в контору поговорить о задачах нашей командировки и познакомиться с главным мастером завода Тимофеем Петровичем Зиминым.

Это был маленький плотный старик, бородатый, с умным лицом, в железных очках («из староверов», шепнул мне директор — и в прошлом один из владельцев завода). Мы шли в контору и уже поднимались на крыльцо, так что расспрашивать было неудобно.

— Прошу познакомиться,— сказал директор.

Мы назвали себя.

— Как же, слышал! Писали из треста. Наука! Шутка ли! Большое дело! Пожалуйста!

С уверенностью старого человека, который и рад бы, да не надеется встретить в жизни что-нибудь новое, он повел нас на плот. По самой неторопливости, с которой, поводя рукой, он показывал нам свое хозяйство, нетрудно было догадаться, кто на икорном заводе считает себя главным человеком.

Множество лодок разного размера и вида — большие серпообразные, с высокими носом и кормой; поменьше, с

перегородками, между которыми шевелилась в воде живая поблескивающая масса рыбы; совсем маленькие, без палубы, с косыми парусами — одна за другой подходили к плоту. Небольшие дощатые помещения стояли на нем, и в распахнутые двери этих помещений рабочие прямо с лодок бросали руками рыбу — частиковую, как объяснил нам Зимин,— сазана, судака, щуку. Красную рыбу — осетра, севрюгу — принимали отдельно.

Готовясь к поездке, я прочитала кое-что о приготовлении икры и не увидела ничего нового по сравнению с тем, что прочитала: рабочий сильным ударом по голове «чекушил» — оглушал — рыбу и, разрезав ее вдоль по брюху, вынимал икру. Другой рабочий пробивал икру через «грохотку» — так называется туго натянутая на раму сетка из пеньковых ниток. При этом отдельные икринки проваливались в подставленный под грохотку чап, а пленки оставались на сетке. Потом икру промывали и везли для консервирования на завод, где ее уже никто больше не называл икрой, а «продукцией» или «продуктом». В полукилометре от базы-плота на плоском песчаном берегу стоял бревенчатый дом. Это и был завод — маленький, но по тем временам один из лучших в астраханском хозяйстве.

На знакомство с приготовлением икры мы с Леной решили, по первому впечатлению, отдать дня четыре — и добрую неделю путешествовали с плота на завод и обратно, постепенно пропекаясь под жарким астраханским солнцем. Рыбой мы пропахли с головы до ног, «продукции» напробовались до такой степени, что больше не могли на нее смотреть — а приходилось! С Зиминым научились говорить на его икряном языке — «ястык, тузлук, тарама, галаган», рабочим и служащим прочли несколько лекций; об этом я еще расскажу...

В первый день я попросила директора отвести нам две комнаты — одну для жилья, другую под лабораторию. Мы привезли из Москвы несколько ящиков лабораторного оборудования. Директор дал одну комнату хорошую на заводе, а другую плохую — в бараке, очень душную, с низким потолком, так что Лена, плохо переносившая жару, не могла спать и мне мешала. Но, зайдя однажды в лабораторию, которую мы развернули на заводе, и увидев микроскоп, центрифугу, термостат и другие, в общем, весьма обыкновенные приборы, директор подумал и перевел нас из барака к рыбачке Прасковье Ивановне Бурминой. Это была невысокая, крепкая женщина, черноглазая,

скуластая, говорившая на таком великолепном русском языке, что мы невольно заслушивались, когда, сложив сильные руки на груди, она заводила свои неторопливо-плавные рассказы. Мне запомнился один из них — о весеннем ходе «бешенки», когда эта рыба с оглушительным плеском косяками идет вверх по Волге, прыгая на склонившиеся над водой деревья, застревая в кустах, выбрасываясь на берега, где ее уже ждут с нетерпением собаки и кошки. Стаи бакланов, хлопая крыльями, выгоняют ее на мели и глотают целиком рыбу за рыбой. Суда сворачивают в сторону, уступая дорогу, потому что никакой другой промысел во время хода «бешенки» невозможен.

Лена спросила Прасковью Ивановну, откуда такое название — бешенка.

— Бешеная, вот и бешенка,— неторопливо отвечала она.— А по-вашему, та же селедка. Еще моя бабка говаривала, что от нее будто можно взбеситься. Конечно, суеверие! Да и то сказать: как насмотришься на все это ее безрассудство, даже иной раз плюнешь с досады!

Мы возвращались из лаборатории около полуночи, и Лена, которая утверждала, что нужно непременно отдыхать перед сном, каждый раз предлагала одно и то же развлечение: посидеть на крыльце и посмотреть на небо. И действительно, небо было такое, что стоило на него посмотреть: непроницаемо-черное, с нежными рассыпанными звездами, горевшими ярко под сводом, опустившимся со всех сторон на притихшую землю...

По правде говоря, нужно было обладать некоторой смелостью, чтобы предложить Зимину это состязание, тем более что стояла сильная жара — до 40 градусов — и еще никому в мире не было известно, как относится промытая лизоцимом икра к подобной температуре. Но мы все-таки предложили.

Лена была убеждена, что Зимин откажется, и действительно, судя по его осторожно-ироническому отношению к тому, чем мы занимались, естественно было предположить, что он не станет противопоставлять свой способ «науке». Но он согласился — как видно, задело за живое!

Директор, с которым отправилась разговаривать Лена, долго думал, молчал, курил... Потом взял лист бумаги и

составил по пунктам условия состязания. Самый лучший сорт осетровой зернистой икры предоставлялся в неограниченном количестве спорящим сторонам. Каждая из них должна была приготовить по десяти «закатанных» банок — на заводе был цех, в котором «закатывались», герметически закупоривались, банки. Открывать их решено было, начиная с пятого дня, через день. Лучший дегустатор завода определит, какая икра — наша или зиминская — «тронется» первая.

Уж не знаю, что на этот раз Зимин сделал со своим «продуктом», должно быть нечто особенное, иначе он не поглаживал бы свою бороду с таким смиренным видом. Зайдя в лабораторию, он скромно поставил банки с икрой на стол и сказал добреньким голосом:

— Ну-с, барышни, как дела?

Мы ответили, что дела ничего, и рядом с его банками поставили свои. Он посмотрел на них и усмехнулся.

— Стало быть, сколько дней, вы полагаете, не тронется ваша икра? — спросил он.

Я сказала храбро:

— Это будет видно. А ваша?

— Моя-с? — Он прищурился.— В такую жару? Дней пять-шесть, не больше.

Не знаю, с какой целью он сказал неправду. Но мы сразу догадались, что икра простоит не пять-шесть дней, а гораздо больше.

Я не сразу поняла, что в действительности представлял собой наш спор и почему вокруг него в поселке началось такое волнение. Тимофей Петрович Зимин — это был человек старой, купеческой Волги, Волги каторжного труда грузчиков, нищеты, ночлежек, знаменитых крестных ходов. И секрет Зимина был секретом, в котором отразились традиции этой навсегда исчезнувшей Волги. А мы, две молодые женщины, приехавшие из Москры и заявившие, что сама икра содержит вещество, которое может предохранить ее от заражения,— мы были представителями новой, советской культуры.

Вот почему с таким волнением следили за нашим состязанием рабочие икорного завода. Вот почему Прасковья Ивановна сказала нам: «На это дело народ смотрит». Вот почему очередной номер стенной газеты вышел под шапкой: «Кто кого?» Вот почему мы поступили правильно, подвергнув наше маленькое открытие риску, возможному в новом деле.

Прошло пять дней, и в присутствии директора и обеих спорящих сторон дегустатор — маленький старичок с морщинистым, суровым лицом — открыл первые банки. По правде говоря, мне стало страшно, когда, найдя, что «продукт» Зимина сохранил все свои первоклассные вкусовые свойства, дегустатор взял из нашей банки ложечку икры, понюхал ее и, значительно сощурясь, положил в рот. Уж не знаю, что именно он делал с ней во рту и почему, причмокнув, пожевал губами. Наконец он проглотил икру и, помолчав, сказал, что «разницы между пробами не обнаружил».

Точно такая же сцена повторилась через два дня.

На этот раз дегустатор начал с нашей банки, и я заметила, что тень искреннего удивления пробежала по лицу Зимина, когда, проделав все свои магические движения, дегустатор объявил, что икра по-прежнему соответствует всем требованиям, предъявляемым всесоюзным стандартом к сорту «экстра». Однако в тех же официальных выражениях он отдал должное икре Зимина.

— Ну-с, барышни, а вы, оказывается, молодцы,— сказал Зимин, рассматривая нашу икру через лупу, которую он вынул из кармана.— Однако проиграете-с.

Я сказала:

— Посмотрим.

— Проиграете-с,— твердо повторил старик.— Слабнет ваша икра. Еще денек — и тронется...

Без сомнения, мы с Леной худели весь этот месяц — от жары, от волнений, от напряженной работы. Но мне показалось, что по-настоящему мы начали худеть с той минуты, как Зимин заявил, что наша икра «слабнет». Едва за ним закрылась дверь, как мы с Леной стали пробовать прочность отдельных икринок, сперва пальцами, потом языком, и не нашли, что они стали менее прочными, чем прежде. Но, может быть, опытнейший мастер увидел то, на что мы по своей «икорной малограмотности» не обратили внимания?

Наконец наступил решающий день! Едва войдя в лабораторию, я бросилась к шкафу — взглянуть, не показался ли «бомбаж» — так называется вспучивание банок, когда испортившаяся икра начинает бродить. Нет! Но и банки Зимина выглядели совершенно так же, как прежде.

Два сотрудника Института рыбного хозяйства приехали накануне вместе с корреспондентом областной газеты. Комсомольцы выставили у дверей лаборатории пикет: же-

лающих увидеть своими глазами «кто кого» оказалось слишком много. Фоторепортер, явившийся в последнюю минуту, показал мне снимок, который был сделан не знаю кем и когда, но на котором можно было различить стеклянный шкаф и в нем два ряда банок, ничем не отличавшихся друг от друга.

В присутствии всех этих уважаемых людей, которых не перечислила я и половины, дегустатор вскрыл банку с икрой Зимина. Уже по тому выражению, с которым, еще держа икру во рту, он скосил глаза на Зимина, я поняла, что тот проиграл и его «экстра» не выдержала испытания.

— Подалась.

Все смотрели на Зимина. Он криво усмехнулся.

— Девятый день,— разводя руками, сказал он.— Для подобной температуры это, господа, рекорд еще небывалый.

Он растерялся, иначе не назвал бы нас господами. Но он был прав: до сих пор максимальной нормой хранения считались восемь дней — и не при сорокаградусной жаре, а в обычной комнатной температуре.

Все заговорили разом, когда дегустатор произнес свое определение. Он подождал несколько минут, открыл одну из наших банок — и все замолчали.

Должно быть, он сам волновался, потому что, прежде чем взять пробу, едва не всунул в банку свой длинный морщинистый нос. Потом положил ложечку икры в рот и замер, закатив глаза под лоб и всей душой уйдя в свое дело. И все замерли: директор, крепко упершийся обеими руками о стол, Прасковья Ивановна, присутствовавшая на пробе, сотрудники рыбного института и даже фоторепортер, который крутился до сих пор по комнате, наставляя на всех свою «лейку».

— Качество сорта «экстра» полностью сохранилось,— с важностью сказал дегустатор.

Оно сохранилось, это качество, и на десятый, и на одиннадцатый, и на двенадцатый день. Когда мы вернулись в Москву, специальная комиссия Главэкспорта явилась в нашу лабораторию, и главный дегустатор, уже не сморщенный старичок, а прекрасно одетый, атлетического сложения красивый человек на двадцатый день попробовал нашу икру и нашел, что «качество сохранилось». Лишь на тридцать третий день при комнатной температуре промытая лизоцимом икра стала портиться, а на льду сохранялась полтора года.

Рубакин, встретивший нас на перроне, сказал, что Андрей условился поехать вместе с ним, но его вызвали по срочному делу. Он просил, чтобы я не беспокоилась, если ему придется поздно вернуться домой.

— А где он? Что случилось?

— Честное слово, ничего не случилось,— торопливо и, как мне показалось, растерянно ответил Рубакин.— Ну, как съездили? Похудели-то как! Кожа да кости!

— Петр Николаевич, что случилось?

— Да ничего же, я вам говорю! Дома у вас все в порядке, я вчера заходил. Павлик здоров, читает букву «А» и сердится, что мама Таня так долго не едет.

— Куда вызвали Андрея?

— Вот беспокойная душа! — разведя руками, сказал Рубакин.— По-видимому, авария на строительстве метро,— шепнул он, взяв меня под руку и идя рядом в шумной, двигавшейся к зданию вокзала толпе.— Его еще вчера вызвали. Он не ночевал дома.

— Вот что! Вы бы так и сказали!

Кроме лабораторного оборудования, мы везли с собой два пуда икры — нашей, зиминской и нейтральной. Рубакин с шофером институтской машины пошел получать наш багаж, Лена зачем-то побежала за ними и через несколько минут вернулась взволнованная, я увидела это с первого взгляда.

— Знаешь, что он сказал? Нашу лабораторию переводят в Рыбтрест.

— Что такое?

— Первый этаж институтского здания отдают Горздраву, и Крамов ходатайствует о передаче лаборатории в Рыбтрест.

— Он с ума сошел?

— Кажется, готовится приказ наркома.

— Ну, нет! Этого не будет!

Лена с досадой махнула рукой.

— Ты не допустишь?

— Нет, не я.

— А кто же?

— Мы.

— Объясните, Петр Николаевич, что это значит? — спросила я, когда багаж был осторожно погружен на ин-

ститутский пикап и мы налегке отправились к трамваю.— Неужели это правда, что нашу лабораторию...

— А, Елена вам уже доложила! Разумеется, правда!

— Но почему же в Рыбтрест? Мы занимались вопросом о саморазогревании торфа,— что же, если бы работа удалась, лабораторию перевели бы в Главторф? Мы выделили лизоцим из хрена — значит, в Плодоовощ или куда там еще? Что это за чепуха, в самом деле?

— Не кипятитесь, доктор. Скоро только блины пекут. Дело гораздо сложнее, чем вы думаете. Вас не переводят в Рыбтрест, а передают промышленности. Понятно?

— Нет.

— На последнем Ученом совете Крамов произнес длиннейшую речь о задачах нашего института. Он объявил, что его обвиняют в голом теоретизировании, в отрыве от практики. Так вот, с целью доказать, что все это клевета, он передает рыбной промышленности одну из лучших лабораторий своего института. Правда, он скорбит. Он делает это скрепя сердце. Но в то время, когда «Правда» в каждой передовой указывает, что наука должна всемерно помогать промышленности, он, профессор Крамов, не считает себя вправе остаться в стороне. Что с вами, Татьяна?

— Ничего особенного.

— Вы побледнели.

— Плохо спала... А вот и наш номер.

Андрей не позвонил ни в семь, ни в восемь часов, и в конце концов я не выдержала и поехала к нему на работу, надеясь, что мне удастся хоть передать ему бутерброды,— я не сомневалась в том, что он ничего не ел со вчерашнего дня...

Доктор Белянин, начальник Андрея, полный, пожилой, с оглушительным голосом, с красным мясистым лицом, остановил меня, когда я со всех ног влетела в подъезд управления.

— Татьяна Петровна, здравствуйте! — так громко, что я невольно вздрогнула, закричал он.— Я вас напугал?

— Здравствуйте, Илья Ильич.

— Супруга разыскиваете? Он на трассе.

— Знаю, что на трассе. Вы его увидите?

—Я к нему еду.

— Вот что! Так возьмите меня с собой.

— Не могу, честное слово. Вас не пропустят.

— С вами-то? Мне бы только бутерброды ему передать и сказать два слова. Ведь я сегодня из командировки вернулась. Мы полтора месяца не виделись.

— Не могу.

Мы вместе вышли на улицу. Белянин тяжело сел в машину. Потом, едва не вывалившись на мостовую, открыл дверцу и сказал:

— Я передам бутерброды.

— Ну, я вас очень прошу. У меня все документы с собой. Вы скажете, что я из Горздрава.

Несмотря на свою внешность, Белянин был человек добрый и деликатный. Он подумал, сделал сердитое лицо и закричал:

— Садитесь!

Я не сразу поняла, что произошло на том участке, куда был вызван Андрей и куда одновременно с нами подошли одна за другой три санитарные машины. Рабочие, мокрые с головы до ног, сбрасывали с грузовиков мешки с землей или песком прямо в воду, под которой не видно было ни мостовой, ни панели. По крутой улице вода стремительно сбегала вниз, к ярко освещенному, переброшенному через другую широкую улицу деревянному мосту. Никого не было на этом мосту, только, переливаясь через настил, бежала, тяжело поблескивая, вода, и то, что заставляло мокрых людей бросать на мостовую мешки с песком, происходило не на земле, а глубоко под землей, в вырытом под мостом котловане. Не знаю, что это было и что делали метростроевцы в этой путанице рухнувших перекрытий, вывернутых щитов, оборванной проволоки, под потоками земли, струившейся в котлован вместе с водой. Потом Андрей объяснил мне, что дождь размыл бровку котлована, и пятиэтажное каменное здание, стоявшее вплотную рядом с ним, повисло над десятиметровой пропастью, в которой работали люди.

Такой же мокрый, как все, в прилипшем к телу пиджаке, он быстро шел куда-то по колено в воде. Сестра с красным крестом на рукаве плаща бежала за ним, озабоченно спрашивая о чем-то и оглядываясь в ту сторону, где санитары поднимали с земли человека с беспомощно болтающимися ногами.

— Андрей!

Место аварии было ярко освещено, он был в светлой

полосе, я — в темной, и когда я окликнула его, он остановился и стал всматриваться, не узнавая.

— Это я!

Он бросился ко мне и чуть не упал, поскользнувшись на мокром бревне.

— Ты здесь, как ты попала сюда? Я не мог встретить тебя. Рубакин был на вокзале?

— Да, да. Все хорошо. Ты скоро вернешься домой?

У него на щеке было большое пятно грязи, я стала оттирать его платком, он не дал и поцеловал мою руку.

— Часа через два. Уже справились, сейчас начнут возить грунт по мосту. Ты звонила Мите?

— Нет.

— Позвони. Или даже съезди. Хорошо?

— С ним что-нибудь случилось?

— Нет. Но ты съезди.

Кругом стояли люди, но Андрей все-таки сказал быстрым шепотом:

— Ох, как хорошо, что ты наконец приехала!

Белянин закурил, он попросил папиросу и, прежде чем взять ее, стал искать, обо что вытереть мокрые руки. Мне не хотелось уходить, но Андрей разговаривал с нетерпеливым выражением, и я, сунув ему бутерброды, ушла.

Митя жил недалеко от Крымской площади, в маленьком деревянном доме, на месте которого стоит теперь огромное здание одного из московских вузов. Вход был со двора, через запущенный сад, в котором на кустах постоянно висели мокрые наволочки, простыни. Бузина разрослась у веранды, летом — нарядная, сейчас черная и голая, придававшая этой веранде и самому дому грустный, покинутый вид. У Мити было темно, но в передней горела лампочка — полоска света чуть виднелась под выходившими на веранду дверьми. Я постучала. Старуха пенсионерка, которая жила в одной квартире с Львовыми, открыла и сказала, что Дмитрий Дмитрич, по-видимому, спит.

— А Глафира Сергеевна?

Кажется, ничего особенного не было в этом вопросе. Но старуха открыла рот, хотела что-то сказать и не сказала.

— Вы постучите, может быть, он и не спит.

Прежде в этой большой комнате, выходившей окнами в сад, помещалось какое-то детское учреждение, и от ста-

рых хозяев остались две раковины с кранами и обрезанные трубы, свисавшие с потолка по углам. Митя сумел как-то устроить, что эти некрасивые трубы были почти не видны. Но сейчас, едва войдя в полутемную комнату, я почему-то сразу же заметила их.

Через открытую форточку смутно виднелись ветки какого-то дерева, на котором еще дрожали сморщенные осенние листья. Чем-то нежилым повеяло на меня от этой пропахшей табачным дымом комнаты, от широких, голых переплетов окон.

— Что с вами, Митя? Вы больны?

— Нет, здоров.

Кусок темной материи был накинут на абажур переносной лампы. Я стала искать выключатель, но Митя сказал:

— Не нужно зажигать, светло.

Уткнувшись лицом в подушку, он лежал на диване.

— Как вы съездили?

— Очень хорошо. Можно сесть рядом с вами?

— Конечно, пожалуйста. Простите, что не встаю. У меня был утомительный день.

Я поставила стул рядом с диваном.

— Митя... Что-нибудь случилось?

— Ровно ничего.

Он закурил, вздохнул и сел, свесив голову, расставив длинные ноги.

— Плохи мои дела, Татьяна,— сказал он так печально и просто, что я сразу поверила, что дела действительно плохи.— Вот Андрей как-то рассказывал мне о плывунах; есть, оказывается, под Москвой такая чертовская штука, с которой никак не могут справиться строители метро. Это мелкий мокрый песок, почти пыль, с примесью глины. Пройти через него можно только под сжатым воздухом, он проникает через щели, ползет под ногами. Я попал в такой плывун, милый друг. Как это случилось — не знаю. Но куда я ни ступлю — плывет.

— Ничего не понимаю, Митя.

Он помолчал.

— Я знаю, что это смешно — искать логическую ошибку в том, что годами происходило со мной. Не сегодня же я догадался, что не умею доводить до конца начатое дело! Не сегодня же понял, что именно это нужно преодолеть прежде всего, если я надеюсь хоть что-нибудь сделать в науке. Всю жизнь я только начинал, и вот теперь вокруг

меня лежат десятки начатых и брошенных работ, а опереться не на что, потому что ни одной из них мне не удалось довести до конца. Ведь у меня были новые мысли, Таня! И вот теперь, когда все рухнуло, когда я понял, что самые лучшие, самые драгоценные силы были брошены даром, я оглядываюсь и вижу — ступить некуда, все плывет вокруг.

Он встал и, горбясь, подошел к книжной полке, где — я знала — у него было устроено отделение, в котором стояло вино. Стекло звякнуло. Он налил стакан, быстро выпил, стоя ко мне спиной, и принялся шагать по комнате — огромный, поглядывая туда и сюда, грустный, в измятой пижаме.

— Что вы пьете?

— Коньяк. Хотите?

— Да.

— У меня рюмки нет. Можно, я вам в мензурку налью?

— Только я сама, хорошо? — И, пожелав Мите счастья, я выпила четверть мензурки, а потом быстро, прежде чем он успел опомниться, вышвырнула бутылку в форточку. И удачно — слышно было, как бутылка ударилась о камень и разбилась.

— Что вы сделали?!

— То, что надо. А теперь успокойтесь и не смотрите па меня бешеными глазами. Вы мне очень дороги, Митя, и я не могу позволить вам вести себя, как жалкая, побитая собака.

Он вздохнул и крепко потер лицо руками. Потом зажег свет, и я поняла, что переменилось в его комнате, прежде устроенной удобно и уютно: она была почти пуста, хотя знакомая мебель — диван, два кресла, столы, кровать — осталась на своем месте. Но все было содрано с этих столов и кресел, и они стояли голые, как в магазине или на складе. Глубокая ниша, в которой Митя устроил туалетную, прежде была отделена ковром. Теперь этого ковра не было, а в нише прямо на полу валялись какие-то зимние вещи. Не было и другого ковра, лежавшего прежде перед диваном. Вместо люстры с потолка спускалась одинокая лампочка на грязном шнуре. Только книги, как прежде, стояли на полках, но и они в этой опустевшей комнате выглядели одиноко и голо.

— Вот что! Так вы...— я хотела сказать «разошлись», но что-то удержало меня,— ...вы теперь будете жить отдельно от Глафиры Сергеевны?

Он усмехнулся.

— Вот именно. Она ушла от меня.

— Да что вы говорите? — начала я радостно и остановилась. Мы помолчали.— Ну что ж, Митя,— сказала я наконец.— Не мне утешать вас в этом горе. Но ведь это все равно произошло бы, рано или поздно. Так уж лучше...

— Да, может быть... Я в отчаянии, Таня,— вдруг с исказившимся лицом негромко сказал он.— Я знаю, что вы ненавидите ее, и Андрей, и что все друзья считали, что она губит меня. Но вы не знаете ее и никогда не узнаете, потому что трудно найти более скрытного человека. Она лучше, чем вы думаете, Таня. Она добрая.

— Добрая?

— Да, очень. Годами она посылает деньги какому-то дальнему родственнику, которому трудно живется. Она нежная, привязчивая, а эта резкость, развязность — все, что так раздражает вас и Андрея,— уверяю вас, что это от застенчивости, от сознания, что ее не уважают, не любят. Эх, да что говорить! Вот теперь вы станете думать, что она не бросила бы меня, если бы мне не пришлось уйти из института. Но как мне убедить вас, что если бы мне не то что пришлось уйти, а...

— Как пришлось уйти? Я ничего не знаю.

— Вы не знаете, что была назначена комиссия для проверки моей лаборатории?

— Да, но...

— Комиссия признала работу неудовлетворительной: разбросанность, отрыв от практики и два десятка других обвинений, против которых я даже не стал возражать. Вы спросите меня, почему? Очень просто: потому, что я сам не знаю, правы они или нет. Я подал заявление об уходе. Вы видели Андрея, и он вам ничего не сказал?

— Он со вчерашнего вечера на метро. Там авария. Он сказал только, чтобы я немедленно поехала к вам.

— Да? Значит, он не успел сказать вам, что я сам во всем виноват? Да что там! — махнув рукой, с горечью сказал Митя.

Я молчала. Позвонили. Митя спросил:

— Андрей?

И пошел открывать.

Очень усталый, похудевший, Андрей вошел, сел, потер руками глаза, заговорил — и точно в темную комнату внесли фонарь, при свете которого стало ясно, где дверь, где окно и почему не нужно одно принимать за другое...

Мне не хотелось присутствовать при этом разговоре, и под каким-то предлогом я ушла к старушке пенсионерке.

Но время от времени я возвращалась. Разговор был долгий, неторопливый...

— Скажу тебе по правде, Митя: мне тяжело видеть, как ты сидишь сложа руки в своей ободранной комнате, в то время как должен был бы в календаре отметить этот день как праздник! Да, ты любишь ее...

Митя открыл было рот, но Андрей сердито двинулся на него, и он снова стал терпеливо слушать.

— Так что же, голову положить ради этой любви, которая опустошила тебя, которая действительно довела бы тебя до гибели — не физической, так душевной? Знаешь что: уезжай куда-нибудь! И надолго, года на два. В Средней Азии никак не могут справиться с пендинской язвой — отправляйся туда! Я убежден, что, если ты серьезно возьмешься за эту болезнь, о ней забудут и думать!

Митя не возражал, напротив — соглашался, но в том, как он соглашался, видна была усталость надломленного человека.

Много забот

Засучив рукава взялись мы на другой день за оборону нашей лаборатории — не знаю, как еще назвать эти терпеливые переговоры с начальством, большим и малым, эти докладные записки, эти поездки в Наркомздрав и Горздрав.

Самая большая трудность заключалась в формуле: «Институт передает лабораторию промышленности»,— формуле, которая сразу обезоружила тех, кто не желал серьезно вдуматься в ее содержание. Старательно раскрывали мы эту формулу перед работниками Наркомздрава. Мы доказывали, что изучение лизоцима невозможно вести в трестовской лаборатории. Мы предлагали включить в план нашей работы вопросы, интересующие рыбную промышленность. Мы обещали оказывать посильную помощь не только рыбной, но, например, льнообрабатывающей промышленности.

А по вечерам Рубакин ругал нас за то, что в Горздраве мы говорили не то, а в Наркомздраве не так, ругал и подбадривал, и созванивался с Литвиненко, секретарем райкома, и советовал, куда пойти на другой день. Внезапно

открывшееся влияние Крамова — вот что мешало нам на каждом шагу. Я знала, что с ним считаются, к его мнению прислушиваются. Но до сих пор трудно было представить себе всю силу этого влияния.

Куда бы мы ни пришли, всюду прежде всего нас встречал вопрос:

— А что думает по этому поводу Валентин Сергеевич?

Мы отвечали, что он думает то же, что и мы.

— Тогда почему же он не позвонил мне по телефону?

Странное впечатление преувеличенной осторожности, с которой относились к нему те, с кем я встречалась, сопровождало наши хлопоты от первого до последнего дня.

Нужно полагать, что он был в курсе дела, иначе, вероятно, не поторопился бы увенчать наши икорные достижения. Экспертиза Рыбтреста, о которой я упоминала, была подана с блеском, и не кто иной, как директор института — веселый, любезный, предупредительный — принимал дорогих гостей. Не кто иной, как директор пригласил на эту экспертизу замнаркома и энергично отрекомендовал ему доктора Власенкову как ученого, умело применяющего на практике лабораторные результаты.

— Мы смотрим на Татьяну Петровну как на будущее светило промышленной бактериологии,— значительно сказал он.

После экспертизы в кабинете директора был устроен завтрак, и речь, которую произнес Валентин Сергеевич, была посвящена, разумеется, идее практической помощи, которую деятели науки должны оказать промышленности, если они действительно желают способствовать социалистическому преобразованию страны.

Не помню кому, кажется, Лене, пришла в голову превосходная мысль, что в Академию наук мне нужно идти не одной, а с Никольским.

— Мы так привыкли к деду,— сказала она,— что иногда даже забываем, что он знаменитый ученый. Между тем это именно так. Кроме того, ты можешь растеряться. Еще напутаешь что-нибудь. Нет, иди с дедом.

Возможно, что я все-таки не решилась бы беспокоить деда, если бы на институтский двор не выехал с грохотом грузовик, с которого по доске прямо под окна нашей лаборатории покатились бочки. Очевидно, после зрелых размышлений, какие-то администраторы решили, что для

биохимической лаборатории трудно найти более подходящую тару.

...Я не позвонила Никольскому, побоявшись, что по телефону он отложит встречу, и пожалела: дед был занят. Сгорбившись, недовольно сморщив мясистый нос, положив ногу на ногу, он сидел на деревянном помосте, воздвигнутом посредине его кабинета, и два скульптора — мужчина и женщина — лепили его из зеленоватой глины. Уже по сердитому посапыванию, с которым дед качал своей длинной ногой, легко было догадаться, что ему ужасно не нравится сидеть без дела на этом помосте, в то время как скульпторы в запачканных халатах ежеминутно пытливо взглядывали на него, как будто желая убедиться, что они лепят именно его, а не кого-нибудь другого. Он было оживился, когда, постучавшись, я вошла в кабинет. Но, узнав меня и понимая, что я не тот человек, который может помочь ему выбраться из неприятного положения, он стал качать ногой с еще более недовольным видом.

— Да что там! — безнадежно махнув рукой, сказал он, когда я заметила что-то по поводу понравившегося мне бюста, который заканчивала женщина-скульптор.— Устроили мне штуку! Спасибо!

Скульпторы осторожно засмеялись.

— Согласился на два сеанса — и вот пожалуйста. Сегодня седьмой. Вот сижу тут, как петух на нашесте. А дело стоит.

— Николай Львович, если вы помните, я на днях звонила вам...

— Да, да! Ну как, отбились?

— В том-то и дело, что нет. Нарком подписал приказ. Уже тару прислали, Николай Львович. В общем, плохо дело!

— Как это тару прислали? Это что еще за новости? Да вы объяснили им, что в дальнейшем не намерены заниматься икрой?

— Все объяснила, Николай Львович, и не раз! Теперь надежда на Академию наук, а не выйдет, тогда прямо к Калинину... Завтра в половине второго меня примет президент Академии. Николай Львович, помогите нам, поедемте вместе! Это отнимет у вас не больше часа. Ваше слово веское, не то что мое! Пожалуйста, не отказывайте нам, дорогой Николай Львович. Это очень важно, чтобы вы поехали. Именно вы! Очень важно.

Не обращая ни малейшего внимания на скульпторов,

ошалевших, когда, сильно топнув ногой, «натура» слезла с помоста, дед взволнованно прошелся по комнате и спросил:

— Почему завтра? Поедем сейчас.

— Сейчас нельзя. Мне назначили завтра.

— Хорошо, пускай завтра. К президенту? Очень хорошо! Превосходно! Мы им покажем тару!

Объединенная комиссия Академии наук и наркомата явилась через два дня — небольшая, но солидная, поскольку одним из ее членов был заместитель народного комиссара. Несколько дней тому назад я приглашала его на пятилетие нашей лаборатории.

— Похоже, что придется серьезно отнестись к вашему предложению,— улыбаясь, сказал он, когда мы с Рубакиным встретили их в вестибюле.

Впервые наши доводы, поневоле приобретавшие в кабинетах Наркомздрава отвлеченный характер, предстали перед этими людьми в своем вещественном выражении. Мы объяснили им действие аппарата для очистки фагов, предложили осмотреть сложные установки, которые были смонтированы нашими руками. Второй член комиссии, хозяйственник, спросил меня, можно ли разобрать установки. Я ответила, что можно, но это будет равносильно их полному уничтожению.

Потом комиссия уехала, и началось ожидание.

Агния Петровна позвонила из дому, позвала обедать; я не пошла, хотя работа все равно валилась из рук. Виктор подошел с каким-то вопросом; я выслушала его и не поняла ни слова. Сотрудники из других отделов ежеминутно заходили в лабораторию, и я, наконец, заперлась: надоело судить да рядить о том, что больше не зависело от наших желаний.

Кажется, мы сделали все, что нужно было, а между тем, шагая из угла в угол, я с каким-то виноватым видом поглядывала на свои приборы.

Андрей позвонил: «Как дела?»,— и я сказала, что плохо.

— Ответа нет. Передача должна состояться сегодня.

— Так что могут прийти и передать?

— Вот именно.

Андрей помолчал.

— А ты их не пускай. Запри дверь и притворись спящей.

— Ох, хоть ты пощади,— сказала я с тоской.— Честное слово, не до шуток.

Он пробормотал что-то вроде: «Ну, ладно, сейчас»,— и повесил трубку.

Вероятно, это было самовнушение, но каждые четверть часа я ловила себя на том, что стою у окна, уставясь на пустые рыбтрестовские бочки, которые по-прежнему с каким-то ожидающим видом стояли на институтском дворе. Надеялась ли я в глубине души, что эта тара исчезнет, если я стану так упорно смотреть на нее? Не знаю. Тара не исчезала, и ответа не было, хотя хозяйственник, которому я позвонила в Наркомздрав, обещал, что комиссия ровно через час представит свои соображения наркому.

В дверь постучали, и вошел, к моему изумлению, Андрей — спокойный, свежевыбритый, веселый, с туго набитым портфелем, который он осторожно поставил на стол, как будто в этом стареньком портфеле находилось то, что, безусловно, могло помочь нашей «обороне».

— Вот видишь, даже и не спрашиваешь,— с досадой сказал он.— Я же тебе сказал: запрись и никого не пускай.

— Андрей, полно дурачиться. Лучше посоветовал бы, что делать?

Он задумчиво поцеловал меня.

— А есть надежда, что нарком отменит приказ?

— Конечно, есть.

— Значит, главное — выиграть время?

Я не успела ответить. В дверь постучали, и на пороге появился Кочергин — бравый, воинственный, с торчащими усами, но несколько смущенный,— очевидно, не был вполне убежден, что наука должна помогать промышленности, тем более что вследствие этой идеи он лишался целой трети подвластной ему территории.

— Разрешите приступить, Татьяна Петровна?

Я закричала:

— Нет, не разрешаю!

— Виноват... Но Валентин Сергеич... Я понимаю, конечно, что вы волнуетесь. Но Валентин Сергеич лично позвонил мне...

— Лично он никак не мог позвонить,— сказал Андрей.

— То есть как это не мог-с?

— Очень просто. Это не в его стиле.

Уж не знаю, действительно ли солгал Кочергин или

слово «стиль» произвело на него такое сильное впечатление, но он онемел, выставив усы и хлопая глазами.

— Виноват... С кем имею честь? — спросил он, хотя превосходно знал, с кем имеет честь, потому что Андрей часто заезжал за мной после работы.— Насколько мне известно — супруг-с?

— Да, супруг.

— Стало быть, не имеете прямого отношения?

— Ну, это как сказать! Вот вы, например, женаты?

— Да-с.

— А дети? Есть дети?

— Позвольте, при чем тут дети?

— То есть как это при чем дети? Если у вас есть дети, следовательно, вы имеете к своей жене отнюдь не косвенное, а самое прямое отношение. Почему же вы отказываете в этом мне? На каком основании, черт побери,— сквозь зубы спросил он, подступая к завхозу,— вы требуете, чтобы мы с женой находились не в прямых, а в косвенных отношениях?

Бог весть что почудилось Кочергину в этих обвинениях,— очевидно, нечто политическое, потому что он сильно побледнел и прежде бодро торчавшие усы как-то повисли.

— Да я, собственно, ничего,— пробормотал он.— Я — что же! Но Валентин Сергеич звонил, в этом я вас клятвенно заверяю...

Мы неодобрительно помолчали, и Кочергин откашлялся и вышел.

Пока Андрей, хватаясь за живот от смеха, валялся на диване, я снова позвонила в Наркомздрав.

— Заместитель наркома на докладе,— беспечно ответила секретарша, и снова тоже беспечно: — На докладе.

— Андрей, перестань, тебе станет дурно.

— Ох, да. Уже тошнит. Ну и болван!

— Но что же делать?

— Что делать? Где ключ?

Я достала ключ.

— Так.— Он запер дверь.— И так.— Он взялся за край письменного стола и одним махом подвинул его к двери.— Ну-ка, помоги!

— Андрей!

— Давай, давай! Потом будешь разговаривать. Сама говоришь, главное — выиграть время.

У него были сумасшедшие, широко открытые глаза, и я немного испугалась, когда, выстроив у двери баррикаду,

в которую вслед за столом вошла вертящаяся этажерка и маленький, но очень тяжелый несгораемый шкаф, он крупными шагами прошелся по разгромленному кабинету.

— Ты думаешь, я сошел с ума? Нет, просто надоели эти скоты, которые мешают жить и работать! Надоели карьеристы, доносчики, лицемеры! И знаешь, кто виноват в том, что они командуют нами? Мы! Мы слишком вежливы, мы обходим скользкие места, мы боимся говорить правду. Мы терпим и учим других терпеть, а они тем временем действуют — и решительно, умело!

— Знаешь что, не кричи. Они — за стеной. Почему ты все время хватаешься за портфель? Ты принес бомбу?

— Нет, пиво. И бутерброды. Взял в буфете, не успел пообедать. Хочешь?

В дверь постучали, и, оставив пиво, он ринулся вперед с таким видом, что Крамов, если бы это был он, оказался бы в рискованном положении. Но это был институтский служитель Половинкин. Час тому назад он приходил, чтобы позвать меня на конференцию, о которой я совершенно забыла.

— Татьяна Петровна, разрешите?

— А в чем дело, Илья Терентьич?

— Вас просит директор.

— Вы сказали, что я больна?

— Докладывал. Настоятельно просит.

— Пошли его к дьяволу,— с полным ртом прохрипел Андрей.

— Молчи... Я не могу, Илья Терентьич. Занята и больна.

— Хорошо, передам. Между прочим, Валентин Сергеич просил передать, что все собрались и ждут только вас.

— Что?

— Только вас. И что не он один, а все вас просят.

— Андрей, нужно идти.

— Ни в коем случае. Это новая подлость.

— Нет, нужно. Разбирай свою баррикаду. Живо!

Крамов строго следил, чтобы сотрудники посещали конференции. Поэтому я не нашла ничего удивительного в том, что библиотека была полна. Но когда я вошла, общее движение пробежало по рядам в маленьком читальном зале. Все обернулись ко мне, и едва я успела спросить у кого-то: «Что случилось?» — как раздались аплодисменты, усилившиеся, когда к ним присоединился Крамов.

— Товарищи, сегодня я должен был бы передать свой

портфель директора Татьяне Петровне,— очень спокойно сказал он.— Она добилась отмены приказа, согласно которому мы лишались значительной части нашего здания. Более того, эта отмена позволяет нам сохранить в составе института одну из лучших наших лабораторий. Остается только пожелать, чтобы редкая энергия, которую Татьяна Петровна проявила в этом деле, была полностью перенесена на работы, развивающиеся под ее руководством. Я, со своей стороны, обещал наркому, который только что поздравил меня с разрешением конфликта, что буду по мере сил способствовать решению важных задач, которые поставил перед собой Институт биохимии микробов.

Главное — впереди

Как я ни была занята, а нет-нет с тяжелым чувством вспоминала о Мите. Последнее время я часто бывала у него, мы говорили подолгу, о многом вспомнили, многое переоценили. Он уезжал в Ростов, на кафедру микробиологии медицинского института. Ни разу, как по уговору, не упомянули мы даже имени Глафиры Сергеевны. Теперь я боялась, что Андрей может нечаянно задеть больное место и снова начнется разговор, в котором Митя будет доказывать полную невозможность своей жизни без этой женщины, а мы — полную возможность и даже необходимость.

В шестом часу вечера — ростовский поезд уходил в девять сорок — я приехала к Мите и с первого взгляда поняла, что мои опасения были совершенно напрасны. Братья спорили, но тема этого спора была весьма далека от несчастной Митиной «болезни воли». Разговор шел о постановке научной работы в медицинских вузах.

— А все-таки в твоем плане работы есть что-то ложное... Не то что ложное, а подогнанное, и обмануться легко, потому что подогнано очень искусно.— У Андрея было сердитое, всматривающееся выражение, как всегда, когда он встречался с чем-нибудь неопределенным или неясным.— Почему, мне кажется, ты ни в коем случае не должен отрывать кафедру от научной работы? Потому, что на кафедре ты будешь каждый день встречаться с молодежью, которая хочет знать, как нужно заниматься наукой, и которая не раз заставит тебя самого задуматься над этим вопросом. От тебя непременно нужно много требовать, Митя! Ты сердишься?

— Да что ты, с ума сошел?

Я занялась другим, уже совсем частным вопросом — о том, в какой мере будущий профессор снабжен постельным бельем, и пропустила мимо ушей дальнейшее развитие спора. Плохо был снабжен профессор постельным и прочим бельем, и, собирая его в дорогу, не раз от всей души ругнула я дурную женщину, которой он был так глубоко предан.

Митина комната, по условию, оставалась за ним, и он предложил ее Рубакину, который жил «за печкой», как он сам говорил, в большой и шумной коммунальной квартире. Но у Лены тоже была плохая комната, принадлежавшая Боткинской больнице, в которой она не работала с тех пор, как перешла в наш институт. Поэтому едва только решился вопрос о Митином переезде, я побежала к Лене. Она выслушала меня и растерянно пожала плечами.

— Но ведь Петя, кажется, уже сговорился с Дмитрием Дмитриевичем?

— У Петра Николаевича есть комната, хоть и плохая, а тебя выставят самое большее через полгода.

Лена нерешительно засмеялась.

— Не беда, как-нибудь.

Я подмигнула, она набросилась на меня и стала трясти за плечи, а потом пригрозила: «Смотри, никому ни слова!» — и поцеловала...

Мы с Андреем были уверены, что Митина лаборатория в полном составе явится на вокзал, но пришли только две сотрудницы, шепотом переговаривавшиеся и все поглядывавшие по сторонам, — очевидно, еще кто-то должен был приехать и не приехал. Митя шутил с ними, но по этим напряженным шуткам видно было, что он обижен, — более того, оскорблен. Агния Петровна стала уговаривать его взять какие-то пирожки в дорогу — он раздраженно отказался. И она до отхода поезда стояла молча, сердитая, гордая и закутанная — день был морозный — до самого носа. Словом, проводы вышли грустные.

Прямо с вокзала мы отправились обратно на Крымскую площадь. Митя просил нас взять из его комнаты какие-то вещи. У «Гастронома» № 2 Рубакин остановил такси и, попросив нас подождать, вернулся через полчаса с огромным количеством бутылок и свертков.

Не так уж трудно было угадать причину этого загадочного поведения, но мы с Андреем притворились и стали

серьезно, подробно расспрашивать, что случилось. «Признавайтесь, товарищи, чей день рождения?» — «Ничей — у обоих весной».— «Вышла книга Петра Николаевича?» — «Какое там, только что сдана в набор».— «Новоселье?» — «Еще что! Ведь комната осталась за Дмитрием Дмитриевичем!»

— Ох, надоели,— сказала наконец Лена.— Сказать им, что ли, Петя?

Он засмеялся.

— Эх, простая душа! Да они нас разыгрывают, неужели не видишь?

Словом, когда такси остановилось у Крымского моста, оставалось только поздравить молодых — молодых в полном смысле этого слова, поскольку Рубакины записались ровно два часа тому назад в загсе Фрунзенского района.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОИСКИ

Слезы

Моссовет только что передал Медико-санитарному управлению Метростроя Сокольнический диспансер, и мало сказать, что Андрей был очень занят: у него действительно не было ни одной свободной минуты. Так что нечего было расстраиваться, что он не поздравил меня в день рождения. Хорошо было уже и то, что он еще помнил, что у него есть жена, которая накануне прождала его до двух часов ночи! Весь завтрак он просидел, уткнувшись носом в газету, а уходя, сказал, что не знает, когда вернется домой. Я только спросила: «Да?» — и, должно быть, что-то все-таки померещилось ему в этом коротком вопросе, потому что он поднял голову и внимательно посмотрел на меня. «Сейчас вспомнит!» Но он лишь проворчал что-то насчет своего нового пальто, которое он не любил, и ушел.

Павлик уже гулял с Агнией Петровной. Я оделась, поискала их на бульваре, не нашла и отправилась в институт, хотя до десяти часов было еще далеко. Илья Терентьич наводил порядок в лаборатории, и мы немного поговорили о погоде, о детях: я знала, что Илья Терентьич гордится своими детьми. Потом он вышел, и я осталась одна.

Мне было грустно. Случалось, что мы с Андреем ссорились — например, когда он сердился на меня за то, что я

мало читаю, а я на него, когда он не замечал, что, для того чтобы в доме все было так, как нравится нам обоим, нужно было приложить немало сил и труда. Но уж лучше бы мы поссорились, чем это оскорбившее меня невнимание!

В соседней комнате послышались голоса, пришла Лена; Коломнин, как всегда перед работой, стал долго, тщательно мыть руки, а я все сидела и думала об Андрее. Как он был прежде внимателен, нежен, заботлив! Я любила, когда он немного подшучивал надо мной, что-нибудь забавно преувеличивал или комически поражался «глубине» моих наблюдений. И многое другое припомнилось мне,— он стал равнодушен, забывчив, слишком спокоен. Правда, он приходит домой поздно, усталый и засыпает, едва положив голову на подушку, но прежде он всегда прощался со мной на ночь, а теперь перестал.

Когда в других лабораториях подтвердились наши данные по лизоциму и Рубакины принесли торт и вино, он посидел с нами десять минут и уехал, хотя не мог не видеть, как я счастлива, как мне не хочется, чтобы он уезжал!

Но, быть может, я сама виновата в том, что он переменился ко мне?

— ...Не доказано, потому что никто серьезно не занимался естественной сопротивляемостью ткани,— громко сказал в соседней комнате Виктор.— А вы представляете себе, Иван Сергеевич, какие выводы можно сделать хотя бы из того факта, что под микроскопом действие лизоцима и бактериофага удивительно сходно?

Это было интересное сопоставление, и я невольно подумала, что, если под микроскопом так, может быть, и в клинике... Но сначала нужно было объяснить себе: что же все-таки произошло с Андреем?

«Да, он стал иначе относиться ко мне,— продолжала я думать, стараясь удержать подступавшие слезы.— И самое ужасное, что он сам этого не замечает. Или замечает?»

— ...В таком случае, почему лизоцим из мышцы сердца задерживает рост кишечной палочки,— не унимался в соседней комнате Виктор,— а лизоцим из белка не задерживает?

— Вздор, Виктор,— сердито возразил Коломнин.

До сих пор не знаю, почему именно в эту минуту я подумала, что нужно проверить, нет ли лизоцима в слезах,— может быть, потому, что больше я не старалась удержать слез, и они стали капать на лежавшие на моем столе кимограммы. Ничего особенного не было в этой простой мыс-

ли. Но вслед за ней явилась другая, и эта другая заставила меня поспешно приставить к щеке пустую пробирку, чтобы слезы стали капать не на стол, а в нее. «Ведь если Виктор прав и лизоцим из икры лучше всего действует на микрофлору икры, стало быть...» Слезы стали капать реже... «Стало быть, лизоцим, выделенный из слез, должен действовать на болезни глаз?» Слезы совсем перестали капать — как раз, когда они были нужны мне до зарезу! Я стала тереть глаза, и Лена, зайдя ко мне в эту минуту, с изумлением остановилась на пороге.

— Что ты делаешь?

Я ответила сердито:

— Ничего особенного. Добываю слезы...

Андрей позвонил через час, и я не сразу поняла, о чем он говорит и почему у него такой огорченный голос.

— Танюша, родная, поздравляю тебя. Ты сердишься? Хочешь, я сейчас приеду?

— Да ведь не можешь?

— Не могу. Все равно приеду.

— Не нужно. Целую тебя.

— И я тебя. Да, вы там радио слушаете?

— А что случилось?

— Только что сообщили, что Чкалов отправился в трансарктический перелет Москва — Петропавловск.

И Андрей прочел мне первую радиограмму с «АНТ-25», летящего над Баренцевым морем.

Полет

На другой день вся наша лаборатория занялась довольно странным на первый взгляд делом: мы добывали слезы. Как на грех, ни у кого не оказалось серьезных огорчений, так что пришлось придумать другие способы: моргание, напряженное вглядывание и т. д. В том, что слезы содержат лизоцим, мы убедились очень быстро. Но действует ли он на микрофлору глаза? Мы обсуждали этот вопрос и посматривали на часы — каждые три часа по радио сообщались координаты перелета.

На наших столах лежал вырезанный из «Правды» квадратик маршрута, и после каждой радиограммы, неизменно начинавшейся со слов «все в порядке», мы бросались к этому квадратику и отмечали новый пункт перелета.

К вечеру весь институт говорил только о том, как был дан старт и какие цели ставят перед собой пилоты...

В полночь, возвратившись домой, Андрей сказал, что они летят сейчас над Землей Франца-Иосифа на высоте 3000 метров и что им предстоит преодолеть очень сложный участок.

— Ты понимаешь, почему это дьявольски трудно? Потому, что до возвращения на материк они почти нигде не могут сесть на этой машине!

Спать не хотелось, и мы продолжали разговаривать — уже не о перелете.

— Так ты сердилась на меня? Ох, я свинья,— с глубоким раскаянием сказал Андрей.— А ведь мне, наоборот, казалось, что ты так ушла в работу, что забыла и думать обо мне. Это потому, что всегда нужно спорить до конца. А нам некогда — и мы расходимся или засыпаем, не доспорив.

Он подошел к окну.

— Смотри, какая ночь!

Ночь была легкая, светлая, какая-то не июльская, когда нагретые за день камни отдают тепло и духота не проходит до рассвета. Из нашего окна были видны кроны деревьев на Ленинградском шоссе, и мы долго стояли у окна, глядя на эти чуть покачивающиеся под ветром кроны.

— Пошли гулять, а?

И бесшумно, чтобы не разбудить Агнию Петровну, мы открыли дверь, спустились по лестнице, вышли на шоссе. Андрей спросил:

— Куда?

Я неопределенно махнула рукой, и мы пошли к площади Маяковского, потом по Садовой. В садике на площади Восстания мы посидели, а потом я спросила:

— Куда?

На этот раз Андрей неопределенно махнул рукой. И мы пошли неизвестно куда, все равно куда, потому что везде была эта легкая ночь с ясным полумесяцем, легко скользящим под легкими облаками, и везде была Москва, и везде говорили о Чкалове, который летел все дальше и дальше.

Москва начинала широко строиться в те годы. Еще странно было, приехав в Сокольники и поразившись тому, что длинные ряды деревянных домишек — тоже Москва, спуститься под землю, в метро, и открыть, что Москва —

это просторные залы, ярко освещенные матовыми шарами, далеко уходящие серые мраморные колонны и выбегающие из-под сводов, сверкающие никелем и стеклом поезда. Еще непривычно было видеть Моховую, залитую асфальтом. Новая площадь из тесного перекрестка, перерезанного трамвайными путями, совсем недавно превратилась в настоящую просторную новую площадь. Вдоль Москвы-реки протянулись гранитные набережные с лестницами, сбегающими до воды. Москворецкий мост был только что перекинут, и москвичи еще ходили любоваться его молочными фонарями, трехметровыми тротуарами, массивным парапетом из бледно-розового гранита. Как очень высокий человек, который долго стоял согнувшись, Москва начинала разгибаться, поднимать голову, расправлять плечи...

В юности Андрей писал, что хочет жить в Москве, потому что это город, в котором великое совершается почти ежедневно; это невольно вспомнилось мне в ту памятную июльскую ночь. Москва строилась — ночью это было заметнее, чем днем, когда движение и шум стройки заглушались уличным движением и шумом. Вдруг появлялись из-под земли метростроевцы и, громко разговаривая, как хозяева города, шли по улицам в куртках с откинутыми капюшонами, в резиновых сапогах выше колен. На Кремлевской набережной каменщики работали под ярким светом прожекторов. В Охотном ряду строили дом, за высоким забором были слышны голоса, стук молотков и время от времени что-то тяжелое падало с глухим обрывавшимся шумом. По Газетному переулку провезли на грузовиках вдруг сверкнувшие под фонарем полированные темно-красные плиты.

И везде говорили о Чкалове, о перелете, о том, каков запас горючего, о том, что у нас уже лето в разгаре, а там, где летит «АНТ-25», только еще начинается полярное лето.

В Пименовском переулке женщина выкладывала буханки хлеба на лоток в окне полуподвала, грузчики таскали их в машину, и в этом месте, вкусно пахнувшем хлебом, уютно озаренном светом, падавшим из пекарни, тоже говорили о перелете. Женщина спросила, что это значит — «идем солнцем на мыс Челюскин»; грузчик не знал, Андрей объяснил, и никто не удивился, что незнакомый человек, без кепки, в пиджаке, накинутом на плечи, объясняет в третьем часу ночи на улице, что такое «идти солнцем», и где находится мыс Челюскин, и какие научные цели поставили перед собой пилоты.

— Какие же цели? Рекорд! — сказал вернувшийся откуда-то шофер грузовика, и мы с Андреем стали доказывать, что не только рекорд, хотя рекорд, разумеется, тоже имеет большое значение.

— Тут разом решаются десятки задач,— сказал Андрей.— Во-первых, вслед за Великим Северным морским путем открыть Великий Северный воздушный путь. Во-вторых...

Женщина вышла из пекарни, за ней другая, толстый парень, спавший в кабине, проснулся, вылез и сел на подножку.

— Но это еще не все, а самое главное, что теперь оживут безлюдные районы Якутского Севера,— продолжал Андрей, забыв о том, что минуту тому назад сказал, что самое главное — это что-то другое.— И не только Якутского...

— Сообщение,— сказал, легко спрыгнув на мостовую, толстый парень, и все побежали в пекарню, где под черной тарелкой радио стояли рабочие в запачканных мукой халатах.

«...В 2 часа 10 минут самолет подошел к циклону, охватившему весь район Новой Земли. В очень тяжелых метеоусловиях, обходя циклон, самолет изменил курс и направился к бухте Тикси...»

Следующий день — 21 июля — был похож на день только потому, что было светло, а во всех других отношениях он необыкновенно походил на минувшую ночь. Все с увлечением работали, и дело шло, хотя вчерашних, с трудом добытых слез оказалось мало и пришлось прибегнуть к другому, более активному методу — нюханью хрена. Обсуждение моей догадки продолжалось, и Виктор высказал предположение, что лизоцим находится во всех органах и тканях тела. Мы встретили эту смелую мысль хохотом — и напрасно, потому что (это выяснилось через два-три года) он оказался прав.

Но все, что мы делали, о чем говорили, находилось в какой-то неясной, но несомненной связи с «АНТ-25», который был уже над морем Лаптевых и летел все дальше и дальше.

Вечером передали радиограмму: «Обледеневаем в тумане».

— Ох, уж долетели бы поскорее, жизни нет! — загля-

нув ко мне, сказала со вздохом Лена.— Сколько они уже в дороге?

— Не знаю. Лишь бы прошли над Охотским морем.

— Ты говорила, что Новая Земля — самое опасное место, а теперь, оказывается, Охотское море.

— Что же я могу поделать, Леночка?

— Я знаю, что ничего. Я только говорю, что самое опасное место почему-то передвигается все дальше и дальше..

— Ничего подобного. Они сами говорили перед стартом, что Охотское море — самый опасный участок.

Это произошло утром 22 июля. Мелкова из лаборатории Крупенского, толстая, кокетливая, всегда тщательно одетая, влетела к нам, не постучавшись, теряя шпильки, в распахнутом пальто и закричала:

— Сели на острове Удд!

Мы бросились к радио. «Успешно достигнув Петропавловска-на-Камчатке, самолет сбросил над городом вымпел и направился к Николаевску-на-Амуре. В одиннадцать часов десять минут утра Чкалов посадил самолет на маленьком островке Удд. Самочувствие хорошее. Машина в порядке».

Большие перемены

В нашей лаборатории работали представители четырех специальностей; соответственно и была использована «жилплощадь». В бактериологической комнате — так было заведено — не полагалось курить: на папиросу мог попасть инфицированный материал. Болтали и курили у биохимиков не потому, разумеется, что эта наука сама по себе способствовала подобному времяпрепровождению, а потому, что здесь не мяукали, как у фармакологов, кошки и стоял уютный кожаный диван, который я с трудом выпросила у завхоза. Именно в этой комнате Виктор каждую неделю грозился перевернуть вверх ногами всю современную биологию, а Иван Сергеевич Коломнин, не выпуская коротенькой трубочки изо рта, двумя фразами сводил на нет его грандиозные обобщения.

Прошел год с тех пор, как борьба за лабораторию кончилась нашей победой, и это был год медленного привыкания старых работников к новым, а новых — друг к другу. Труднее всего было с Коломниным, и не только по той причине, что у него был неприятный характер: он работал

так, как будто вокруг него были не живые люди, а автоматы, производящие те или другие действия, полезные для развития науки. Он был честен, точен, беспощаден к себе и одновременно чужд той общности научных интересов, без которой наша лаборатория, как и любая другая, была бы безжизненна и бесплодна. «В науке нужно интересоваться явлениями, а не людьми»,— однажды сказал он мне и только иронически поднял брови, когда Лена возразила, что человек — это и есть самое ценное явление в науке.

Весь этот год мы, фигурально выражаясь, ходили вокруг Ивана Сергеевича, стараясь понять и, если можно, приучить к себе этого человека.

На ростовской конференции дед в основном докладе высоко оценил одну из работ Коломнина, и по растерянной улыбке, с которой Иван Сергеевич снял очки и, точно просыпаясь, провел рукой по желтому сухому лицу, я поняла, что раньше он был глубоко обижен непризнанием своих заслуг в науке. С тех пор на всех конференциях, институтских и наркомздравских, я стала говорить об этих заслугах, и не думаю, что работе нашей лаборатории мешало то обстоятельство, что я, может быть, даже немного преувеличивала их значение.

Катя Димант часто болела и работала мало. Зато Лена — с азартом! Едва ли позволительно приложить к научной деятельности понятие «лихость», но именно это слово неизменно приходило мне в голову, когда, живая, веселая, похорошевшая, на ходу надевая халат, она влетала в лабораторию. До сих пор в работе она шла напролом, не ища обходных путей. Теперь у нее появилась откуда-то изобретательность, даже хитрость. Она любила возиться с испытанием токсичности препаратов и достигла в этом трудном деле той «красоты», о которой любил говорить Лавров. И записи у нее были подчеркнуто точны и необычайно красивы.

Но отчетливее всего движение вперед было заметно на Викторе, напоминавшем по таланту Митю, но далеко не склонном бросать свои, подчас блестящие, обобщения на ветер. Этот все еще молодой человек — он начал работать в рубакинской лаборатории студентом второго курса — был из породы тех настоящих ученых, которые, по словам Павлова, с радостью отдали бы науке не одну, а две свои жизни. Он был хорош собой: высокого роста, белокурый, с порывистыми движениями, с тонким, милым лицом. Девушки заглядывались на него, но куда там! Это было от-

ложено «на потом», а пока... что могло сравниться с его самозабвенной преданностью работе? Читал он всегда и везде, спорил страстно, был вспыльчив и по-детски отходчив.

Случалось ли вам испытывать чувство возвращения времени, когда начинает казаться, что происходившее с вами уже было когда-то — в детстве или, быть может, во сне? Врачи называют это явлением ложной памяти.

С этим странным ощущением я остановилась однажды в комнате биохимиков перед плакатом, на котором Катя Димант старательно изобразила план работы нашей лаборатории в третьем, решающем году второй пятилетки. Я сама указала ей темы, многие из них соответствовали кругу еще не решенных вопросов — почему же мне показалось, что в жизни уже была когда-то эта минута?

Случалось, что это чувство не только не тяготило меня, а, напротив, принимало какой-то счастливый оттенок — как будто я возвращалась к тем временам, когда полудетское воображение впервые с изумлением остановилось перед сложностью и красотой живого. В эти минуты мне начинало казаться, что каким-то чудом я попала в тот самый «Институт защитных сил природы», о котором мечтал некогда Павел Петрович. Но быстрые, легкие шаги слышались за дверью лаборатории, невысокий, вежливый человек с пухлыми щечками входил, блестя пенсне, и призрачное сходство исчезало при звуках этого голоса, подчеркивающего каждое слово.

Казалось, невозможно было привыкнуть к этим скользящим, настороженным отношениям. Но они продолжались годами, и в конце концов я если не привыкла к ним, так по меньшей мере научилась бороться с тем инстинктивным чувством неприязни, которое неизменно возбуждал во мне Валентин Сергеевич. Знал ли он о том, как я к нему отношусь? Без сомнения, но выводы были сделаны особенные, в крамовском духе. Сперва изредка, потом все чаще в его докладах, выступлениях, речах стало появляться мое скромное имя, а если не мое, то Коломнина, Виктора, Лены... Догадов выступил против меня на Ученом совете, и, к общему удивлению, директор решительно встал на мою точку зрения. Впрочем, вопрос был незначительный. «Timeo Danaos et dona ferentes»,— заметил по этому поводу Коломнин, немного гордившийся своим знанием

латыни. «Боюсь данайцев, даже дары приносящих». Однако это были «дары», о которых мы давно мечтали: в течение тридцать пятого года наша лаборатория получила новейшие приборы, о которых прежде я не смела и заикнуться. С людьми было сложнее.

— У Пастера было не больше сотрудников, чем у вас, дорогая Татьяна Петровна,— ответил Крамов, когда я обратилась к нему с просьбой увеличить штат лаборатории на два человека. И добавил, не объясняя: — Рано.

Нужно сказать, что в то время, о котором я пишу, наши отношения должны были измениться еще по одной очень важной причине. Причина эта заключалась в том, что не только наша лаборатория, но и весь Институт биохимии микробов постепенно начал занимать в жизни Валентина Сергеевича все менее заметное место. Начиная приблизительно с середины тридцатых годов фамилия Крамова стала все чаще упоминаться на страницах газет и журналов. «Теория Крамова», «работы крамовской школы», «круг вопросов, разрабатываемый Крамовым и сотрудниками» — эти выражения повторялись на каждом шагу в специальной печати, а из нее проникали и в общую.

В конце тридцать пятого года Валентин Сергеевич стал директором еще одного научного института. Он был членом Ученого совета Наркомздрава; причем без его участия не решалось ни одно серьезное дело, в особенности если оно касалось какого-либо общего теоретического вопроса. Его «Учение об инфекции», еще в двадцатых годах стоявшее па почетном месте в библиотеке каждого работающего микробиолога, несколько раз переиздавалось с исправлениями и дополнениями.

На чем было основано это признание? Почему по всем микробиологическим вопросам журналисты обращались именно к Крамову, и ни к кому другому? Не знаю. Это была та «магия», с которой мы столкнулись впервые, когда воевали против Валентина Сергеевича, задумавшего передать нашу лабораторию в Рыбтрест.

Впрочем, нельзя сказать, что меня в ту пору так уж интересовало это загадочное явление. Крамов долго мешал нам работать — трудно было не оценить теперь его вполне реальную помощь. Даже язвительный Коломнин, явившийся однажды на работу с подсчетом, из которого следовало, что фамилия Крамова в течение лишь одного месяца восемь раз упоминалась на страницах «Медицин-

ского работника», вынужден был признать, что к работам нашей лаборатории директор относится с особым уважением.

Теперь случалось, что, встречаясь, мы разговаривали не только об институтских делах.

— Вас когда-нибудь терзают угрызения совести, Татьяна Петровна? — спросил он меня однажды.— У меня бывают дни, когда я положительно не знаю, куда мне от них деваться. Это значит, не правда ли, что в конечном счете я не такой уж плохой человек?

Он поправил пенсне и вздохнул:

— Ничего не поделаешь! Страсти.

Не знаю, были ли эти «страсти» причиной того, что за последнее время в нашем институте что ни месяц появлялись новые люди, заявлявшие в той или другой, явной или замаскированной форме, что они всегда были сторонниками крамовской теории.

Во главе этих новых — да и старых — учеников Валентина Сергеевича стоял Крупенский — фактически именно на него Крамов оставил наш институт. Это был действительно ближайший его последователь — не референт, погруженный в изучение «подтверждающей литературы», как Бельская, которую Валентин Сергеевич выписал из Казани, не абстрактный догматик, как Догадов, а доверенное лицо, боевой представитель школы, ученый, редко печатавшийся, но часто выступавший; он не пропускал ни одного заседания, на котором могла быть затронута крамовская теория, и что-то фанатическое сквозило подчас в самом упорстве, с которым он в сотый раз разъяснял, развивал, защищал работы своего учителя, обрушивался на противника, высмеивал возражения.

Был ли он искренен? Не знаю. Нередко в разговорах с Валентином Сергеевичем я испытывала странное чувство столкновения с каким-то расчетом, сложным, рискованным. На докладах и речах Крупенского мною овладевало точно такое же, хотя и менее ясное чувство.

Внешность у него была заметная: острое, горбоносое лицо с быстрым, оценивающим взглядом, тонкие губы, узкие плечи; большая, торчащая, начинающая седеть шевелюра. Впрочем, что-то узкое, то врубающееся, то скользящее мелькало даже в его движениях, когда он стремительно бросался к кафедре, нервно одернув засыпанный пеплом пиджак.

ГЛАВА ПЯТАЯ

БЫСТРОЕ ТЕЧЕНИЕ

Снова о плесени

Андрей уезжал озабоченный, но веселый, точно предстоящая борьба с эпидемической вспышкой даже чем-то заранее веселила его. Азарт поблескивал в светлых глазах, видно было, что мысленно он уже «засучил рукава».

В Средней Азии, в Кара-Кумах, в туркменских степях он воевал с болезнями, «прилетающими на крыльях», с лейшманиозом, который передается москитами, с малярией, которую переносят комары. Он увлекался авиаопылением, борьбой против малярийного комара с самолетов: сотни тысяч гектаров заболоченной земли были опылены под его руководством. На одной из далеких границ Советского Союза он занялся беспощадным уничтожением крыс — переносчиков чумы и сыпного тифа.

Обычно, вернувшись из командировки, Андрей подробно рассказывал о ней, и это было интересно, потому что всякий раз он встречался с новой загадкой, которую обязан был решить, как бы это ни было трудно. Так, однажды он столкнулся с необъяснимой эпидемией кори, последовательно переходившей из одного городка Кировской области в другой, и разгадал причину эпидемии, убедившись в том, что она возникает через определенный срок после гастролей маленького разъездного зверинца. Мартышки болели корью и заражали детей.

Но были другие загадки, о которых, вернувшись в Москву, он не говорил ни слова. Молчаливый приезжал он домой, и по его задумчивости, по заметному усилию, с которым он старался в семье забыть о том, что тревожило и возмущало его, я понимала, что он снова — в который раз! — столкнулся с недоверием, мешавшим работать и граничившим с преступлением.

Почему я так долго сопротивлялась самой мысли о том, что наша жизнь с тех пор, как он перешел в Санэпидуправление, стала совершенно другой? Прежде я знала, что как бы ни был проведен день, с каким бы чувством ни ушла я из лаборатории,— пройдет два или три часа, и я расскажу о всех своих радостях и огорчениях Андрею. Мы виделись мало, и все-таки это была настоящая семейная жизнь, состоявшая из ежедневных, нисколько не утомительных забот друг о друге, о сыне.

Случалось, что мы как бы менялись мыслями или угадывали мысли друг друга, и тогда ощущение душевной близости особенно остро вспыхивало в душе. Я прекрасно знала, когда я люблю его больше, а когда меньше, и научилась терпеливо ждать, когда кончится это «меньше». Даже наши редкие ссоры каким-то образом принадлежали к тому общему, без которого ни он, ни я не могли быть счастливы и спокойны.

Теперь весь уклад нашей семейной жизни стал совершенно другим. Правда, теперь Андрей — когда он бывал в Москве — значительно раньше возвращался с работы. Но возвращался он расстроенный, раздраженный, усталый, и мы говорили — шепотом — о тех необъяснимых, пугающих переменах, которые происходили в стране.

Так бывало всегда: останавливаясь перед еще неясной догадкой, я заглядывала в записи лекций, которые Павел Петрович некогда прочитал нам. Я как бы прислушивалась к его негромкому, торжественно-строгому, давно умолкнувшему голосу, подобно тому как музыкант, настраивая свой инструмент, прислушивается к камертону.

Но, конечно, нечего было надеяться, что найдется рукопись, попавшая в руки грязного дельца, который и сам-то пропал без вести! Однако жил на земле человек, который был уверен, что можно разыскать Раевского, а через него и эту рукопись, о которой все забыли и думать. Более того, этот человек искал ее — и не сомневался в успехе!

Я давно не упоминала о своем отце,— с тех пор как он уехал на Амур с твердым намерением привезти на сельскохозяйственную выставку быка «симментальской породы». Но однажды он прочел обо мне заметку в «Известиях» и прислал восторженное письмо, в котором упоминал между строк, что всегда предсказывал мне блестящую будущность в медицинской науке.

Мы стали переписываться, и, хотя это были, главным образом, рассуждения о том, какое значение имеет складское дело для развития транспорта в Советском Союзе, все же я теперь много знала об отце и радовалась тому, что знала. Пятый год он работал в камере хранения на одной из маленьких станций недалеко от Ташкента. Пятый год — уже и это было на него удивительно непохоже! Он бросил пить — не сразу, как это неосторожно сделала его покой-

ная супруга, а постепенно, согласно разработанной им «оригинальной» системе.

К одному из писем было приложено фото: грустный седоусый человек с маленьким носиком смотрел на меня добрыми глазами; и, рассматривая это фото, я, быть может, впервые в жизни не испытала того чувства, которое неизменно возникало в душе, когда я думала об отце,— смешанного чувства жалости и стыда, горечи и недоумения.

Несколько раз он настойчиво спрашивал, удалось ли мне разыскать рукопись Павла Петровича,— по-видимому, наш последний разговор в Ленинграде, когда я сказала ему, что вся моя жизнь зависит от того, найдется ли эта рукопись, сохранился в его памяти и беспокоил его. «Надо ли, нет ли, а инцидент не исчерпан! — грозно восклицал он.— Оставить не могу, даже если бы и просила. Это не царизм! Адрес Раевского можно узнать через лопахинских, которых встречал и встречаю. А узнавши адрес, советую припечатать типа, согласно закону».

У меня с лопахинцами, кроме Володи Лукашевича, давно оборвались связи, и, не дождавшись, пока я возьмусь за дело, отец сам стал разыскивать земляков, разбросанных по всем городам и селам. К тому времени, о котором я пишу, он, по-видимому, напал на след... Впрочем, трудно было разобраться в его витиеватых письмах.

В этот вечер я рано вернулась домой. Павлик еще не спал. Скрестив ножки, он сидел на постели и серьезно разговаривал с Агнией Петровной о Мише мордастеньком, у которого, оказывается, было два папы. Утром, гуляя с Павликом по Ленинградскому шоссе, бабушка точно установила этот факт.

— Бабушка, а у тебя был папа?

— Был, деточка.

— Один?

Агния Петровна долго не отвечала, должно быть задумалась, и Павлик, повторив свой вопрос раз десять, решил переменить тему:

— Бабушка, а почему, когда другой ест мороженое, тот тоже хочет?

Я услышала этот разговор из соседней комнаты и вошла, когда Агния Петровна сложно доказывала, что

«тому» не следует хотеть, что это плохое чувство называется завистью, и т. д.

Андрей позвонил, что скоро приедет, и Агния Петровна ушла, чтобы приготовить ужин. Павлику пора было спать, но он так жалобно стал просить: «Ну, мы немножко поговорим, хорошо?» — и мне самой так этого хотелось, что пришлось пойти на обман: погасить верхний свет и прикрыть дверь, чтобы бабушка не могла догадаться, что мы сидим в полутьме и болтаем.

— Расскажи, мамочка. Это сказка?

— Сказка. От бабушки влетит.

— Не влетит,— шепотом сказал Павлик.— Она не услышит.

Павлик обнял меня за шею.

— Ну ладно. Только с условием. Я стану рассказывать, а ты спи. Жил-был на свете старый доктор. На вид он был очень страшный — сгорбленный, бородатый, а на самом деле добрее его не было никого на свете. И была у него дочка, которую звали Машей...

Сказка была близка к концу, когда дверь приоткрылась и Агния Петровна сказала шепотом:

— Танечка, к телефону.

— Андрей.

— Нет.

Это был Крамов.

— Татьяна Петровна, сижу над вашим планом и, признаться, не могу найти дорогу среди вопросительных знаков.

— Каких вопросительных знаков?

— На полях.

— Я не ставила на полях вопросительных знаков.

— Вы-то нет! Зато я то и дело ставлю. Вы не могли бы приехать ко мне?

— Когда?

— Да хоть сейчас. Жду вас.

Еще недавно я от души удивилась бы, услышав это любезное приглашение. Но на новогоднем вечере в Доме ученых Крамов открыто представил Глафиру Сергеевну как свою жену, и она сообщила всем по очереди — в том числе и мне,— что до сих пор Валентин Сергеевич жил замкнуто, одиноко, а теперь она намерена устроить совсем другой, «открытый» дом, в котором часто будут собираться друзья.

По некоторым намекам можно было понять, что про-

шлое Глафиры Сергеевны не имеет ни малейшего отношения к настоящему и что такую почтенную пару, как Татьяна Петровна и Андрей Дмитрич, она всегда будет рада увидеть в своем почтенном семейном доме. Вероятно, она была бы изумлена, услышав, какими словами — весьма выразительными — воспользовался Андрей Дмитрич, чтобы оценить это приглашение! Так или иначе, а ехать все-таки нужно было: директор института вызывает заведующую лабораторией, а был ли он женат и на ком — не имело ни малейшего отношения к делу!

На третьем этаже было полутемно, я не сразу разобрала номер и отдернула руку от звонка, услышав за дверью чей-то задыхающийся голос.

— Вы шантажист! И если вы еще раз посмеете явиться ко мне...

— А я и не к вам. Я к вашей супруге. Проходил мимо и подумал, а почему бы и не зайти?

— Вы врете! Она посылала вам деньги!

— Ну и что же?

— А то, что этого больше не будет! Я знаю, вы были у нее на днях и снова выпрашивали. Она поручила мне передать вам...

— Поручила? Вот это я бы желал услышать от нее лично.

— Вон!

Дверь распахнулась, и я увидела Крамова и еще какого-то одутловатого человека, которые смешно топтались в тамбуре двери. Но это продолжалось только несколько секунд, а потом Крамов увидел меня, и точно кто-то сдернул маску с его бешеного лица с набрякшими губами, маску, под которой показался прежний сдержанный Крамов.

— Это вы, Татьяна Петровна? Извините, я тут...

Одутловатый человек пожал плечами и, надвинув кепку, стал неторопливо спускаться по лестнице.

— Прошу вас, Татьяна Петровна.

Мы прошли в переднюю, и с преувеличенной вежливостью Валентин Сергеевич помог мне снять пальто и пригласил в кабинет.

С интересом оглянулась я вокруг себя, прежде чем начался наш разговор: о Крамове говорили, что он собирает коллекцию старинных медицинских книг и гравюр, что

какой-то знаток мебели покупал для него обстановку в Ленинграде,— словом, что он богат, как ни странно звучит теперь для нас это полузабытое слово. И действительно, кабинет был обставлен богато: на полу лежал большой красный ковер, вдоль стен в тяжелых рамах висели картины. Зеленая малахитовая ваза стояла на камине. Мебель была черная, не знаю, какого времени и стиля — стулья с высокими узкими спинками и глубокие массивные кресла. Все было прочно, устойчиво, солидно, и среди этих прочных, тяжелых вещей легко ходил, поднимаясь на цыпочки, прекрасно одетый маленький человек с умным, бледным лицом и осторожными глазами.

Я попросила разрешения взглянуть на коллекцию, и Крамов сразу оживился, расцвел.

— Ох, большего удовольствия вы не могли мне доставить!

Корешки книг виднелись сквозь стекла дубового шкафа. Он открыл дверцу и, сказав весело: «Наудачу!», вытащил толстый том в порыжевшем кожаном переплете. Но, по-видимому, это было сделано не совсем наудачу, потому что я увидела письма Левенгука на латинском языке, изданные в Лейдене в конце семнадцатого века.

— Ого!

— А это?

И он осторожно вытащил из шкафа книгу, которая была переплетена в толстые, скрепленные медными застежками доски.

— Парацельс,— торжественно сказал Крамов.— Ученый, который в пятнадцатом веке соединил химию с медициной. В пятнадцатом, когда у нас еще волхвы да ворожеи шептанием лечили! А что вы скажете об этом экземпляре?

— «Слово о сложении тела человеческого, все анатомическое кратко в себе заключающее»,— с трудом прочитала я название старинной рукописи, которую он развернул передо мной.— Вы и рукописи собираете?

— Да. И гравюры.

Глафира Сергеевна вошла, когда мы рассматривали гравюры, принесла чай, печенье, конфеты. Мы поздоровались. Торопливо, точно боясь, что Крамов не даст ей договорить, Глафира Сергеевна стала спрашивать меня, как здоровье Андрея, где мы думаем провести отпуск. Крамов вставил несколько слов, и она оглянулась на него с каким-то неуверенным выражением. Потом он нетерпеливо под-

нял брови, и она мгновенно исчезла — большая, красивая, в слишком нарядном для дома платье, с пустым подносом в руках.

«Вот как!» — подумала я с интересом.

Добрый час Валентин Сергеевич показывал мне редкие книги, «курьезы», как называл он рукописи разных чудаков, пытавшихся с помощью поваренной соли или настойки из пчел произвести переворот в практической медицине. Наконец я напомнила о плане.

— Должен заметить, что я с величайшим удовольствием познакомился с вашим планом. В него входишь, как в хороший дом,— все обдумано, прочно, солидно. На своем месте окна, потолки, двери. Но не кажется ли вам, дорогая Татьяна Петровна, что ваш дом стоит несколько в стороне от дороги? Причем эта обособленность заметна не только в плане, но и в последних работах вашей лаборатории. Работы очень интересные,— поспешил он добавить,— в особенности о желчи, но... «Мы занимаемся вопросами, которыми не занимается никто, кроме нас»,— вот что звучит на каждой странице.

Статья о желчи принадлежала Лене, и, читая гранки, она советовалась со мной: упоминать ли о крамовской теории иммунитета? Решено было не упоминать, тем более что эта теория не имела ни малейшего отношения к вопросу. Уж не это ли обстоятельство имел в виду Валентин Сергеевич?

— Почему же никто, кроме нас? А Богородский в областном институте?

Крамов улыбнулся.

— Областной институт — это совсем другое дело, Татьяна Петровна! Чем только не занимаются в этом благословенном учреждении! А у нас хотелось бы — разумеется, до этого еще очень далеко — сосредоточить усилия вокруг проблем иммунологического значения. Петр Николаевич знаком с вашим планом?

— Нет еще.

— Жаль. Интересно было бы узнать его мнение. А кстати, Татьяна Петровна, я хотел вас спросить: что это он вдруг замолчал?

— Как замолчал?

— Да очень просто! Скажет два слова и молчит.

— Не знаю, не замечала. Что же, вы полагаете, нужно изменить в нашем плане?

— Изменить? Ровно ничего. Но если бы вам удалось

связать его с характерным направлением, которым отличается именно наш институт,— это было бы превосходно.

Я промолчала.

— А вы не думаете, что Мерзляков ставит перед собой скорее физиологическую, чем микробиологическую задачу? — продолжая просматривать мой план, спросил он.— Влияние сна на воспалительную реакцию. Почему, собственно говоря, этот вопрос нужно решать в нашем институте? На вашем месте я бы дал ему что-нибудь другое.

— Например?

— Не знаю. Надо подумать. Татьяна Петровна, а почему бы вам не заняться...

Крепко сжав за спиной маленькие ручки, он расхаживал по кабинету, и настоящая страсть — или я ошибалась? — звучала в его голосе, когда он убеждал меня в том, что все лаборатории нашего института должны соединить свои усилия, чтобы создать всеобщую теорию иммунитета.

— Может быть, еще чаю? — спохватившись, спросил он.

Я поблагодарила и отказалась.

— А хорошо все-таки, что мы больше не ссоримся. И все-таки, скажу откровенно, я вас еще не совсем понимаю. Ну вот, скажем, откуда взялась в вашем плане зеленая плесень? В свое время вы занимались влиянием плесени на светящиеся вибрионы — безуспешно, если я не ошибаюсь. И тогда она вызывала у меня, извините, представление о задворках науки. Ведь на задворках,— мягко прибавил он,— обычно пахнет плесенью и валяется мусор.

Это было несправедливо хотя бы по той причине, что плесень стояла среди необязательных тем. Но это было еще и обидно!

— Не знаю, что вы хотите сказать вашим замечанием, Валентин Сергеевич. Мне-то всегда казалось, что в науке нет и не может быть ни задворок, ни парадных ходов. Вероятно, шлифование стекол тоже считалось задворками науки во времена Левенгука! Что касается плесени...

Он остановил меня, улыбаясь:

— Знаете, Татьяна Петровна, есть у австралийцев этакая кривая палка, которая возвращается обратно, куда ее ни забросишь. Называется — бумеранг. Что заставляет вас с последовательностью бумеранга возвращаться к этому вопросу? Мне смутно помнится, что кто-то уже пытался найти в плесени бактерицидные свойства.

— А кто именно? Это было опубликовано?

Крамов задумался.

— Постойте-ка... Где же я об этом читал? Нет, не могу припомнить. Татьяна Петровна, да ведь нельзя же к этому относиться серьезно!

— Валентин Сергеевич, мы недавно начали эту работу и уже успели убедиться в том, что плесневый грибок подавляет рост некоторых стрептококков.

— Ну и что же? Вы утверждаете,— спросил, улыбаясь, Крамов,— что в основе вашей работы лежит изучение защитных сил организма? Спрашивается, какое отношение имеет к механизмам этой защиты ваша зеленая плесень?

Я не нашлась, что ответить, и, деликатно помолчав, Крамов заговорил о поездке в Ростов — весной в Ростове предполагалась конференция, на которой наш институт должен был выступить с новыми работами.

— Вся надежда на ваш лизоцим,— шутливо, но с намеком, что в этой шутке есть и серьезная сторона, над которой мне нужно подумать, сказал он.— Вчера в организационном комитете обсуждали программу. Ваш доклад назначен на первый день. Нет возражений?

С неприятным чувством раздвоенности ушла я от Крамова и всю дорогу старательно уверяла себя в том, что новые темы, появившиеся в нашем плане,— это очень важные, интересные темы.

В Ростове

Это была одна из тех конференций, на которых вновь добытые наукой факты не укладываются в теоретические построения, еще вчера казавшиеся бесспорными, как аксиома. Факты эти касались природы фага.

Я сидела в этот день рядом с Коломниным, и, слушая Крамова, он сказал мне, что пора серьезно заняться теорией — не на совещаниях, а в лаборатории.

— И очень хорошо, что вы согласились включить в наш план новые темы, Татьяна Петровна.

— Вы думаете?

— В крайнем случае потеряем полгода.

— Не мало...

— Слово предоставляется профессору Скрыпаченко,— сказал председатель.

И на кафедру поднялся высокий, смуглый человек в

длинном пиджаке, с неопределенно-осторожной улыбкой, чуть показывающейся на тонких губах.

Это был один из ростовских учеников Валентина Сергеевича, закончивший свой доклад словами: «Итак, в сложном вопросе о природе фага мы являемся свидетелями бесспорной победы крамовского направления».

Победа — это было сказано слишком сильно. Точнее было бы сказать — успех, и этот бесспорный успех определился примерно на третий день работы, когда все происходившее на конференции стало как бы само собой поворачиваться в сторону крамовской школы. Почти в каждом сообщении упоминались имена Крупенского, Бельской, Мелковой. Все стало «крамовским», в том числе и мой доклад по лизоциму, не имевший к теории Валентина Сергеевича ни малейшего отношения.

С волнением ждала я встречи с Митей. Он писал нам, и, читая эти письма, в которых, подсмеиваясь над собой, он рассказывал о том, как ему живется в Ростове, я невольно сравнивала их с письмами Андрея — почерки были очень похожи. Но для Андрея письма всегда были как бы средством объяснить себе и мне то, чем заняты его ум и сердце. А Митя не только не стремился открыть себя, а, напротив, прятался в свои остроумные письма. Но как он ни прятался, а кое о чем я догадывалась, тем более что хвостики нашего памятного разговора — накануне его отъезда из Москвы — время от времени мелькали среди торопливых строк.

Не помню названия улицы, на которой он жил, помню только, что окна комнаты выходили на бульвар, по которому до поздней ночи гуляли молодые ростовчане.

В этот вечер мы остались одни: наши с утра отправились на «Ростсельмаш» и позвонили, что с завода поедут еще куда-то. Было тихо, луна поднималась над городом — огромная, красная, «магнетическая», как сказал о ней Митя. И действительно, от нее почему-то было трудно отвести глаза. Фонари нежно и ярко освещали пышные липы бульвара.

— Вы ни о чем не хотели бы спросить меня, Таня?

— О многом.

— Так спрашивайте. Но сначала я: вы довольны, что на меня больше не нужно топать ногами?

— Довольна. Я не топала.

— Топала,— с удовольствием сказал Митя.— И кричала. И была уверена, что помогло, не правда ли?

— Нет, не была уверена. А помогло?

— Не очень.

Митя замолчал. Несколько дней назад, когда он встречал нас на вокзале, я обрадовалась, найдя, что он почти не переменился за год. Но сейчас, в сумерках, что-то орлиное, мрачное стало заметно в его осунувшемся лице с высоко поднятыми бровями.

— Не очень,— грустно повторил он.— Вы не поверите, Таня, как много сил я трачу, чтобы забыть о ней. Я стараюсь вспомнить ваши доводы и нахожу тысячи возражений, которые вам и Андрею показались бы, вероятно, просто смешными. Каждое утро я задаю себе урок — не думать о ней. Я разорвал единственную фотографию, которую привез с собой из Москвы, а потом целую ночь составлял ее из кусочков и клеил. Вот, взгляните.

Должно быть, Глафира Сергеевна была снята давно, лет десять тому назад. Прелестное, задумчивое лицо с нежным овалом, с тонко очерченным, немного припухшим ртом смотрело на меня с портрета. В сумерках трудно было заметить, что портрет был разорван и склеен.

— Вот так-то, милый друг... Здесь, в Ростове, я встретился... Меня познакомили с одной женщиной, и мне показалось... Это очень хорошая женщина, умная и простая...

Митя снова замолчал. Он был очень взволнован.

— И что же?

— Да ничего. А ведь очень милая. Красивая.

— Она врач?

— Почему вы догадались? — живо спросил Митя.— Да, хирург. Ученица Б.—И он назвал знаменитого ростовского врача, который приезжал в зерносовхоз к Репнину.— Я ей говорил, что Глафира Сергеевна всю жизнь требовала, чтобы я перестал быть самим собой. А она спрашивает: «Она хотела этого для себя? Или для вас?»

— И что же?

— А как бы вы, Таня, ответили на этот вопрос?

— Разумеется, для себя. Если иметь в виду, что она хотела сделать из вас не ученого, а карьериста. Ох, Митя, вы всегда понимали ее слишком сложно! Ведь, в сущности говоря, Глафира Сергеевна — простой человек. Она надеялась, что вы отдадите все силы своего ума и души тому делу, которое кажется ей самым важным: устройству

удобной, легкой, великолепной жизни. А вы погрузились в изучение вирусной теории происхождения рака — весьма запутанный вопрос, не имеющий к легкой жизни даже самого отдаленного отношения. И все это стало так заметно, когда она...

Теперь я замолчала.

— Говорите, Таня.

— Когда, выйдя замуж за Валентина Сергеевича, она получила возможность показывать гостям альбом с газетными вырезками, в которых хоть раз упомянута фамилия Крамова.

Митя сидел выпрямившись, откинув плечи и неподвижно глядя на линию фонарей, изогнувшуюся на повороте и уходящую в темноту вдоль бульвара...

У старых друзей

Все эти годы я следила за жизнью «Зерносовхоза-5» — и не только по газетам. Старые друзья не забыли обо мне, писали, хотя и не особенно часто. Я знала, что к зерносовхозу подведена железнодорожная ветка, что снимают теперь 15—17 центнеров зерна с гектара, что липки вдоль проспекта Коммуны подросли и стали, как писал Бородулин, «типичными, нормальными липами». Меня давно тянуло в зерносовхоз, где были проведены такие трудные, но хорошие годы.

Я знала, что вскоре после моего отъезда Репнин затосковал и вдруг исчез... Куда? Этот вопрос на все лады разбирался в зерносовхозе. Почему перед своим исчезновением он часто бывал в Сальском райздраве? Почему, встречаясь с друзьями, горячо осуждал недостаток хороших фельдшеров в зерносовхозе, без которых, по его мнению, поставить медицинское обслуживание на должную высоту было невозможно? И все объяснилось, когда Репнин вернулся с молодой женой, некой М. Спешневой, которая стала работать фельдшером в медпункте зерносовхоза.

А вскоре я получила письмо и от самой М. Спешневой. «Не только потому пишу я тебе, дорогая Таня,— так начиналось письмо,— что хочу известить о самой большой перемене, которая только может быть в моей жизни. Но и потому, что Данила Степанович, так же как и я, хочет, чтобы ты первая узнала об этом. Тебе одной он рассказывал о своем чувстве, и ты одна можешь оценить, что, если

бы я не встретилась с ним, для меня навсегда осталась бы закрыта дорога к личному счастью».

Данила Степаныч приписывал, что без нас Машенька ни за что не соглашалась «сыграть свадьбу», насилу умолил, и Андрей, вдруг загоревшись, решил, что ближайший отпуск мы непременно проведем в зерносовхозе. Но первый ближайший не состоялся, а второй я провела в Крыму. Зато когда стало известно, что совещание по фагу состоится в Ростове, я написала Репниным и получила в ответ длиннейшую телеграмму, в которой подробно сообщался новый маршрут — из Ростова в «Гигант», а из «Гиганта» по новой железнодорожной ветке в «Зерносовхоз-5» — и высказывалось твердое убеждение, что на свете нет такой силы, которая заставила бы меня и на этот раз не сдержать обещание...

Репнины жили на самой окраине Главного Хутора, в том самом месте, где, насколько я могла припомнить, доктор Дроздов, заведующий Сальским райздравом, некогда раскинул свой изолятор. Теперь здесь, в глубину по обеим сторонам дороги, стояли домики, одноэтажные, со сверкающими на солнце белыми железными крышами, и в одном из них жили Данила Степаныч и Маша. Но, подойдя к палисаднику, в котором горделиво покачивались высокие конопели, я увидела не хозяина и не хозяйку, а худенькую пожилую женщину, стриженую, с кудрявыми волосиками на маленькой, как у ребенка, головке. Женщина развешивала на веревке белье и оживленно беседовала — очевидно, сама с собой, потому что в палисаднике, кроме нее, лишь разгуливали с глухим кудахтаньем куры. Это была Мавруша — старенькая сожительница Павлы Кузьминичны — Машенькиной мамы.

— Тетя Мавруша, принимайте гостей!

— Ах ты господи, приехали! А наших-то дома нет! Да заходите же! Говорила я Даниле Степанычу, что сегодня приедут гости дорогие! Заходите же в дом! Поцеловаться-то можно?

Я обняла старушку.

— Здравствуйте, Мавруша, дорогая!

Мы зашли в просторные сени, потом в комнату, которую нельзя было назвать просто чистой, потому что она была уже какой-то пречистой — с сияющим белым полом, по которому было страшно ходить, со скатерками, накидочками, дорожками, лежавшими решительно везде, где только можно было их положить, и с попугаем в клетке,

который, увидя нас, закричал: «Никак нет, ваше благородие!» — обнаружив тем самым, что его сознательная жизнь началась в дореволюционное время.

— Так вы, Мавруша, теперь с молодыми живете?

— Второй год. Ведь Павла Кузьминична-то умерла!

— Вот что!

— И так упрямилась, так упрямилась, ни за что не хотела. Уже доктора по секрету говорят, что надежда хотя есть, но самая малая, и нужно, говорят, приготовиться ко всему, а она услышала и спорит, что у вас, дураков, малая, а у меня большая, и вы смотрите, как бы прежде меня концы не отдать. Так и сказала. Мне на Машеньку было больно смотреть, как она ее мучила: «Плохая, плохая, не любишь мать, плохая!» А плохая-то со всего света докторов позвала, только и слышишь: «Мавруша, чайник согрей!» А чайник как на грех распаялся, его Павла на керосинке забыла, я прибежала, а носик-то уже на полу лежит. И такой славный чайничек был, мне его одна чиновница подарила, я тогда еще в Новочеркасске жила...

Мавруша стала упрашивать меня отдохнуть с дороги, но дорога была нетрудная. И, успокоив старушку, которая порывалась пойти вместе со мной, я отправилась к Машеньке на медпункт.

— Медпункт? — с удивлением спросил меня белокурый паренек, стоявший у подъезда дома, в котором помещалась моя «лекарня».— Может, больницу? Как пройдете проспект Коммуны, направо — метеостанция, а налево — больница.

Напротив метеостанции стояла в прежние времена какая-то полуразвалившаяся хата, должно быть служившая чабанам приютом в ненастные дни. Теперь, пройдя к саду, обнесенному невысоким забором, я увидела три белых домика, соединявшихся дорожкой, вдоль которой росли кусты. По дорожке шла девушка в косынке, в белом халате и держала в руках никелированную коробку — медсестра, а поодаль на скамейках сидели люди в халатах — больные.

С волнением смотрела я на эти домики, которые оказались не такими уж маленькими — каждый в десять окон,— когда я подошла к ним поближе. «Роддом» — прочла я на одном из них, и мне вспомнился разговор с директором, упрекавшим меня за то, что я выписала «вы-

ставку-лубок по охране материнства и младенчества», не рассчитав, что самому младшему из жителей зерносовхоза было не меньше 16—17 лет. Небось пригодилась теперь моя выставка, если не заменили ее давным-давно другой, побогаче!

Возле кабинета, в котором принимала Маша, сидели больные, я уселась на диванчике в приемной и приготовилась ждать. Впрочем, ждать долго не пришлось: точно такая же, как пять лет назад, только, может быть, немного бледнее и тоньше, Маша вышла из кабинета и принялась с озабоченным лицом считать больных,— как видно, торопилась домой. Меня она тоже хотела сосчитать, всмотрелась, негромко вскрикнула: «Таня!» — и бросилась ко мне.

— Да что же мне ничего не сказали! Ты давно ждешь меня?

— Сию минуту пришла. Ты не торопись, я подожду. Помочь тебе? Помнишь, ты мне помогала?

— Ну что ты! Я скоро кончу. Ты была у нас?

— Да.

— Маврушу-то хоть застала? Ты не отдохнула с дороги!

— Какая там дорога! Иди кончай, а я тут поброжу. Катя моя уже не работает в больнице?

— Давно! Вышла замуж и уехала на Дальний Восток.

Машенька не поняла, почему я засмеялась. Две медсестры, работавшие прежде Кати, выйдя замуж, тоже уехали на Дальний Восток.

— Ладно! Найду кого-нибудь.

Но я никого не нашла — все новые люди работали в новой больнице, и пришлось представиться одному из врачей, недавно кончившему ленинградцу, который охотно показал мне больницу.

— Нет, нет, я счастлива,— несколько раз, как будто убеждая не только меня, но и себя, повторила Маша.

Мы сидели в садике, который, судя по тому, с каким выражением говорила о нем Маша, был ее гордостью. И в самом деле, садик был хорош. Особенно понравились мне маленькие вьющиеся розы, которые кто-то привез Репниным из Сухуми.

— Я сперва боялась Данилы и, между прочим,— хотя это тебе, наверно, покажется странным,— боялась, что он такой большой... Такого высокого роста. Нам сперва очень маленькую комнату дали в совхозе, всего шесть метров,

и вот, когда он, бывало, придет, так и кажется, что для меня уже не осталось места. Мне все думалось: а что, как и в жизни так будет? Я и теперь еще его иногда по ночам бужу и не потому, что он храпит,— серьезно объяснила Машенька,— а очень шумно дышит, и мне становится страшно.

Я засмеялась. Она посмотрела на меня и тоже стала смеяться.

— Ты понимаешь, Таня, мы, безусловно, очень разные люди,— продолжала она.— Вот отчего первое время я все допытывалась, почему он меня полюбил. Мне ведь никогда не верилось — и теперь тоже,— что можно полюбить ни за что. И вот он мне объясняет — за то и за это, а я слушаю и просто в ужас прихожу, потому что вижу, что я в его глазах — одна, а на деле совершенно другая. Я его очень серьезно убеждала не жениться на мне и доказывала, что у меня, в общем, характер неважный. Но с ним, ты знаешь, положительно сладу не было,— немного покраснев, закончила Машенька.

Я рассказала ей о том, как Даниле Степанычу, когда он был едва ли не при смерти, помогали разговоры о ней, и, подняв на меня большие доверчивые глаза, она слушала внимательно, серьезно.

— Нет, что он меня полюбил, это я, как женщина, почувствовала сразу,— сказала она.— Между прочим, еще до моего приезда он очень о маме заботился, и меня тронуло, что он ей откровенно обо всем рассказал... Но ты понимаешь... Я сперва привыкла к нему, а уже потом полюбила,— как будто немного извиняясь передо мной, объяснила Маша.— Он-то все время говорил, что я полюблю. Он вообще очень самоуверенный, и у нас на этой почве иногда даже бывают ссоры. А я боялась, что нет, хотя мне смутно что-то говорило в душе, что все-таки в конце концов полюблю. Я ведь очень привязчивая, а потом...

— И очень хорошо.— Я поцеловала ее.— И прекрасно! Данила Степаныч — отличный человек, и чувства у него открытые, сильные, прямые. А что вы разные люди — ну и что же? Мы с Андреем тоже разные, а между тем...

Еще идя из больницы, мы с Машенькой спокойно разговаривали обо Андрее. Но в эту минуту не нужно было мне упоминать о нем! Машенька помолчала, отвела глаза, и мы заговорили о Павлике — о том, как жаль, что я не захватила с собой его фото.

Данила Степаныч, веселый, шумный, грязный, с чер-

пым от пыли лицом, в комбинезоне и резиновых сапогах выше колен, ввалился, когда стемнело и мы уже перешли из садика в дом.

— Татьяна,— сказал он беспомощно.— Доктор! Верить ли глазам?

Он хотел обнять меня, но Маша не дала, увела в сени, позвала Маврушу, и добрых двадцать минут симфония разнообразнейших звуков слышалась за дверьми: хлопающие, как будто палкой выбивали ковер, шаркающие, как будто жесткой шваброй подметали полы, булькающие, фыркающие, льющиеся и т. д. Потом умытый, красивый, в новом костюме Данила Степаныч вошел в комнату и сказал:

— Воюем с болотными чертями, Татьяна! Прокладываем дорогу через Большой Ярлык!

Все пришли сразу — Шурхин, руководивший одним из отделений зерносовхоза, Чилимов, Клава Борисова, которая была теперь помощником механизатора парка комбайнов. В общем, за столом в подавляющем большинстве собрались мои бывшие пациенты. Потом явился главный пациент — Бородулин, по-видимому так и оставшийся живым памятником моей плодотворной деятельности, поскольку возгласы: «А, просвечоный!» — послышались за столом, едва его мешковатая фигура появилась в дверях.

Как будто зерносовхоз был организован пе семь, а по меньшей мере двадцать пять лет тому назад,— так вспоминали эти люди о первой поре строительства, о таборной жизни в вагончиках и фургонах. Потом Бородулин сказал, что, как жертва науки, он желал бы знать о дальнейшей судьбе светящихся вибрионов, выделенных впервые на земле из его организма, и пришлось сознаться, что мне так и не удалось открыть причину этого загадочного явления. Зато с удовольствием рассказала я о том, *что* мне удалось, и самый большой успех имела история о состязании на икорном заводе.

Мы сидели за столом до тех пор, пока за окном стало светать и показались неясные очертания Машиного сада. Спать не хотелось, но нужно было все-таки хоть ненадолго прилечь, тем более что на другой день я собиралась обратно в Ростов, где мне предстояли еще выступления на заводах.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В ЧУЖОМ ДОМЕ

Новый план

Вопрос о плесени не значится в плане, но в свободное время я продолжаю им заниматься. Перелистываю — в который раз! — записи лекций Павла Петровича, подбираю литературу, и думаю, думаю — больше, чем полагается думать о зачеркнутой теме.

Отец по-прежнему пишет мне длинные письма, в которых доказывает, что Раевского, а стало быть, и рукопись старого доктора можно и должно найти. Эти строго логические доказательства перемежаются с рассказами, посвященными, главным образом, грандиозным аферам прошлого века. Какому-то князю Тер-Мурзавецкому удалось, оказывается, в 1913 году продать англичанам Марсово поле. Что в сравнении с этой смелой идеей жалкие происки какого-то просвиставшегося авантюриста?

Андрей едет в Среднюю Азию, и я прошу его на обратном пути непременно заглянуть к отцу, на маленькую станцию под Ташкентом.

Как и прежде, наш институт считается одним из центров медицинской теоретической мысли, и Догадов, Бельская с железной настойчивостью доказывают это на всех собраниях, конференциях, совещаниях. Последовательно, разнообразно, с блеском развивает ту же мысль и Крупенский, который фактически становится руководителем института.

Ряд сотрудников, в том числе Рубакин и я, получает звание доктора медицинских наук, по совокупности работ, без защиты. Валентин Сергеевич приезжает сравнительно редко — у него определился свой особый маршрут, по которому можно судить, что Институтом биохимии микробов он воспользовался, в сущности, лишь для разбега. В ВИЭМе — огромной организации, недавно созданной, объединявшей десятки научных учреждений, он занимает одно из руководящих мест. Медицинские журналы редко печатают иммунологические статьи без его ведома и согласия. Подчас начинает казаться, что он давно перестал интересоваться не только нашей лабораторией, но и своими. Но это ложное впечатление. По-прежнему он смотрит на Институт биохимии микробов как на свою теоретическую базу. Именно с этой точки зрения он знакомит-

ся — редко, но внимательно — с итогами наших работ. Именно этим объясняются громкие фразы Крупенского и Догадова, утверждающих, что если бы не наш высокотеоретический институт, медицинская мысль в Советском Союзе развивалась бы далеко не так стремительно и успешно.

Между тем по-настоящему, вплотную занимается теорией, причем именно крамовской теорией, лишь один человек — Рубакин. По-прежнему он проводит в чужих лабораториях не меньше времени, чем в своей, но теперь в основе всех его соображений, быстрых советов, острой иронии лежит одна мысль: прав ли Крамов? Что представляет собой его теория? Какие выводы может сделать из нее практическая медицина?

Рубакины по-прежнему жили на Крымской площади, в комнате, которая так же была не похожа на прежнюю Митину комнату, как новые ее обитатели были не похожи на старых. Лена была немного помешана на чистоте — у нее всегда были извиняющиеся глаза, когда я заставала ее за «вылизыванием» — не подберу другого слова — каждого уголка, и комната, белая, обжитая, с кроватью, днем превращавшейся в диван (конструкции П. Н. Рубакина), с удобными стеллажами, сияла порядком и чистотой.

Если бы какому-нибудь экономисту пришло в голову заняться вопросом о материальном уровне жизни среднего научного работника в Советском Союзе, именно семейство Рубакиных бесконечно усложнило бы его задачу. Есть такая детская игра «вверх — вниз»: игроки бросают кости, передвигают фишки, стремятся вверх и, натыкаясь на препятствия, внезапно скатываются вниз. Вот так же зигзагообразно вел себя рубакинский «уровень», причем склонность к подъему замечалась только в первые три дня после получения зарплаты — превосходное время, когда хозяйка со свойственной ей любовью к быстрым решениям каждый вечер приглашала друзей. Потом уровень резко падал, и наступала полоса заметного обеднения, когда Лена, случалось, занимала у меня на автобус. И вдруг долги — мелкие и крупные — возвращались в течение часа, и вчерашние бедняки, вызвав такси, отправлялись посмотреть что-нибудь сенсационное вроде недавно открывшегося ресторана «Москва». Это значило, что Петр Николаевич получил гонорар за редактуру или статью. Ко-

роче говоря, денег не было почти никогда, и не стоило спрашивать Лену, куда они уходят, — у нее только смущенно «разъезжались» глаза, и, беспечно махнув рукой, она заговаривала о чем-нибудь другом, «более интересном».

Петр Николаевич не мешал ей ни в чем — не потому, что не дорожил теми естественными удобствами, которые были связаны с нормальным финансовым уровнем жизни. Напротив, в молодости у него так долго не было денег, что он научился ценить их. Но он любил жену, и все, что она делала, казалось ему не только правильным, но и великолепным.

Лена не пропускала ни одного футбольного матча, и он с мягкой улыбкой, добросовестно старался усвоить принципиальную разницу в тактике нападения ЦДКА и «Динамо». Если матчей не было, они отправлялись или в Центральный парк культуры и отдыха, или просто куда-нибудь, где много народу. Но были и другие прекрасные дни, когда Лена нежданно-негаданно являлась к нам в десятом часу утра и заявляла не без смущения, что «Петька выставил ее, потому что ему нужно работать».

В этой счастливой семье было одно горе — не проходившее, а, наоборот, углублявшееся с годами. У Рубакиных не было детей, а между тем оба они не просто любили, но обожали детей, особенно Лена. Я советовала ей взять ребенка на воспитание, но она колебалась, раздумывала. «Это никогда не поздно!» А время шло, и случалось, что, взглянув на ее бледное лицо с широко расставленными глазами и седеющей прядью над чистым, высоким лбом (она рано начала седеть), я думала: «Не поздно, но пора». А потом стало не то что поздно, а не очень и нужно, потому что по соседству с Рубакиными, через площадку, поселился какой-то военный. У него была трехлетняя дочка Катя, румяная, толстенькая, с прямыми смешными волосиками, заколотыми круглой гребенкой. Лицо у нее было доверчивое, доброе, глаза голубые. Мать ее умерла. У Рубакиных Катя чувствовала себя как дома. «Ты куда ходила?», «А больше не пойдешь?», «А это новое платье?» — то и дело слышалось теперь в комнате Рубакиных. Лена очень привязалась к девочке, часто рассказывала о ней, и мне всегда казалось, что в эти минуты она не только внешне, но внутренне хорошеет.

Виктор закончил свою диссертацию, и не без легкого трепета я понесла ее Валентину Сергеевичу, который

любил — так было заведено — на каждую новую диссертацию взглянуть своими глазами.

Он прочел первую страницу, открывавшуюся кратким сообщением о том, под чьим руководством была выполнена работа. На первом месте стояла его фамилия, и, как ни странно, мне показалось, что это весьма обыкновенное обстоятельство заставило проясниться его усталое в этот день лицо с мешками под глазами и бледными щечками, свисавшими на подкрахмаленный воротник. Он насторожился, взяв в руки диссертацию, а теперь снова стал вежливо-равнодушен.

— Хорошая работа?

— Талантливая.

— Ну что же, превосходно. Подрастает наша молодежь! Того и гляди, придется убираться на печку. Подумывали об оппонентах?

— Нет, Валентин Сергеевич.

— Может быть, Крупенский? А второй?

Я промолчала.

— Ну ладно, еще поговорим. А пока передайте, пожалуйста, эту диссертацию Догадову (Догадов был секретарем Ученого совета). Он доложит, назначим день — и, как говорится, с богом. Кстати, Татьяна Петровна...

И он заговорил о другом.

Защита

— Мерзляков Виктор Алексеевич, тысяча девятьсот четырнадцатого года рождения. Отец — в прошлом матрос, радиотелеграфист, служил на Балтийском флоте, теперь — мастер обмоточного цеха завода номер сто шесть. Мать — домашняя хозяйка. Окончив среднюю школу...

День ясный, морозный. Солнце, ворвавшись в маленький конференц-зал, старается помешать нашему чинному заседанию — то весело играет на металлическом письменном приборе, стоящем перед секретарем, то дрожащей светлой полосой ложится на зеленое сукно стола, за которым сидят члены Ученого совета, то, осмелев, подкрадывается к самому директору и ударяет прямо в его пенсне. Зайчики пробегают по зеркальному мрамору камина. Нервно зажмурившись, директор протирает пенсне.

Биография оглашена, и секретарь Ученого совета переходит к отзыву руководителя, потом к отзыву комсомольской организации. Первый, как и полагается, краток и

сдержан, второй стремится не только сообщить, но и убедить, что Виктор Мерзляков всегда был передовым комсомольцем, ответственно относившимся к каждому общественному делу.

Повзрослевший за последние дни и все-таки кажущийся почти мальчиком среди седеющих и лысеющих членов Ученого совета, Виктор подходит к доске, на которой развешаны его диаграммы. Доклад начинается — двадцатиминутный, а хочется объяснить, рассказать, доказать так много! Обходя полемическую сторону вопроса (на этом настоял Лавров), не вдаваясь в подробности, любопытные, но уводящие от основных положений (так посоветовал Коломнин), он говорит — и бледное, тонкое лицо розовеет с каждой минутой.

Перед защитой он сказал мне, что боится только первой минуты. «Вот она и прошла,— думаю я,— и вторая, и третья. Как он похудел, бедняга! Прежде я не замечала, что он так похудел!»

«Хорош, милый друг,— это я думаю уже о Крупенском, который сидит за столом, сгорбившись и неопределенно глядя прямо перед собой выпуклыми, совиными глазами.— До последних дней медлил с отзывом. И что же! Ни одного серьезного возражения. Ну, этот-то, наверное, проголосует против. А впрочем... Кто это называл его «человеком-зеркалом»? Валентин Сергеевич проголосует «за» — и то же самое, не задумываясь, сделает его «отражение».

«А ведь Валентин Сергеевич непременно проголосует «за»,— продолжаю я думать в то время, как Виктор, подняв указку, как шпагу, подходит к доске, на которой висят его диаграммы.— Он слишком умен, чтобы принять бой на рядовой кандидатской защите. Как-никак диссертация-то из «его» института. Не станет! Вероятнее всего, сделает вид, что ничего не случилось».

«Но вот что странно,— теперь и я думаю и внимательно слушаю доклад, подходящий к концу.— Ведь если одним взглядом оценить весь наш Ученый совет, сразу станет ясно, что граница, которая разделяет людей, идет от Крамова и определяется, главным образом, тем или другим отношением к нему. Одни — Крупенский, Догадов, Дилигентов, Бельская, Картузова из Городского института — устремлены к нему и даже сидят, повернувшись в его сторону вполоборота. Другие — Коломнин, Рубакин, Лавров — сидят прямо или даже слегка отвернувшись от него,

хотя для этого нет, кажется, никаких оснований. Он и отношение к нему занимают слишком много места в сознании, во всяком случае больше, чем это требуется интересами дела. Он не объединяет, а разъединяет людей,— странно, что я не замечала этого прежде. Мешает ли это работать? Разумеется, да!»

Я смотрю на часы — и напрасно! Вслед за мной на часы смотрит директор, он же председатель Ученого совета, Валентин Сергеевич Крамов, который не любит — это широко известно,— чтобы доклад диссертанта продолжался больше, чем двадцать минут. Как всегда, прекрасно, даже щегольски одетый, в новом черном костюме, он слушает внимательно, с интересом. По-видимому — как это ни странно,— работа Виктора нравится ему. Он записывает что-то, потом бросает карандаш и с благодушным выражением проводит маленькой рукой по лысеющей голове.

Виктор переходит к выводам — наконец-то! На всякий случай я посоветовала ему приготовить сжатую концовку и спокойно прочитать ее, если окажется, что положенных минут не хватает. Не нужно! Договаривая, он откидывает со лба волосы запачканной мелом рукой. Бессознательным от волнения жестом он прислоняет указку к доске. Указка падает. Он растерянно поднимает ее и кладет на уголок стола, за которым сидят члены Ученого совета. Председатель улыбается. Вслед за ним улыбаются Догадов, Крупенский и другие.

Все обстоит благополучно. Диссертант закончил свой доклад. Слово получает первый оппонент — профессор Крупенский, потом второй — Василий Федорович Лавров.

Прения подходят к концу. Хорошо проходит защита. Кому еще угодно слово? Никому. Председатель предлагает избрать счетную комиссию. Она избирается. Секретарь раздает бюллетени. Достоин ли Мерзляков Виктор Алексеевич ученой степени кандидата наук? Зачеркните — «согласен» или «не согласен». Да или нет?

Счетная комиссия удаляется в соседнюю комнату — и наступают самые трудные минуты. Я подхожу к Виктору.

— Видите, Витя, как все прекрасно прошло. А вы-то боялись!

Он крепко жмет мою руку.

— Еще не прошло.

Да, еще не прошло. Немного времени занимает подсчет голосов. Дверь открывается, члены комиссии занимают места за столом Совета.

— Рассмотрев, согласно инструкции ВКВШ о порядке применения постановления СНК от двадцатого марта тысяча девятьсот тридцать седьмого года, диссертационную работу на тему...

Я смотрю на Крамова, у которого вдруг становится холодное лицо с ровным, ничего не выражающим взглядом. Потом на Виктора, который слушает, подняв голову, сжав губы так крепко, что проступает упрямая, побелевшая челюсть.

— И на вопрос: «Достоин ли Мерзляков Виктор Алексеевич ученой степени кандидата медицинских наук» — ответили...

Неуловимое движение пробегает по лицам, движение, которое остро, болезненно отдается в сердце. Неужели...

Да, семь голосов — «за», десять — «против». Недостоин.

Кто виноват!

«Мы все виноваты, а ты — больше всех» — вот что звучало в каждом слове Коломнина, Лены, Лаврова. Весь коллектив лаборатории думал именно так, в этом не могло быть ни малейших сомнений! Я не видела Рубакина после защиты, но при одной мысли о предстоящем разговоре с ним у меня становилось еще тяжелее на сердце.

Усталая, расстроенная, в первом часу ночи я вернулась домой. Андрей был в Средней Азии, Агния Петровна с Павликом жили на даче. В комнатах было по-летнему пусто, и никто не мешал мне бродить из угла в угол и думать о том, что случилось. А случилось то, о чем необходимо было подумать.

Было ли это случайностью? Нет! Задуманный, преднамеренный, тонкий маневр— вот что произошло на наших глазах. И не такой уже тонкий — высказаться «за», а проголосовать «против»!

Кто был заинтересован в том, чтобы талантливая диссертация провалилась? Крамов? Да. Зачем?

Причина могла быть только одна: он убедился в том, что работа Виктора в конечном счете направлена против его теории. Угроза «школе»! В опасности непререкаемый научный авторитет, заслуженное, уважаемое имя!

Но ведь признание подобной угрозы означало бы одновременно признание собственной слабости — неужели этого не понимает Крамов?

«Да, может быть, и не понимает,— продолжала я думать, умываясь на ночь и с трудом удерживаясь, чтобы не сунуть разгоряченную голову под холодную воду.— В конце концов Виктор настаивал на поисках общебиологических закономерностей — и только. Правда, он высмеял вздорную идею об «иммунитете в пробирке», с которой носился один из учеников Крамова в Ростове. Неужели этого было достаточно... Черт побери! Жаль, что я не посоветовала Виктору вычеркнуть из диссертации эту страницу.

«Да что за вздор лезет мне в голову? — ужаснулась я через минуту.— Не вычеркивать нужно было, а подробно развить эту мысль. Не прятаться, а открыто выступить против — вот что я должна была посоветовать Виктору.

Виктор должен был выступить против. Но разве мог он на основании частных данных выступить против сложной теории? Нет! Возражать должна была я. Я обязана была сопоставить работы, подтверждающие теорию Крамова, продумать ее исходное положение... и не сделала ни того, ни другого. Почему?..»

Я уснула, когда первые лучи солнца косо скользнули в комнату и зеленые стеклянные дверцы книжного шкафа успокоительно заблестели на гранях.

Было уже темно, и в садике перед домом ярко белели сушившиеся на кустах полотенца. Свет из рубакинских окон падал на бузину, и что-то южное представилось мне на мгновение, когда я увидела эти пышные, тонко вычерченные в темноте кусты. «Свет горит, вот хорошо, значит, дома!» Но дома был только Петр Николаевич, а Лена — в театре, на спектакле «Таня». Несколько дней назад я была на премьере этого спектакля и потом в институте очень хвалила его и советовала всем посмотреть.

— Не помешала?

— Нет, я вас поджидал.

По-видимому, я застала Рубакина в разгаре работы, и ему не сразу удалось от нее оторваться. Раза два он покосился на рукопись из-под очков, потом не выдержал и быстро дописал какую-то фразу.

— Как Виктор? — спросил он.— Очень расстроен?

— Да.

Мы помолчали.

— Ну, а теперь подумаем вместе. Что же все-таки произошло на наших глазах?

— Произошло то, что Крамов подстроил провал.

— А вам не приходило в голову, что это могло случиться?

— Нет. Тем более что Виктор открыто не утверждал, что его выводы противоречат крамовской теории.

— Вот это и было ошибкой.

— Возможно. Но для прямого нападения не было достаточных данных.

Рубакин взял со стола журнал и открыл его на загнутой странице.

— Вы уже получили последний номер ЖМЭИ?

— Нет еще.

— Вот, посмотрите.

Я пробежала статью. «Школа Крамова», «Проблематика Крамова» — эти слова повторялись на каждой странице. Статья принадлежала Крупенскому. В одном месте — эти строки были подчеркнуты Петром Николаевичем — упоминался Виктор. Я читала, не веря глазам! Крупенский кратко излагал содержание диссертации и тут же обрушивался на нее в резком и пренебрежительном тоне.

— Мерзавец!

— Хорош, а? Познакомиться в качестве официального оппонента с неопубликованной работой, почти не возражать против нее ни в отзыве, ни на защите, а в печати заранее опорочить! Надо обсудить этот вопрос на теоретической дискуссии внутри института.

— Хорошо, Петр Николаевич.

Он молча взглянул на меня.

— А ведь мы должны были предвидеть то, что случилось, Татьяна.

— Мы? Нет, я. Кто же, если не я, Петр Николаевич? Но я сама запуталась, растерялась. Мы с вами не раз говорили о том, что лаборатория работает без прежней уверенности, что за два года мы не сделали почти ничего.

— Да. Но для того, чтобы помочь вам, я прежде всего должен был сказать себе: Крамов не прав. Нужно было проверить его работы, понять: откуда взялась, чего добивается, какое место в науке заняла его школа? Вы когда-нибудь думали об этом, Татьяна?

— Думала. Но мне казалось, что для этого нужно взглянуть на жизнь его, а не своими глазами.

— Именно. А вот попробуем взглянуть на жизнь его

глазами. Прежде всего — что сказать о нем как о деятеле науки, не вообще, разумеется, а советской науки? Дарование крупное. Но это ученый, который фактически давно не участвует в той борьбе за новое, которая идет в глубине нашей науки. Когда это произошло — не знаю. Нельзя представить себе день, месяц, год подобного перелома. Он готовился исподволь, понемногу. Вдруг оказывается, что никто не помнит первых талантливых работ, что капитальный труд, написанный в двадцатых годах и еще недавно стоявший на полке каждого серьезного микробиолога, устарел. Что для нового издания нужно переписать каждую страницу. Что каждое утро нужно отправляться в лабораторию и работать — головой и руками. Что нужно думать, думать и думать... Хлопотливое дело! А между тем вокруг живет, кипит, бьется жизнь. Ведь не угнаться, не удержаться, обходят со всех сторон! Молодые идут — беда, что с молодыми делать? И вот понемногу, незаметно, а может быть, поглядывая на тех, кому прежде тебя пришла в голову эта мысль, начинаешь подумывать о другом пути. В самом деле — еще вчера ты болезненно-остро чувствовал всю непрочность своего положения. Сегодня ты появляешься на арене как основатель учения, создатель теории, которая стремится охватить самые общие вопросы науки. Но теория — это одна сторона задуманного маневра. На одной теории далеко не уедешь. Чтобы воспользоваться ею, нужны люди. Нужны последователи, ученики, организаторы...

Раздался телефонный звонок.

— Слушаю,— сказал Рубакин.

Очевидно, никто не ответил. Он положил трубку.

— Не думайте, что я оправдываюсь, Татьяна. Я виноват больше, чем вы. Во-первых, я стал сомневаться слишком поздно. Во-вторых, я долго не понимал, что весь институт на ложном пути, не понимал, потому что дело все-таки шло. А шло оно потому, что у нас много способных людей, работающих не только в вашей лаборатории, но и у Крупенского, Догадова, Бельской; шло, потому что факты остаются фактами вопреки ложному направлению.

Снова позвонил телефон, Петр Николаевич сказал: «Слушаю. Да, у нас»,— и передал мне трубку.

— Это вы, Татьяна Петровна? Вам телеграмма.

Это был Илья Терентьич.

— Прочтите, пожалуйста.

— Сейчас. «Встреча отменяется. Сообщите Малышеву. Шестьдесят восемь. Андрей».

— Ничего не понимаю,— сказала я.— Когда отправлена телеграмма?

— Четырнадцатого, в час дня.

— Как вы сказали: «Встреча отменяется...»

Илья Терентьич прочел телеграмму снова.

— Что случилось? — с беспокойством спросил Рубакин, когда я положила трубку.

— Какая-то странная телеграмма от Андрея.— Я повторила текст.— Что это значит?

— Ничего особенного. Просит, чтобы его встречал Малышев, а не вы.

— Почему? И что такое шестьдесят восемь?

— Очевидно, номер поезда?

— Нет, шестьдесят три. А почему нет номера вагона? С ним что-то случилось.

— Полно, Татьяна.

— Петр Николаевич, с ним что-то случилось. И что это за «сообщите»? Почему на «вы»?

— Да разве так еще иногда путают на телеграфе? А вы позвоните Малышеву. Может быть, он что-нибудь знает?

— Да, да!

Лена пришла, когда я звонила Малышеву в Наркомздрав, где мне сказали, что он поехал домой, потом — домой, где мне ответили, что он еще в Наркомздраве.

— Знаешь что, запишем текст,— сказала Лена,— и посмотрим, как он выглядит на бумаге.

Но текст не стал яснее после того, как она записала его на бумаге.

— Так или иначе, он жив и здоров, в этом нет никаких сомнений. И едет домой — чего же тебе еще надо?

— Да, да.

Я снова принялась звонить.

— Еще не вернулся... Подождите минуту. Сейчас подойдет.

— Татьяна Петровна, я вас ищу,— услышала я голос Малышева, сдержанный, как всегда, но с оттенком недоумения.— Я получил от Андрея Дмитрича странную телеграмму. Она у меня с собой. Сейчас прочитаю. «Признаки на десятый день, не сообщайте домой шестьдесят три, вагон восемь». Судя по дате, он завтра должен быть здесь. Но почему не сообщать домой? И что это за признаки? Вы от него ничего не получали?

Ничего особенного не было в том, что поезд немного опоздал, но мне подумалось, что и это чем-то связано с непонятными телеграммами от Андрея. «Стало дурно, сняли на какой-нибудь маленькой станции»,— представилось мне, и Малышев, который научился, кажется, читать мои мысли, укоризненно покачал головой.

Восьмой вагон оказался в конце поезда. Пока мы добежали, Андрей уже вышел, и я издалека увидела его среди шумной, разговаривающей, идущей по перрону толпы.

— Вот он!

Я обернулась к Малышеву, который не поспевал за мной, и по его всегда сдержанному, а в это мгновение просветлевшему лицу поняла, что у него так же, как у меня, отлегло от сердца.

Андрей нес в руках два чемодана,— один свой, а другой незнакомый, с медными шляпками, старинного вида. Кепка была откинута со лба, плащ переброшен через плечо. Лицо было румяное, глаза блестели. С первого взгляда мне показалось даже, что он загорел, посвежел...

— Андрей!

Как будто это было совершенно невероятно,— то, что мы приехали, чтобы встретить его,— с таким радостным, удивленным выражением он остановился, поставив на перрон чемоданы.

— Ох, да что же вы это? Вот молодцы! — весело говорил он, обняв меня и разглядывая, как всегда после разлуки.— А ты что-то похудела. Как Павлик? Здравствуй, Михаил Алексеевич.

— Павлик здоров. Похудеешь тут! Что за нелепые телеграммы мы от тебя получили?

Он немного нахмурился.

— Почему нелепые? Впрочем, у меня вчера голова побаливала, может быть, я что-нибудь и напутал. Зато телеграфистка попалась такая славная. «Зачем я буду сдачу себе оставлять, безразлично, хотя бы и десять копеек? Разве я не понимаю, что нахожусь на государственной службе?»

Он засмеялся. Я взглянула на Малышева, и он ответил тревожным, недоумевающим взглядом.

— Андрей, что с тобой? Ты болен?

— Я? Нет. А что? Вчера голова немного побаливала, а сегодня прошла. Я с армянами ехал, один инженер-элек-

трик, а другой — хозяйственник. Чудесные парни! Черт возьми, да я же, кажется, с ними не попрощался! Михаил Алексеевич, постой! — крикнул он Малышеву, который, оставив нас на лестнице, отправился было разыскивать свою машину, стоявшую среди других перед вокзалом.— Я с армянами ехал, нужно проститься!

Малышев вернулся.

— Теперь уже поздно, не найдешь,— медленно сказал он.— Пошли, Андрей Дмитрич.

— Да, пошли. О чем это я должен был сказать тебе, Таня? Не помню! И ведь всю дорогу повторял в уме, даже узелок завязал на память. И вот поди ж ты, забыл! Ну, не беда! Ведь это не беда, Таня?

— Разумеется, не беда.— Я старалась говорить спокойно.— Сейчас мы приедем домой, а ты ляжешь, отдохнешь. Должно быть, ты простудился в дороге.

— Простудился? Ничуть! О чем это мы говорили! Ах да! Об армянах. Что за народ! Таня, почему бы нам с тобой не поехать куда-нибудь вместе? Вот они, например, приглашали меня в Ереван, не летом, разумеется, а осенью, когда не так жарко. А у вас тут давно такая жара?

Никакой жары не было. День был хотя и солнечный, но прохладный. Андрей нетерпеливо перекинул плащ на другое плечо. У него пылали щеки, и не поправился он, как мне показалось с первого взгляда, а, напротив, осунулся, похудел. Мы подошли к машине. Малышев помог мне и украдкой подбадривающе пожал мою руку.

— Ты чем так расстроена, Таня? А про Павлика и не рассказала. Я, между прочим, хотел ему персиков привезти, а Капустин отсоветовал — «половину выбросите в дороге». Ну и выбросил бы, черт побери! Осторожно, там материалы,— быстро сказал Андрей шоферу, который поставил нам в ноги незнакомый кожаный чемодан.— Ты не поверишь, как я скучал без него! Ведь мы с ним собирались в цирк на прошлой неделе. Вот, оказывается, без кого я жить не могу. Без тебя тоже не могу, но как-то совсем по-другому.

Я взяла его за руку, приложила губы ко лбу.

— Здоров, здоров! Почему домой? В Наркомздрав! — Он услышал, как Малышев, сидевший рядом с шофером, сказал ему адрес.

— Хорошо,— отозвался Малышев и снова что-то шепнул шоферу.

— ...Ох, и хороша же Москва! — говорил Андрей, по-

глядывая вокруг себя веселыми, лихорадочными глазами. Мы выехали на площадь Дзержинского.— Водитель, это что за машина? Новая марка?.. Постой, но все-таки надо же вспомнить, что я хотел сказать тебе, Таня.

— Ты не думай. Вспомнишь потом.

— Нет, брат, надо сейчас. Это важно. Черт побери! Ведь я же узелок завязал на память.

Он замолчал и больше до самого дома не произнес ни слова. Лицо его побледнело, глаза погасли. Из машины он вышел с трудом. Мы поддержали его, поднялись по лестнице, уложили в постель. Малышев поехал за врачом.

Лишь ночью Андрей пришел в себя и вспомнил то, о чем думал, по его словам, всю дорогу.

— Я был у твоего отца,— сказал он.— Он еще совсем молодец, здоров, заведует складом и надеется сыграть заметную роль в художественной литературе. Но вот что самое любопытное. Ведь ему удалось все-таки разыскать Раевского. Я записал адрес: где-то под Москвой, на станции Востряково.

Андрей был в Средней Азии по малярийным делам и, встретив среди пограничников несколько нехарактерных случаев этой болезни, заподозрил клещевой возвратный тиф, который часто путают с малярией. Однако это была, по-видимому, какая-то особая форма возвратного тифа.

Можно было проверить догадку, заразив кровью больного белых мышей. Но белых мышей не удалось достать на заставе, да и не было уверенности в том, что они окажутся восприимчивыми к этой форме болезни. Оставалось только одно: заразить себя и таким образом увезти «особую форму» с собой; Андрей уверял меня, что это единственный выход.

Инкубационный (скрытый) период возвратного тифа продолжается около десяти суток, и Андрей, у которого были дела в Ташкенте, рассчитал, что первый приступ начнется на другой день после возвращения домой. Он ошибся, впрочем немного. Температура поднялась в дороге, за тридцать шесть часов до Москвы.

Возвратный тиф протекает остро, с внезапными приступами, с ознобом, с мучительными головными болями. Андрей всегда плохо переносил высокую температуру и знал, что будет болеть тяжело. Не два и не три, а семь приступов перенес он, и каждый раз терял сознание, бредил, умолял

меня не уходить, хотя я дежурила у него днем и ночью, жаловался, что доктора не позволяют ему наблюдать за течением болезни, и требовал, чтобы в Среднюю Азию для борьбы против песчанок была немедленно направлена крупная воинская часть, располагающая всеми средствами современного вооружения.

Исчезнувший мир

Хорошенькая собачка с торчащими ушками злобно лает, едва я приоткрываю калитку, куры взволнованно лопочут, гусь бросается на меня, растопырив крылья, сердито вытянув шею,— нельзя сказать, что в этом доме приветливо встречают гостей. Одутловатый человек, с набрякшим лицом, спускается с крыльца маленькой веранды.

— Вам кого?

Собачка лает, он грубо отбрасывает ее ногой.

— Здесь живет Раевский?

— Это я. А в чем дело?

Как будто живые портреты один за другим быстро сменяются передо мной в эту минуту: вот толстый гимназист в распахнутой шубе стоит перед дверью гадалки, и под бобровой шапкой видно его потное, взволнованное лицо. Вот наглый, мрачно-иронический субъект уговаривает меня украсть у Павла Петровича письма знаменитой актрисы. Вот сытый, самодовольный нэпман-делец ведет под руку красавицу по ресторанному залу... Портреты расплываются, тают. Обрюзгший, опустившийся человек с висящими под подбородком восковыми складками кожи, с грязным кадыком, торчащим из воротника синей засаленной куртки, всматривается в мое лицо тревожно моргающими глазами.

— Вы меня не узнаете?

— Нет.

— Моя фамилия — Власенкова. Мы встречались... Мне нужно поговорить с вами.

Он медлит. Потом бормочет нехотя:

— Заходите.

Маленькая, грязная веранда. Некрашеный стол, на котором лежат огромные, желтые, перезревшие огурцы, тыква, репа. Рамы, составленные из обломков стекол, грубо скрепленных замазкой. Низкое, ободранное сиденье из автомобиля, на которое я не решаюсь сесть и на которое, вынимая из кармана кисет, садится хозяин.

— Где же мы встречались?

Он странно обрывает последнее слово, а потом слышится невнятный шум, бормотанье — словно за него договаривает кто-то другой.

— Я лопахинская, как и вы. Однажды — много лет назад — вы были у нас в Лопахине. Тогда я еще училась в школе, жила с отцом. Но вы приходили не к отцу, а ко мне. С одной просьбой... Вы вспоминаете?

— Нет.

— Эта просьба касалась доктора Павла Петровича Лебедева. Его знал весь город — и вы, разумеется, тоже.

Он вынимает кисет и молча насыпает махорку на клочок газетной бумаги.

— Ну, знал. И что же?

— Через несколько лет... Это было в Ленинграде... я пришла к вам с Дмитрием Дмитричем Львовым. Он требовал тогда, чтобы вы вернули ему записки покойного Павла Петровича, которые, по его сведениям — и по моим,— должны были храниться у вас.

— Какие записки? Не помню.

— Да как же вы не помните? Вы напечатали письма актрисы Кречетовой... Вам отдал их мой отец. Но, кроме этих писем, среди бумаг Павла Петровича были его записки. Дмитрий Дмитрич требовал их у вас. Вы отказались. Потом, когда вы уехали из Ленинграда, я пыталась узнать, где находятся эти записки. Была у прокурора, писала в угрозыск.

Он сворачивает самокрутку, завязывает кисет.

— Ага! Вот теперь вспомнил! Так это из-за вас они ко мне приставали?

— Кто они?

— Те, кому вы писали. А зачем вам эти записки?

Снова обрывает последнее слово — и шум, бормотанье, точно договаривает кто-то другой.

— Во-первых, это научный труд, имеющий большое значение. Во-вторых, он принадлежит человеку, который был мне близок и дорог.

Раевский курит, молчит. Кажется, он только теперь узнает меня. Движение интереса пробегает по тяжелому лицу с темными, длинными мешочками под глазами.

— Н-да, а вы тоже порядочно изменились. Врач, вы сказали?

— Да.

— Преподаете?

— Нет, занимаюсь наукой.

— А как вы узнали мой адрес? У Глафиры?

— Нет. У отца. Кто-то из земляков сообщил ему, где вы живете.

Самокрутка гаснет. Он шарит по карманам, заходит в комнату. Дверь остается полуоткрытой: деревянный лежак, подушка без наволочки, сенник, прикрытый изорванным одеялом. Овощи на окне, на полу — огородник? Пустое, пропахшее табаком жилье одинокого, одичавшего человека. Возвращается. Снова садится.

— Когда вы с Митькой были у меня в Ленинграде, он мне сказал, что только специалист может оценить эти записки. Так?

— Да.

— Ну, вот я их специалисту и отдал.

— Кто же этот специалист?

— Жулик один.

— Как жулик?

— Очень просто. А как же еще называется человек, который берет у вас вещь, обещает заплатить, а потом и вещь не отдает и денег не платит?

Шум, бормотанье — словно договаривает кто-то другой.

— Это микробиолог?

— Ну да.

— Как его фамилия?

Курит, молчит.

— А зачем вам его фамилия? Вы пойдете к нему?

— Непременно. Он живет в Москве?

— Да, в Москве... Не выйдет у вас ничего.

— Вы думаете? Посмотрим. После смерти автора — это я точно знаю — научный труд принадлежит государству. Этот человек либо утаил его, либо использовал — в обоих случаях будет отвечать по закону.

Раевский встает. Мешочки под глазами темнеют. Тяжелое лицо наливается кровью.

— Вот это хорошо,— медленно говорит он.— Это хорошо. Его фамилия — Крамов.

История, которую он мне рассказал, оказалась настолько простой, что, может быть, именно поэтому не приходила мне в голову прежде. Вместе с письмами Кречетовой отец отдал Раевскому все бумаги из чемодана Павла Петровича и в том числе рукопись, находившуюся в от-

дельной папке, на которой было написано — это помнил Раевский: «Защитные силы. Том первый. Микробы и ткани».

Осенью 1927 года владелец издательства «Время» серьезно опасался за свое будущее, и в тот день, когда мы с Митей явились к нему, был занят разбором издательских документов. Рукопись Павла Петровича лежала у него на столе и, если бы мы пришли двумя часами позже, вместе с другими ненужными рукописями была бы брошена в мусорный ящик. Мысль о том, что она представляет собой научную ценность, была подсказана Раевскому Митей, а может быть, до некоторой степени и Митиной палкой.

Издать или продать рукопись — вот вопрос, который представился Раевскому, когда мы ушли. Но издавать было уже поздно — частные издательства закрывались одно за другим. Стало быть — продать! Найти почтенного покупателя, который не особенно заинтересовался бы, так сказать, юридической стороной дела, и продать! Такой покупатель нашелся, и привела его Глафира Сергеевна.

...Разумеется, я не стала расспрашивать о том, что за отношения были тогда между Раевским и Глафирой Сергеевной — очевидно, дружеские, иначе она не приняла бы такого близкого участия в деле. Отношения были прочные, продолжавшиеся годами...

Так или иначе, знакомство состоялось, рукопись была вручена, и Крамов, казалось, заинтересовался ею. «Об авторе я слышал,— сказал он,— и даже читал одну его работу». И он увез рукопись в Москву, пообещав сообщить свое мнение.

О том, что произошло вскоре после этого разговора, Раевский рассказал мне нехотя, сквозь зубы. За «комбинации» с предметами искусства его выслали из Ленинграда, и где-то на севере он провел несколько лет. Глафира Сергеевна время от времени помогала ему.

«Вы ее не знаете. Она добрая,— вспомнилось мне.— Она годами посылает деньги бедному родственнику, которому трудно живется».

В 1934 году Раевский вернулся — не в Ленинград, а под Москву, где знакомый директор продовольственного магазина обещал устроить его агентом по снабжению. Не удалось — и вот тут-то, в трудных обстоятельствах, намереваясь заняться скромной деятельностью огородника, он вспомнил о Глафире Сергеевне. На что же он мог рассчитывать теперь, когда она стала женой известного ученого?

Я подумала, что именно это могло вдохновить Раевского,— и ошиблась. Он надеялся на старую дружбу.

— У мадам ко мне слабость,— откровенно усмехнувшись, сказал он.

Но «слабость» на этот раз действовала недолго. Раза два Раевскому удалось пополнить свой капитал. Но потом Глафира Сергеевна, по-видимому, стала бояться, что подобное знакомство может подорвать ее доброе имя. И Крамов погрозил вызвать милицию, если Раевский посмеет явиться снова. Я была случайной свидетельницей этой сцены...

Раевский был подавлен, зол, ему нечего было терять. Вот почему я почти не сомневалась в том, что услышала правду. Невероятно было только одно: все эти годы Валентин Сергеевич держал рукопись у себя и никогда не упомянул о ней ни единым словом! Утаил и воспользовался? Непохоже! Да и трудно в наше время, когда каждая мысль опирается на десятки опытов, связанных с техническим уровнем науки, воспользоваться старой работой — разве только ее теоретической стороной. Незаметно и это. Но тогда зачем же Крамов хранит ее у себя?

Я поблагодарила Раевского за откровенный рассказ, простилась и ушла.

Старая рукопись

Мне открыла Глафира Сергеевна, располневшая, бледная, в халате. В последний раз я видела ее на новогоднем вечере в Доме ученых и удивилась тому, как она постарела за полгода.

— Заходите, очень рада,— сказала она просто.— Валентин Сергеевич спит, сейчас я его разбужу.

— Не нужно, пускай спит.

— Нет, уже пора. Шестой час. У нас ведь все по часам.

Это было сказано с иронией — или мне показалось?

Мы прошли в столовую, просторную, светлую, но холодную — в стеклянной горке холодно сверкала посуда, свет хрустальной люстры отражался в паркете.

— Садитесь, Татьяна Петровна. Я знаю, вы не верите, что я вам рада. А я и вправду рада.

— Спасибо.

Что еще я могла ответить?

— Я всегда чувствовала, что вы меня не очень-то жалуете. Вы меня из-за Мити не любили. Но ведь это давно

прошло! Как он? Что с ним? — спросила она с порозовевшим лицом.— Как ему живется в Ростове?

Всегда в ней было что-то невысказанное, какая-то расчетливая задняя мысль, которую она старательно прятала и которая была все-таки видна в каждом слове. Теперь у нее не было никакого расчета. Полная сорокалетняя женщина в расшитом драконами японском халате сидела передо мной, скучающая, с тяжелым подбородком, на котором прорезалась глубокая морщина.

Я рассказала о Мите, который недавно приезжал в Москву и провел у нас несколько дней. Она выслушала и вздохнула.

— Книгу привозил?

— Да.

— Это, должно быть, та, которую он еще при мне начинал. Тогда дело не шло. А теперь, значит, кончил. Слава богу! Я ему добра желаю.

«Еще бы,— подумалось мне.— Еще бы!»

— Как он выглядит? Поседел?

— Немного.

— Не женился еще?

— Нет.

— Что же так?

Я пожала плечами.

— Вы думаете, я довольна, что он до сих пор не женился? — глядя в сторону, сказала Глафира Сергеевна.— Ничуть. Может быть, я не так и виновата, как кажется. Он от меня мало требовал, а от меня нужно требовать много.— Она помолчала, потом посмотрела на часы, и в глазах мелькнуло и скрылось осторожное, мрачное чувство.— Пора Валентина Сергеевича будить,— сказала она, невесело усмехнувшись.

Она пошла к двери и обернулась:

— Мите станете писать, передайте привет.

Я кивнула и подумала: «Как бы не так!»

Как-то трудно было сразу сказать, что я пришла, чтобы поговорить о старой рукописи, не имевшей ни малейшего отношения к тому, что произошло в институте, и мое молчание было, по-видимому, оценено как тонкий маневр.

— Как хорошо, что вы пришли,— извинившись, что заставил ждать, сказал Крамов.— В институте мы знай себе воюем, а оглянуться, подумать друг о друге... Куда там! Времени нет. Вот мне, например, давно хотелось сказать вам, что меня глубоко огорчила эта нелепая история с дис-

сертацией Мерзлякова. Я знаю, вы убеждены в том, что его провалили, так сказать, с заранее обдуманным намерением. И что сделано это было с благословения — будем откровенны — вашего покорного слуги. Не так ли?

Он сделал паузу. Уж не ждал ли, что я стану уверять его в обратном?

— А между тем знаете ли вы истинную подоплеку этого провала? Она проста, и чтобы понять ее, нет необходимости изучать теорию иммунитета. Ему завидуют — и завидуют страстно! Вы спросите меня, как можно завидовать юноше, который ничего не требует, никому не мешает, не стремится к высокому положению и вообще занят только наукой? Вот этому-то и завидуют.

Была крупица правды в том, что он говорил, но только крупица.

— Мерзляков талантлив. Он уже теперь, в двадцать шесть лет, знает и понимает в науке больше, чем какой-нибудь заслуженный ученый, о котором помнят только одно — что лет сорок тому назад он выступил с блестящим докладом на Пироговском съезде.

Это был намек на Дилигентова — многозначительный, если вспомнить, что Дилигентов, научное значение которого было ничтожно, считался тем не менее одним из видных сторонников крамовского направления.

— И нет нужды далеко ходить за примером. Я сам позавидовал ему на защите. Молодость, чистота и вместе с тем какая зрелая, глубокая любовь к своему делу! Разумеется, это чувство не могло заставить меня положить черный шар.— Крамов засмеялся негромко, но от души.— Однако кое-кто из наших коллег, столь же начитанных, сколько бездарных, в этот день отомстил бедному юноше за талант. Можете мне поверить!

Снова намек — теперь на Догадова. И я продолжала мысленно комментировать все, что он говорил, подобно тому как шахматист, изучивший не одну партию своего противника, сопровождает каждый его ход своей объясняющей мыслью.

— Так или иначе, нельзя допустить, чтобы Мерзляков пострадал от этой явной несправедливости. Я звонил Лазареву...

Это был заведующий отделом аспирантуры Наркомздрава.

— Он полагает, что повторять защиту у нас неудобно. Но где-нибудь на периферии...

— В этом нет нужды, Валентин Сергеевич. Никольский предложил Мерзлякову защитить диссертацию в институте Академии наук. Разумеется, если ВАК разрешит повторную защиту.

— А после защиты он вернется в наш институт?

— Не знаю.

— Жаль, если нет.— Он помолчал, потом взглянул на меня, улыбаясь.— Эх, Татьяна Петровна! Вот говорят — школа Крамова. А ведь с не меньшим правом вашу лабораторию можно было бы назвать научной школой. У вас ясный взгляд на вещи, Татьяна Петровна! Вы сами не догадываетесь, что уже вышли со своей группой на широкую дорогу. Ваша лаборатория фактически уже почти стала самостоятельным институтом.

Нужно было запутаться в собственных расчетах, чтобы сделать этот грубый, несвойственный Крамову ход. Он и сам, по-видимому, почувствовал это. Щечки порозовели. Он снял и нервно протер пенсне. Но отступать было, видимо, поздно.

— Немного организационной смелости, да? В самом деле — почему бы не совершиться этому превращению?

Не знаю, как передать это ощущение, но впервые в разговоре с Крамовым я почувствовала себя увереннее, спокойнее, сильнее, чем он. Я засмеялась, сказала: «Вы шутите»,— и минута, когда, немного растерянный, он ждал моего ответа, прошла.

— Валентин Сергеевич, я пришла к вам по делу, которое может показаться вам странным. Однажды вы показали мне вашу коллекцию старинных медицинских рукописей и книг.

Он ответил не сразу.

— Помню.

— Нет ли среди них рукописи доктора Лебедева «Защитные силы»?

Теперь пришла его очередь искать в моих словах скрытый смысл. Брови поднялись, глаза взглянули поверх пенсне с настороженным недоумением.

— Весьма вероятно. А почему вас интересует эта рукопись, Татьяна Петровна?

— Причина простая. Ее написал человек, который мне очень дорог. Один старый провинциальный врач... Когда-то я училась у него. Но он интересует меня и как научный труд. Разумеется, я сужу по детским воспоминаниям.

Крамов слушал, любезно склонив голову набок. Он не верил мне. «Но если это только предлог, почему она уклонилась от серьезного разговора? Я намекнул, что готов пожертвовать некоторыми сотрудниками,— она не приняла намека. Почему обошла вопрос о Мерзлякове? Неужели она действительно явилась ко мне с единственной целью — заглянуть в никому не нужную рукопись какого-то старого врача?»

Я не сомневалась в том, что верно прочла его мысли.

— Сейчас посмотрю, Татьяна Петровна,— спокойно сказал он.— Каталога у меня нет, все не соберусь составить, но что-то помнится... Как вы сказали?

Я повторила название. Он вышел в кабинет — мы разговаривали в столовой — и вернулся.

— Есть.

— Есть? — переспросила я радостно.— Валентин Сергеевич, я вас очень прошу, разрешите взять ее хоть на несколько дней. Наверное, вы не хотите расстаться с ней совсем. Идя к вам, я думала об этом. Но, может быть...

Он все еще не верил мне: «А что, если это ловушка?»

— Почему не захочу? Правда, как всякий коллекционер, я не очень-то люблю выпускать из рук... Но тут особенные обстоятельства. Можно, например, снять с нее копию. Хотите?

— Конечно, спасибо.

— Беда только в том, что я отдал ее переплетчику, вместе с другими рукописями. Но это было месяца два тому назад.

Он при мне позвонил переплетчику и, узнав, что рукопись готова, обещал прислать ее мне.

Он исполнил обещание и через несколько дней прислал мне рукопись Павла Петровича. «Защитные силы» — было аккуратно выведено старческим почерком на первой странице. «Том первый. Микробы и ткани».

С непостижимым чувством возвращения в прошлое, казалось бы ушедшее навсегда, развернула я эту рукопись, с которой в жизни было связано так много. Как живой, появился перед моими глазами Павел Петрович — под цветущим каштаном, розовым от заходящего солнца. Вот, закончив лекцию, он возвращается к себе, я провожаю его — и что за удивительный мир открывается на пороге его комнаты, сколько загадок!

И другое вспомнилось мне: наш последний разговор, когда у меня сердце томилось от невозможности помочь

ему, утешить его, а он говорил и думал — не о себе! — о судьбах науки. Распечатанный конверт лежал на столе — отзыв о статье, которую он посылал знаменитому Т.,— холодный, грубо иронический, уничтожающий отзыв. Но не отчаяние заставило его задуматься в эту, быть может, самую грустную минуту жизни. «Два противоположных закона борются в мире,— сказал он тогда,— закон смерти, ежедневно придумывающий новые средства убийства и разрушений, и закон мира и жизни, стремящийся освободить человека от преследующих его бедствий. И я счастлив, потому что вижу, какое место заняла в этой битве Россия».

Спор

Конференц-зал полон. Сидят на окнах, стоят в проходах. Двери открыты — и в коридоре полно.

— ...Без подходящей теории невозможен организационный захват — вот в чем сущность вопроса! Теория Крамова создается на наших глазах, но не потому, что она является живой, насущной потребностью науки. Нет, она подбирается, составляется, придумывается. Она опирается на факты, но только одной своей стороной, и, может быть, наименее важной. Она выковывается как оружие, но не науки, не познания природы, а собственного благополучия и славы.

Душно. Накануне «Вечерняя Москва» предсказала двадцать три градуса в тени и ошиблась: около тридцати. Я с тревогой смотрю на Лену — от духоты ей иногда становится дурно. Да, очень бледна, синеватые губы. Она понимающе прищуривает один глаз и улыбается мне через силу. Рубакин — за кафедрой, Крамов — за столом президиума, в двух шагах от него, и я ловлю себя на мысли, что бросить это оскорбительное «собрать теорию» ему прямо в лицо для меня было бы все-таки трудно. Но Рубакину, очевидно, не трудно.

— За последние годы я внимательно прочел работы многих ученых, примыкающих к этому направлению. Мало общего — вот что бросается в глаза! Очень мало! Среди них есть несколько серьезных ученых, которые искренне уверены, что крамовская теория двигает советскую медицину вперед,— это еще не школа! Есть ловкие люди, которым выгодно принадлежать к определенному научному направлению, которые подтасовывают факты и получают за это степени и звания. Это еще не школа! Есть метод «вза-

имного оплодотворения» — теория собирает под свои знамена сторонников, а сторонники добывают факты, подтверждающие теорию. И это не школа! А между тем существует, действует, превозносит себя эта мнимая школа! Куда ни посмотришь — в Ростове и Саратове, в Киеве и Казани. Не говорю уже о Москве, где она пытается утвердить свое значение в комитетах и комиссиях, в редакциях и ученых советах. Вот она, магия,— не подберу другого слова! Магия имени, повторенного в печати тысячи раз. Магия долголетняя — потому, что все это продолжается годами. И вдруг какой-то мальчик, аспирант, у которого нет ни одной печатной работы, осмеливается коснуться непогрешимой теории...

Я оборачиваюсь и смотрю на притихший, внимательный, взволнованный зал. Где Виктор? Вот он! Сидит в третьем ряду подле Кати Димант на краешке стула и, широко открыв глаза, слушает Рубакина с удивлением, с восторгом.

Коломнин сидит подле него, положив ногу на ногу, сгорбившись, подняв узкие плечи. О чем он думает, этот человек с дурным характером? Щурится, иронически опускает углы тонкого рта, очевидно, доволен.

«А ты о чем думаешь, милый друг? — мысленно спрашиваю я Крупенского, на худом, покрасневшем лице которого одно выражение быстро сменяется другим: негодование — презрением, притворное спокойствие — ужасом перед святотатством.— Искренне ли готов свернуть осмелевшему противнику шею или обдумываешь дальновидный план обхода, окружения, флангового удара?»

Я перевожу взгляд на Лену и догадываюсь, что она слушает Рубакина с тем странным чувством неузнавания, с которым на кафедре, в центре общего интереса, видишь очень близкого человека...

Андрей посоветовал мне не записывать свою речь, а говорить по плану, и, поднимаясь на кафедру, я чувствую мгновенное острое сожаление, что последовала его совету.

— Почему коллектив института с такой остротой отнесся к судьбе диссертации Мерзлякова? Потому что подлинная причина провала — в теоретических разногласиях, которые давно пора назвать полным голосом, ничего не скрывая...— Наконец высказано все, и я перехожу к следующему пункту плана.

— ...Валентин Сергеевич часто говорит о том, какую большую помощь оказывает он молодым ученым. Но при-

глядитесь: в чем фактически, на деле выражается эта помощь? Уж не в том ли, что перед фамилией начинающего ученого обычно появляется фамилия шефа? Мне известно, что подчас наши молодые сами просят об этом Валентина Сергеевича: редакции охотнее печатают статьи, если рядом с безвестным именем какого-нибудь аспиранта стоит знаменитое имя члена-корреспондента Академии наук, почетного члена многих русских и иностранных обществ. Но не следует ли в связи с этим поставить вопрос о работе редакций — в особенности редакции ЖМЭИ, членом коллегии которой является тот же Валентин Сергеевич?..

Вот и последний пункт — и очень хорошо, что последний, потому что собрание продолжается добрых два с половиной часа и уже не только Лена, а весь битком набитый маленький зал задыхается от жары.

— ...И было бы еще полбеды, если бы эта оторванность от того, чем живет страна, эта схоластика, прикрытая пышными фразами, была характерна только для крамовской школы. Суть дела заключается в том, что тень этой схоластики падает на работу всего института в целом. На съездах и конференциях, в Совнаркоме и Наркомздраве Валентин Сергеевич с блеском доказывает, что наш план тесно связан с задачами третьего пятилетнего плана. Так почему же из личной лаборатории Валентина Сергеевича за много лет не вышло ни одной работы, имеющей практическое значение? Почему он вычеркивает из плана других лабораторий тесно связанные с клиникой темы?

— Вычеркивает? — с изумлением спрашивает Крамов.

— Да. Вот пример: нам удалось доказать, что обыкновенная зеленая плесень задерживает рост некоторых гнойных микробов. Трудно сказать, что получилось бы из этой работы, но перспектива клинического применения уже наметилась — приблизительная, но заслуживающая внимания. Валентин Сергеевич вычеркнул эту тему из нашего плана. Известно ли ему, что в прошлом плесень как лечебное средство глубоко интересовала крупных представителей нашей науки?

Как я сказала — «в прошлом»? Грязный, одутловатый человек с кадыком, торчащим из воротника засаленной куртки, как в повторяющемся сне, появляется передо мной: «А зачем вам его фамилия? Вы пойдете к нему?»

Я говорю и с каждым словом все больше убеждаюсь в том, что Андрей был прав. После веских теоретических обвинений неубедительным, неуместным кажется этот «ча-

стный» упрек. Об этом нетрудно догадаться по лицу Рубакина, вдруг ставшему озабоченно-напряженным, по движению разочарования, мгновенно пробежавшему по зашумевшему залу.

Председатель стучит карандашом по стакану. Я кончаю.

Аплодисменты довольно сдержанные.

Перерыв.

Перерыв кончается, и с новой силой вспыхивает горячий, шумный, разбежавшийся спор. Выступают искренне и неискренне, с расчетом и без расчета, прямодушно и лживо. Одни говорят то, что думают, другие думают не то, о чем говорят. Одни защищают Крамова из боязни перед его влиятельным именем, положением, значением. Другие защищают от него советскую науку, невзирая на все его звания и положение.

Жара становится все удушливее. Мужчины снимают пиджаки, женщины обмахиваются платками. Но не уходит никто, почти никто! Ждут выступления Крамова.

Наконец он берет слово. Неторопливо поднимается он на кафедру, и нельзя не подивиться уверенности, с которой он начинает речь.

— Не думаю, к сожалению, что наша дискуссия решит те вопросы, перед которыми мировая иммунология остановилась с чувством некоторой растерянности и даже страха...

Он говорит веско, хладнокровно, не оправдываясь и не нападая, со всем беспристрастием истинного мужа науки; почему же за этими скупыми жестами, за этой неопровержимой логикой, за этим холодным поблескиванием пенсне мне чудится азартный игрок, попавший в беду и ставящий многое, если не все, на верную карту?

— Хотя и говорят, что новый материал притягивается к исследованию логикой самой работы, на самом деле это неверно, потому что работа исследователя не происходит в безвоздушном пространстве. Логика работы есть логика ее необходимости, ее соответствия тем задачам, которые поставила перед собой наша страна...

Пауза. Волнуется. Пьет воду.

— Я не вижу этой логики в работах некоторых лабораторий — увольте меня от необходимости называть имена. Более того, я не вижу той плановой очередности, для которой основным условием является реальная ощутимость целого. В это целое входит вся жизнь Советской страны,

переживающей еще невиданный период борьбы с предателями, с людьми без чести, без родины...

Он не называет имен. Но всем ясно, что речь идет о недавно закончившемся процессе правотроцкистского блока.

— Для того чтобы охватить большую группу сложных и подвижных явлений, нужны не только способности и знания. Надо учиться и учить других — беспощадности по отношению к тем, кто топчет ногами священные знамена советской науки. О чем говорим мы сегодня так долго? О том, что такое научная школа? О какой-то неведомой магии долголетия? Чем объясняется настойчивое стремление некоторых товарищей уйти в сторону от стремительного наступления на предательство, ложь и измену,— наступления, которым живет и еще долго будет жить наша страна? Что это за странная «формула обхода», и нет ли за ней известной нарочитости, предвзятости, преднамеренности — я не боюсь этого слова!

Шум. Председатель Дилигентов, взволнованный, с красными пятнышками на щеках, с растрепанной седой бородкой, стучит карандашом по стакану. Неподвижно глядя перед собой, Крамов пережидает шум.

— Насущные требования жизни,— продолжает он.— О них говорила сегодня наша уважаемая Татьяна Петровна. Что же представляют собою эти насущные потребности жизни? «Профессор Крамов,— заявила она,— вычеркнул из нашего плана тему, которая имеет неоспоримое практическое значение». Да, вычеркнул! И то же самое сделал бы на моем месте любой микробиолог, серьезно относящийся к делу. Должен заметить, что Татьяна Петровна неоднократно возвращалась к вопросу о плесени, которая представляется ей верным средством от самых тяжелых болезней. Признаться, я недоумевал: откуда взялась эта странная мысль? Разгадка оказалась простой. В течение многих лет я собираю коллекцию старинных медицинских книг и рукописей. На днях Татьяна Петровна обратилась ко мне с вопросом: нет ли среди них рукописи некоего доктора Лебедева, который дорог ей по детским воспоминаниям? Рукопись нашлась — кстати сказать, в отделе курьезов и заблуждений, которыми, как известно, кишит история науки. Я перелистал ее — и источник научного вдохновения Татьяны Петровны открылся передо мною! Мистическая вера в плесень пронизывает эту рукопись от первой до последней страницы. Когда-то средневековые алхимики утверждали, что им удалось из тряпок,

навоза и гнилой муки вырастить в колбе живого человечка. Доктор Лебедев недалеко ушел от подобного утверждения. «Плесень,— заявляет он вместе с Татьяной Петровной,— убивает микробов». Но ведь и туалетное мыло убивает микробов!

Рубакин шепчет мне что-то на ухо, я слушаю и не понимаю ни слова.

— Простительно ли советскому ученому, доктору медицинских наук то, что можно простить полусумасшедшему знахарю, автору антинаучного бреда? Нет. И не следовало Татьяне Петровне упрекать меня в том, что я искренне пытался предостеречь ее от очевидного заблуждения. Напротив. На ее месте я бы серьезно задумался над тем, своевременно ли в наши дни заниматься подобным вопросом? Не стоит ли за этим упорным пристрастием все та же подозрительная «формула обхода»?

Снова пауза. Снова пьет воду. Тишина.

Воздух — в зале и за окнами — неподвижен. Дымок единственной папиросы, выкуренной, несмотря на запрещение, Коломниным, долго, медленно плывет к столу президиума серовато-синей полосой.

В глубоком молчании Крамов кончает свою угрожающую, еще непостижимую, не укладывающуюся в сознании речь. От научной дискуссии он возвращается к внутреннему положению в стране.

— Думается, теперь для всех уже ясно, что перед нами не заговор и его ликвидация, а нечто большее, что это новый этап Октябрьской революции, что наши дни история, быть может, поставит на одну доску с героическими годами эпохи гражданской войны. Это вскрыл, этому дал точную оценку Сталин. Он составил план наступления, он же и руководит наступлением. Определив деятельность предателей как неизбежное следствие строительства социализма в капиталистическом окружении, он снял тем самым с наших плеч огромную моральную тяжесть...

— Попробуем взглянуть на жизнь его глазами,— сказал Рубакин.

Это было у нас через несколько дней после дискуссии. Андрей еще не ходил на работу, и странно было видеть его дома, в дневные часы, играющим с Павликом — на полу, под письменным столом с помощью моей шали было устроено «метро», превосходный темный тоннель.

— Откуда взялся этот шаг? Ведь это именно шаг, поступок, решение! Вы думаете, Крамов не понимает, чем грозит нам подобная речь?

Я невольно посмотрела на телефон, прикрытый подушкой. Рубакин тоже посмотрел — улыбнулся, но понизил голос.

— Я прочел все, что он написал. Он начинал превосходно, на уровне Виноградского или, скажем, Гамалеи. Потом, в двадцатых годах... Не знаю, как назвать... Деформация?.. Шли годы, и теперь вдруг оказалось, что надо притворяться! Вот от этого «надо притворяться» многое происходит. В особенности когда притворство, лесть, подозрительность — вдруг оказываются в цене и с каждым днем приобретают все более непонятную силу.

Я снова взглянула на телефон. Рубакин тоже, на этот раз с угрюмым выражением, странно изменившим его круглое, доброе, решительное лицо.

— Ну, а когда остаешься наедине с собой? О чем думается, когда смотришь на себя беспристрастным, оценивающим взглядом? Ведь не угнаться, не удержаться, обходят со всех сторон! Молодые идут, что с молодыми делать? И добро бы еще не трогали тебя, оставили в покое. Так нет — упрекают в отсталости, в интригах, в организационном захвате. В подмене науки видимостью науки!

Андрей давно оставил игру в «метро» и сидел на полу, подняв голову, не слушая, что говорил ему Павлик.

— Папа! Ну, папа же!

— Да, милый.

Я всегда радовалась, видя их вдвоем,— это случалось так редко! Но теперь у меня невольно сжалось сердце. Не надо было затевать этот разговор при Андрее!

— И вот выход найден. Впрочем, он подсказан всем ходом вещей. Стоит только поставить знак равенства между своими врагами и...— Он запнулся.

— Врагами народа,— докончил Андрей.

— Товарищи!

— Положите на телефон еще одну подушку и успокойтесь, Татьяна,— сказал Рубакин.— Именно так. Знак равенства! Впрочем, нет. Не враги, а друзья. Друзья, ученики, сотрудники института, который он, Крамов, годами создавал на пользу советской науки. Кто мог бы подумать, что эти способные и даже талантливые люди внутренне связаны с «чудовищными выродками человечества, задумавшими злодейский план разрушения СССР».

Свежий номер «Правды» лежал на столе. Он кончил фразу, взглянув на передовую.

— Тяжело, братцы.

— Поговорим о другом.

— Может быть, жестами?

Он засмеялся, но невесело засмеялся.

— Нет, я хотел бы все-таки знать: думал ли Крамов о том, *что* может снова вспыхнуть после подобного шага?

— Не после, а вследствие,— сказал Андрей.— Разумеется, думал. Более того — рассчитывал.

— Товарищи, вы не хотите пройтись?

— Мы хотим выпить,— сказал Рубакин.

— Андрею еще нельзя. А вам я сейчас принесу.

— ...Политически компрометируя своих противников, нацеливая на них карательные органы...— услышала я, войдя через минуту с подносом, на котором стояли графин с водкой и рюмки.

— Петр Николаевич, потом.

— Потом будет поздно.

— Уже поздно,— возразил Андрей.— Налей-ка и мне.

— Значит, условились: о другом!

— Условились,— охотно согласился Рубакин.— Кстати, Крушельницкий арестован.

Это был старый ученый, академик, некогда работавший у Пастера вместе с Гамалеей.

— Не может быть! За что?

Рубакин усмехнулся.

— Сегодня хорошая погода,— сказал он.

Я только что вернулась домой. Погода была плохая. Рубакин выпил.

— Что же вы теперь будете делать с вашей мистической верой в плесень, Татьяна?

— Работать.

— Очень хорошо. Подпольно? В плане нет этой темы.

— И не было.

— А вы не боитесь, что Крамов...

— Нет, Петр Николаевич. В крайнем случае я постараюсь доказать, что с помощью плесени нельзя совершать политические убийства.

— Так же, как с помощью дрожжей, которыми всю жизнь занимался Крушельницкий,— сказал Андрей.

Я посмотрела на него. Беспомощное выражение пробежало по его лицу, очень бледному, с двумя глубокими складками у рта — я не замечала их прежде...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

СВЕТ И ТЕНЬ

Поле зрения

Мы читали рукопись Павла Петровича вместе с Андреем — я была рада, что эта трудная работа скрасила его вынужденное безделье: нужно было соединять разорванные главы, сличать повторяющиеся места, по строчкам, по словам разбирать поспешно набросанные страницы. Вслед за протоколом опыта шли наброски письма к Ленину. Программа Института защитных сил природы была разбросана по всей книге. Трудна была и сама манера письма. За мыслью, выраженной кратко и точно, шли пространные мечты о будущем науки, о будущем человечества, то, что в современной научной литературе выглядело бы старомодным и странным. Так, в книгах Циолковского рядом с колонками точнейших вычислений как бы высятся возведенные мечтой ученого причудливые, призрачные здания.

Некоторые страницы я узнавала, как узнают друзей после долгой разлуки. Вот та, которую Павел Петрович диктовал мне, а я ерзала и оборачивалась, борясь с желанием написать «токсин» через «а», потому что при этом слове мне неизменно представлялась такса. Могла ли я тогда вообразить, что пройдут годы и, перечитывая эти детские, кривые, то клонящиеся в сторону, то взлетающие строки, я буду тщательно восстанавливать нить, ведущую от одной мысли к другой?

Чтение шло медленно. У меня было мало времени, а Андрея мучили припадки слабости, которые время от времени заставляли его на весь день оставаться в постели. И мне стал помогать Виктор, который защитил свою диссертацию у Никольского. Потом к нам присоединились Лена и Катя Димант, и постепенно весь коллектив стал заниматься этой трудной работой.

Вовсе не мистической верой в плесень была полна эта книга — так выразился Крамов, который, очевидно, не прочитал, а лишь небрежно перелистал ее. Но мысль о целебных свойствах плесени действительно занимала в ней заметное место. На чем она была основана? На опытах, которые Павел Петрович подробно описывал в своей книге. «Вопреки многолетним заблуждениям,— писал он,— зеленая плесень не приносит ни малейшего вреда человеку. Но эта же плесень губительно действует на гнойные

микробы и, следовательно, представляет собою лечебное средство».

Гнойные микробы! Испытывая влияние плесени на возбудителей разнообразных болезней, мы убедились в том, что плесень задерживает рост гнойных микробов. Но каким видом плесени пользовался в своих опытах Павел Петрович?

Неясное воспоминание мелькнуло передо мной при чтении этой страницы: вот я рассказываю старому доктору о том, что у Зины Николаевой из нашего класса огромный, незаживающий нарыв на ноге, и он лечит ее — сперва неудачно, а потом присыпает нарыв каким-то зеленоватым порошком, и Зина выздоравливает в несколько дней. У почтальона три месяца нарывают пальцы — тем же порошком, тщательно растертым в фарфоровой ступке, Павел Петрович присыпает их, и нарывы проходят. Не была ли это зеленая плесень?

Я поставила этот вопрос перед коллективом нашей лаборатории, и на столах снова — в который раз — появились заплесневелые корки хлеба и сыра.

Мне всегда нравилось оставаться в лаборатории по вечерам, когда медленно остывает все, что было сделано, обдумано, намечено за день, и проступают контуры главного — того главного, что подчас зачеркивает работу не только минувшего дня, но месяца и года. Все утро прошло в горячем споре с Коломниным, и теперь нужно было подумать, прав ли он, спокойно оценив все его сомнения и возражения.

— Вы пользуетесь понятиями, взятыми из общих представлений о естественной защите,— сказал он.— А какое, в сущности, отношение к механизмам защиты имеет ваша зеленая плесень?

Два или три года тому назад Крамов в другой форме поставил передо мной этот вопрос — и я не нашла ответа. Но тогда я работала наудачу, а теперь у меня в руках были новые, связанные между собой факты. Подумаем же, о чем они говорят.

Илья Терентьич, оставшийся на ночное дежурство, зашел ко мне и спросил, не хочу ли я чаю. Я ответила, что хочу, он принес и заговорил о том, что волновало всех летом тридцать седьмого года.

— Это что же, Татьяна Петровна... Выходит, куда ни взглянешь, везде враги народа сидят?

— Не знаю, Илья Терентьич.

Он постоял, помолчал.

— Вот сын говорит, что на это надо смотреть как на явление природы. Можем мы остановить грозу? Нет. Так и тут.

Он вздохнул и ушел.

«Итак,— продолжала я думать,— о чем же все-таки говорят эти факты? И не только эти: еще на кафедре у Николая Васильевича я понижала ядовитость дифтерийного микроба с помощью экстракта из печени. Нет ли сходства между этим явлением и действием плесени на гнойные бактерии?»

Кажется, только что растаяли в сумерках косые тени деревьев на Ленинградском шоссе, а уже подошла ясная, теплая, еще совсем летняя ночь. Зажглись фонари. Тоненький серп молодого месяца мелькнул и пропал в облаках. Стало быть, сходство? А если нет между этими фактами ни малейшего сходства? Нет — вот и все!

И я стала думать о том, что завтра воскресенье и мы всей лабораторией собрались в Нескучный сад. И Андрей хотел вернуться из санатория на этот день и поехать с нами. Как он все-таки беспокоит меня! У него стали другие — погасшие, расстроенные глаза, другие движения, как будто он все время инстинктивно старается сбросить с себя какую-то тяжесть.

В прошлом году мы вместе провели отпуск под Тарусой — вот где он чувствовал себя хорошо! И мне вспомнилось, как на пасеке пчела укусила мальчика и я стала горячо доказывать Андрею, что ядовитость пчел подтверждает «теорию защиты». «Те же вещества ядовиты для одних организмов и совершенно безвредны для других» — вот в чем заключалась моя мысль. «Пчела ядовита, а куры, например, едят пчел без малейших последствий. Вот так же и стрептококки...»

Я принялась точить карандаш и сломала.

«Одни формы нечувствительны к веществу, которое выделяет плесень, а другие...»

Смутная догадка шевельнулась в сознании, когда, вдумываясь в эти слова, я негромко повторила их про себя. Шевельнулась и ускользнула. Что это было? Отброшенное предположение, незначительная, но почему-то запомнившаяся подробность одной из старых работ? Кто знает.

Стекла зазвенели в ответ на равномерный грохот, донесшийся издалека. Я подошла к окну. Люди стояли на

бульваре и смотрели в ту сторону, откуда слышалось это катящееся железное громыхание. Танковая часть прошла по шоссе...

Андрей позвонил из санатория, что врач не пускает его с нами — шумно, слишком много народу,— и мы поехали без него.

Потом не раз вспоминался мне этот радостный день; он запомнился не только мне — и Коломнину, Виктору, Лене. Быть может, уже таилась в глубине души неясная догадка, что такие хорошие дни повторятся не скоро?

Виктор был не один — с незнакомой девушкой, такой крепкой, стройной, сероглазой, с таким здоровым румянцем на добром лице, что невозможно было, разумеется мысленно, не пожелать ему счастья. Но были ли для этого серьезные основания? И, поглядывая на бегущую мимо автобуса оживленную Москву, ученые люди занялись этим интересным вопросом.

Мы долго бродили по Нескучному саду, потом спустились в парк, где была какая-то выставка. Лена то и дело отставала и вдруг появлялась откуда-нибудь со стороны, бледная, веселая, размахивая розами.

— Как хорошо, Танечка, да? — тихо спросила она, взяв меня под руку.— Эх, жаль только, что молодость уходит, черт побери!

В сельскохозяйственном павильоне были выставлены образцы пшеницы «Зерносовхоза-5», и хотели этого мои товарищи или нет, но они должны были выслушать краткую речь бывшего врача этого зерносовхоза о том, что он представлял собой в 1930 году.

— А ведь, помнится, вы еще тогда работали над плесенью, Татьяна Петровна,— сказал Коломнин.— Я слышал ваш доклад на конференции тысяча девятьсот тридцать третьего года. У вас свечение передавалось от холероподобных к холерным. Но при чем же тут была плесень?

Я хотела напомнить — он не дал.

— Ах да! В соединении с плесенью усиливалась сила света.

— Товарищи, предложение,— сказала Лена.— Один час без плесени. Кто «за»? Поднимите руки.

— Да не просто в соединении с плесенью, Иван Петрович. В том-то и дело, что плесень сама по себе не усиливала свечения. Я пользовалась фильтратом.

— Как фильтратом?

— Ну да! Свечение усиливалось под действием какого-

то вещества, которое плесень выделяла в питательную среду... Постойте, Иван Петрович! Как я сказала?

Это и была та самая — ночная, мелькнувшая и исчезнувшая догадка. Если дело в том, что не сама плесень действует на бактерии, а это неведомое вещество, стало быть... Стало быть, это вещество и защищает плесень от бактерий. Так вот этот мост между плесенью и естественной защитой! Павел Петрович смотрел на плесневой грибок как на организм, способный вырабатывать активные средства защиты.

— Товарищи, я, кажется, поняла, в чем дело!

Только что мы стояли перед фото, изображавшим силосный подсолнечник в два человеческих роста, и спорили о том, насколько правдоподобно это фото, и Виктор предлагал навести соответствующие справки, а я, защищая честь своего зерносовхоза, собиралась вести маловеров к директору павильона.

Минуты не прошло, как все это было забыто. Шесть человек заговорили разом, отчаянно размахивая руками и наскакивая друг на друга. В публике, чинно осматривавшей павильон, произошло движение. Служащий выставки, очевидно вообразив, что начался скандал, торопливо направился к нам.

— Откуда берется желтая окраска на поверхности питательного бульона? Плесень выделяет вещество, которое окрашивает бульон. И нужно изучать не плесень, а это вещество, потому что именно оно-то и действует на гнойные бактерии.

Радостная, взволнованная, проведя в Нескучном целый день, я возвращалась домой. На лестнице мне встретилась Агния Петровна, которая бежала в аптеку.

— Что случилось?

— Ничего не случилось.— Она сердито махнула рукой.— Врачи, профессора, а в доме пирамидону нету.

— А для кого пирамидон?

— Да для Андрея! У него голова разболелась.

— Он приехал?

Я торопливо поднялась по лестнице, открыла дверь — у меня был свой ключ — и остановилась в передней: повсюду было темно — и у Павлика и у нас.

— Зажги свет, я не сплю,— негромко сказал Андрей, когда я вошла на цыпочках, чтобы не разбудить его, и стала в темноте снимать туфли.

— Что с тобой? Ты все-таки приехал?

Он лежал одетый, закинув руки под голову, очень бледный, с напряженным взглядом.

— Меня вызвал Малышев. Срочное дело.

Я села на постель и прикоснулась губами к его лицу. Лоб был горячий.

— У тебя опять температура.

— Может быть, небольшая. Ну, рассказывай!

— О чем!

— У тебя что-то новое, я вижу.

— Хорошо, сейчас расскажу. Но прежде ты.

Он помолчал. Глаза у него немного косили, как всегда, когда он был расстроен.

— Захарьин арестован.

Это был видный работник Санэпидуправления, безупречный человек, один из основателей нашего здравоохранения. Он часто бывал у нас — именно поэтому Малышев и вызывал Андрея.

— Не может быть! За что?

Андрей усмехнулся.

— Опять?

Каждый раз, услышав о новом аресте, я спрашивала: «За что?»

— Если завтра посадят меня, ты тоже спросишь — за что?

— Не дай бог. Но ведь нельзя же допустить, что без всякой причины!

— Да, нельзя допустить...

— Малышев говорит — поезжайте в Гаспру. Черта с два! От самого себя не уедешь. Ладно! — Он ласково взял меня за руку.— Чего ты всполошилась? Меня не возьмут. Могут спросить насчет Захарьина — что ж! Скажу, что редко встречал человека честнее и благороднее, чем он. Ну, рассказывай, что у тебя?

Это было трудно, но я стала рассказывать, стараясь справиться с нараставшей, сжимавшей сердце тревогой.

Главная мысль

Многое удалось сразу, как бывает, когда новая мысль, мгновенно озарив все, что было сделано прежде, проводит резкую границу между тем, что хотят увидеть глаза исследователя, и тем, что они действительно видят.

Девяносто три вида плесени были изучены и прове-

рены на микробах гниения. И оказалось, что с наибольшей энергией растворяет эти микробы все тот же грибок — пенициллиум крустозум. Это были дни, когда мы стали говорить о нем как о живом существе: «Он любит, он не хочет, ему нравится»,— точно в лаборатории появился ребенок. Какая питательная среда нравится ему больше других? При какой температуре он любит расти, а при какой не любит? Как переносит действие кислот, воздуха, солнечного и электрического света? Нужно было «создавать для него условия»!

Как в незнакомом городе, мы за каждым углом открывали новое, то, что никогда не видели прежде. Все непривычно, все возбуждает интерес, волнует и занимает. И неизвестно, что еще раскинется перед глазами, когда выйдешь на главную улицу и поймешь, что она действительно главная и что до сих пор ты бродил по окраинам, упираясь в тупики да путаясь в заброшенных переулках!

Случалось ли вам взять с полки давно забытую книгу и вдруг прочесть ее совсем другими глазами? Глубокий смысл открывается в том, что прежде казалось поверхностным или случайным. Отдельные бессвязные черты складываются в картину, и, всматриваясь в эту оживающую картину, начинаешь догадываться, что многое до сих пор оставалось в тени.

Последний предвоенный год вспоминается мне с этим чувством вглядывания и неузнавания...

В морозный февральский день мы всей семьей, с Павликом и Андреем, отправляемся встречать седовцев.

Украшенные цветами машины мчатся по улице Горького к Белорусскому вокзалу. Делегации заводов, учреждений, вузов несут цветы, и непривычно, странно выглядят гиацинты и левкои в этот холодный день с резким ветром, с жесткой снежной пылью, бьющей в лицо. Цветы привезены с юга.

Павлик недавно научился считать и теперь все подсчитывает — шаги, дома, время... Дрейф «Седова», по его расчетам, продолжался 27 месяцев, или 812 суток и 10 часов. Он говорит задумчиво, с выражением пристального внимания, которое заметно, даже когда я опускаю уши его шапки и становятся видны только маленький нос и шевелящиеся серьезные губы.

Мы заходим к Коломнину (он живет на улице Горького, в угловом доме напротив Белорусского вокзала), и из окон четвертого этажа открывается украшенная

лентами, портретами, знаменами снежно-зеленая площадь.

Проходит немного времени, и люди в черных шинелях появляются на этой нарядной площади, встречающей их с шумным восторгом. По красной ковровой дорожке седовцы проходят к трибуне.

Лица плохо видны, и кто-то из соседей Коломнина по квартире приносит полевой бинокль. В порядке очереди, вслед за Павликом, я подношу бинокль к глазам. В толпе встречающих я вижу Митю — так ясно, как если бы он стоял рядом со мной!

Я передаю бинокль Андрею.

— Как ты думаешь, кто этот человек? Вон, видишь, высокий, в бекеше?

Андрей смотрит. Потом говорит неуверенно радостным голосом:

— Митька!

И с этой минуты мы не спускаем глаз с высокого человека в бекеше, стоящего под плакатом «Пламенный привет победителям льдов».

Представители Совнаркома, ЦК, Моссовета приветствуют седовцев, оркестр играет «Интернационал», командир ледокола благодарит, школьница подносит ему огромный букет. Митинг окончен. Увитые гирляндами машины мчатся по улице Горького, народ начинает расходиться, и мы торопливо спускаемся вниз. Коломнин остается на своей наблюдательной вышке со строгим наказом неотступно следить за Митиным двойником или, если мы не ошиблись, за Митей.

— Это он! Я тебе говорю, это он.

— И по-моему, он. Но как он оказался здесь?

— Очень просто! Приехал, не застал нас и отправился встречать седовцев.

И это действительно Митя! Мы догоняем его у самого дома, в институтском дворе.

Вечером Агния Петровна в честь приезда старшего сына печет пирог. Братья спорят — они всегда спорят,— а я слушаю, удивляясь тому, что с каждым годом они становятся все больше похожи друг на друга. Оба держатся по-военному прямо, у обоих между бровями появились одинаковые морщины. У обоих стал всматривающийся, уходящий вдаль, задумчивый взгляд. Оба похудели с годами.

Спор — все о том же, неизбежно вспыхивающий в первые же часы каждой новой встречи.

— Когда настоящий ученый-исследователь приходит на кафедру, с какой жадностью обступает его молодежь! За примером недалеко ходить: Лавров ушел в Первый Медицинский. И что же? Через два года его кафедра стала лучшей в Союзе. А ведь он звезд с неба не хватает. Но он — исследователь, и это прекрасно чувствуют те, кто идет ему на смену в науке.

— Да почему же ты думаешь, что мне не удалось связать кафедру с научной работой?

— Мне казалось...

— Казалось! Ты просто боялся, что из меня ничего не выйдет в науке.

Митя проводит у нас несколько дней, и эти дни, когда Андрей возвращается с работы в восемь часов, мы обедаем дома, и весь домашний уклад перестраивается таким образом, чтобы почаще и подольше видеться с Митей. Втроем мы отправляемся в МХАТ, на новую постановку «Трех сестер» — прекрасный вечер, когда все, что происходит на сцене, какой-то таинственной нитью связывается с Лопахином, с годами юности, с первой сквозящей зеленью вязов, с памятной ночью на Пустыньке, когда мы с Андреем поклялись «совершить великое во имя и для счастья народа».

А потом Митя уезжает — очень веселый после удачного доклада в ВИЭМе. Прежде, едва мы расставались, я начинала с грустью думать о том, что к его таланту — оригинальному, острому — с годами не прибавляется почти ничего. В детстве мне подарили калейдоскоп, и я не могла насмотреться на разноцветные, симметричные узоры и сочетания, мгновенно изменявшиеся, едва поворачивалась трубочка, в которой было заключено это чудо. Потом я нечаянно наступила на калейдоскоп, и из треснувшего картона посыпались осколки самых обыкновенных цветных стеклышек — тех самых, которыми мы играли в «классы»... Что-то непрочное, легко меняющееся подчас мерещилось мне в Митиных слишком стройных сочетаниях и схемах.

Но с другим, совсем другим чувством я на этот раз провожала его...

Это был не совсем обыкновенный день — по двум причинам, между которыми не было, казалось, ни малейшей связи. Часов в двенадцать Лену вызвали к телефону, она поговорила с кем-то и, озабоченная, постучала ко мне.

— Это мой сосед, Стогин,— сказала она.— Он просит меня приехать. Катеньке хуже.

— Хуже? Я не знала, что она заболела. Давно?

— На прошлой неделе.

— Что с ней?

— Стрептококковая ангина. Но уже дня три, как температура упала. А сегодня почему-то опять поднялась.

— Ну, поезжай. Я тебе позвоню.

Лена уехала, и день пошел своим чередом. Но часа в четыре оглушительный грохот вдруг донесся из комнаты биохимиков — я опрометью бросилась туда и, не поверив глазам, замерла на пороге: взявшись за руки, Виктор, Катя Димант и двое молодых сотрудников плясали какой-то дикий танец вокруг стола, на котором в штативе одиноко стояла пробирка с темно-желтой жидкостью. Вечно озабоченный Коломнин притопывал, прищелкивал пальцами и мурлыкал.

— Татьяна Петровна, получилось! — закричал он.— Вот он — душа моя!

В пробирке был первый очищенный крустозин — правда, еще далеко не в той степени, которая могла совершенно исключить вредное влияние примесей на организм. Но это в ту пору было не так уж и важно для нас; мы искали самый метод очистки, и пробирка с темно-желтой жидкостью была первым доказательством, что в этих поисках мы вышли наконец на дорогу.

...Лена позвонила вечером и сказала, что Катя чувствует себя плохо.

— Но что же все-таки с ней?

— В том-то и дело, что ничего не понять. Налетов уже давно нет. А температура высокая.

— Что же врач говорит?

— Говорит: надо ждать.

И мы заговорили о другом. Впрочем, другое — это был все тот же наш крустозин. Лена уже знала о нашей удаче от Виктора, который зашел к Рубакиным после работы.

— В общем, ты не волнуйся. У Павлика в прошлом году после ангины тоже долго держалась температура.

— Я не волнуюсь.

Но наутро она пришла в институт такая бледная и подавленная, что не было человека, который бы не спросил, что случилось.

— По-видимому, общее заражение крови.

— Да что ты говоришь! Не может быть! Откуда?

— После стрептококковой ангины.

— Сделали анализ крови?

— Да. Кровь стерильна. Но врач говорит, что это еще ничего не значит.

В течение дня она несколько раз звонила Катиному отцу, и вся лаборатория уже знала о девочке, заболевшей общим заражением крови, тем самым заражением крови, которое вызывается гнойными микробами, столько раз таявшими на наших глазах под действием крустозина.

— Вот был бы у нас устойчивый препарат,— сказал Коломнин со вздохом.

Лена быстро взглянула на него, потом, широко открыв глаза,— на меня. Я промолчала.

Вечером я поехала к Лене и нашла ее у Стогиных, в полутемной комнате, у постели, на которой, закинув ручки и тяжело дыша, лежала Катенька. Высокий человек в военной форме шагнул мне навстречу. У него было хорошее лицо с темными, сдвинутыми у переносицы бровями. Это был Стогин.

Прошло несколько дней, и положение оставалось тяжелым, а между тем что только не делали с этим бедным, худеньким, измученным телом!..

Поздним вечером мы с Коломниным сидели в лаборатории, когда дежурный позвонил и сказал, что меня хочет видеть какой-то военный. Я спустилась в вестибюль.

— Татьяна Петровна, это я, Стогин.

— Как Катенька? Консилиум был?

— Да. Только что кончился. Плохо. Татьяна Петровна, я приехал к вам... Больше нет надежды. У вас есть препарат, который, возможно, мог бы помочь. Елена Васильевна говорила мне... Я знаю, вы еще не испытали его на больных. Но ведь теперь все равно... Никакой надежды.

Он говорил бессвязно, торопливо, перебивая себя и, видимо, очень боясь отказа. На скулах ходили желваки. Губы поджимались, как от неожиданной боли.

— Да как же я могу дать вам препарат, который еще не прошел клинических испытаний!

— Ну и что же! В крайнем случае он просто не подействует, правда? Ведь от него не может быть никакого вреда?

— Думаю, что вреда не будет. Но...

— У меня, кроме этой девочки, нет никого на свете. Вы женщина, вы должны понять...

— Да поймите же и вы, что у нас еще нет этого пре-

парата! А если бы и был, все равно выдать его вам я не имела бы права!

Он замолчал. Я взглянула на него — он быстро прикрыл ладонью глаза. Лицо его было искажено ужасом перед надвигавшейся бедой...

— Я сейчас вернусь. Подождите немного.

И, поднявшись наверх, я передала этот разговор Коломнину, который еще сидел за работой. Он задумался, щурясь и крепко сжимая в зубах свою трубку.

— А точно ли, что положение безнадежно? Позвоните-ка Елене Васильевне.

Я позвонила.

— Да чем же рисковать? — со слезами в голосе ответила Лена.— Ты бы на нее посмотрела!

Я повесила трубку.

— Сколько у нас крустозина?

— Кубиков сто. Не хватит.

— Вы думаете? А вдруг хватит?

— Едва ли.

— Даже и это нам еще неизвестно. Все-таки страшно.

— Да, страшно.

Мы помолчали. Коломнин взглянул на меня и протянул руку.

— На счастье.

Препарат был введен внутримышечно по пять кубиков через каждые три часа. В конце концов терять действительно было нечего, а безвредность крустозина была к тому времени установленным фактом. В десятом часу утра я позвонила Рубакиным; никто не ответил: очевидно, Лена дежурила у девочки, а Петр Николаевич уехал. У Стогина не было телефона.

Я пошла в институт, принялась за работу. Не шла работа. Опять позвонила. И поехала на Крымскую площадь в трамвае, который, как нарочно, тащился медленно, задерживался на остановках.

...Все трое стояли у Катиной постели — Стогин, Петр Николаевич и Лена.

— Ну, как дела?

Все трое ответили шепотом:

— Кажется, лучше.

Но какое бледное, измученное лицо с заострившимся носиком, с бессмысленно блуждающими глазами взглянуло на меня с высокой подушки! Смешные прямые волосики

торчали, посиневшие ручки беспомощно лежали поверх одеяла.

Мы с Леной поехали в институт, и я отдала ей весь крустозин, который был получен за последние дни.

Прошла ночь — положение не изменилось. Но к исходу вторых суток раздался телефонный звонок, и голос Стогина, который я сразу узнала по какому-то нервному, звенящему оттенку, сказал торопливо:

— Татьяна Петровна, ей лучше. Гораздо лучше!

— Да что вы!

— Она очнулась, узнала меня. Как вы думаете, это ничего, что мы немного поговорили? Татьяна Петровна, я... Не знаю, что мне еще сказать вам...

— Да я ничего лучшего от вас не хочу и слышать!

— Врач поражен. Он говорит, что еще несколько дней такого лечения — и дело пойдет на поправку.

— Несколько дней?

Что я могла ответить ему? У нас больше не было ни одного кубика крустозина.

— Возможно, что теперь понадобится уже немного,— снова сказал Стогин, и у меня сердце сжалось от этого робкого, неуверенного тона.— Вы... Почему вы молчите, Татьяна Петровна? Я говорил с Еленой Васильевной, и она тоже почему-то молчит.

— У нас больше ничего нет, товарищ Стогин. Можно приготовить, но для этого необходимо время.

— Много времени?

— Дня два-три.

Теперь он замолчал надолго.

— Что же делать?

— Вы говорите от Елены Васильевны?

— Да. Она у Катеньки.

— Попросите ее к телефону.

Но крустозин не появился оттого, что мы с добрый час проговорили с Леной.

После работы я поехала взглянуть на девочку и была поражена тем, насколько ей стало лучше. Озноб прекратился, боли прошли. Температура почти не поднялась к вечеру — впервые за время болезни. По-прежнему мертвенно-бледным было маленькое, осунувшееся лицо, но слабое мерцание жизни мелькнуло в глазах, когда Лена поцеловала ей ручку.

Значит, мы были правы? Ах, если бы можно было продолжать эти впрыскивания! Быть может, нам удалось бы

одержать двойную победу, двойную, потому что мы не только спасли бы Катеньку Стогину, но доказали бы, что с помощью крустозина можно спасти не одну, а тысячи человеческих жизней.

Но крустозина не было, и никакими силами невозможно было заставить плесневой грибок ускорить свою работу. Крустозина не было, и Катеньке стало хуже, и Стогин звонил и приезжал, и сидел в вестибюле, опустив голову, провожая каждого входящего и уходящего остановившимся взглядом. Он унес из лаборатории бульон (питательную среду, на которой растет грибок). Девочка выпила этот бульон. Разумеется, это не принесло ей — и не могло принести — ни малейшего облегчения.

Враг, с которым мы так и не справились,— время — продолжал действовать против нас. На любом лабораторном столе можно было найти пробирку со старым, потерявшим активность крустозином. А в термостатах медленно вырастал плесневой грибок, из которого можно было приготовить свежий препарат только через девять-десять дней после посева.

Мы с Леной поехали к профессору Вишнякову, одному из лучших терапевтов Советского Союза, и привезли его к больной, вернее было бы сказать — к умирающей. Профессор выслушал ее, посмотрел анализы, температурный листок.

— Так вы думаете, Татьяна Петровна, что улучшение наступило после впрыскивания вашего препарата?

— Да. Но препарата больше нет. Чтобы приготовить его, нужно время.

Грузный человек с умными усталыми глазами внимательно слушал, подняв большие старческие брови.

— Еще хотя бы два-три дня, и, быть может, ее удастся спасти.

Он чуть-чуть улыбнулся и печально пожал плечами.

— Я бы хотел, чтобы это было так. Ну что ж, сделаем все, что возможно.

Я почти не выходила из лаборатории и не знаю, как он боролся с надвигавшейся смертью, какими средствами воспользовался, чтобы отвоевать эти немногие дни. Но борьба шла, непрерывная, неустанная, острая.

Кажется, и мы сделали все, что могли за эти стремительно пролетевшие дни! Матрацы с питательной средой, на которой росла зеленая плесень, длинными рядами выстроились во всех термостатах. Везде, куда ни взглянешь,

стояли эти плоские сосуды, и в каждом — мы были в этом уверены — таилась частица жизни, которую мы хотели вернуть Кате Стогиной, вернуть во что бы то ни стало!

К исходу третьего дня нам удалось приготовить препарат, и ассистенты Вишнякова стали вводить его внутривенно по пять кубиков через каждые три часа.

...Все перепуталось — дни и ночи. Все сдвинулось, смешалось: работа, какие-то дела, отчеты, отпуска — то, что еще неделю назад могло, казалось, существовать одновременно и независимо от болезни Кати. И все соединилось у постели маленькой худенькой девочки, лежавшей на высокой подушке с крепко затянутой полотенцем головой.

Все то же. Маленькая надежда. Никакой надежды. Как будто меньше одышка? Снова надежда.

Умное, с пристальным взглядом лицо Вишнякова, часами изучающего новое «воскресение из мертвых». Напряженно наблюдаем и мы. Час за часом. Ночью и днем. Меняется ли — и в чем — картина болезни? Так все-таки есть надежда? Да, может быть. Осторожные недомолвки врачей.

И все-таки девочке становится легче. Температура падает. Уменьшается резкая бледность. Давно миновали три дня, которые я требовала у знаменитого терапевта, а Катя живет...

— И будет жить? — спрашиваю я Вишнякова, который поздним вечером выходит из дома на Крымской площади. Мы с Леной провожаем его, и он идет между нами, задумчивый, рассеянный, тяжело опираясь на палку.

— Пока я могу сказать только одно: вот уже скоро сорок лет, как я наблюдаю эту тяжелую болезнь, и впервые не узнал ее. Вы совершили чудо. Но одна ласточка не делает весны. Будущее покажет.

Да, будущее покажет. Прошлую ночь мы почти не спали, но почему-то не хочется спать — ясный вечер, много гуляющих, светло.

— У тебя бывает когда-нибудь такое чувство, Танечка, что кончается одна полоса жизни и наступает другая?

— Бывает. И всегда хочется заглянуть в это новое, угадать его.

Мы с Леной идем по Кропоткинской, по бульварам. Каждая ветка нежной молодой зелени отчетливо видна под светом и повторяется в тонком рисунке теней на земле.

— У меня сегодня была такая минута... когда я посмотрела Кате в глаза и поняла, что она будет жить. И что это сделали мы.

— А помнишь тот вечер, когда мы кончили институт и собрались у моей подруги — не институтской, а лопахинской? У Нины. Вот когда мы пытались заглянуть в будущее! И оно казалось нам таинственным, сложным, необыкновенным.

Мы свернули в переулок. Здесь было темнее, чем на бульваре, но зато мы увидели звезды.

— Знаешь, какие у нее были глаза? Как у очень маленьких детей, когда они впервые начинают сознательно видеть... Теперь ты согласна, Таня, что пора опубликовать нашу работу?

Конец второй части

Открытая книга.— Впервые «Часть первая. Юность», с подзаголовком «Открытая книга», роман — в журнале «Новый мир», № 9, 10, 1949. «Часть вторая. Поиски», под названием «Доктор Власенкова» — в журнале «Новый мир», № 2, 3, 4, 1952.

СОДЕРЖАНИЕ

Каверин В. А.

К 13 Собрание сочинений. В 8-ми т.— М.: Худож. лит., 1980.

Т. 4. Открытая книга: Роман. Ч. I и II.— 1981.— 479 с.

В том включены первые две части трилогии «Открытая книга».

К $\frac{70302\text{-}239}{028(01)\text{-}81}$ подписное 4702010200 Р2

ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАВЕРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Редактор
О. Новикова

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
Е. Полонская

Корректоры
Г. Киселева и
О. Наренкова

ИБ № 2159

Сдано в набор 13.11.80. Подписано к печати 25.05.81. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «обыкновенная». Печать высокая. 25,2 усл. печ. л. 25,2 усл. кр.-отт. 26,866 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Изд. № III—274. Заказ № 2342. Цена 2 р. 10 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28

2 р. 10 к.